ISSN 0130-6545

9.1999

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ЖОЗЕ САРАМАГО
Каменный плот

ДЖОН АПДАЙК
Бек и щедроты шведов

ЛИТературный ГИД

БОРХЕС, или История бесконечности

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МОСКВА

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии), **УФПС** (для Московской области) **и Моспочтамта** (для Москвы)

Подписной индекс 70394 (на I полугодие)
72261 (на год)

А если вы имеете возможность получать номера в редакции, советуем ПОДПИСАТЬСЯ ПРЯМО У НАС — это НАДЕЖНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ

Подписка в редакции будет проводиться
с 1 октября по 15 декабря
ежедневно с 12 до 17.30,
кроме пятницы и выходных

Адрес редакции: **Пятницкая улица, дом 41** (метро «Новокузнецкая», «Третьяковская»). ☎ **953-5147**

**Из общего тиража в 13 200 экземпляров
Институт «Открытое общество» ежемесячно
выкупает и безвозмездно направляет
в библиотеки России и ряда стран СНГ 3 500 экземпляров.**

**Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует ЗАО КОНВЕРСБАНК (Акционерный банк Конверсии).**

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

Н.А. БОГОМОЛОВА — заведующая отделом критики и публицистики
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — ответственный секретарь
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н. ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
ОСНОВАН В 1891 ГОДУ.
ДО 1943 ГОДА ВЫХОДИЛ ПОД НАЗВАНИЯМИ «ВЕСТНИК ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ЛИТЕРАТУРА МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА».
С 1955 ГОДА — «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

9 сентябрь 1999

СОДЕРЖАНИЕ

ЖОЗЕ САРАМАГО — Каменный плот *(Роман. Перевод с португальского А. Богдановского)*..... 5
ИЛЬМА РАКУЗА — Стихи из книги «Перечеркнутый мир» *(Перевод с немецкого Е. Соколовой. Вступление М. Шишкина)*..... 107
ДЖОН АПДАЙК — Бек и щедроты шведов *(Рассказ. Перевод с английского И. Бернштейн)*..... 111
КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — Стихи *(Перевод с польского и вступление А. Гелескула)*..... 127

Литературный гид
БОРХЕС, или ИСТОРИЯ БЕСКОНЕЧНОСТИ

БОРИС ДУБИН — Борхес в свои сто: знакомый и неизвестный..... 136
ВИКТОРИЯ ОКАМПО — Беседа с Борхесом *(Перевод с испанского Е. Лысенко)*..... 138
ЭМИР РОДРИГЕС МОНЕГАЛЬ — Соавторы и помощники *(Перевод с испанского Е. Лысенко)*..... 149
ОРАСИО БУСТОС ДОМЕК (ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС, АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС) — Из книги «Шесть задач для дона Исидро Пароди» *(Перевод с испанского Н. Богомоловой)*..... 152
ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — Память Шекспира *(Новелла)*. РИКАРДО ПИЛЬЯ — Чужая память *(Перевод с испанского Бориса Дубина)*..... 169
ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — Из книг «Расследования» *(Перевод с испанского В. Кулагиной-Ярцевой)*, «Земля моей надежды», «Атлас», «Личная библиотека» *(Перевод с испанского Бориса Дубина)*..... 176
Современники о Борхесе: ЭРНЕСТО САБАТО, БЕАТРИС САРЛО, ДЖУЛИАН БАРНС, ХАРОЛЬД БЛУМ, ХОСЕ АНХЕЛЬ ВАЛЕНТЕ, СЬЮЗЕН СОНТАГ *(Переводы В. Кулагиной-Ярцевой, Бориса Дубина)*..... 188
ЛЮДМИЛА БУРМИСТРОВА, БОРИС ДУБИН — Неистощимые строки..... 194
Хорхе Луис Борхес: краткая летопись жизни и творчества..... 197

Документальная проза

ЛИЛЛИАН ХЕЛЛМАН — Сырой материал. *Мемуары.* (Главы из книги. *Перевод с английского М. Кан*)..... 204

Статьи, эссе

АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Без языка. *Эзра Паунд*..... 226

Среди книг

СЕРГЕЙ РОМАШКО — Памятник несостоявшейся дружбе. ЕЛИЗАВЕТА СОКОЛОВА — Имя против любви. АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Набоков на кафедре... 237

У книжной витрины..... 247

Курьер «ИЛ»..... 250

Авторы этого номера..... 253

©«Иностранная литература», 1999

В следующем номере «ИЛ»

Рассказ **Джулиана Барнса** «КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ДЕЛА».

Стихи известного немецкого поэта-экспериментатора, поэта-конкретиста **Эрнста Яндля**.

«МОПАССАН и «ДРУГОЙ» — роман-эссе крупнейшего итальянского писателя XX века **Альберто Савинио**, представляющий собой нетрадиционную, порой эпатирующую трактовку личности и творчества Ги де Мопассана.

В *Литературном гиде «КНИГА И/ИЛИ КОМПЬЮТЕР»* — две новеллы **Милорада Павича**, впервые опубликованные в Интернете, а также статьи **Александра Гениса, Михаила Визеля, Сергея Кузнецова** и **Дмитрия Кузьмина** о сегодняшнем дне и о перспективах современной литературы в условиях экспансии новых электронных медиа.

Главы из книги «ГЕРБЕРТ УЭЛЛС В ЛЮБВИ»: фрагменты автобиографии писателя, где он вспоминает о своих отношениях с «железной женщиной» Мурой Будберг.

Цветные иллюстрации номера — работы художников португальского модерна:

На 1-й стр. обложки — БЕРНАРДО МАРКЕС. «Без названия»
На 2-й стр. обложки — МАРИО ЭЛОЙ. «Народный праздник в городском квартале» («Bailarico no Bairro») (ок. 1936)
На 4-й стр. обложки — САРА АФОНСО. «Сирена» (1939)

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Большая Никитская, д.46
«Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://www.infoart.ru/magazine/inostran

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

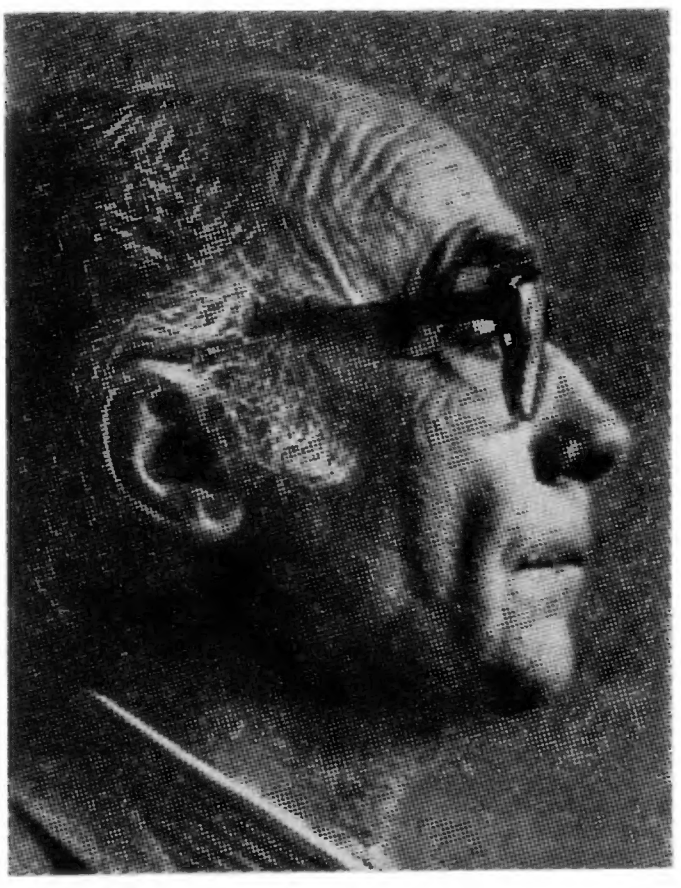
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 27.08.99. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,64. Заказ №4521.

Тираж 13 200 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой «Красный пролетарий», 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.



ЖОЗЕ САРАМАГО

Каменный плот

РОМАН

Перевод с португальского А. БОГДАНОВСКОГО

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 1998 ГОДА

Будущее — всегда легендарно.
Алехо Карпентьер

Иберия очертаниями напоминает бычью шкуру.
Страбон

Пиренейский полуостров имеет форму плота.
Неизвестный португальский автор

Едва лишь Жоана Карда вязовой палкой провела по земле черту, как тотчас все псы Сербера залились лаем, повергнув в смятение и ужас жителей, ибо гласит давнее-давнее поверье: подадут голос неизменно до тех пор безмолвствовавшие собаки — жди конца света. Откуда взялось столь дремучее суеверие, как укоренилось оно и почему переросло в непреложную убежденность, сегодня никто уже не помнит, однако, продолжая играть в хорошо всем знакомую игру под названием «испорченный телефон», когда всякий раз по-разному рассказывается старая, стократно слышанная сказка, французские бабушки тешили ею своих внучат, повествуя нараспев, что именно в том месте департамента Восточные Пиренеи, где ныне находится коммуна Сербер, в незапамятные древнегреческие времена жил да был трехглавый пес, громогласным лаем откликавшийся, когда звал его хозяин, лодочник по имени Харон, на кличку Цербер. Равным образом осталось неизвестно, каким таким органическим мутациям подвергся он, но факт, подтвержденный историческими свидетельствами, остается фактом: выродившееся его потомство появлялось на свет с одной головой и немым. Впрочем, одно объяснение все же есть: всякому известно, особенно если этот всякий — местный старожил, что сторожил вышеупомянутый, ужас наводящий Цербер вход в преисподнюю, пожалуй, не столько даже вход, сколько выход, следя, чтобы не смели покидать ее грешные души, — и вот боги, в ту пору уже вконец одряхлевшие, под занавес, так сказать, явили свое милосердие и поразили собак немотой отныне и впредь, надеясь, вероятно, что безмолвие это позволит на вечные времена позабыть про адскую область. Но поскольку, как ясно нам дали понять уже в новейшие времена, ничто под луной не вечно, стоило лишь в наши дни в некоем португальском местечке — название его мы сообщим впоследствии, а пока скажем лишь, что много сотен километров отделяло его от коммуны Сербер, — женщине по имени Жоана Карда провести по земле вязовой веткой, как с лаем повыскакивали на улицы все окрестные псы, до

© José Saramago e Editorial, Caminho, SARL, Lisboa, 1986
© А. Богдановский. Перевод, 1999

тех пор, повторяем и подчеркиваем, не лаявшие никогда. А спроси кто Жоану, с чего ей вздумалось чертить по земле веткой, ибо занятие это больше пристало слабоумному подростку, чем женщине во цвете лет, и не помыслила ли она о возможных последствиях, каковые, напоминаем, чреваты оказались большой бедой, она ответила бы: Сама не знаю, валялась палка, я подобрала ее и по земле провела линию. Так, может быть, это была волшебная палочка? Ну нет — большая слишком, да и потом, я слышала, будто волшебные палочки сделаны из хрусталя с золотом, светятся сами собой и звезда на конце сияет. Известно, что та палка была из вяза. Я в породах деревьев слабо разбираюсь, это уж потом мне сказали, что вяз иначе еще называют ильмом, да как ни назови, чудесных свойств в нем нет, но знаю одно — возьми я самую обыкновенную спичку, результат был бы тот же. Почему вы так решили? Что должно сбыться, сбудется, и силе этого противиться не надо, я тысячу раз слышала это от тех, кто постарше меня. Вы, стало быть, верите в предопределенность? Я верю в то, что должно случиться.

В Париже сначала долго смеялись в ответ на телефонные мольбы мэра, которого было едва слышно из-за оглушительного лая, так что казалось, что звонит он из собачьего питомника в час кормежки, и лишь благодаря настоятельным просьбам депутата парламентского большинства, который родился и вырос в этой самой коммуне, а потому был хорошо знаком со всеми тамошними поверьями и легендами, согласились отправить на юг двух сведущих ветеринаров из Deuxieme Bureau[1], дав им поручение разобраться на месте, изучить неслыханное происшествие и представить рапорт с перечнем надлежащих мер. А тем временем пришедшие в отчаяние и полуоглохшие жители принялись изводить напасть до крайности простым методом, чья эффективность подтверждена на всех широтах и во все времена многократно, то есть разбрасывать по улицам этого прелестного курортного городка, ставшего ныне одним из кругов ада, десятки мясных шариков, начиненных отравой. Издохла всего-навсего одна собака, но урок был усвоен всеми остальными: с лаем, гавканьем и воем ринулись они из города вон, в один миг исчезли в окрестных полях, где тут же и смолкли, опять же без всякой видимой причины. И прибывшим наконец ветеринарам представлен был для освидетельствования лишь окоченевший и раздутый труп несчастного Медора, совсем не похожего на того благодушного пса, который любил сопровождать свою хозяйку, когда та отправлялась за покупками, а еще больше, по старости, — беззаботно дремать на солнце. Но поскольку справедливость не окончательно покинула этот мир, поэтически рассудил Господь, что суждено будет Медору околеть от руки возлюбленной своей хозяйки, хотя она — это важно знать! — приготовила отравленную приманку не для него вовсе, а для некой соседской шавки, которая упрямо брехала у нее в саду. И, стоя пред бренными останками пса, сказал старший из ветеринаров: Ну что, вскрывать надо, хотя это еще большой вопрос, надо ли, любой житель Сербера мог бы, если бы пожелал, засвидетельствовать causa mortis[2], однако негласное задание «конторы», как на профессиональном жаргоне называли они свое ведомство, следовало выполнить, а потому они и приступили к процедуре исследования голосовых связок животного, каковое в промежутке между окончательным безмолвием смерти и молчанием, которое вроде бы хранило всю свою жизнь, все же несколько часов кряду подавало голос и тем могло бы пролить свет на поведение остальных собак. Зря старались ветеринары — голосовых связок у Медора не обнаружилось вовсе. Эксперты пришли в замешательство, из которого вывело их административно-здравое суждение мэра: Ясное дело, серберские псы столько столетий не лаяли, что этот орган у них — как это называется? — а, атрофировался. Но как же это так вдруг?

---

[1] «Второе бюро» — управление военной контрразведки французского Генерального штаба. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] Причину смерти (*лат.*).

Чего не знаю, того не знаю, объяснить не берусь, я не специалист, но тревожиться нам более не о чем, собаки исчезли, их теперь даже и не слышно. Распотрошенного и наскоро зашитого Медора отдали плачущей владелице в качестве живого укора — да, такая вот несообразность: бобик сдох, а укор жив. По пути в аэропорт, откуда ветеринары должны были лететь в Париж, они дружно согласились не упоминать в рапорте о таинственном завитке эволюции, лишившем серберских собак голосовых связок. И, видимо, лишились они их напрочь, ибо в ту же ночь носился по Серберу огромный, ростом с дерево, пес о трех головах — и носился при этом молча.

В ту пору — ну, может, раньше, может, чуть позже — как Жоана Карда провела вязовой палкой черту по земле, по берегу моря — дело было к вечеру, когда рокот волн становится еле слышен, словно мимолетный, беспричинный — так, ни о чем — вздох, прогуливался некто, отрекомендовавшийся впоследствии Жоакином Сассой, шел себе вдоль по берегу, там как раз, где мокрый песок переходит в сухой, и, время от времени наклоняясь, подбирал то раковину, то клешню краба, то зеленое волоконце водоросли — кому из нас не случалось убивать время таким образом? Карманов у него не было, сумки он с собой не взял, складывать находки ему было некуда, а потому, когда трофеи уже в руках не умещались, он бросал их в воду: да вернется в море то, что морю принадлежит, а земле останется земное. Но нет правил без исключений, и Жоакин Сасса, заметив впереди, на сухом песке, камень, поднял его, увесистый и плоский, как диск, но не правильной формы, а будь он подобен другим, гладеньким и аккуратным, которые будто сами собой ложатся между указательным и большим пальцами, швырнул бы его Жоакин Сасса в море, с детской радостью следя, как подскакивает, несколько раз вспарывая водную гладь, выныривает и, наконец, потеряв первоначальное ускорение, камень этот, пущенный его умелой рукой, но будто обладающий собственной расчисленной судьбой, выжженный солнцем, мочимый лишь дождями, погружается, уходит в темную бездну, где будет миллион лет ждать, когда это море, испарившись либо отступив, вернет его на сушу еще на миллион лет, чтобы дать времени время выпустить на берег другого Жоакина Сассу, который, сам того не зная, повторит размах и бросок; и не стоит твердо заявлять: Не стану я этого делать, ибо твердости и надежности нет даже и в камне.

На южном побережье в этот час кто-то напоследок окунается в еще теплое море, кто-то плывет, играет с мячом, подныривает под волну, или лежит на надувном матрасе, или, почувствовав, как побежали по коже первые мурашки приближающегося вечера, подставляет тело прощальной ласке солнца, которое задержится на горизонте на одну секунду — самую долгую из всех, потому что мы глядим на него, а оно позволяет на себя глядеть. Но здесь, на северном пляже, где Жоакин Сасса сжимает в пальцах камень, такой тяжелый, что руки устали его держать, задувает холодный ветер, и солнце наполовину погрузилось в море, и даже чаек не видно над волнами. Жоакин Сасса швырнул камень, рассчитывая, что он пролетит лишь несколько шагов, ну разве что не у самых ног упадет, каждый из нас обязан трезво оценивать свои силы, хоть здесь и нет зрителей, которых позабавит незадачливый дискобол, он и сам готов над собой посмеяться, но вышло не так, как задумано: темный тяжелый камень взвился в воздух и плашмя упал в воду, отскочил, ударившись о поверхность ее, взлетел или подпрыгнул, как угодно, снова упал, снова подпрыгнул и улетел черт знает куда. Как же это так, подумал тогда в растерянности Жоакин Сасса, как это я, слабосильный, ухитрился зашвырнуть такой тяжелый камень так далеко в уже потемневшее море, и как жаль, что никто этого не видел и некому сказать мне: Ай да молодец Жоакин Сасса, это прямо для книги Гиннесса, я свидетель, такое не каждый день бывает. Расскажи я об этом, мне не поверят. Поднялся из моря высокий фонтан вспененной взбаламученной воды: это камень

наконец упал в море, и от точки его падения пошли концентрические круги: всем нам с детства известно такое природное явление. Жоакин Сасса отскочил подальше, и волна, доплеснув до берега, бессильно замерла на песке, распалась, разложив на нем все принесенное с собой — раковины, клешни крабов, зеленые, красные, бурые волокна водорослей и лезвия ламинарий, морские звезды и медузы. А сколько же еще лет не увидит дневного света маленький камешек — обкатанный, так удобно ложащийся между большим и указательным пальцами?

Нелегкое это занятие — писать, нелегкое и в высшей степени ответственное: неимоверных трудов стоит расставить в должном порядке и очередности все события — это сначала, то — потом, или, если дело того требует, рассказать сперва о происшествии сегодняшнем, а уж следом изложить событие вчерашнее, и совершать иные, не менее головоломные акробатические штуки — представить прошлое так, словно оно разворачивается у нас на глазах, а настоящее — как некую протяженность без конца и без начала, — но как бы ни изощрялись авторы, никому еще не удавалось разом записать два одновременно происходящих события. Кое-кто предложит, пожалуй, решить проблему просто — разделить страницу пополам, на две колонки, но ведь это же, ей-богу, наивная уловка: все равно ведь придется писать одно сначала, а другое — потом, и не следует упускать из виду, что читатель и прочтет одно сначала, а другое потом или наоборот, и поневоле позавидуешь оперным певцам, у каждого из которых своя партия, и все эти теноры и сопрано, басы и баритоны, сколько бы их ни было — трое, четверо, а хоть бы и шестеро, — одновременно ведут свою тему: злодей, например, издевается, а инженю умоляет, а первый любовник, пусть и с промедлением вступая, но заступается, и у каждого — свои слова, хотя до слов слушателю особенного дела нет, ему важна лишь музыка, тогда как читателю все растолкуй, все расположи в должной последовательности, чтоб одно не налезало на другое. Вот поэтому пришлось нам упомянуть сначала Жоакина Сассу, и лишь теперь пришел черед Педро Орсе, хотя Жоакин швырнул камень в море в тот же самый миг, когда Педро поднялся со стула, пусть за время, протекшее между двумя этими событиями, часовая стрелка и описала полный круг: все дело в том, что один был в Португалии, а другой в Испании.

Известно, что у всякого следствия своя причина, эта истина универсальна, но невозможно бывает избежать логических погрешностей и не всегда узнаем мы, что из чего вытекает: думаем, что вот эта причина повлекла за собой такое-то следствие, ан нет: причина была в ином, в том, что намного превосходит возможности нашего разума и науку, во всеоружии которой, как нам кажется, мы пребываем. Вот вам пример: мы вроде бы показали, что серберские псы подняли лай оттого, что Жоана Карда вязовой палкой провела по земле черту, но лишь малое дитя в доверчивости своей — если еще не перевелись с золотого доверчивого века такие дети, — лишь невинный младенец — извините за плеоназм: какие там у него вины, — одним словом, лишь неразумный ребенок, который надеется уловить солнце в сжатый кулачок, так вот, лишь он поверит, будто собаки, никогда прежде не лаявшие по причинам как исторического, так и физиологического порядка, способны подать голос. Но в десятках тысяч городов, деревень, сел, поселков и местечек в избытке отыщутся те, кто самих себя сочтут причиной чего угодно — и поднятого собаками лая, и всего прочего, что придет после: скажут, что произошло это оттого, что они хлопнули дверью, остригли ногти, сорвали плод с ветки, закурили, или отдернули занавеску, или померли, или — ну, не они же, разумеется, другие! — родились, и уж эти-то вот гипотезы насчет смерти и рождения ни в какие ворота не лезут, ибо необходимо иметь в виду, что говорить надо от лица самих себя, а это одинаково трудно и тому, кто сию минуту появился из чрева матери, и тому, кто только что улегся во чрево земли. Не стоит и добавлять даже, что у любого хватит резонов считать себя причиной всего и вся — и тех странных явлений, о которых мы на-

мереваемся рассказать, равно как и иных, где от нас целиком и полностью зависит, будет ли мир функционировать исправно, а потому очень хотелось бы узнать, каков был бы он, мир этот, без людей и без событий, людьми и только ими вызываемых, но лучше, право, и не представлять себе такое, не то совсем одуреешь, хватит и того, чтобы выжили всякие мелкие зверьки и насекомые, вот и будет мир муравья и мир стрекозы, они не отдергивают занавеску, не глядятся в зеркало. А конечная и великая истина состоит в том, что мир не может быть мертвым.

А Педро Орсе, набравшись отваги, сказал бы, что земля затряслась оттого, что он топнул по ней ногами, поднимаясь со стула, — пусть это самонадеянное предположение остается на его, ну и отчасти на нашей совести, ибо мы слегка сомневаемся, что если каждый человек оставляет в мире след своего присутствия, то Педро Орсе, заявивший: Встал я, и земля затряслась, оставил именно такой след. Интересное такое землетрясение, которого никто вроде бы и не заметил, и даже теперь, по прошествии двух минут, когда волна уже доплеснула до берега и Жоакин Сасса сказал себе: Расскажи я об этом, мне не поверят, — земля продолжала содрогаться, как дрожит струна, уже не издавая никакого звука, и содрогание это Педро Орсе ощущает ступнями и продолжает ощущать, выйдя из аптеки на улицу, а вокруг никто ничего не замечает, ну в точности как говорят, глядя в ночное небо: Ах, как ярко блещет вон та звезда, — и никому невдомек, что звезда погасла за миллионы лет до того, как говорящий произнес эти слова, а дети его и внуки будут, бедняги, повторять их, восхищенно называя мертвое живым, и заблуждение это относится не к одной только науке астрономии. Но в нашем случае все наоборот: люди поклялись бы, что земная твердь неколебима, как прежде, и один лишь Педро Орсе уверен, что она ходит ходуном, и хорошо еще, что он промолчал, не бросился бежать в испуге, ибо стены не вздрогнули, люстра не качнулась, а осталась висеть ровно и строго перпендикулярно к земле, обитатели птичьего двора, первыми поднимающие тревогу, продолжали спокойно спать, сунув голову под крыло, и самописец сейсмографа по-прежнему вычерчивал на листе миллиметровки безупречную горизонталь.

На следующее утро некий путник пересекал невозделанную пустошь, заросшую кустарником и всякими болотными дикими травами, шел по дорожкам и тропинкам, петлявшим меж деревьев, прекрасных и высоких, как имена, которые они носят — тополя и ясени, огибал заросли колючего чертополоха, пахнущего так по-африкански, и нигде бы не нашел он себе одиночества полнее и неба выше, неба, где с неслышным отсюда щебетом летела, сопровождая его, стая скворцов, да не стая, а целая туча, огромная и темная, наподобие грозовой. Он останавливался — и скворцы начинали кружиться над головой или же шумно рассаживались по деревьям, скрывались в трепещущей листве, и крона оглашалась пронзительными и неистовыми криками, будто там, внутри, кипела ожесточенная схватка. Делал следующий шаг Жозе Анайсо — ибо именно так звали его, — и скворцы все разом, дружно — фр-р-р-р — срывались следом. Если бы мы не знали, кто такой Жозе Анайсо, и принялись угадывать, то сказали бы, пожалуй, что он орнитолог или что, как змея, наделен властью и умением завораживать птиц, тогда как сам он не менее нас недоумевал по поводу творящегося в поднебесье фестиваля. Что нужно от меня этим пернатым существам? — и пусть не удивляют нас необычные слова: случаются такие дни, когда обычные как-то не выговариваются.

Путник шел с востока на запад, как вела его дорога, но, огибая глубокое озеро, свернул и оказался лицом к солнцу. К полудню начнет припекать, но пока еще дует прохладный и свежий ветерок, и жаль, нельзя спрятать его в карман, припасти на потом, на самый зной. Жозе Анайсо шел, и в голове его, будто сами собой, текли такие вот смутные мысли, как вдруг он заметил, что скворцы остались позади, улетели туда, где тропинка, изгибаясь, тянулась вдоль по берегу озера, то есть повели себя довольно странно, но, впрочем, недаром же говорится «волен как пти-

ца», счастливо оставаться, вам туда, а мне дальше. Жозе Анайсо, обойдя наконец озеро, на что ушло не менее получаса — путь был трудный, через бурелом и чащобу, — выбрался на прежнюю тропинку и двинулся прежним путем с восхода на закат, как солнце ходит, но тут внезапно вновь раздалось «фр-р-р-р-р» и откуда ни возьмись появились всей стаей скворцы. Ну это уж вовсе необъяснимое явление. Если птицы поутру сопровождают путника, точно верный пес хозяина, и дожидаются, пока он обойдет озеро, а дождавшись, вновь следуют за ним неотступно, то уж не его следует спрашивать о мотивах подобного их поведения, да и какие там у птиц мотивы — у них инстинкты, внезапно, будто сами собой возникающие и от воли не зависящие. Не станем также спрашивать Жозе Анайсо, кто он таков, чем занимается, откуда и куда направляется: все, что нужно будет о нем знать, от него и узнаем, и ту же сдержанность, ту же информативную скупость проявим и по отношению к Жоане Карде с ее вязовой палкой, к Жоакину Сассе и камню, который он забросил в море, к Педро Орсе и к стулу, с которого он поднялся, ибо жизнь человеческая начинается не с момента его рождения — в этом случае каждый день был бы днем побед и выигрышей, — а попозже, а иногда и совсем поздно, слишком поздно, не говоря уж о тех, кто, едва успев начать, тут же принужден и окончить, так что остается лишь вскричать: Ах, кто бы написал ту историю, которая могла бы случиться.

А теперь еще эта женщина со странным именем Мария Гуавайра, которая поднялась на чердак своего дома и, найдя там старый чулок — из тех старых и настоящих чулок, надежней, чем кубышка, хранящих отложенные на черный день деньги, символические сбережения, — в чулке же не обнаружив ничего, взялась распускать его — так, от нечего делать, чтобы руки занять да время убить. Минул час, за ним другой и третий, а длинная нить голубой шерсти продолжала разматываться, но чулок при этом вроде бы и не уменьшался, и загадка эта, присоединясь к четырем другим, уже загаданным раньше, наводит нас на мысль о том, что хотя бы изредка содержимое бывает больше своего вместилища. Сюда, в этот тихий дом, не доносится рокот прибоя, не пролетает мимо, заслоняя на мгновенье свет в окнах, стая птиц, собаки имеются, однако не лают, земля же если и дрожала, то перестала. А у ног Марии Гуавайры все растет гора пряжи. Эту женщину зовут не Ариадной, эта нить нас из лабиринта не выведет, скорее наоборот — благодаря ей мы заблудимся окончательно. Где же он, край, где конец?

Первая трещина появилась где-то в Альберийских горах, которые на западной оконечности сьерры плавно спускаются к морю, возникла на исполинском, гладко отполированном самой природой каменном плато, где сейчас бродят злополучные серберские псы. Упоминание о них вполне уместно и своевременно, ибо и место и время связаны между собой, даже когда кажется, что нет между ними ничего общего. Один из этих псов по кличке Ардан, подобно прочим отлученный, как уже было сказано, от кормушки, а потому в силу жестокой необходимости принужденный воскресить в бессознательной памяти навыки далеких предков-охотников, дабы суметь схватить какого-нибудь отбившегося от своих крольчонка, услышал благодаря тончайшему слуху, которым одарена его порода, треск крошащегося камня и, не залаяв оттого только, что был этой способности лишен, подошел к разлому, обнюхал его, раздув ноздри и вздыбив шерсть на загривке — в равной степени от любопытства и от страха. Будь Ардан человеком, тоненькая трещина напомнила бы ему линию, проведенную кончиком остро отточенного карандаша, вовсе не похожую на след, который оставила бы палка на твердой ли земле, в рыхлой ли и мягкой пыли или по грязи, решись мы потратить время на такие вздорные сравнительные эксперименты. Но когда пес подобрался к трещине поближе, она раздалась вширь и вдаль, поползла, раздирая камень до самых краев этой самой плиты, в обе стороны и стала такой глубокой, что внутрь поместилась бы рука взрослого муж-

чины, если бы, конечно, случился поблизости мужчина столь отважный, чтобы определить параметры природного феномена. Ардан же беспокойно закружился на месте, однако не убежал, привлеченный видом этой змеи, у которой не было уже видно ни головы, ни хвоста, а потом впал в растерянность, не зная, оставаться ли ему во Франции или же махнуть в Испанию, отодвинувшуюся на три пяди. Но пес этот, слава богу, был не из тех, кто покорно примиряется с обстоятельствами, а потому он одним прыжком метнулся прочь от этой, с позволения сказать, пропасти, отдав предпочтение адской области, а узнать, какие искушения и мечты, какая тоска по родине обуревают собачью душу, нам не дано.

Вторая же — а для всего мира первая — трещина обнаружилась за много километров оттуда, у Бискайского залива, неподалеку от печально памятного нам по истории Карла Великого и его двенадцати пэров Ронсеваля, где пал граф Роланд, напрасно трубивший в свой рог Олифант, зовя подмогу, — ни любовь далекой Анжелики, ни верный меч Дюрандаль не спасли его от гибели. Там, спускаясь вдоль северо-восточного отрога горной гряды Абоди, течет, беря исток во Франции, река Ирати, впадающая в испанскую реку Эрро, впадающую в Арагон, в свою очередь впадающий в Эбро, а уж та в конце концов несет все их воды в Средиземное море. В долине на берегу Ирати стоит город Орбайсета, а выше по течению построена плотина.

Теперь самое время сообщить: все, что здесь рассказывается или будет рассказано, — чистая правда и может быть подтверждено с помощью любой карты — разумеется, достаточно подробной, чтобы содержать в себе данные, кажущиеся на первый взгляд такими незначительными, ибо достоинство карты в том, собственно, и заключается, что показывает она потенциальные, покуда еще неиспользованные и невостребованные возможности пространства, как бы предвидя, что на этом пространстве может произойти все что угодно. И происходит. Мы уже поведали вам о судьбоносной вязовой палке, мы уже доказали, что камень, взятый с той точки на берегу, куда не дотягивается даже самый сильный прилив, способен все же попасть в море или вернуться из него, а теперь настал черед Орбайсеты, горного наваррского городка, чье дремотное спокойствие, сменившееся ненадолго и много лет назад благодатным оживлением, вызванным строительством плотины, теперь нарушено вновь. На несколько дней стал он болевой точкой Европы, если не всего мира, туда съезжались члены правительств, политики, начальство военное и гражданское, фотографы и географы, генералы и минералы — тьфу! минералоги, геологи, теле- и кинооператоры, инженеры всех видов и любой масти, представители власти, геодезистые неказисты — ох, нет, наоборот. На краткий срок процвел славой городок Орбайсета, лишь на несколько дней, лишь чуть дольше, чем цветет, скажем, чертополох, но, впрочем, какого черта приплели мы сюда этот сорняк? — в сторону его: речь не о черто-, а о переполохе вокруг Орбайсеты, возникшем и вскоре стихшем, что лишний раз подтверждает, сколь преходяща она, мирская-то слава, глория, то есть, мунди.

Во всей мировой истории не случалось еще ни разу, чтобы река, спокон веку текшая по своему руслу, течь вдруг переставала, как будто кран завернули, продолжим сравнение — представьте себе, что некто мыл руки в раковине, вымыл, выдернул затычку, закрыл кран, вода побурлила немного у стока и исчезла, а капли, остававшиеся на эмалированных стенках, испарились. Попросту говоря, воды реки Ирати ушли, отхлынули, наподобие морской волны, набегающей на береговой урез, исчезли и обнажили дно, а на дне — камни, ил, тину, всякие водоросли и бьющихся, судорожно зевающих, гибнущих рыб. Стало тихо.

Инженеров на месте этого невероятного происшествия не случилось, но они поняли, что творится что-то ненормальное, когда стрелки приборов на пульте засвидетельствовали резкое падение уровня воды — река перестала снабжать водо-

хранилище. Трое специалистов на джипе отправились посмотреть, в чем дело, и по дороге, проложенной по берегу, вдоль плотины, строили разнообразные версии, благо ехать надо было километров пять, так что время для этого было, и, по одной из них, где-то в горах произошел обвал или сошел селевой поток, что и изменило течение реки, а по другой — что это типично галльское коварство, всё французы гадят, несмотря на двустороннее соглашение о совместном использовании гидроресурсов, а по третьей, самой смелой из всех, — что иссяк источник, кладезь, ключ, казавшийся, да не оказавшийся вечным. Мнения по этому вопросу разделились. Одному из инженеров, человеку по натуре тихому и склонному к созерцательности, очень нравилось жить в Орбайсете, и он боялся, как бы теперь его не услали куда-нибудь еще. Двое других, напротив, потирали руки от удовольствия, предвкушая перевод на одну из ГЭС по реке Тахо, неподалеку от Мадрида и его Гран-Виа. Обсуждая все эти чаяния и возможности, доехали до той точки, где река впадала в водохранилище, однако никакой реки не обнаружили — вместо нее по уже высохшему руслу текла хилая струйка грязноватой и мутной от ила водицы, которой и бумажный кораблик нести было бы не под силу. Куда, к дьяволу, река запропастилась? — молвил водитель джипа, и нельзя было сформулировать проблему выразительней и точней, ибо разом прозвучали в этом слове и «пропáсть», и «прóпасть». В растерянности, замешательстве, смятении и тревоге инженеры принялись было вновь обсуждать между собой вышеперечисленные гипотезы, но затем, осознав полнейшую тщету дальнейшей дискуссии, вернулись на ГЭС, а оттуда отправились в Орбайсету, где их ждал весь синклит местных властей, уже оповещенных о таинственном исчезновении реки. Посыпались язвительные и недоуменные вопросы, начались звонки в Памплону и в Мадрид, и результатом этих изнурительных трудов явился очень простой, из трех логично вытекающих один из другого пунктов, приказ: Подняться вверх по течению до истока; установить, что произошло; ничего не говорить французам.

На следующий день, еще затемно экспедиция отправилась в путь, в сторону границы, держась поблизости от пересохшей реки или держа ее, по крайней мере, в поле зрения, и, добравшись до истока, поняли истомленные переходом инспекторы, что Ирати, видимо, приказала долго жить. Воды реки, ревя как маленькая Ниагара, через трещину шириной никак не больше трех метров низвергались под землю. По другую сторону расщелины уже стояли кучкой французы — верхом наивности было бы хоть на миг усомниться, что природный феномен ускользнет от внимания быстрых разумом, исполненных острого галльского смысла картезианцев, — по виду сбитых с толку и обескураженных не меньше испанцев, толпившихся по эту сторону: те и другие стали братьями во невежестве. Завязалась беседа, которая, однако, не была ни пространной, ни полезной и состояла главным образом из междометий, выражавших вполне законное недоумение, да из новых предположений, робко высказанных испанцами, и проникнута была всеобщим раздражением, не находившим себе достойного объекта. Французы, впрочем, вскоре уже заулыбались — река до границы, как и прежде, принадлежала им, и карту можно было не перекраивать.

В тот же день вертолеты обеих стран облетели место происшествия, засняли его, зависли над ним, спустив на веревочных лестницах наблюдателей, которым наблюдать было решительно нечего, кроме черного разлома и блистающего потока уходящей в него воды. Для того чтобы был хоть какой-нибудь прок, городские власти Орбайсеты и сопредельного французского Ларро устроили встречу в палатке, разбитой по такому случаю на границе и украшенной флагами — сине-бело-красным французским, желто-красным испанским и наваррским, красным с золотой цепочкой, — дабы всесторонне изучить, какие возможности открывает для развития туризма это уникальное природное явление, и как следует использовать их ко

взаимной выгоде. Учитывая недостаточный объем и однозначно случайный характер представленных для анализа материалов, высокое собрание, не выработав документа, строго определяющего права и обязанности сторон, ограничилось тем, что постановило создать смешанную комиссию, которой и поручило в кратчайшие сроки сформулировать круг вопросов, подлежащих обсуждению на следующей, уже вполне официальной встрече. Впрочем, в последнюю минуту совсем уж было достигнутый консенсус подвергся угрозе — причем одновременной — со стороны Мадрида и Парижа в лице соответствующих представителей постоянной комиссии по пограничным конфликтам. Эти господа вдруг задались серьезнейшим вопросом: Как и откуда мы узнаем, на чью территорию выходит образовавшееся отверстие — во Францию или же в Испанию? Мелочь, казалось бы, не заслуживающий внимания пустяк, однако по зрелом размышлении и после приведенных разъяснений щекотливость ситуации стала для всех очевидной. Сомнению, разумеется, не подлежало, что в настоящее время река Ирати протекает исключительно во владениях Французской Республики, а именно по территории департамента Нижние Пиренеи, но если разлом целиком выходит в провинцию Наварра, принадлежащую испанской короне, переговоры должны быть продолжены до тех пор, пока каждая из сторон не получит причитающуюся ей и равную долю. Перед лицом изменившейся ситуации представители властей приберегли про запас самые сокрушительные аргументы в свою пользу и сошлись на том, что будут вести консультации, чтобы разрешить этот важнейший вопрос к обоюдному удовлетворению. А министерства иностранных дел Испании и Франции в трудолюбиво выстраданном, гладко выструганном совместном документе заявили о неукоснительном намерении продолжать переговоры в рамках вышеназванной постоянной комиссии, в состав коей, естественно, должны быть включены специалисты по геодезии.

В это самое время появились геологи — в большом количестве и богатом национальном ассортименте. Между Орбайсетой и Ларро и прежде уже бродило их сколько-то, а ныне прибыло целое полчище ученых местных и чужеземных — специалистов по толчкам, пластам, сдвигам и смещениям, которые принялись обстукивать своими молотками все, что было или казалось камнем. Французский журналист, беспечный циник Мишель, сказал своему испанскому собрату, сосредоточенному Мигелю, уже успевшему сообщить в Мадрид, что трещина аб-со-лют-но испанская, а если быть точным в смысле географическом и национальном — наваррская: Да заберите вы ее себе, — да, именно так выразился нахальный француз, — если она вам так нравится и вы без нее жить не можете, у нас в Сирк-де-Гаварни водопад есть, четыреста двадцать метров высоты, так что эта наизнанку вывернутая артезианская скважина нам даром не нужна. Мигель не нашелся что ответить, а ведь мог бы — мог бы возразить, что и с испанской стороны Пиренеев водопадов в избытке, высоченных и красивых, эка невидаль — водопад под открытым небом, они все одинаковые и открыты для всеобщего обозрения, тогда как у трещины Ирати — вот в чем дело-то — дна не видно, где конец — неизвестно, и в этом ее сходство с нашей жизнью. Тут встрял в разговор еще один их коллега, мимоезжий галисиец — они всегда мимо ездят, — он и задал вопрос, которого только и не хватало: Куда же идет эта вода? В это время, сухо и резко треща, разгоралась научная перепалка между учеными-геологами из обеих заинтересованных стран, а потому вопрос, подобный появлению застенчивого ребенка среди взрослых, услышан был лишь пишущим эти строки. И спрошено было по-галисийски, то есть скромно и робко, и поначалу заглушено галльским звоном, кастильским громом, но потом другие повторили вопрос, взяв себе славу первооткрывателей, — малые народы вечно затирают, и это не мания преследования, а историческая очевидность. Ученая дискуссия же стала вовсе недоступной пониманию профанов, но все же можно было уловить, что сталкивается — сперва непримиримо, а потом и вовсе враждебно — док-

трина моногляциологическая с доктриной полигляциологической, это в точности как религии — бывает единобожие, бывает многобожие. Кое-какие заявления заслуживали внимания — ну вот хоть насчет деформаций, природа которых обусловлена либо тектоническими сдвигами, либо — как же мы сами не догадались? — изостатикой, вообразите, компенсаторной эрозии. Более того, исследование пород позволяет утверждать, что горная цепь относится к молодым — в геологическом, разумеется, смысле — горам. Все это, весьма вероятно, обусловило появление трещины — ясно же, что гора, столь часто подвергаемая такому напору изнутри, в один прекрасный день не выдержит и уступит, расколется, развалится, либо — в лучшем и данном случае — треснет. Геологи ничего не знали о каменной плите в Альберийских горах, никогда ее не видели — она была далеко отсюда, на одиноком скалистом утесе, туда и близко никто не подходил. А пес по кличке Ардан погнался за крольчонком и не вернулся.

Через два дня, когда отправились члены комиссии по урегулированию пограничных споров «в поле» мерить теодолитами, смотреть в таблицы, считать на калькуляторах и сопоставлять с данными аэрофотосъемки результаты своих трудов, ко-

ими французы остались очень недовольны, ибо уже не было сомнений: расщелина, как заявил первопроходец Мигель, принадлежит Испании, — разнеслась нежданная весть о новой трещине. Про тихую Орбайсету и вовсе забыли, не вспоминали больше о разрезанной пополам речке Ирати и о Наварре — и еще раз воскликнем мы: Sic transit gloria mundi. Перелетная стая журналистов, среди которых были особи обоего пола, снялась и приземлилась на Восточных Пиренеях, в критическом, хотя, слава богу, более доступном регионе, так что спустя несколько часов там собралась неимоверная уйма пишущей братии, включая прибывших даже из Тулузы и из Барселоны. Автострады были забиты наглухо, а когда полиция обеих стран догадалась пускать машины в объезд, было уже слишком поздно — на многие километры растянулась громаднейшая пробка, воцарился рычащий и гудящий хаос, и пришлось, идя на суровые меры, заворачивать все это стадо назад, и передать невозможно, сколько было при этом повалено изгородей, сколько машин свалилось в кювет, словом, ад кромешный, и правы были древние греки, которые когда-то расположили его именно в этом месте. Очень пригодились вертолеты, железные эти стрекозы, способные садиться где угодно, а если уж совсем негде — уподобляться колибри, то есть, снизившись до самой земли, зависать неподвижно: пассажирам и лесенка не нужна, прыг — и готово, и они попадают прямо в венчик цветка, между пестиком и тычинкой, и вдыхают аромат, хоть он и перемешивается не-

редко со смрадом горелого человеческого мяса и вонью напалма. Вот бегут они, пригнув головы, скоро увидят, что же тут стряслось, кое-кто прибыл прямо с берегов Ирати, стало быть, уже имеет представление о тектонических сдвигах, но тут — дело другое.

Трещина, перерезав магистраль и всю здоровенную площадку автостоянки, уходит, постепенно сужаясь в обе стороны, по направлению к долине, змеею вьется вверх, петляет по склону горы и исчезает в чаще леса. Мы находимся на самой что ни на есть границе, стоим на демаркационной линии, на ничейной земле, на нейтральной полосе, расположенной между полицейскими постами двух стран, и над одним полощется la bandera[1], а над другим соответственно — le drapeau[2]. Благоразумно не подходя к трещине слишком близко, поскольку не исключена возможность того, что края этой раны на поверхности земли будут расходиться и дальше, власти и специалисты ведут беседу бесцельную и бессмысленную, впрочем, «беседа» — слишком громко сказано, хоть и громко звучит этот усиленный мегафонами гомон, а самые главные и ответственные лица, зайдя внутрь постов, разговари-

[1] Флаг (*исп.*).
[2] Флаг (*франц.*)

вают по телефону — друг с другом, с Парижем, с Мадридом. Едва высадившись, журналисты принимаются расспрашивать, как же дело было, и выслушивают в ответ одну и ту же историю, пусть и в нескольких версиях и вариантах, которым суждено будет обогатиться за счет собственной фантазии пишущих. Если же изложить самую суть, то первым заметил происшествие некий автомобилист, проезжавший здесь уже глубокой ночью, в темноте: почувствовав резкий толчок, от которого машину подкинуло, словно колеса попали в глубокую выбоину, он притормозил, вылез посмотреть, что такое, решив, что идут дорожные работы, покрытие меняют, а обозначить место фонарями и знаками забыли. Трещина тогда была полпяди в ширину и метра четыре в длину. Водитель — он оказался португальцем по фамилии Соуза и вез в машине жену, тестя и тещу — снова сел за руль и сказал: Похоже, мы уже на родине, вон в какую здоровенную колдобину въехали, запросто амортизаторы могли накрыться и полуось выбить. Это, как вы понимаете, была никакая не колдобина и тем более не здоровенная, но слова прозвучали удивительно кстати, слова вообще помогают, снимают страхи, смягчают остроту переживаний. Жена, не обратив особого внимания на эти важные сведения, в ответ сказала лишь: Ну надо же, — и муж решил последовать этому совету, хотя фраза супруги совета, пусть и в кратчайшем виде, не содержала вовсе, а была лишь ничего не значащим междометием, но он ухватился за слово «надо» и снова вылез из машины, осмотрел рессоры и видимых повреждений, к счастью, не обнаружил. Спустя всего несколько дней он в своей Португалии станет почти национальным героем, будет выступать по телевидению и радио, раздавать газетные интервью: Вы, сеньор Соуза, были первым кто... не поделитесь ли своими впечатлениями, — и бессчетное количество раз повторять эту историю, уснащая ее риторическим вопросом, от которого озноб пробирал слушателей, и сам он чувствовал дрожь, присущую высшей точке блаженства: Если бы трещина была такой величины, как сейчас, неужели мы бы ухнули туда, бог знает на какую глубину? — то есть более или менее точно повторил слова того галисийца, что спросил, если помните, куда же идет эта вода.

Да, вот в чем вопрос: куда? В числе первоочередных мер следовало прозондировать эту рану земли, установить ее глубину, после чего очертить круг действий, призванных заделать брешь — словечко звучит совсем по-французски, точно и выразительно, так что невольно приходит на ум, что оно и было изобретено в чаянии того момента, когда треснет земля. Тотчас прозондировали почву и определили, что глубина расщелины составляет немногим более двадцати метров — сущие пустяки для современной техники, которой вооружена передовая инженерная мысль. И вот из Франции и из Испании, из близи и дали своим ходом двинулись к месту разлома бетономешалки, интересные такие машины, проделывающие с землей во чреве своем примерно то же, что происходит с Землей в космосе, подвергающие ее тем же вращениям и перемещениям, а по прибытии в назначенный пункт вываливающие строго отмеренные потоки цемента, отличного, быстро схватывающегося цемента, куда по такому случаю добавили побольше крупного щебня. Совсем уж было собрались опорожнить все это в разверстую рану земли, когда в чью-то пытливую и изобретательную голову пришла мысль стянуть вначале ее края стальными скобками — в точности так, как исцеляли в средневековье раны телесные, — что будет способствовать рубцеванию и скорейшему заживлению. Мысль понравилась двусторонней чрезвычайной комиссии, испанские и французские металлурги тотчас принялись за предварительные исследования и расчеты, чтобы изготовить «кошки» должной прочности и нужной конфигурации, но утомлять вас техническими подробностями я не стану. Трещина проглотила пепельно-сизый поток щебенки и раствора, словно это были воды реки Ирати, уходящие в недра земли, только и слышно было гулкое эхо, как будто — пришлось допустить и такую возможность — там внизу находится исполинское дупло, некая полость, какая-то ненасытная

утроба. Ну, если так, смекнули инженеры, надо свернуть работы, смысла нет продолжать, а лучше проложить над расщелиной путепровод, это будет и проще, и экономичней, пригласим-ка итальянцев, они доки по части дуков — виа- и акве-. Однако, не знаю уж, после которой по счету тонны или кубометра, замеры показали, что дно — на шестнадцати метрах, потом на пятнадцати, на двенадцати, и уровень бетона стал повышаться да повышаться, битва была выиграна. На радостях обнялись техники, инженеры, работяги и полицейские, взметнулись флаги, теледикторы, волнуясь, прочли последние сообщения и дали собственный комментарий этому беспримерному титаническому свершению, знаменующему истинную интернациональную солидарность — ведь даже маленькая Португалия в общем порыве выслала колонну из десяти бетономешалок, и они уже направляются сюда, впереди у них свыше полутора тысяч километров долгого и трудного пути, когда они прибудут, их бетон не понадобится, но, перефразируя поэта, скажем: да не в бетоне сила! История занесет на свои скрижали их поступок, исполненный глубокого символического значения.

Когда же последние ковши бетона заровняли то место, где была трещина, всеобщее ликование достигло степени массового психоза, словно на ежегодном празднестве в честь какого-нибудь святого, с шествием богомольцев и фейерверком. Воздух оглашался беспрестанным воем клаксонов, и водители цементовозов тоже изо всех сил жали на свои avertisseurs и bocinas[1], вплетая их могучий хриплый рев в общую симфонию, а над головами воплощением высших сил, боевыми единицами небесного воинства, прямо-таки некими серафимами порхали вертолеты. Ежесекундно вспыхивали блицы фотоаппаратов, телеоператоры пробирались к закраинам несуществующей более трещины и брали крупным планом то их, то неровную бетонную кляксу, наглядно доказывавшую: человеческий гений восторжествовал над взбрыком природы. И в этот миг зрители, удобно и безопасно расположившиеся у своих телевизоров за много миль отсюда, смотревшие прямую трансляцию того, что происходило на французско-испанской границе, смеявшиеся от радости и рукоплескавшие так, словно это они свершили подвиг, вдруг увидели, как нашлепка еще сырого бетона вдруг дрогнула, подалась и стала оседать, как будто что-то медленно, но с неодолимой силой всасывало ее в себя, потом исчезла, и на ее месте вновь возникла зияющая щель. Она не увеличилась в размерах, и это могло означать только одно — дно ее находится не на двадцатиметровом уровне, а гораздо ниже, а где именно — одному богу известно. Телерепортеры вначале попятились в испуге, но затем, верные профессиональному долгу, ставшему второй натурой и чуть ли не условным рефлексом, вновь принялись снимать, и подрагивавшие камеры запечатлели искаженные лица, отхлынувшую в панике толпу, донесли до всего мира восклицания и крики. Началось всеобщее бегство, и меньше чем через минуту на опустевшей автостоянке остались только брошенные грузовики — двигатели у иных были включены, и бетономешалки продолжали вращаться, готовя новые порции раствора, который три минуты назад стал ненужным, а мгновение спустя — бесполезным.

Вот тогда впервые, пожалуй, холодок страха прополз по хребту Пиренейского полуострова и его европейских соседей. В городке Сербере, расположенном совсем близко, люди в ожидании землетрясения повыскакивали из домов на улицу, в точности как некоторое время тому назад — их псы, и говорили друг другу: В книгах возвещено — когда залают собаки, наступит конец света, хотя дело обстоит не совсем так, ни в каких книгах этого в помине нет, но в грозные минуты нам всегда почему-то требуются громкие слова, а эти — «В книгах возвещено» — неведомо почему и по какому праву занимают почетное место в подобных цитатниках. Жите-

[1] Гудки (*франц., исп.*).

ли Сербера, у которых оснований опасаться грядущих бедствий было больше, чем у кого-либо еще, стали покидать свой город, толпами устремясь туда, где почва казалась им попрочнее, надеясь, что светопреставление так далеко не зайдет. В Банюль-сюр-Мер, Пор-Вандре, Коллиуре, если говорить только о прибрежных поселениях, не осталось ни одной живой души. Что же касается мертвых, то они именно оттого, что уже были покойниками, по-прежнему пребывали в том ничем не возмутимом покое, который и отличает их от всего прочего человечества, а если кому-нибудь вздумается заявить обратное — дескать, Фернандо явился к Рикардо[1], причем один был мертв, а другой жив, — то это следует счесть плодом воспаленного воображения и ничем иным. Впрочем, один из усопших — дело было как раз в Коллиуре — заворочался немножко, словно в сомнении — идти, не идти? Но уж если идти, то не в центральную часть Франции — а куда именно он попал, мы, быть может, в свой срок узнаем[2].

В море статей, заметок, комментариев, репортажей о заседаниях разнообразных «круглых столов», заполонившем страницы газет и эфир, почти незамеченным осталась краткая реплика одного сейсмолога-ортодокса: Мне очень хотелось бы знать, почему все это происходит, а землетрясения нет? — на что другой сейсмолог, принадлежащий к современной школе, более прагматичной и гибкой, немедля откликнулся: В свое время мы удовлетворим ваше любопытство. Впрочем, житель одной деревушки на юге Испании, осведомясь об этих ученых разногласиях, совсем уж было собрался в Гранаду, чтобы сообщить господам с телевидения, что земля под ним трясется вот уже восьмой день, и отказался от своего намерения исключительно из опасений, что все равно ему никто не поверит, да и где это видано, чтобы простой, обыкновенный человек был чувствительнее к толчкам и колебаниям, чем все сейсмографы мира, вместе взятые. Судьба ли распорядилась, чтобы какой-то местный журналист взял да и прислушался к его словам, ощутил ли этот журналист прилив благожелательности, человек ли этот показался ему симпатичным, случай ли слишком необычным, но так или иначе в вечернем выпуске теленовостей прошла информация об этом феномене, правда, вместо фотографии сопроводили ее снисходительным смешком ведущего. На следующий же день португальское телевидение за неимением собственного материала воспользовалось этой темой, развернуло ее, пригласив в студию специалиста по паранормальным явлениям, который, однако, ясности не внес и объяснений не дал, о чем можно судить по его важнейшему заявлению: Как и во всех остальных случаях, все зависит от степени восприимчивости.

Много уже было говорено на этих страницах о событиях и о причинах, их породивших, говорено вдумчиво и рассудительно, с соблюдением законов логики и с опорой на здравый смысл, ибо всякому должно быть ясно и понятно, что бочку в бутылку не перельешь. А потому вопиющим вздором и сущей дичью выглядит предположение, будто прямой и непосредственной причиной того, что треснули Пиренеи, была черточка, проведенная по земле вязовой палкой, которую держала в руке некая Жоана Карда, — помните, в самом начале нашего повествования был сделан намек на это? И все же не отвергайте с порога ни этого отдельного факта, ни всей истины, заключающейся в том, что отправился Жоакин Сасса на поиски Педро Орсе, чтобы от него услышать о событиях той ночи, и в том, что сказал ему.

---

[1] Одним из двойников-«гетеронимов» португальского поэта Фернандо Пессоа (1888—1935) был Рикардо Рейс. Жозе Сарамаго сделал его главным героем своего предыдущего романа, «Год смерти Рикардо Рейса» (1984), на страницах которого происходит встреча вернувшегося из Бразилии Рейса со своим создателем — Ф. Пессоа, к моменту описываемых событий уже покойным.

[2] После поражения республиканцев испанский поэт Антонио Мачадо (1875—1939) бежал во Францию и умер вскоре после перехода границы. Похоронен в городе Коллиуре.

Любящую мать, Европу, встревожила судьба ее западных окраин. На всем протяжении пиренейской горной цепи трескался гранит, множились расщелины, перерезая новые и новые магистрали, отводя течение рек и ручьев в недра земли, в неведомые и невидимые глубины. С воздуха было видно, что в тех местах, где заснеженные вершины гор рассекает стремительная черная линия, похожая на цепочку рассыпанного пороха, происходит беззвучный сход лавин, бесследно исчезает снег. В небесах, озирая пики и плато, хребты и плоскогорья, без устали шныряли вертолеты, набитые учеными и специалистами всех видов, какие только могли бы пригодиться в данных обстоятельствах, — геологами, имевшими законное право заниматься этими проблемами, хоть их поле деятельности и заполонили ныне коллеги из смежных областей знания; сейсмологами, озабоченными прежде всего тем, что земля по-прежнему не обнаруживала никаких признаков трясения — даже не вздрогнула ни разу, ни малейшей вибрации; вулканологами, надеявшимися, что и они пригодятся. Небо было чистым, ни дыма, ни пламени не замечалось в безмятежно ясной августовской лазури, а цепочка порошинок приплетена сюда исключительно для сравнения, зачем же воспринимать его и другие выразительные средства буквально? Не в силах человеческих было помочь Пиренеям, которые без видимых мук и страданий вдруг лопнули, как переспелый гранат, и потому только — да кто мы такие, чтобы судить об этом, и дано ли нам это знать? — что созрел этот плод, пришло его время. Спустя лишь двое суток после того, как Педро Орсе сообщил телевизионщикам уже известное нам, стало невозможно добраться от атлантического побережья до средиземноморского по суше — ни пешком, ни верхом, ни на поезде. А в низменных краях по обеим оконечностям полуострова океан и море стали теперь вливаться в новые, неведомые прежде бухты и заливы, остроконечные скалистые берега которых делались все выше, все более отвесными, будто по линейке прочертили вертикальную линию, и гладкий, как отполированный, срез показывал древние и новые геологические пласты и напластования, синклинали[1], глинистые отложения, исполинскую чечевицу известняков, слоеное тесто песчаников и сланцев, черные кремниевые вкрапления, гранит и многое-многое другое, о чем упоминать не будем из-за недостатка времени и слабого знакомства с вопросом. И вот теперь стало наконец понятно, что следовало бы ответить тому галисийцу, который спросил: Куда же девается вся эта вода? В море идет, — могли бы мы сказать ему сейчас, мельчайшим дождем, водяной пылью, водопадами — в зависимости от того, с какой высоты и сколь бурно текла эта река, нет-нет, речь не об Ирати, она далеко, но, пари держу, все там станет как всегда, придет в соответствие с тем, что нам привычно и известно: заиграют блики на водной глади, может, и радуга вспыхнет, когда солнцу удастся проникнуть в эти сумрачные глубины.

В радиусе ста километров по обе стороны границы люди покидали свои жилища, торопясь укрыться в относительной безопасности внутренних районов, и особенно незавидной сделалась участь Андорры[2], о которой мы позабыли упомянуть, и если бы не эта наша и не только наша извечная и непростительная оплошность, малые страны, глядишь, могли бы стать побольше. Поначалу вообще не знали, где же остановится разлом и остановится ли вообще, ибо полз он во все стороны разом, не признавая границ, а каждый из местных жителей — испанцев, французов и граждан Андорры — тяготел к своим соплеменникам, руководствовался сиюминутными соображениями и расчетом, отчего и нависла угроза над целостностью семей и прочими, извините, ячейками общества. Когда же линия разлома наконец установилась как раз на границе с Францией, несколько тысяч жителей были эва-

---

[1] Синклиналь — складка слоев горных пород, обращенная выпуклостью вниз. Внутренняя часть ее сложена более молодыми отложениями, внешняя — более древними.

[2] Государство в Пиренеях величиной в 465 кв.км, расположенное как раз на границе между Францией и Испанией; государственные языки — испанский и французский.

куированы из зоны бедствия по воздуху, и эта блестящая операция получила кодовое название «Епископская митра», что вызвало у епископа Ургельского, невольного ее вдохновителя, сильное неудовольствие, которое, впрочем, не сумело отравить радость архипастыря от того, что он в будущем останется единственным и полновластным духовным владыкой этих земель, если, конечно, лишившись естественной опоры со стороны Испании, те не обрушатся в море. В полосе отчуждения, возникшей после всеобщей эвакуации, бродили теперь, рискуя жизнью, только особые отряды, перебрасываемые туда вертолетами, готовыми в любую минуту, при появлении первых же признаков какой бы то ни было геологической нестабильности эвакуировать личный состав — хорош военный язык, а? — да мародеры, которые при начале всяких бедствий неизбежно выползают из своих нор, а может, вылупляются из змеиных яиц и устремляются в районы катастроф, как мухи на мед, и тут оказывается — влипли, ибо военные, застигнув кого-нибудь из злоумышленников на месте преступления, на месте же их и кончают, так что мародеры тоже рисковали жизнью и молились каждый своему богу: всякое человеческое существо вправе уповать на милосердие и защиту со стороны того, в кого верует, а в виде оправдания им скажем все же, что бросивший собственный свой, родной дом недостоин делается жить в нем и пользоваться предоставляемыми им благами, а кроме того, справедлива пословица: «Как пшеницу клевать, так все тут, а как ответ держать, так один воробей», и пусть каждый из вас сам решает, соответствует ли всеобъемлющая народная мудрость данному конкретному случаю.

Здесь уместно будет в очередной раз посетовать, что наше правдивое повествование — не оперное либретто, ибо в этом случае мы бы выпустили на сцену сразу двадцать лирических теноров, драматических баритонов и колоратурных сопрано и все они, то поочередно, то в унисон, повели бы свои партии, а вы в итоге узнали бы, как заседали испанское правительство и португальский кабинет министров, как оборвались линии энергопередач, какое заявление сделал Европейский союз, какую позицию занял блок НАТО, какая паника началась среди туристов, как с боем брали места в самолетах, как в результате диких заторов безнадежно закупорились шоссе и автострады, как повстречались Жоакин Сасса и Жозе Анайсо и как потом встретились они оба с Педро Орсе, какое беспокойство обуяло испанских быков и португальских кобыл, какая тревога охватила средиземноморские курорты, какое беспорядочное бегство началось из богатых и славных столиц: пожалуй, еще немного — и двадцати певцов нам не хватит. Люди любознательные, не говоря уж о недоверчивых скептиках, несомненно, пожелают осведомиться о том, что послужило причиной такого множества столь разнообразных и столь серьезных событий, — им, видимо, недостаточно веской причиной кажется, что треснул и расселся горный хребет, что реки обратились в водопады, что моря, на протяжении миллионов лет отступавшие от суши, теперь на несколько километров придвинулись к ней. Но тут, в этой роковой точке, перо мое невольно замедляет свой бег, ибо я, право, теряюсь, не зная, как облечь в приемлемую форму нижеследующие строки, ибо они окончательно и бесповоротно поставят под сомнение достоверность излагаемых мною событий, тем более что и так становится все труднее не запутаться, если это вообще возможно, между правдой и фантазиями. Но раз взялись, надо договаривать, а заминка пусть объясняется безмерностью усилий, которые надо приложить, чтобы преобразовать словом то, что, в сущности, лишь словом и может быть преобразовано, и признаем, что пришел наконец момент сообщить вам нечто невероятное — Иберийский полуостров вдруг, весь разом и целиком, отделился от материка метров на десять; сверху донизу раскололись Пиренеи, словно пал с заоблачных высот исполинский невидимый топор, глубоко врезался в них, рассек до самого основания, сдвинув глыбу земли и камня в море. И вот теперь и в самом деле можно вновь увидеть реку Ирати — бесконечной, тысячеметровой блистаю-

щей лентой она низвергается в свободном полете вниз, подставляя себя ветру и солнцу, переливаясь, словно хрустальное опахало, играя всеми красками и цветами, словно хвост райской птицы: это вознеслась над пропастью первая радуга, и закружилась голова у первой чайки, чьи распростертые крылья окрасились семью цветами.

Проходит время, путаются в памяти события, едва ли не напрочь стираются различия между истиной единственной и множеством истин других — а ведь как ясна, цепка и безгранична была она прежде! — и тогда, желая получить то, что мы с таким самомнением обозвали «фактической достоверностью», мы обращаемся за помощью к свидетельствам эпохи, к документам, газетным статьям, видеозаписям и кинохронике, к личным дневникам, к полуистлевшим папирусам и пергаментам, особенно ценя палимпсесты[1], мы расспрашиваем выживших и доживших, и, отвечая на доверие доверчивостью, стараемся поверить тому, что видел и слышал в детстве глубокий старец, и пытаемся вывести из всего этого умозаключение, и в отсутствие непреложных доказательств принимаем как данность заведомый вздор, вроде того, что даже когда оборвались линии электропередач, подобного страха на полуострове не было, хотя недавно нам было сообщено совершенно обратное — возникла паника, но не будем придираться к словам: страх — одно, а паника — нечто другое, калибр не тот. Разумеется, многим живо врезалось в память, как под крики «Ура!» и «Победа!», на глазах у тех, кто испускал эти ликующие вопли, всосала в себя черная трещина кубометры бетона, но этот драматический эпизод по-настоящему потряс лишь видевших его собственными глазами, а другие наблюдали его издали, у себя в квартире, в партере домашнего театра, перед заменяющим сцену прямоугольником телеэкрана, этим волшебным фонарем, где одна картинка бесследно смывается другой и все происходит как бы вполнакала, под сурдинку. И даже те, в ком еще не совсем остыли чувства — есть все же еще и такие, — те, кто из-за сущих пустяков готов пустить слезу и судорожно сглатывает комок в горле, даже они, когда становится невмоготу смотреть на голод в Эфиопии и на прочие ужасы, научились отводить глаза. Помимо всего прочего, не следует забывать и о том, что на весьма обширных пространствах полуострова, в самой глубокой его глубинке, куда не приходят газеты и где больших трудов стоит уразуметь, о чем толкуют в телевизоре, живут миллионы, да-да, миллионы людей, которые либо вовсе не понимают, что творится, либо имеют об этом самое смутное и расплывчатое представление, состоящее всего лишь из слов, понятых хорошо если наполовину, а то и того меньше, представление столь зыбкое и неопределенное, что человек, право, не видит большой разницы между тем, что якобы известно одному, и тем, что совершенно невдомек другому.

Но когда на всем полуострове разом погас свет и воцарилась тьма — кромешная, как принято говорить в Испании, хоть глаз выколи, как выражаются португальцы, склонные к образному мышлению, — когда пятьсот восемьдесят одна тысяча квадратных километров сделались невидимы, то сомнений ни у кого уже не осталось — свет погас потому, что настал конец света. Продолжалось это полное затмение никак не больше пятнадцати минут, по истечении коих включили аварийные системы энергоснабжения и перешли на автономные источники питания, а их, как на грех, в это время года, в самый разгар знойного и сухого августа, когда пересыхают лагуны и ставят на профилактику теплоцентрали, задействовать было нелегко, атомных же станций, будь они неладны, мы пока не наладили, — но за эти четверть часа начался в масштабах полуострова настоящий пандемониум, словно все черти вырвались из преисподней и все ведьмы собрались на свой шабаш, и никакое землетрясение не произвело бы столь пагубного морального воздействия, не ввергло бы

[1] Палимпсест — древняя рукопись, написанная на пергаменте после того, как с него счищен прежний текст.

жителей в столь беспросветный — вот уж точно — ужас. Произошло все это вечером, когда большинство граждан уже вернулось со службы к домашним очагам и кое-кто уже уселся перед телевизором в ожидании ужина, который готовила жена на кухне, а самые добросовестные отцы взялись, помогая чадам своим, решать задачку по арифметике, и никакого особого блаженства никто не испытывал, все как всегда — и лишь когда обрушилась на нас тьма, словно опрокинули на всю Иберию ведро с чернилами, вот тут выяснилось в полной мере истинное значение этого недооцененного счастья, вот тут и взмолились мы: Господи Боже, не лишай нас света, верни его нам, и, клянусь, до скончания века не буду больше взывать к тебе и просить тебя ни о чем не буду, — так говорили раскаявшиеся грешники, по природе своей склонные к преувеличениям. Жившим в низине почудилось в тот миг, что они очутились в наглухо закрытом колодце, жившие в горах поднялись на вершину и увидели, то есть не увидели — насколько хватало взгляда, на тысячи миль вокруг — ни единого огонька, и казалось, что планета наша свернула со своей орбиты и мчится теперь в иной, бессолнечной системе. Дрожащими руками затепливали свечи, включали фонари на батарейках, разжигали керосиновые лампы, сберегаемые на всякий — но не на такой же! — случай, доставали изящные серебряные канделябры и бронзовые, тонкой работы, шандалы, раньше стоявшие лишь для красоты, и латунные убогие подсвечники, и вовсе позабытые масляные коптилки, и их неверный свет не столько разгонял тьму, сколько населял ее призрачными страшными тенями, выхватывал из нее на миг лица испуганные, смятенные, разъятые на части, зыбко подрагивающие, как блики на воде. Женщины голосили, мужчины тряслись, дети, говорят, все до единого ударились в дружный рев. Но через пятнадцать минут, показавшихся всем, извините за избитый оборот, пятнадцатью столетиями, хотя никому не довелось прожить столько и, значит, получить право на такое сравнение, свет стал понемногу возвращаться — замерцал, задрожал, и каждая лампа, точно ее внезапно разбудили, обводила вокруг себя мутным взглядом, помаргивая, щурясь и словно раздумывая, не соскользнуть ли вновь в сонное забытье, но потом привыкала к ею же даваемому свету и разгоралась ровно и ярко.

Еще через полчаса возобновившие вещание телевидение и радио сообщили о происшествии, и тогда мы узнали, что оборвались все высоковольтные провода на линиях электропередач между Испанией и Францией, кое-где рухнули опоры и столбы, а инженеры по непростительному разгильдяйству позабыли отключить питание. К счастью, фейерверк короткого замыкания не повлек за собой жертв среди населения — какой все же бессовестный эгоизм звучит в этой фразе: да, люди не пострадали, но один, по крайней мере, волк, не успевший увернуться от испепеляющего удара рукотворной молнии, превратился в дымящуюся головешку. Однако объяснять тьму на полуострове обрывом проводов — это лишь половина правды, а другая половина, хоть и была сознательно облечена в недоступные разумению обывателя технические термины, призванные запутать его, вскрылась очень скоро, ибо каждый считал своим долгом просветить соседа: Они просто не хотят признаться в том, что дело не только в трещинах на земле, в этом случае провода бы не оборвались. А в чем же еще, по-вашему? Да ясно же как день, хоть мы и оказались во мраке ночи, что провода лопнули от чрезмерного натяжения, а натяжение возникло оттого, лопни мои глаза, что земля сдвинулась. Да что вы говорите? То, что слышите, и погодите, скоро и они сами это признают. Целы остались соседские глаза, ибо, хоть и не сразу, но все же на следующий день, когда слухи и сплетни размножились до такой степени, что уже никакое новое, пусть самое правдивое, известие не могло бы усилить всеобщее смятение, было сказано, пусть не все до конца и не слишком внятно, что из-за изменения геологической структуры пиренейского горного хребта сместились почвенные пласты, что повлекло за собой обрыв коммуникаций, проложен-

ных между Францией и полуостровом, но власти внимательно следят за развитием ситуации, воздушное сообщение не прервано, все аэропорты открыты и функционируют на полную мощность, и более того, имеется возможность начиная с завтрашнего дня удвоить количество авиарейсов.

Это оказалось более чем своевременным. Как только со всей очевидностью стало ясно, что Иберийский полуостров отделился от Европейского континента, сотни тысяч туристов — вспомним, что дело было в самый разгар сезона, — опрометью, не тратя времени на оплату счетов, ринулись вон из своих отелей, мотелей, пансионатов, меблированных комнат и арендованных особняков, из кемпингов и вилл, из палаток, с постоялых дворов, странноприимных домов и караван-сараев, отчего на всех автострадах возникли чудовищные заторы, и еще больше ситуация осложнилась, когда владельцы стали свои автомобили бросать где попало и это превратилось в цепную реакцию, ибо так уж устроен человек, что в большинстве случаев не сразу осознает весь трагизм ситуации и делает правильные выводы, вроде, например, такого: Зачем нужна машина, если дороги во Францию перерезаны? И вскоре все пространство, прилегающее к аэропортам, было запружено неимоверным количеством автомобилей всех размеров, видов, моделей, марок и цветов, наглухо забивших все улицы и подъездные пути и окончательно дезорганизовавших бытие местных жителей. Испанцы и португальцы, уже успев оправиться от пятнадцатиминутного затмения, хладнокровно взирали на эту панику, находя ее совершенно безосновательной и рассуждая примерно так: В конце концов, никто пока не умер, и до чего же легко эти иностранцы, стоит чуть-чуть сойти с накатанной колеи, теряют голову: оттого, надо думать, что донельзя избаловались своими научными открытиями и техническими достижениями, — а произнеся эту осуждающую тираду, шли выбирать себе среди брошенных машин ту, какая больше приглянется, о какой слаще всего мечталось.

А в аэропортах, где стойки авиакомпаний осаждали взбудораженные, взвинченные толпы, происходило истинное вавилонское столпотворение, звучали разноязыкие крики, сопровождаемые яростной жестикуляцией, предлагались — и принимались — никогда не слыханные прежде взятки за получение билета, продавалось и, соответственно, покупалось решительно все — драгоценности, автомобили, туалеты, наркотики, причем открыто: вон стоит «мерседес», ключи в замке, документы на сиденье, нет билета до Брюсселя, устрой куда угодно, хоть в Стамбул, хоть к черту на рога, хоть в самый ад, лишь бы выбраться отсюда, но не стоит на основании этих в запале высказанных слов выносить суждение, будто щедрый турист относится к числу тех, кто согласен приплатить, чтобы из огня попасть в полымя. Перегруженным компьютерам не хватало памяти, они путались, зависали, давали сбои, допускали ошибки, покуда наконец не произошла полная блокировка системы. Когда перестали продавать билеты, толпа ринулась на штурм самолетов, пропуская вперед мужчин, поскольку мужчины сильнее, а уж потом слабых женщин и невинных детей, и среди тех и других немало было затоптанных и раздавленных — первые жертвы, за которыми не замедлили последовать жертвы вторые и третьи, и так продолжалось, покуда того, кому пришла в голову трагическая мысль расчистить себе путь с пистолетом в руке, не схватила полиция. Тут началась перестрелка, многие в толпе оказались при оружии, которое тотчас пустили в ход, и надо ли говорить, что случилось, а потом еще в двух-трех местах повторилось, хоть и не с такими тяжкими последствиями, настоящее несчастье: восемнадцать трупов насчитали потом в этом аэропорту.

Внезапно кого-то осенило: можно бежать и морем, и тогда начался новый исход. Беглецы отхлынули от аэропортов, принялись искать свои брошенные машины, порою находили их, а чаще — нет, но важно то, что, найдя машину, но не обнаружив ключей или обнаружив, что они не подходят — бывает же и такое, — заво-

дили мотор, подсоединив провода зажигания напрямую, и кто не умел, быстро научился, и стали Испания с Португалией сущим раем для угонщиков. Прибыв в портовые города, бросались нанимать какой-нибудь челнок, ялик, гичку, шлюпку, лодку, но лучше всего — рыбачий баркас под парусом и в уплату за это оставляли на проклятом берегу свои последние пожитки и пускались в плавание в чем были, ну разве что у одного, помимо этого, оставался в кармане носовой платок не первой свежести, у другого — грошовая да к тому же и пустая зажигалка, а на шее у третьего — галстук, на который никто не польстился, и ей-богу, нехорошо, что мы с такой свирепостью извлекали выгоду из чужой беды и вели себя ничем не лучше мародеров, растаскивающих все, что после кораблекрушения волна прибила к берегу. Бедолаги высаживались там, докуда их довозили, — кто в Ибисе, кто на Мальорке или Минорке, кто на Форментере, кто на островах Кабрера и Конехера — и оказывались там, фигурально выражаясь, между молотом и наковальней: ну, разумеется, острова покуда не двигались с места, но кому же ведомо, что завтра-то будет: Пиренеи тоже, казалось, простоят до второго пришествия, а вон ведь как вышло-то и чем обернулось. Многие тысячи устремились в Марокко, отплывая на Африканский континент либо из Алгарве, либо с испанского берега, но это те, кто оказался у самой нижней кромки карты полуострова; те же, кого занесло на север, желали попасть прямо в Европу и, должно быть, спрашивали так: Сколько возьмете, чтобы доставить меня в Европу? — а шкипер хмурил лоб, супил брови, глядел на беглеца, оценивая его финансовые возможности, отвечал: Прямо уж и не знаю, больно далеко до Европы до твоей, и, право, не стоило возражать на это: Ну зачем же преувеличивать, совсем рядом, рукой подать, — один голландец решился так ответить, а какой-то швед ему поддакнуть, им тогда и сказали: Ах, рукой подать? Вот и давай вплавь! — и обоим пришлось долго еще упрашивать, извиняться и уплатить вдвое. Подобный бизнес процветал до тех пор, пока иностранные державы для массовой эвакуации своих граждан не установили воздушные мосты, но и после этого благородного и гуманного начинания находились те, кто предпочитал осыпать деньгами славных представителей моряцкого и рыбацкого сословий, ибо следует помнить, что далеко не все плавающие и путешествующие делают это вполне легально, и вот они-то согласны были платить сколько скажут, тем более что иного выхода у них не было — все побережье патрулировали, проявляя неусыпную бдительность, испанские и португальские сторожевики под негласным, но зорким присмотром, который осуществляли флоты великих держав.

Впрочем, находились и такие туристы, кто решал никуда не бежать, а принять геологические передряги как роковую неизбежность, как указующе наставленный перст судьбы: они отписали на родину, прося своих домашних не поминать лихом за то, что поменяли жизнь и среду обитания, так уж вышло, они в этом не виноваты; и хоть были это в большинстве своем люди слабовольные, склонные откладывать решение проблем на завтра, это вовсе не значит, что у них нет мечтаний и тайных желаний: беда в том, что они обычно умирают прежде, чем удается осуществить самую малую их толику. Были и такие, что действовали втихую, писем не писали, а просто исчезали бесследно, и сами все забыв, и сделав все, чтобы их забыли, и история того, кем и чем удалось или не удалось — ведь двух одинаковых людей на свете нет — стать любой из подобных особей, сама по себе может послужить сюжетом увлекательного романа.

Но есть люди, влачащие на себе бремя обязательств и обязанностей более тяжкое, чем лежит на простых смертных, и вот им бежать не пристало, и когда дела у отчизны не ладятся, именно про них в первую очередь мы и спрашиваем: Ну, а эти-то что, что они намерены предпринять? чего ждут? — и торопимся обличать облеченных нашим доверием, и наше законное нетерпение становится частью великой несправедливости, ибо и ответственные лица тоже, бедняги, под богом ходят и от

судьбы уйти не могут, и самое большее, на что они способны, — это подать президенту прошение об отставке, но, конечно, в такой обстановке это было бы настоящим позором, и история сурово осудит тех общественных и государственных деятелей, кто решится на такой шаг в данных обстоятельствах, во дни, когда, собственно говоря, все летит кувырком. И в Португалии, и в Испании правительства выпускали обнадеживающие и успокаивающие обращения, официально заявляли, что ситуация не дает повода для особого беспокойства — странный язык: какой уж там повод, давно вырвались поводья из рук — и что принимаются все надлежащие меры для обеспечения безопасности граждан и их собственности; председатели правительств сначала сами появились на телеэкране, а за ними, чтобы внести мир в смятенные души, обратились к своим нациям их главы — там король, тут президент. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears[1], говорили они, а их подданные, собравшись на свои форумы, отвечали им в один голос: Да уж ладно, теперь-то чего уж удостаивать, добавляя цитату из того же драматурга: все это — words, words, не более чем words. Приняв во внимание явное неудовольствие общественного мнения, собрались премьер-министры на тайную встречу и беседовали сначала с глазу на глаз, а потом позвали членов своих кабинетов и держали с ними совет то с каждым по отдельности, то со всеми вместе и по завершении двухдневных изнурительных переговоров решили создать на паритетных началах антикризисный комитет, первой и главной задачей коего станет координация действий подразделений гражданской обороны обеих стран, с тем чтобы всемерно облегчить объединение сил и средств, долженствующих дать достойный отпор геологическому бедствию, из-за которого полуостров уже отделился от остальной Европы на десять метров, и если, как шушукались в кулуарах, не пойдет дальше, то, глядишь, и обойдется, и, кроме того, умоем греков, получив бесплатно канал побольше ихнего Коринфского залива. И все же, господа, не следует сбрасывать со счетов то обстоятельство, что наши отношения с Европой, и так уже в силу исторических причин достаточно напряженные, могут осложниться еще более и тогда ситуация примет взрывоопасный характер. В случае чего — мостов понастроим. Меня, господа, сильнее всего тревожит перспектива дальнейшего расширения акватории пролива, и если он станет проходимым для крупнотоннажных судов, особенно нефтеналивных, это нанесет сокрушительный удар по иберийским портам со всеми вытекающими из этого важнейшими последствиями: ведь достаточно вспомнить — mutatis mutandis[2], разумеется, — какие события последовали за открытием Суэцкого канала, то есть я хочу сказать, что север и юг Европы смогут сообщаться напрямую, а Гибралтар, так сказать, отставить от дел[3]. А когда попросите уплатить деньги за проход через территориальные воды, скажут вам «Держи карман шире», пробурчал тут один из членов португальской делегации, и присутствующие расценили эту реплику как обещание грядущих неисчислимых доходов, прибылей и барышей, которые принесет новый канал, и только мы, соотечественники его, говорящие на одном с ним языке, могли бы понять, что карман следует растопырить для химер и миражей, обманов и разочарований, ибо смысл сего речения следует понимать так: Англичане остаются с мысом, а мы — с носом.

Во время этого заседания, как и было условлено заранее, Совет Европы обнародовал официальное и весьма велеречивое заявление, где давалось понять, что на-

---

[1] «О римляне, сограждане, друзья, меня своим вниманьем удостойте» — так начинается монолог Антония из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». Далее следует реплика Гамлета: «Слова, слова, слова».

[2] Внеся соответствующие изменения (*лат.*).

[3] Следует пояснить, что Гибралтар находится на юге Пиренейского полуострова, на мысе Гибралтар, который состоит из так называемой Скалы и песчаного перешейка, причленяющего его к полуострову. С 1702 г. это британское владение, отделенное от Испании нейтральной зоной, военно-морская база и транзитный порт.

метившийся дрейф иберийских стран к западу никоим образом не лишает законной силы ранее заключенные с ними договоры, тем паче что и отплыли они от континента на несколько пустячных метров — всего-то! — на ничтожное расстояние, если сравнить его с тем, которое отделяет от Европы Англию, не говоря уж про Исландию или Гренландию — те и вовсе где-то на отшибе. Заявление это при всей своей ясности стало причиной острой дискуссии в комитете, поскольку иным его членам показалось, будто кое-кто из стран-участниц ЕС проявил известную развязность — вот оно, то самое слово! — намекнув, что если пиренейцы отделились, то, значит, туда им и дорога, и напрасно их приняли в респектабельное европейское сообщество. Разумеется, разумеется, это не более чем шутка, joke, так сказать, участники сложных и трудных международных заседаний тоже ведь люди, им тоже нужна разрядка, нельзя же так — все работа да работа, однако португальский и испанский делегаты дали гневную отповедь этому полупровокационному высказыванию, вступившему в вопиющее противоречие с духом и буквой сообщества, причем оба очень уместно привели — каждый на своем языке — известную поговорку «Друг познается в беде». Вслед за тем попросили генерального секретаря НАТО сделать заявление о незыблемости принципов атлантической солидарности, но в ответ получили хоть и не отказ, но странноватую фразу, публикации не подлежащую и подлежащего не содержащую. «Wait and see»[1], ответил генеральный секретарь, после чего распорядился перевести на режим повышенной боеготовности военные базы в Беже, Роте, на Гибралтаре, в Эль-Ферроле, в Торрехон-де-Ардосе, Картахене и Сан-Хурхо-де-Валенсуэла.

А Пиренейский полуостров тем временем, словно пробуя силы, отодвинулся еще немножко — на метр, на два. Провода и кабели, протянутые от края до края наподобие тех бумажных ленточек-контролек, которыми пожарники и ремонтники заклеивают трещину на стене дома, желая удостовериться, что она не поползла дальше, грозя обрушить и стену, и дом, лопнули вот именно как бумажные ленточки, а самые толстые и прочные с корнем вырвали деревья, снесли с опор столбы, к которым были прикреплены. Потом наступила пауза, потом пронеслось в воздухе некое дуновение, словно кто-то, очнувшись ото сна, глубоко вздохнул и с силой выдохнул, а потом вся громада земли и камня, покрытая городами и селами, реками и озерами, полями и лугами, заводами и фабриками, дремучими лесами и тучными нивами, со всеми своими людьми и зверями двинулась, поплыла, обратилась в корабль, выходящий из бухты в открытое — давным-давно кем-то открытое — и опять ставшее неведомым море.

В португальских краях это дерево называется кордовил, или кордовеза, или кордовия, все равно, каким из трех имен его окрестить, разницы нет никакой, в каждом слышится упоминание о Кордове, но вот ведь странность: плоды его за размеры и красоту сами кордовцы зовут «королевскими маслинами», а не, скажем, кордобесами, хотя место, где они растут и где мы находимся сейчас, ближе к городу Кордове, чем к границе с Португалией. Скажут нам, что эти подробности вполне можно было опустить, что отлично обошлись бы без них, без этих рулад и фиоритур, к чему они, спросят нас, в простом и безыскусном нашем напеве, мечтающем стать крылатым, как настоящая музыка, ведь куда важней рассказать о тех троих, что сидят под этой самой оливой, — о Педро Орсе, о Жоакине Сассе и о третьем, о Жозе Анайсо, и неведомо нам, чудесное ли стечение случайностей свело их, или же встреча произошла в итоге намеренных и ревностных стараний. И все же если мы упомянем, что эта олива называется кордовией, то, по крайней мере, поймем, какие неслыханные упущения допустили, к примеру, евангелисты, когда, ограничившись упоминанием о том, что Иисус проклял смоковницу, сочли, что этого нам

[1] *Здесь:* Там видно будет *(англ.)*.

более чем достаточно. А вот и нет, совсем даже недостаточно — двадцать столетий минуло, а до сих пор не знаем, белые фиги давало злополучное дерево или же черные, скороспелки это были или поздние плоды, каплевидные или сплюснутые с боков, и хотя священная история никакого ущерба от незнания всех этих обстоятельств не претерпела, зато историческая правда пострадала наверняка. Ну, стало быть, есть олива, она же кордовия, и у подножия ее сидят трое. Во-он за теми горами — впрочем, отсюда все равно не видно — находится городок, где жил да поживал Педро Орсе, и так уж вышло, что человек этот носит то же имя, что и место, откуда он родом, и это отнюдь не умаляет правдивости нашей истории, хоть, правда, и достоверности ей не прибавляет: человека могут звать Кабеса-де-Вака, а он не мясник, а другого, скажем, Мау-Темпо, а он ни малейшего отношения к метеорологии не имеет[1]. Я же говорю, бывают случайности, а бывают и подтасовочки, хоть и сделанные от чистого сердца.

Итак, сидят они на земле, а перед ними глухо, оттого что батареи садятся, бубнит транзистор, и вот что он бубнит голосом диктора: Как показали последние замеры, скорость движения полуострова сейчас стабилизировалась на семистах пятидесяти метрах в час, то есть равняется приблизительно восемнадцати километрам в сутки, что на первый взгляд и немного, но все же означает, что мы ежеминутно удаляемся от Европы на двенадцать с половиной метров, а потому, не впадая в безответственную панику, признаем ситуацию весьма серьезной. Еще бы не признать, если каждую секунду нас на два с лишним сантиметра тащит от Европы, прокомментировал это сообщение Жозе Анайсо, наскоро, не возясь с десятыми и сотыми, прикинувший в уме примерный порядок цифр. Жоакин Сасса попросил его помолчать — он хотел послушать, что дальше скажут, и послушать, как выяснилось, стоило: По сообщениям, только что поступившим к нам в студию, замечена глубокая расщелина, проходящая между Ла-Линеа[2] и Гибралтаром, в результате чего, как и следовало ожидать, принимая во внимание необратимый характер, который приняли теперь разломы, мыс этот, иначе именуемый Эль-Пеньон, вскоре превратится в часть суши, окруженную со всех сторон водой, то есть в остров, и в более чем вероятном случае такого исхода мы не вправе будем винить в этом Англию — виноваты мы все, виновата Испания в том, что вовремя не смогла вернуть себе эту священную часть нашей отчизны, а теперь уже слишком поздно, и Гибралтар нас покидает навеки. Художник слова, заметил Педро Орсе, но диктор, видно, совладал с душевным волнением и сменил тон: Британское правительство направило министерству иностранных дел Испании ноту, в которой, вновь доказывая свои более чем сомнительные права на Гибралтар, которые, цитирую, ныне подтверждены тем несомненным фактом, что Гибралтар отделился от Испании, конец цитаты, заявляет о том, что в одностороннем и окончательном порядке прерывает всякие переговоры о государственной принадлежности мыса. Стало быть, поскрипит еще Британская империя, сказал Жозе Анайсо. Оппозиция ее величества, продолжал между тем диктор, внесла в парламент запрос, настоятельно требуя, чтобы северная часть будущего новообразовавшегося острова была немедленно укреплена и превращена в неприступный бастион и гордый форпост, символ британской мощи в Атлантике. Совсем спятили, пробормотал Педро Орсе, глядя на высившиеся прямо перед ним вершины Сагры. Со своей стороны, правительство ее величества, стремясь ко всемерному смягчению политических последствий такого восстановления исторической справедливости, ответило, что Гибралтар и в новых геостратегических условиях останется одной из жемчужин в короне Британской империи. Произнеся все это,

---

[1] Кабеса-де-Вака (cabeza de vaca) — «коровья голова» (*исп.*); Мау-Темпо (mau-tempo) — «непогода, ненастье» (*португ.*) Это имя носят несколько поколений героев романа Жозе Сарамаго «Поднявшиеся с земли».

[2] Город к северу от Гибралтара (провинция Кадис).

ведущий со словами: Через час мы вновь встретимся с вами в эфире, — распрощался. Над остроконечной вершиной горы — фр-р-р-р — тайфуном пронеслась стая скворцов. Твои? — спросил Жоакин Касса, и Жозе Анайсо, даже не поднимая головы, ответил: Мои, ему ли было не знать — с того дня, как они впервые повстречались на зеленых полях Рибатежо[1], человек и скворцы почти не расставались, разве что делали краткие перерывы на обед и на сон: человек ведь ни червячков, ни оброненных зерен не ест, а птицы ночуют в ветвях, и постель им без надобности. Стая, распластав крылья, заложила длинный плавный вираж, скворцы точно впитывали клювами воздух, солнечный свет, небесную лазурь, подернутую кое-где редкими облачками — белые и пушистые, они плывут в поднебесье, как эскадра галеонов, а люди — и эти трое, и все прочие — глядят на все эти разные разности и, как всегда, не очень-то понимают их значение.

Надо сказать, что Жоакин Касса, Педро Орсе и Жозе Анайсо пришли сюда из трех противоположных точек не затем, чтобы в приятном обществе послушать радиоприемник с подсевшими батарейками. Три минуты назад мы узнали, что один, Педро Орсе, живет в городке, скрытом за перевалом; с самого начала нам было известно, что другой — Жоакин Касса — пришел с северного побережья Португалии, и теперь настал наконец момент сообщить вам, что третий, носящий имя Жозе Анайсо, когда повстречал стаю скворцов, бродил по полям Рибатежо, о чем, впрочем, вы бы и сами догадались, будь сельский ландшафт описан поподробнее. Теперь осталось только выяснить, как они сошлись здесь, причем тайно, для чего уселись под этой оливой, единственной среди редких и робких карликов, вцепившихся корнями в белесую почву, и в воздухе дрожит знойное марево — андалусийская жара, хоть мы и сидим как бы на дне чаши, образованной горами, заставляет нас обратить внимание на все эти материальные подробности, войти в реальный мир, а вернее — она распахивает перед нами ведущую туда дверь.

По здравом размышлении признаем, что нет начала ни для вещей, ни для людей, все, что когда-либо началось, началось на самом деле много раньше — взять, чтобы далеко не ходить за примером, хоть этот вот листок бумаги: если излагать его историю всю целиком и в соответствии с истиной, придется забираться в самые начала времен — множественное число употреблено здесь намеренно, — да и то есть основания предполагать, что начала эти окажутся всего лишь перевалочными пунктами, постоялыми, если угодно, дворами, почтовыми станциями, ступенями, притом далеко не первыми, — боже, как это бедные наши мозги выдерживают такую нагрузку? А с другой стороны, и восхититься ими можно — свихнуться они могут от чего угодно, а от этого — нет.

Ну, значит, мы договорились: начала — нет, но все же была минута, когда Жоакин Касса выехал оттуда, где находился, с пляжа на севере Португалии, именуемого, может быть, Афифе, где лежат такие загадочные ка̀мни, — отчего бы и нет? Ведь в переводе с арабского это значит «место, откуда видно море», лучше имени для пляжа никакой поэт, ни один романист не придумает. А выехал оттуда Жоакин Касса потому, что услышал про некоего испанца Педро Орсе, который уверял, будто почувствовал, как содрогнулась под ногами земля, а землетрясения-то и не было, и это вполне естественное любопытство для человека, который швырнул камень в море с такой силой, какой у него, у человека то есть, сроду не было, тем паче что в это самое время Пиренейский полуостров тихо и спокойно оторвался от Европейского континента, отделился беззвучно, словно упал с головы волос, чего, как утверждают, без Божьего соизволения не случается. И Жоакин Касса пустился в путь на своей старенькой машине по кличке Парагнедых, и душераздирающей сцены прощания с семьей не разыгралось, поскольку и самой семьи не имелось, и отпра-

[1] Одна из португальских провинций.

шиваться у начальства со службы не пришлось. Был Жоакин Сасса в отпуске, волен как птица, мог ехать куда угодно, благо теперь и заграничных паспортов не нужно: покажи на границе удостоверение личности — и весь полуостров твой. Рядом, на соседнее сиденье, положил он транзисторный приемник и слушал музыку, перемежающуюся убаюкивающим и обволакивающим журчанием дикторских голосов, точно качающих нас в акустической колыбельке и вдруг вызывающих у нас злобу, но все это было в прежнее время, а теперь эфир воспален горячечными новостями с Пиренеев, новостями, напоминающими исход евреев из Египта, переход через Чермное море, выход Наполеона из России. Здесь, на провинциальных автострадах, движение небольшое, и сравнить нельзя с корчащимися в судорогах дорогами Алгарви и с тем, что творится к северу и к югу от Лисабона, — аэропорт Портела кажется разворошенным муравейником, или осажденным замком, или магнитом, притягивающим к себе металлические опилки. Жоакин Сасса едет себе спокойно по тенистым дорогам провинции Бейра, держа курс на Испанию, на Гранаду, где-то в окрестностях ее есть городок под названием Орсе, а там живет тот самый человек, о котором говорили по телевизору. Узнаю, думает он, есть ли что-нибудь общее между тем, что со мной случилось, и тем, что этот самый Педро Орсе ощутил, как земля ходит у него под ногами, — люди, когда дают волю своему воображению, любят подгонять одно к другому, соединять то и это, и чаще всего у них ничего не получается, но иногда, глядишь, и выйдет, и тогда выявится связь между камнем, брошенным в море, трясением земли и треснувшим сверху донизу горным хребтом. Жоакин Сасса тоже едет в горах, и потому, хоть они, конечно, ни в какое сравнение не идут с теми пиренейскими титанами, его вдруг охватывает беспокойство, становится как-то не по себе. А что, если и тут такое стрясется? Что, если треснет Эстрела, провалится в тартарары озеро Мондего и осенней порой некуда будет смотреться черным тополям? — мысль обретает поэтическое звучание, и тревога исчезает.

В этот миг музыка стихла, и раздался голос диктора, читавшего новости, не содержащие в себе ничего нового, за исключением сообщений — да и то не слишком свежих — из Лондона: премьер-министр почтил своим присутствием заседание Палаты общин, где категорически заявил, что Британия сохранит свою власть над Гибралтаром при любых условиях и независимо от того, какое расстояние будет отделять Иберийский полуостров от Европы, на что лидер оппозиции сказал, что в переживаемый нами исторический момент он гарантирует курсу правительства поддержку своей фракции и партии, а затем разбавил торжественность своей речи иронией, вызвавшей дружный смех депутатов. Мистер премьер-министр, сказал он, допустил серьезную неточность в своем высказывании, назвав полуостровом то, что сегодня, без всякого сомнения, является островом, хотя и не столь прочным, как наш. Депутаты парламентского большинства наградили его аплодисментами и благодушно улыбались оппозиции, ибо что может лучше сплотить людей, чем интересы отчизны, и кто возьмется эту истину оспаривать? Улыбнулся и Жоакин Сасса, подумав про себя: Ну и театр, но вдруг замер, забыв даже выдохнуть, ибо услышал свое имя: Сеньор Жоакин Сасса, убедительно просим вас, повторяем, сеньор Жоакин Сасса, где бы вы ни находились, убедительно просим вас немедленно явиться к гражданскому губернатору ближайшей провинции: как стало известно компетентным органам, вы располагаете исключительной, государственной важности сведениями, которые позволят понять причину геологических катаклизмов, происходящих на Пиренеях. Повторяем, сеньор Жоакин Сасса, но сеньор Жоакин Сасса дальше уже не слушал, ему пришлось затормозить, чтобы обрести душевное спокойствие и равновесие, унять оглушительный звон в ушах, дрожь в руках, которые тряслись так, что руль не удержали бы: Вот тебе раз, думал он, как же это они узнали о камне, на пляже-то не было ни души, я, по крайней мере, нико-

го не видел и никому об этом деле не рассказывал, все равно бы мне никто не поверил, значит, кто-то за мной наблюдал издали, а зачем, интересно знать, за мной наблюдать, ходит человек по пляжу, швыряет камни в воду, но все же засекли меня, несчастного, знаем мы, как это бывает: один увидел и сболтнул другому, добавив то, что навоображал себе, а когда дошло до властей, камень этот стал уже с меня ростом, если не больше, и что же мне теперь делать? Нет, он не отзовется на призыв, не выполнит убедительную просьбу, ни к какому губернатору, ни к гражданскому, ни к военному, не явится — вы только представьте себе этот абсурдный разговор в закрытом на ключ кабинете, под магнитофон и протокол: Жоакин Сасса, вы бросили камень в море. Бросил. Сколько он, по-вашему, весил. Точно не знаю, килограмма два или три, А не больше, Может, и больше, Вот здесь у меня на столе лежат несколько камней, попрошу подойти и показать, который из них по весу примерно соответствовал тому, что вы бросили, Вот этот, Сейчас мы его взвесим, смотрите сами, Я и представить себе не мог — пять шестьсот, Теперь скажите, было ли с вами когда-либо что-либо подобное, Никогда, Вы уверены, Вполне, Не страдаете ли вы психическими расстройствами или неврозами, не бывает ли у вас навязчивых мыслей, судорожных припадков, случаев сомнамбулизма, Нет, ничего такого нет и не было, А в роду подобных болезней не было, Нет, Ну хорошо, потом мы сделаем электроэнцефалограмму, а пока подойдите вот к этому аппарату и — ну-ка, изо всех сил, А что это такое, Это динамометр, пожалуйста, изо всех сил, Вот, больше не могу, И все, Все, я никогда не был атлетом, Сеньор Жоакин Сасса, вы никогда бы не смогли бросить этот камень, Совершенно с вами согласен — не смог бы, однако же бросил, Да мы знаем, что бросили, свидетели есть, люди, пользующиеся нашим полным доверием, вот мы и просим вас рассказать, как же вам это удалось, Я уже говорил — шел берегом, увидел камень, поднял его и бросил в море, Этого не может быть, Так ведь свидетели есть, Свидетели-то есть, но они не могут знать, откуда у вас взялась такая сила, это мы у вас самого хотим узнать, Понятия не имею, Ситуация, сеньор Жоакин Сасса, серьезна, я бы даже сказал — чрезвычайно серьезна, разлом в Пиренейских горах нельзя объяснить причинами естественного порядка, отнести к разряду природных явлений, возможно, мы приближаемся к катастрофе планетарного масштаба, и потому наше ведомство взялось за расследование всех необычных случаев, имевших место в последние дни, и один из них — история с этим вашим камнем, Я очень сомневаюсь, чтобы камень, который я швырнул в море, стал причиной того, что раскололся континент, Мне, признаться, недосуг устраивать с вами философские диспуты, но все же ответьте, какая связь существует между обезьяной, слезшей с дерева двадцать миллионов лет назад, и атомной бомбой, То есть как какая — вот именно эти двадцать миллионов лет их и связывают, Ответ хорош, но теперь давайте предположим, что стало возможным сократить время, разделяющее причину — в данном случае бросок камня — и следствие, каковым является отделение от нас Европейского континента, иными словами, предположим, что в обычных условиях последствия этого броска выявились бы лишь через двадцать миллионов лет, аномальные условия, которые мы сейчас и изучаем, могли дать эффект спустя всего несколько суток или даже часов, Но это же совершенно умозрительное построение, причина может быть в ином, Или в целом комплексе явлений, Тогда вам надлежит расследовать другие неординарные случаи, Мы тем и заняты вместе с нашими испанскими коллегами, которые, к примеру, ищут человека, ощутившего колебания почвы под ногами, Если надо будет, его тоже исследуем, нам важно докопаться до истины, Глубоко придется копать, Ничего, трудности нас не пугают, ответьте-ка лучше, откуда у вас взялась такая сила. На этот вопрос Жоакин Сасса не ответил, воображение прекратило свою игру, тем более что диалог грозил пойти по кругу и превратиться в сказку про белого бычка: он скажет: Не знаю и все начнется сначала, разве что возникнут

минимальные варианты, небольшие, чисто формальные отличия, но вот тут-то и следует держать ухо востро, ибо известно, как легко от формы перейти к содержанию, от вместилища — к содержимому, от звучания слова — к его значению.

Он тронул машину и шагом — если так можно выразиться — двинулся дальше, ему хотелось, ему надо было все крепко обдумать. Теперь он уже не просто какой-нибудь заурядный путешественник, едущий в сторону границы, обыкновенный, ничем не примечательный и никому не интересный человек, — нет, быть может, в это самое время уже печатаются его портреты с крупно, жирно набранным красными буквами словом «WANTED»[1] наверху, быть может, уже идет на него охота. Он глянул в зеркало заднего вида — его нагоняла машина дорожной полиции, мчалась так, что, казалось, вот сейчас влетит к нему прямо через багажник. Влип! — мелькнуло у него в голове, он прибавил газу, но тотчас сбросил скорость, не прикасаясь к тормозам, но все эти маневры были ни к чему — патрульный автомобиль пулей пронесся мимо, полицейские даже не покосились в его сторону, о, знали бы они, чей драндулет обошли, торопясь по своим делам. Жоакин Сасса снова взглянул в зеркало, но теперь уж на себя самого, чтобы увидеть, как уходит с глаз долой тревога, зеркало укреплено так, что больше в нем ничего почти не увидишь, разве что кусочек его лица, так что трудно сказать наверное, чье это лицо, — что ж тут трудного, Жоакина Сассы, разумеется, да это-то мы знаем, а кто такой этот Жоакин Сасса? — человек еще сравнительно молодой, тридцати с чем-то лет, впрочем, ему ближе к сорока, и маячит на горизонте день, которого не минуешь, темнобровый и, как большинство португальцев, кареглазый, нос прямой, особых примет нет, самое обыкновенное лицо, мы разглядим его получше, когда он обернется к нам. Вспоминая настоятельный радиопризыв, он думает, что хуже всего будет на границе — да еще имя у меня такое, не слишком распространенное, вот был бы я Соуза, тот самый, автомобиль которого въехал колесами в трещину на Койадо-де-Пертюи, и что это за имя такое — Сасса? Однажды он даже полез в словарь посмотреть, есть ли такое слово и что оно значит, и узнал, что «сасса» — это крупное, достигающее стольких-то метров в высоту дерево, растущее в Нубии, какое красивое женское имя, а Нубия расположена в Восточной Африке, где-то неподалеку от Судана, смотри «Атлас мира», страница девяносто три. А где же я буду сегодня ночевать — об отеле и думать нечего, там радио включено постоянно, и сейчас все португальские портье, коридорные и прочая отельная челядь тщательно вглядываются в лица претендентов на ночлег, жаждущих пристанища, можно себе представить, как все это будет: Разумеется, сеньор, милости просим, есть, есть, как не быть, отличный номер, на втором этаже, эй, Пимента, отнеси вещи сеньора Сассы в двести первый, а когда он, не раздеваясь, рухнет на кровать, управляющий, исходя нервным возбуждением, тотчас ринется к телефону: Он здесь, приезжайте скорей!

Он поставил машину у обочины, вылез, чтобы размять ноги и проветрить мозги, которые в данную минуту не могли предложить ему ничего путного, за исключением одной довольно необычной идеи: Поезжай в город побольше, знакомый с достижениями цивилизации, пойди в публичный дом — проведешь ночь с одной из тамошних девиц, они документов не спрашивают, заплатишь, а если от всех этих передряг пропадет охота воспользоваться ее ласками, сможешь просто выспаться, и обойдется тебе это дешевле, чем номер в гостинице, Что за чушь, ответил Жоакин Сасса, в машине посплю, вот здесь, на обочине тихой дороги, А вдруг придут разбойники, бродяги, цыгане, нападут на тебя, ограбят и убьют, Нет здесь никаких цыган, это мирный край, А если появится маньяк-поджигатель, сколько их сейчас развелось, и ты проснешься в пламени и сгоришь заживо, судя по всему, это самая жуткая смерть, помнишь мучеников инквизиции, Чепуха, снова огрызнулся Жоакин Сасса, решено — останусь в машине, и внутренний голос смолк, он всегда

[1] Разыскивается (*англ.*).

смолкает, когда воля тверда. Но еще рано, вполне можно проехать еще километров сорок-пятьдесят по этим извилистым шоссе, разбить бивак где-нибудь возле Томара или в окрестностях Сантарена, у проселочной дороги, ведущей в поле, прочерченное глубокими бороздами плуга, который раньше тащила упряжка быков, а теперь трактор, ночью там никого не бывает, и есть где спрятать машину. Можно даже и под открытым небом поспать, сейчас ведь так тепло, и внутренний голос никак не отозвался на эту идею, но в молчании его чувствовалось явное неодобрение.

Но нет, Жоакин Сасса не доехал до окрестностей Сантарена и до Томара не добрался: он поужинал, сохраняя строгое инкогнито, в харчевне маленького городка на берегу Тежу, а здешние люди, хоть и очень интересуются, из каких это краев к ним пожаловал гость, однако все же так, в упор, не спрашивают: Эй, тебя как звать? — но если тот задержится, пусть и ненадолго, тогда уж, конечно, выведают всю его подноготную — и воспоминания о былом, и планы на будущее. Покуда Жоакин Сасса ужинал, поглядывая на экран телевизора, кончился фильм из жизни обитателей подводного царства, и — то стремительной дробной россыпью, то искусно затянутая, как акт любви, продлеваемый опытным сладострастником, — пошла реклама, сопровождаемая писклявыми детскими голосами, и ломающимися голосами подростков, и чуть хрипловатыми голосами женщин, а уж если вступал мужчина, то непременно — бархатисто и баритонально, а на задах дома хрюкала свинья, выкармливаемая, как водится, помоями и объедками. Но вот начался выпуск новостей, и Жоакин Сасса задрожал, ожидая, что сейчас на экране появится его фотография. Убедительную просьбу повторили, но фотографии не дали — в самом деле, он же не преступник, его всего лишь вежливо, хоть и очень настойчиво, попросили подать о себе весть, объявиться и тем самым послужить на благо высших интересов отчизны, и ни один патриот, достойный называться так, не станет уклоняться от исполнения столь, в сущности, простого долга — эка важность, прийти к властям и рассказать, что знаешь. В таверне было еще трое — пожилая супружеская чета и за соседним столиком — одинокий мужчина того известного типа, о котором всегда говорят: Наверно, коммивояжер.

Разговоры прервались, когда стали передавать первые новости с Пиренеев, свинья продолжала хрюкать, но никто ее не слушал, все это произошло разом, в одно мгновенье — хозяин поднялся со стула прибавить звук, девчонка, собиравшая посуду, остолбенела, вытаращив глаза, посетители осторожно положили вилки-ложки на край тарелки, а на экране возник вертолет, снятый с другого вертолета: они влетали в какой-то ужасный каньон с отвесными стенами такой высоты, что и неба не было видно — так, клочок лазури, полоска голубизны. Вот страх-то, даже голова кружится, сказала девчонка, а хозяин ответил ей: Молчи, и мощные прожектора высветили зияющее отверстие — зев преисподней, вход в то самое пресловутое царство мрачного Аида, но вместо лая Цербера раздавалось лишь хрюканье свиньи, видно, и мифология не та уж, что была прежде. Эти уникальные кадры, пояснял диктор, заснятые с риском для жизни, и голос его вдруг поплыл, сделавшись тягучим и вязким басом, а вместо двух вертолетов — о, чудо из чудес — на экране возникло четыре. Проклятая антенна, сказал хозяин таверны.

Когда же наладились звук и изображение, вертолеты уже исчезли, и диктор прочел все то же обращение, но теперь несколько более пространное: Убедительная просьба ко всем гражданам, ставшим очевидцами каких-либо странных природных феноменов, необычных и необъяснимых явлений, незамедлительно связаться с ближайшими представителями властей. Девочка-подавальщица, польщенная тем, что ее так вот, напрямую попросили о содействии, тотчас вспомнила случай, о котором в свое время толковала вся округа, — о рождении козленка о пяти ногах, причем четыре были черные, а пятая белая, однако хозяин ответил: Хватилась, дура, это ж было несколько месяцев назад, да и потом пятиногие козлята и двухголовые

цыплята не такая уж редкость, а вот та история со скворцами, о которой учитель рассказывал, — это да, от этого действительно ум за разум заходит. Какие скворцы, какой учитель? — спросил Жоакин Сасса. Наш здешний учитель, а зовут его Жозе Анайсо, дня два назад шел он где-то и вдруг видит огромнейшую стаю скворцов — штук двести, не меньше. Больше, поправил коммивояжер, я только сегодня утром видел, как они вились над школой и оглушительно галдели и хлопали крыльями — ни дать ни взять самый натуральный феномен. Тут взял слово пожилой господин за соседним столиком и сказал так: По моему мнению, надо сообщить председателю местного самоуправления об этих скворцах. Да он знает, ответил хозяин. Знать-то знает, но одно не соединяет с другим, не усматривает, если будет позволено так выразиться, связи между задницей и штанами. Что же делать? Да завтра же поутру поговорить с ним, тем более что наш край могут показать по телевизору, это тоже дело не последнее, полезно будет для развития промышленности и торговли. Однако пока пусть все останется между нами, раньше времени звонить не стоит. А учитель этот, он где живет? — спросил Жоакин Сасса с таким видом, будто ответ его не интересовал нисколько, что и сбило с толку хозяина, не успевшего цыкнуть на свою девчонку, а та мигом и проболталась: Да рядом со школой, там все учителя живут, и свет у него всегда допоздна горит, произнесла она, и в голосе ее прозвучала некая затаенная печаль. Хозяин опомнился и в гневе гаркнул на нее, бедную: А ну замолчи, ишь, язык распустила, иди лучше задай корму свинье, — приказ довольно нелепый, ибо свиньи, как правило, в столь поздний час не едят, а спят, если же не спят, значит, их снедает какая-то внутренняя тревога, что-то не дает покоя — то же, что заставляет кобыл на конюшне или в загоне ржать, нервно трясти головой, рыть кованым копытом землю, а если нет земли — стучать подковой по круглым камням, вороша соломенную подстилку. По мнению большинства, так действует на скотину полнолуние.

Жоакин Сасса уплатил по счету, пожелал присутствующим доброй ночи, в благодарность за сведения, неосторожно сорвавшиеся с языка девчонки, дал ей щедрые чаевые, которые все равно, надо полагать, перейдут в карман хозяина, не потому, что так уж заведено, а лишь в виде штрафа за излишнюю болтливость, доброта человеческая — свойство столь же текучее и изменчивое, как сами человеки, ничем не лучше, и у нее случаются свои фазы затмения, редко бывает, чтобы лилась она ровным немеркнущим светом, но именно таким ее видом наделена прогнанная девчонка: она, поскольку не смогла накормить свинью, есть наотрез отказывавшуюся, просто сидит и почесывает ей то место меж глазами, которое у людей называется переносицей, а как у свиней — понятия не имею. Опускается тихий, хороший вечер, машина отдыхает под платанами, остужает колеса возле фонтана, и Жоакин Сасса не трогает ее, оставляет стоять в холодке, а сам пешком идет искать школу — окно, где допоздна горит свет: люди не умеют таить свои тайны, хоть порою они и пытаются спрятать их под ворохом слов, но выдает вдруг сорвавшийся или, наоборот, ликующе взвившийся голос, и всякий, обладающий достаточным опытом, чтобы разбираться в голосах и в жизни, моментально поймет, что девчонка влюблена. Городок, куда занесло Жоакина, совсем невелик, полчаса ходу — и вот уже показалась окраина, но Жоакину даже и не надо идти так далеко, он спросил какого-то встречного мальчугана, где тут школа, и, видно, сама судьба послала ему такого сведущего гида: Пойдете, сеньор, вот по этой улице, выйдете на площадь, где церковь, свернете налево, а потом все время прямо и прямо, тут вам и школа будет. А учитель там живет? Там, сеньор, там, у него допоздна в окне свет горит — и ни в одном из этих слов нет и тени пристрастия, вполне вероятно, что мальчуган к числу первых учеников не относится, а относится к школе как грешник к чистилищу, но голос его внезапно веселеет, дети редко бывают злопамятны, это их и спасает: И скворцы там, орут без передышки, никогда не молчат.

Половина неба еще светла, и другая еще не потемнела, и воздух какой-то голубоватый, будто дело не к закату, а к восходу. Но в домах уже зажглись огни, и слышатся тихие усталые голоса и настойчиво-неугомонный крик из колыбели: поразительно, до чего же все-таки люди беспечны: их на плоту уносит в море, а они живут себе своей жизнью, будто под ногами у них твердая — во веки веков не поколеблется — земля, лепечут себе, как Моисей, когда плыл по Нилу в плетенной из ивняка корзинке, играл с бабочками и, на свое счастье, остался не замеченным крокодилами. В глубине узкой улицы — зажатый стенами дом, это школа, и если бы Жоакина Сассу не предупредили, он бы и мимо прошел, решив, что это дом как дом, ночью все кошки серы, а иные и днем, а между тем стемнело, но лишь перед этим домом вскорости зажгутся установленные попечением муниципалитета фонари.

Подтверждая правоту влюбленной девчонки и скрывающего свои чувства паренька, в окне — свет, и в окно это постучал Жоакин Сасса, и в конце концов не так уж и громко галдят скворцы, поскольку начали устраиваться на ночлег, затевая, как водится у соседей, обычные перебранки, но это ненадолго — скоро воцарится тишина под широкими листьями фиговой пальмы, где они уснут, неразличимо черные в черноте, ибо еще лишь через некоторое время взойдет луна, и, разбуженные прикосновением ее белых пальцев, кое-кто из них проснется да опять заснет, не догадываясь, что предстоит им скоро долгий путь, дальняя дорога. Кто там? — отозвался изнутри голос, и Жоакин Сасса произнес магическое слово: Свои, заменяющее формальное установление личности, — согласитесь, что язык человеческий богат такими и еще более заковыристыми загадками. Окно отворилось, не так-то просто из темноты увидеть, кто живет в этом доме, — явление это называется контражур, — зато лицо Жоакина Сассы оказалось на свету и теперь можно разглядеть его полностью; кое о каких его чертах было уже вам поведано раньше, а прочие оказались им под стать — гладкие темно-каштановые волосы, впалые щеки, нос и вправду ничем не примечательный, а губы кажутся пухлыми, только когда он шевелит ими, произнося слова, вроде таких, например: Простите, ради бога, что приходится беспокоить вас так поздно. Вовсе нет, отвечал учитель и тотчас принужден был повысить голос, потому что скворцы переполошились от неурочного разговора и оглушительно подняли тревогу, а может, заявили свой гневный протест. Я как раз из-за них к вам и пришел. Из-за кого? Из-за скворцов. А-а. И еще по поводу камня, я его швырнул, видите ли, в море, а это намного превосходило мои силы. Как вас зовут? Жоакин Сасса. Так это о вас объявляют то и дело по радио и по телевидению? Обо мне. Входите же.

О камнях и о скворцах они уже всласть наговорились, теперь обсуждают, какое принять решение. В саду за домом присел у дверей Жозе Анайсо, предоставив гостю кресло, и поскольку присел он спиной к освещенной кухне, нам по-прежнему неизвестно, как он выглядит, может даже показаться, будто он прячет свое истинное лицо, но это вовсе не так, а ведь часто бывает, что мы готовы показать себя во всей красе, явить в истинном свете — да некому. Жозе Анайсо налил в стаканы еще немного белого вина, гость и хозяин пьют его неохлажденным, только так, по мнению знатоков, и следует поступать, без новомодных штучек вроде замораживания, но в данном случае происходит это оттого лишь, что в доме учителя нет холодильника. Мне хватит, говорит Жоакин Сасса, считая то красное, что мы выпили за ужином, я уже перебрался за свою отметку. Последний стакан, за успех нашего путешествия, сказал Жозе Анайсо, приоткрывая в улыбке белые, что следует отметить, зубы. Я ведь отправляюсь на поиски Педро Орсе, благо у меня отпуск и на службу еще не скоро. И я с вами, и времени у меня еще больше, занятия начнутся только в октябре. Я один. Это я один. Вы не подумайте, будто я приехал сюда, чтобы тащить вас за собой, я, признаться, и не знал о вашем существовании. Да нет, ну что вы, я же сам попросил разрешения составить вам компанию, если

возьмете меня в попутчики, и вы уже на это согласились, не откажетесь же вы теперь от своих слов. Вообразите только, какой переполох поднимется, когда вас хватятся, пожалуй, сначала и в полицию заявят, решат, что вас убили и закопали где-нибудь, на суку повесили, в реке утопили — и все это я сделал: появился таинственный незнакомец, расспросил, а потом исчез, непременно скажут, что все это было возвещено и в книгах написано. Ничего, я оставлю записку на дверях — дескать, срочно вынужден уехать в Лисабон, надеюсь, они не пойдут на станцию спрашивать, покупал ли я билет.

Оба помолчали, потом Жозе Анайсо поднялся со стаканом в руке, подошел к фиговой пальме, прихлебывая по дороге вино, а скворцы все это время продолжали галдеть, хлопать крыльями, свиристеть, возиться в листве — одних, очевидно, разбудили голоса людей, другие же продолжали спать крепким сном и видеть свои страшные скворчиные сны, будто летят они в одиночку, оторвавшись от стаи, а воздух плотен и густ, как вода, так что крылья его не режут, а вязнут в нем, — нас, бескрылых, тоже порой мучают такие кошмары, когда надо бежать, а сил нет и ноги точно ватные. За час до рассвета тронемся в путь, сказал Жозе Анайсо, а сейчас пора спать, и Жоакин Сасса встал со стула: Посижу в машине, а на заре зайду за вами. Отчего бы вам в доме не остаться — у меня, правда, одна кровать, но широкая, места нам обоим хватит. Небо высоко над головой, будто припорошенное мельчайшей стеклянной пыльцой или подернутое тончайшим молочным тюлем, все было усыпано звездами, такими близкими, словно они висели на невидимых ниточках, мощно и ярко сверкали крупные созвездия — Венера, Большая Медведица, Сириус, и на запрокинутые лица обоих мужчин падал дождик, каждая капля которого состояла из крохотных кристалликов света, чуть-чуть царапавших кожу, застревавших в волосах, и с обоими случалось такое не однажды, но тут вдруг смолкли все звуки и шелесты, наполнявшие ночь, а над верхушками деревьев выплыл первый лунный свет, значит, скоро звезды погаснут. Тогда Жоакин Сасса сказал: В такую ночь можно и под деревом поспать, если одолжите одеяло. Я, пожалуй, тоже в дом не пойду. Они устроились под деревом, натаскали соломы, словно для скотины, разложили одеяла, на один край улеглись, другим укрылись. Сверху с веток смотрели на них скворцы, думали: А это кто такие под нашим деревом? — и постепенно вся стая проснулась, тем более что под таким ярким потоком лунного света не больно-то и поспишь. Луна все быстрее взбирается на небо, низкая круглая крона смоковницы превращается в черно-белый лабиринт, и говорит Жозе Анайсо: Тени стали другими. Вряд ли это произошло оттого, что полуостров сдвинулся, отвечает Жоакин Сасса, обрадовавшись тому, что понял замечание своего товарища, он всего на несколько метров отошел от материка. Однако сдвинулся все же, этого достаточно, чтобы тени легли по-иному, на эти ветви лунный свет падает впервые. Прошло еще несколько минут, скворцы притихли, успокоились, и Жозе Анайсо, окончательно разбивая сон, пробормотал так, словно каждое слово поджидало или искало следующее: Когда-то давным-давно наш король Жоан Второй, наделенный, на мой взгляд, отменным чувством юмора, подарил одному дворянину воображаемый остров — в какой еще другой стране могло бы произойти подобное? Ну а что дворянин? А что дворянин — дворянин отправился в море искать свой остров и спрашивал всех встречных: «Не будете ли вы так любезны сообщить мне, где находится воображаемый остров?» Вот мне и кажется, что это Иберия, которая из полуострова превратилась в остров, решила отплыть в море на поиски воображаемых людей. Поэтично. Я за всю жизнь не сочинил ни единой стихотворной строчки. Да бросьте, когда все станут поэтами, никто не будет писать стихи. Что ж, и в этой фразе есть изюминка. Мы с вами слишком много выпили. И мне так кажется. Безмолвие, покой, спокойствие, и Жоакин Сасса бормочет, словно уже во сне: Интересно, когда завтра тронемся в путь, скворцы за нами полетят или останутся? Когда тронемся, тогда и узнаем, это всегда так, отвечает Жозе Анайсо, а луна потерялась в ветвях фигового дерева, и ей теперь всю ночь искать выход из этого лабиринта.

Еще затемно Жоакин Сасса поднялся с охапки пшеничной соломы, послужившей ему в ту ночь постелью, отправился к машине, оставленной отдохнуть на площади, под финиковыми пальмами, у фонтана. Чтобы кто-нибудь, несмотря на ранний час — в сих земледельческих краях принято вставать ни свет ни заря, — не заметил их с учителем вместе, решено было встретиться за городом, подальше от самых крайних домиков. Жозе Анайсо пройдет туда окольными дорогами, еле заметными во мраке тропинками, а Жоакин Сасса, постаравшись не привлекать к себе внимания, — по торной, так сказать, дороге, поскольку он человек нездешний, и до него дела никому нет, и его ничего не касается, а что поднялся проезжий в такую рань, так это для того, чтобы, не теряя времени попусту и насладясь утренней свежестью, пуститься в путь по холодку, как водится у туристов, снедаемых вечным беспокойством, неисцелимо страдающих от краткости земного бытия, а потому старающихся лечь попозже, встать пораньше — это вредно для здоровья, зато жизнь удлиняет. Хорошо отрегулированный движок его автомобиля заводился, что называется, с пол-оборота, так что услышали его лишь те, кто страдал бессонницей, а услышав, подумали, что вот наконец-то они заснули и видят сон, и тихое ритмичное урчание не нарушило рассветного безмолвия. Выехал Жоакин Сасса из городка, миновал первый перекресток, миновал второй, затормозил и стал ждать.

В серебристой глубине оливковой рощи начали вырисовываться стволы отдельных деревьев, и вот уж в воздухе пронеслось некое влажное и смутное дуновение, словно утро выбиралось наружу из подернутого туманом озерца, и раздалась птичья трель, а может быть, это был всего лишь обман слуха, ибо в такую рань и жаворонки не поют. Время шло, и Жоакин Сасса пробормотал про себя: Неужели передумал и не явится, не такой вроде бы человек, а может, пришлось дать больший крюк, чем он рассчитывал, да и чемодан тяжелый, не сообразил я, надо было мне его взять в машину. Но вот показался меж олив Жозе Анайсо, а над ним вились, пронзительно галдя и беспрестанно хлопая крыльями, неразлучные с ним скворцы — двести? Какое там двести! Считать, моя дорогая, не умеешь! — мне лично стая напомнила рой огромных черных пчел, но Жоакин Сасса вспомнил при виде их классический фильм Хичкока, правда, там это были злобные птицы-убийцы. Увенчанный своей пернатой и крылатой короной, Жозе Анайсо остановился у машины, рассмеялся и потому, наверно, кажется теперь моложе Жоакина — известно ведь, хмурость старит, — зубы у него белые, что нам стало известно еще накануне; ничем его худое лицо не примечательно, но эти обычные черты ладно пригнаны друг к другу, да и нет ведь такого закона, чтоб всем быть красавцами. Он бросил чемодан в машину, опустился на переднее сиденье и, прежде чем захлопнуть дверцу, высунулся, поглядел на скворцов: Ну, едем, видно, хотел узнать, что они предпримут. Жалко, ружья нет, шарахнуть бы в них дробью из обоих стволов. Вы что — охотник? Да нет, так просто, к слову пришлось. В самом деле, жалко, что нет ружья. Попробуем отделаться от них иначе — разгонимся, они и отстанут, у скворцов короткие крылья и короткое дыхание. Что ж, давайте попробуем. Автомобиль прибавил ходу, благо впереди был длинный отрезок прямого шоссе, быстро оставил скворцов позади. Предрассветные сумерки уже просквозили нежно-розовым и алым, и воздух стал голубоватым — воздух, я не оговорился, воздух, а не небо: мы еще вчера, когда начинало смеркаться, могли заметить нечто подобное, ибо час начала почти неотличим от часа конца. Жоакин Сасса выключил фары, сбросил газ — он знает: его коню такой аллюр не под силу, он не из кровных жеребцов, да и года не те, и даже в том, как ровно, без захлебов и перебоев, гудит мотор, слышится не сдержанная мощь, а философическое смирение. Ну все, отстали наконец, слова эти принадлежат Жозе Анайсо, но в них заметен оттенок сожаления.

Часа через два, когда оказались уже в Алентежо, сделали привал, выпили по чашке кофе с молоком, закусили черствыми плюшками с корицей, потом верну-

лись в машину и продолжили путь, обсуждая все те же, нам уже известные проблемы. Если не пустят в Испанию — это еще полбеды, беда, если схватят на границе. За что? За это самое место — найдут к чему прицепиться: задержат до выяснения обстоятельств. Да ладно тебе, до границы еще далеко, придумаем чего-нибудь. Вот какой вышел у них разговор, никакого отношения к сути нашей истории не имеющий и, вполне вероятно, вставленный в нее для того лишь, чтобы уведомить нас — путники-спутники перешли на «ты». Давай, что ли, на «ты», сказал один, а другой ответил: Я как раз хотел тебе предложить. Жоакин Сасса открывал дверцу, когда вновь появились скворцы — ну форменная туча, пчелиный рой, смерчем вертящийся и жужжащий оглушительно, видно, разозлились птички, и люди задирали голову, тыча пальцем в небеса, и кто-то уверял: Сколько лет живу на свете, а такого не видал — а по возрасту говорившего можно было заключить, что уж он-то всякого навидался. Их больше тыщи, добавил он и был совершенно прав: по крайней мере, тысяча двести пятьдесят скворцов подняты были в воздух по такому случаю. Догнали, промолвил Жоакин Сасса, ну-ка, газанем и оторвемся от них раз и навсегда. Жозе Анайсо окинул внимательным и сосредоточенным взглядом торжествующе галдящих птиц, летевших широким кольцом, и сказал: Не надо, поезжай потише, отныне и впредь двигаться будем медленно. Почему? Не знаю, есть у меня предчувствие, что не зря они нас преследуют. Не нас, а тебя. Пусть так, тем больше у меня прав просить, чтобы ты не гнал, кто знает, что там случится.

Начать рассказывать, как ползли они по раскаленной духовке Алентежо, под не голубым даже, а каким-то белесым от зноя небом и под неумолчный треск цикад, как по обе стороны шоссе слепило глаза жнитво, как лишь изредка встречались на голой земле каменные дубы да стояли скирды соломы — так выйдет новая история, притом ничем не хуже той, что мы уже завели в свое время. Вокруг и вправду на много километров не было ни души, однако же хлеба были сжаты, зерно обмолочено, а эти и подобные им труды требовали людей. Стало быть, где-то были люди, мужчины и женщины, но не узнаем мы ни про тех, ни про других, ибо это перебьет плавное наше повествование, а сказано недаром: Кто с перебивом, тому кнут с перевивом. Зной и духота, сущее пекло, но Парагнедых не торопится, часто останавливается постоять в тенечке, Жоакин Сасса и Жозе Анайсо выходят, всматриваются в горизонт, ждут, и вот по прошествии определенного времени наконец дожидаются — возникает на небе единственное облачко, все эти остановки были бы не нужны, если б летели скворцы по прямой, но, признав, что утверждение «Сколько людей, столько и мнений» справедливо и по отношению к птицам, поймем, почему скворцы, хоть и сбились в стаю, сбились и с пути: одни считали, что пришло время сделать привал, другим хотелось поклевать плодов или испить водицы, так что всеобщее и главное желание то и дело уступало место мелким надобностям, личным потребностям, вот потому и рассыпался сомкнутый строй, нарушался единый фронт. По дороге, помимо всяческого коршунья, занятого свободной охотой, встречали наши скворцы и своих, так сказать, соплеменников, но те не присоединялись к стае оттого, наверно, что были не сплошь черные, а с белыми хвостами, а может, и оттого, что имели другую цель в жизни. Путники снова сели в машину, Парагнедых затрусил по дороге, и так вот, перемежая пробег и остановку, остановку и пробег, добрались они до границы. Сказал Жоакин Сасса: Как теперь быть, что, если меня задержат? Рули, рули, отвечал ему Жозе Анайсо, глядишь, скворцы нам помогут.

В точности как бывает в волшебных сказках и рыцарских романах и в других, не менее восхитительных и невероятных преданиях, где благодаря вмешательству доброй феи, злой колдуньи, покровительству высших сил или какому-нибудь могутному и сверхъестественному аксессуару вроде шапки-невидимки все иной раз может пойти наперекор обычному и привычному порядку, в тот самый миг, когда

наши путники, затормозив у поста пограничной стражи, в просторечии именуемого караулкой, предъявили — один господь ведает, в каком душевном смятении пребывая — документы, вдруг, откуда ни возьмись, как снег на голову, черным смерчем обрушилась с неба, свища и галдя, вся орава скворцов, снизилась до уровня крыш, рассыпалась во всех направлениях, очень напоминая собой не на шутку разыгравшуюся грозу, причем мелькавшие в воздухе тела играли роль сполохов и зарниц. Пограничники в замешательстве принялись отмахиваться, кинулись спасаться под крышу — и вот вам, пожалуйста: Жоакин Сасса вылезает из машины, чтобы подобрать свое удостоверение, впопыхах оброненное представителем власти, и никому уж никакого дела нет до того, что охрана границы прекратилась сама собой: подумать только — по стольким дорогам пробирался наш герой тайком и с оглядкой, а тут вдруг такое совершенно невиданное происшествие, и из ложи рукоплещет нам Хичкок, а уж он понимает в подобных делах. Превосходство его методов находит себе дальнейшее подтверждение, ибо испанские пограничники повели себя в вопросах орнитологии вообще и черного скворца в частности точь-в-точь как их португальские коллеги. Без малейших препон въехали путешественники на сопредельную сторону, а несколько десятков птиц остались лежать на земле, поскольку, на их беду, в испанской караулке оказалось заряженное охотничье ружье, и, выпалив наугад и навскидку из обоих стволов, не промахнулся бы по такой мишени даже слепой, но зря отдали скворцы свои жизни, потому что, как нам с вами известно, в Испании Жоакин Сасса не разыскивается. Обидно, что португальские скворцы, родившиеся и возросшие под небесами Рибатежо, окончили свои дни на чужбине, пав от безжалостной руки андалуссийских стражей границы, а еще досадней, что те и не подумали пригласить алентежанцев на жаркое из дичи, как полагалось бы поступить добрым соседям и товарищам по оружию.

И вот уж наши путешественники со свитой скворцов катят дальше, держа курс на Гранаду и ее окрестности, и на перекрестках приходится им просить помощи, поскольку на их дорожной карте не значится местечко Орсе, что свидетельствует о прискорбном безразличии топографов — пари держу, что небось собственное свое захолустье они поместить на карту не забыли, а подумали бы лучше, каково человеку, который захочет найти место, где появился на свет, обнаружить на карте пробел, пустоту, так вот и порождаются серьезнейшие проблемы самоопределения личного и национального. У тех селений, которые пересекает Парагнедых, сонный вид, свойственный, говорят, югу — представители северных племен презирают их обитателей за томность и вялость, но больно уж они спесивы и надменны, попробовали бы сами поработать на таком солнцепеке, посмотрел бы я на них. Есть, конечно, есть отличия между разными мирами — всякий знает, что марсиане, к примеру сказать, зеленые, а у нас на земле найдешь людей с каким угодно цветом кожи, а вот зеленого нет.

От северянина никогда в жизни не услышать того, что ответит нам вот этот человек верхом на осле, когда, притормозив возле него, мы спросим, что думает он о таком экстраординарном событии, как отделение Пиренейского полуострова от Европы. Н-но, скажет он, дернув повод, и продолжит без запинки и малейшей заминки: Да чепуха это все. Роке Лосано — так зовут всадника на осле — судит по тому, что видит, на этом строит он здравые доводы и делает разумные выводы, благо стоит лишь окинуть взглядом идиллическое спокойствие раскинувшихся вокруг полей, безмятежное небо над головой и неколебимо вечное равновесие горных гряд. Сьерра-Морена и Сьерра-Арасена с самого рождения — ну не своего, так нашего — точно такие, как сейчас, ни капельки не изменились. Но по телевизору показывали, весь мир видел, как Пиренеи треснули вдоль наподобие арбуза, начнем упорствовать мы, используя сравнение, доступное разумению сельского жителя. По телевизору чего не покажут, пока собственными своими, этими вот глазами не увижу — не поверю, скажет с высоты седла Роке Лосано. А куда направля-

етесь? Да вот семейство оставил хозяйством заниматься, а сам еду посмотреть, правда это или брехня. Собственными глазами, значит, хотите убедиться? Только так, и скажет, продолжая трусить на своем ослике, когда притомится, слезаю, шагаем с ним на пару пешком. А как его звать? А зачем его звать, он же рядом. Я имел в виду кличку вашего ослика. Платеро. Стало быть, так и путешествуете? Стало быть, так. А не скажете ли, где находится Орсе? Не скажу, врать не хочу. Это вроде бы где-то за Гранадой. А-а, ну тогда вам еще ехать и ехать, а теперь пожелаю вам, господа португальцы, всего наилучшего, дорога у меня дальняя, а подвигаюсь я, сами видите, не шибко. Может статься, что, когда доберетесь, уже не увидите Европы. Если не увижу, значит, ее никогда и не было, и вот теперь изрек Роке Лосано бесспорную истину, ибо для существования чего бы то ни было необходимы два условия — чтобы человек это что-то видел и чтобы дал этому имя.

Жоакин Сасса и Жозе Анайсо заночевали в Арасене, по примеру нашего когдатошнего короля Альфонса Третьего, в начале, можно сказать, времен, в предрассветных сумерках истории отвоевавшего этот городок у мавров. Скворцы расселись по деревьям, хоть и предпочли бы держаться вместе, но выдержать такую армаду ветви одного дерева не могли, вот и пришлось птичкам разлучиться. А в гостиничном номере, лежа каждый на своей кровати, ведут наши герои беседу о тех грозных явлениях, которые показали и о которых сказали по телевизору, — Венеция в опасности, площадь Святого Марка затоплена, будто расстелили на ней гладкую водную скатерть, и в ней отражаются во всех своих мельчайших подробностях и колокольня, и фасад базилики. По мере того как Иберийский полуостров удаляется от континента, размеренно и сурово вещал диктор с экрана, будет возрастать разрушительное воздействие приливов, под угрозой окажется вся территория, прилегающая к акватории Средиземного моря, колыбель нашей цивилизации, и мы взываем ко всему человечеству — пока еще есть время, спасем Венецию! пусть будет на одну водородную бомбу, на одну атомную сумбарину меньше. Жоакин Сасса в данном случае уподобился Роке Лосано, он жемчужину Адриатики никогда не видел, но Жозе Анайсо мог гарантировать, что она и в самом деле существует: имени или клички он ей, разумеется, не давал, но самолично наблюдал ее, собственными руками трогал. Какое несчастье будет, если мы потеряем Венецию, промолвил он, и его встревоженный голос произвел на Жоакина Сассу большее впечатление, чем вид волнующихся каналов, чем бурные потоки, чем наступление вод на палаццо и затопленные пристани — а это, надо сказать, сильное зрелище: целый город погружается, подобно Атлантиде, в пучину, тонет кафедральный собор, и ослепленные морской водой мавры все бьют своими молотами в колокола до тех пор, пока водоросли и моллюски, облепив шестеренки и колесики, не остановят часовой механизм, а Христос Вседержитель устроит наконец теологический диспут с подчиненными Зевсу морскими богами — с греком Посейдоном и римлянином Нептуном, с супругой его Амфитритой, с самой Венерой, получившей редкую возможность вернуться в ту самую пену морскую, из которой родилась, хотя, впрочем, для христианского бога женщина не существует. Как знать, пробормотал Жоакин Сасса, не моя ли во всем этом вина. Не заносись так высоко, не считай себя виновным во всем. Я — про Венецию, про потерю Венеции. Это вина давняя и всеобщая, расплата за корыстолюбие и безразличие. Да не об этом речь, из-за корыстолюбия и безразличия весь мир когда-нибудь сгинет, я толкую тебе о своем поступке — помнишь, я швырнул камень в море, и кто бы мог подумать, что из-за этого оторвется наш полуостров от Европы. Если будет у тебя когда-нибудь сын, он умрет оттого, что ты произвел его на свет, и этой вины никто с тебя не снимет, одни и те же руки ткут и распускают, шьют и порют, правота порождает ошибку, ошибка заключает в себе правоту. Очень слабое утешение. Его вообще нет, мой бедный друг, человек — существо безутешное.

Весьма вероятно, что Жозе Анайсо, которому принадлежит последняя сентенция, прав и человек в самом деле принадлежит к породе тварей земнородных, не могущих, не умеющих, не желающих утешиться, но все же какие-то его поступки и деяния поддерживают в нас надежду на то, что когда-нибудь придет он поплакать на плече другого человека, хотя, вероятно, будет уже поздно и ни на что другое времени не останется. Об одном из таких деяний сообщено было в том же выпуске теленовостей, а на следующий день во всех подробностях и с комментариями историков, литературоведов и поэтов расписано в газетах, а шла речь о том, как на французское побережье, неподалеку от городка Коллиура, скрытно высадилась команда — вполне, впрочем, штатская и просвещенная — испанцев, которые во мраке ночи и под покровом тьмы, не боясь ни уханья сов, ни эктоплазмы[1], нагрянули на местное кладбище, где уж давным-давно покоился Антонио Мачадо. Кто-то из тех, кому вечно не спится, уведомил жандармов, те бросились вдогонку за осквернителями праха, но задержать их не смогли. Мешок с добычей был брошен в лодку, которая, не глуша мотор, ждала злоумышленников у берега, и через пять минут она была уже в открытом море, сопровождаемая беглым огнем жандармов, раздосадованных скорее тем, что поимка сорвалась, чем потерей поэтических мощей. В интервью «Франс пресс» мэр Коллиура попытался развенчать героизм этого деяния, причем даже дал понять, что нельзя утверждать наверное, что похищены были бренные останки именно Антонио Мачадо, ибо не стоит даже и уточнять, сколько именно лет прошло со дня похорон, да и вообще лишь по невероятной забывчивости местных властей могла сохраниться его могила, хотя всем известно, с каким благоговейным трепетом относятся у нас в стране к праху поэтов.

На это бравший интервью журналист — человек, как видно, тертый, но при этом столь мало склонный к скепсису, что возникали сомнения в том, что он француз, сказал, что, по его мнению, для поклонения реликвии нужна лишь она сама, подлинность же ее — дело десятое, было бы хоть подобие правдоподобия: вспомнить хоть, как в свое время в валенсианской епархии укрепляли веру целым набором реликвий — была среди них и чаша, из которой пил на Тайной вечере Господь наш, и сорочка, которую носил он в детстве, и несколько капель молока, которым вскормила его Приснодева, и несколько волосков с ее собственной головы, и гребень, которым расчесывала она волосы — белокурые, как оказалось, — и щепы от Святого Креста, и не поддающаяся точному определению часть тела одного из младенцев вифлеемских, и две из тех тридцати монет — выясняется, что все-таки серебряных, — за которые, хоть и не был сам в этом виноват, продался Иуда, и, наконец, в завершение реестра — зуб святого Кристована длиной в четыре и шириной в три пальца, причем эти размеры — изрядные, согласимся — покажутся сверхъестественными лишь невеждам, не имеющим понятия о том, каким исполином был сам святой. И где же теперь испанцы похоронят поэта Мачадо? — осведомился Жоакин Сасса, никогда не читавший его, а Жозе Анайсо ответил: Если верно, что, несмотря на всю переменчивость судьбы и безумие мира, всякой вещи — свое место и всякое место требует своей вещи, то, во что превратился ныне Антонио Мачадо, должно быть похоронено где-нибудь в полях, окружающих Сорию, желательно под каменным дубом, и над могилой без креста, без надгробного камня пусть просто насыпят невысокий холмик, и ему даже не надо придавать форму лежащего человеческого тела, ибо время все равно все выровняет, приземлит до самой земли. Ну а нам, португальцам, есть кого похищать с французских кладбищ? Насколько мне известно, там похоронен лишь Марио де Са-Карнейро[2], но и его лучше не трогать

---

[1] Наружный, более плотный слой протоплазмы в клетке.

[2] Марио де Са-Карнейро (1890—1916) — португальский поэт, вместе с Ф. Пессоа входивший в круг ранних португальских модернистов. При жизни выпустил единственный сборник стихов «Рассеяние» и две книги прозы. Покончил с собой в Париже.

— во-первых, он и сам бы не захотел возвращаться на родину даже после смерти, во-вторых, потому что парижские кладбища хорошо охраняются, а в-третьих, минуло столько лет со дня его погребения, что столичные власти наверняка не совершили ошибки, простительной лишь провинциалам, к тому же средиземноморским. Да и зачем надо переносить его прах с одного кладбища на другое, раз и в Португалии не позволяют хоронить людей вне специально отведенных для этого мест, где-нибудь на природе? Неужто потревожили бы его прах, если бы мы закопали его под оливой, в парке Эдуарда VII? А в парке Эдуарда VII еще есть оливы? Вопрос вполне уместный, но что ответить тебе на него, не знаю, а теперь пора спать, нам завтра с утра пораньше отправляться на поиски Педро Орсе, того, кто ощущает трясение земли. Погасили свет, полежали с закрытыми глазами, но прежде чем уснуть, Жоакин Сасса еще спросил: А что же все-таки с Венецией-то будет? Из всех трудностей, какие есть в мире, самая простая — это спасение Венеции: достаточно будет закрыть лагуну, соединить острова так, чтобы у моря не было к ним свободного доступа, а если итальянцам самим не под силу справиться с этим, пусть голландцев призовут — это такой народ, ахнуть не успеешь, как они тебе всю Венецию высушат. Нам бы тоже надо помочь, мы ответственны перед... Ты забыл, что мы уже за Европой не числимся. Ну, это пока не совсем так: вы еще в территориальных водах, — раздался тут неведомо чей голос.

Утром, когда они платили по счету, появился крайне озабоченный управляющий — разгар сезона, а отель почти пуст. Жоакин Сасса и Жозе Анайсо, погруженные в свои думы, не заметили, что и в самом деле постояльцев до крайности мало. И в пещеры, в пещеры-то никто не едет, горестно повторял управляющий, это уж просто всем бедам беда. Страшное оживление, царившее на улице... — юное поколение жителей Арасены представить себе не могло, ни на какой экскурсии не видело такого количества собравшихся вместе скворцов, — длилось недолго: едва Парагнедых тронулся по направлению к Севилье, как вся стая, разом и дружно взвившись в воздух, сделала несколько кругов, словно прощаясь с городом, и скрылась из виду за башнями замка храмовников. Утро пронизано светом, таким густым, что, кажется, можно потрогать его пальцами, и день обещает быть не таким жарким, как вчера, но путь далек. Отсюда до Гранады триста километров, да потом еще надо разыскать этого Педро Орсе, не дай бог впустую прокатимся, — это сказал Жозе Анайсо, которого только сейчас осенило, что они ведь могут и не найти того, кого ищут. А найдем — что мы ему скажем? — это уже засомневался Жоакин Сасса. Внезапно, под воздействием того, что сияющее утро оказалось и в самом деле вечера мудренее, все произошедшее вдруг показалось ему какой-то нелепостью: да не может такого быть, чтобы треснул целый континент потому лишь, что кто-то швырнул в море камень, размерами превосходивший силы швырнувшего, но, однако, — может, ведь треснул же континент, и этот испанец твердит, что чувствует дрожание земли под ногами, и эти ополоумевшие скворцы, неразлучные с португальским учителем, и бог весть что еще произойдет на этом полуострове. Мы ему расскажем про твой камень, про моих скворцов, а он нам — про то, как земля дрожала или до сих пор дрожит. А потом? А потом, если нечего будет больше ощущать, не на что смотреть и узнавать тоже нечего, вернемся домой, ты пойдешь к себе на службу, я — в школу, и оба прикинемся, будто все это нам только приснилось, а кстати, ты ведь мне еще не сказал, чем занимаешься. В конторе сижу. Вот ведь совпадение — ты в конторе сидишь, я за конторкой стою, деток учу. Они рассмеялись, а дальновидный Парагнедых показал стрелочкой, что ему пора задать корму. Остановились заправиться, но пришлось ждать — полчаса, не меньше, поскольку у бензоколонки выстроилась длиннейшая вереница автомобилей и каждый водитель непременно желал залить полный бак. Когда же вновь двинулись в путь, Жоакин Сасса с беспокойством произнес: Плохо дело, скоро вообще все заправки

закроются. Ясное дело: бензин — вещество горючее и летучее: стоит случиться кризису, так оно первым и улетучивается, не знаю, помнишь ли ты, но, может, слышал: здесь когда-то уж было нечто подобное — нефтяное эмбарго, перебои в поставках и всякое такое, форменный хаос творился. Чувствую я, что до Орсе мы не дотянем. А ты бы не каркал. Не могу, я по натуре пессимист.

Через Севилью проследовали они транзитом, а скворцы на несколько минут остановились радостно погалдеть, поглазеть на Хиральду[1], которую никогда прежде не видели. Будь их полдесятка, они бы, словно черные ангелы, увенчали статую Веры, но тут обрушилось на нее лавиной многотысячное воинство и, облепив, превратило невесть во что: может, это Вера, а может, и совсем наоборот — аллегорическое изображение Неверия. Но метаморфоза была кратка: глянь, пацаны, спохватились скворцы, Жозе Анайсо слинять от нас хочет, глянь, как петляет по этому лабиринту улиц и переулков, а ну давай за ним. По дороге Парагнедых ел-пил, где удавалось добыть пропитания, на кое-каких заправочных станциях появились плакатики «Бензина нет», но служащие говорили: Завтра будет, — может, они в отличие от Жоакина Сассы были по натуре оптимисты, а может, просто научились делать хорошую мину. Что же касается скворцов, то им и корму, и воды хватало, благодарение Господу, который, как известно, их питает, заботясь о птицах небесных больше, чем о людях, и даром, что ли, бежит-шумит Гвадалквивир, и мало ли вокруг озер и ручьев — и воды в них столько, что от начала времен до скончания века малыми своими клювиками им не выпить ее всю. День перевалил за половину, когда взобрались путники по крутому гранадскому склону, и Парагнедых отдувался и поводил боками от таких усилий, а Жоакин Сасса и Жозе Анайсо двинулись на розыски, словно наступил час «Ч», пришло время вскрыть конверт и узнать, какая судьба нас ждет.

Девушка за стойкой туристического агентства осведомилась, не археологи ли они, не антропологи ли португальские, насчет португальских понятно, но с чего вы взяли, что они археологи-антропологи? Да в Орсе по большей части только они и едут, там неподалеку, в Вента-Мисене, довольно давно уж обнаружили останки первобытного человека, самого древнего в Европе. Так-таки и человека? — спросил Жозе Анайсо. Нет, только его череп, но зато древний-древний — ему не то миллион четыреста тысяч, не то миллион триста тысяч лет. А откуда же стало известно, что это его, а не ее череп? — с подковыркой спросил Жоакин Сасса, на что Мария Долорес с понимающей улыбкой ответила: Когда где-нибудь откапывают первобытного человека, его всегда называют кроманьонцем, неандертальцем, синантропом, австралопитеком и тому подобное в том же роде, исключительно в мужском, я хочу сказать, роде, — должно быть, в доисторическую эпоху женщин не было и добрались до Ев, самое вкусное уже доев. И вас, я вижу, это заело. Еще бы, я антрополог по образованию и феминистка от досады. А мы — журналисты, хотели взять интервью у того самого Педро Орсе, который ощущает колебания почвы. Неужели и в Португалии об этом уже известно? А что тут такого: от вас до нас рукой подать, отчего бы не подать и весть? Заметим, что весь этот искрометный диалог вел Жозе Анайсо, в силу профессиональной необходимости поднаторевший в пикировке с учениками. Спутник его меж тем отошел в сторонку, глядел на красочные плакаты с изображениями Львиного дворика, садов Хенералифе, лежащих статуй Католических Королей и спрашивал сам себя, какой смысл в реальных достопримечательностях, если ты все уже видел на фотографиях. Из-за этих философских раздумий он потерял нить дальнейшего разговора Жозе Анайсо с Долорес, хохотавшей так звонко, что невольно хотелось сказать: Родилась такой веселой — прозываться надо Лолой, Долли или Лолитой, как угодно, только не полным именем,

[1] Вращающаяся женская фигура на башне старинного севильского собора.

которое дано ей в память страстей Господних и крестных мук его, а потому и вступает в вопиющее противоречие с природной веселостью нрава. В ней не было уже и следа феминистской досады, потому, вероятно, что этот португалопитек предстал перед нею не в виде нижней челюсти, коренного зуба и фрагмента лобной кости, а в полном, можно сказать, комплекте, кое-какие аксессуары которого послужат грядущим археологам убедительнейшим доказательством того, что в наши времена женщины уже существовали. Мария Долорес, которая, не найдя применения своему диплому антрополога, устроилась на службу в туристическое агентство, прочерчивает на подсунутой Жозе Анайсо карте недостающую дорогу, крестиком помечает селение Орсе неподалеку от пресловутой Вента-Мисены, теперь они не заблудятся, гранадская сивилла указала им правый путь со словами: Там настоящий лунный пейзаж, но в голосе ее звучит сожаление, что она не может отправиться туда вместе с португальскими журналистами, к делу применить свои знания, особенно с этим вот застенчивым, с тем, что держался в сторонке, всё плакаты по стенам рассматривал, ах, Мария Долорес, сколько уж раз внушала нам житейская опытность, что не следует доверяться первому впечатлению, ибо столь же обманчиво оно, как и застенчивость Жоакина Сассы, который, выйдя на улицу, говорит товарищу: Она, наверно, не прочь, чтобы ты задержался да подержался за нее — простим этот сомнительный каламбур, из тех, что столь часто звучат в чисто мужском разговоре, а Жозе Анайсо не без самодовольства, вполне, как мы-то с вами знаем, беспочвенного, отвечает: Не исключено.

Наш мир, как мы неустанно повторяем, это комедия ошибок. Лишним доказательством этому служит имя «орсейский человек», которое дали черепу, отрытому даже не в Орсе, а по соседству — в Вента-Мисене, такое название отлично звучало бы в палеонтологических трудах, если бы не первая его часть — «вента»[1], со всей непреложностью указывавшая на то, каким прозаическим и низменным делом добывали себе пропитание его жители. Что за странная судьба у слов: не будь Мисена именем женщины — ну не мужчины же! — чем-нибудь прославившейся наподобие той знаменитой галисийки, в честь которой в Португалии назван городок Голеган, можно было бы подумать, что, спасаясь от безумия Атридов[2], именно сюда, в эти отдаленнейшие пределы, добежали микенские греки и основали здесь поселение, желая хоть названием его — впоследствии и в соответствии с законами языка изменившим звучание — воссоздать оставленное отечество, здесь, в самом средоточии ада — куда там городку Серберу! — дальше которого мы уж не поплывем. Верится с трудом.

В этом краю устроил себе дьявол первое свое обиталище, это его копыта прокалили и до седого пепла выжгли землю меж горами, которые, содрогнувшись тогда от ужаса, так и замерли по сию пору. Это — пустыня, бесповоротная и окончательная, здесь сам Христос навеки поборол бы любые искушения, если бы уж до этого не узнал все уловки дьявола, как, по крайней мере, уверяет нас евангельский текст. Жоакин Сасса и Жозе Анайсо оглядывают — что же они оглядывают? пейзаж? — ничего себе пейзаж, это кроткое слово принадлежит другим мирам, иным наречиям, а то, что здесь предстает взору, пейзажем никак нельзя назвать, скорей уж — адская область, да и то нехорошо будет, ибо и в этом гиблом месте встретим мы, без сомнения, людей и скотов, этих людей сопровождающих до той поры, пока первым не придется убить вторых, чтобы выжить в этой каменистой пустыне, на землях, столь обильно политых кровью мавров и христиан — это тоже было во тьме времен, и что пользы толковать о тех, кто умер здесь давным-давно, если сама земля мертва и в самой себе похоронена.

---

[1] Вента (venta) — постоялый двор, харчевня (*исп.*).
[2] Сыновья микенского царя Атрея Агамемнон и Менелай.

Здесь, в Орсе, наши путники нашли наконец, кого искали, — Педро Орсе, аптекаря по роду деятельности, оказавшегося старше, чем они себе его воображали, если воображали, но все же не таким древним, как его предок-миллионер — да-да, именно миллионер, отчего бы не употребить понятие, применяемое прежде всего к деньгам, и по отношению ко времени, приняв, однако, в расчет, что ни за какое количество одного не купить другого и это другое сильно понижает ценность первого. Педро Орсе не светился на телеэкране, и потому мы не знали, что ему сильно за шестьдесят, что он сухопарый, остролицый и совсем почти седой, хотя, если бы в силу врожденного хорошего вкуса не презирал так глубоко всяческие ухищрения и вообще искусственность, мог бы запросто, благо достаточно был сведущ в химии, сотворить в тиши своей лаборатории тайное средство сделаться иссиня-черным или золотисто-русым. Жоакин Сасса и Жозе Анайсо, ступив за порог, застают его за изготовлением облаточек из растолченного в порошок хинина — эта архаическая фармакопея, отвергая современные промышленные методы, сохраняет, благодаря мудрому инстинкту, свой психологический эффект — чем трудней глотать снадобье, тем скорее окажет оно свое поистине волшебное действие. В Орсе, а его никак не минуешь по пути в Вента-Мисену, в которой некогда жизнь била ключом — полчища археологов, всякие там раскопки и находки, — ныне приезжие редки, а где теперь находится череп самого отдаленного из наших предков, сказать затрудняемся, наверно, в музее лежит, под стеклом и с табличкой, а те, что случаются, спрашивают аспирин, чего-нибудь от запора или, наоборот, чтобы поспособствовало пищеварению, местные же предпочитают, должно быть, умирать от первой хворобы, так что аптекарю в здешних местах не разбогатеть. Педро Орсе, с ловкостью фокусника завершив изготовление очередной партии облаток, то есть увлажнив верхнюю часть массы, заложив ее между двумя латунными дырчатыми пластинками, надавив и получив двенадцать лепешечек хинина, обернулся к посетителям, чтобы узнать, что им угодно. Видите ли, мы португальцы, сказал один из вошедших, хотя заявление это было совершенно излишним: стоило ему открыть рот, как сразу стало ясно, кто они такие, но, впрочем, нам, людям, свойственно сперва заявлять, кто мы, а затем уж сообщать, зачем пожаловали, особенно в таких вот важнейших случаях, когда пришлось проехать многие сотни километров, лишь чтобы спросить — ну пусть и не с такой драматической торжественностью: Педро Орсе, поклянись честью своей и лобной костью пращура, отрытой неподалеку, что чувствовал колебания почвы, когда все севильские и гранадские сейсмографы вычерчивали прямейшую из прямых, горизонтальнейшую из горизонталей, и Педро Орсе, подняв руку, отвечает просто, как свойственно праведникам и правдолюбцам: Клянусь. И хотели бы поговорить с вами с глазу на глаз, добавил Жоакин Сасса, установив свою и товарища своего национальную принадлежность, и тотчас, с ходу, благо аптека пуста, пустился выкладывать все, что происходило с ними, — доложил и про камень, и про скворцов, и как перебрались через границу, и хотя насчет камня доказательств представить не смог, а вот что касается скворцов, так довольно чуть приоткрыть дверь да высунуться, одним глазком взглянуть, чтобы увидеть над площадью неизбежное крылатое воинство, и все обитатели городка задрали голову к небесам, дивясь небывалому зрелищу, но вот стая исчезла, переместилась на зубцы арабского Замка Семи Башен. Нет, здесь говорить неудобно, сказал Педро Орсе, садитесь в машину и выезжайте из города. Куда? Поезжайте сначала все прямо и прямо, по направлению к Марии, через три километра от окраины будет мостик, за ним — олива, там меня ждите, я скоро, и Жоакин Сасса испытал некое дежавю — не он ли сам два дня назад, только на рассвете, так же выбирался из города, чтобы на окраине подождать Жозе Анайсо.

Но вот они сидят на земле, под оливой, называемой кордовилой, дающей, если верить всяким народным припевкам, желтое масло, хотя на самом деле это свой-

ство любой оливы, лишь у некоторых оно — не свойство, а масло — с небольшой прозеленью, и у Жозе Анайсо невольно срывается с языка: Какие жуткие здесь места, на что Педро Орсе ответил: Вента-Мисена гораздо хуже, я ведь оттуда родом, — вот какая получается двусмысленность, которая может означать и то, что означает, и нечто совершенно противоположное, зависит же это всецело не от читаемого, а от читающего, вот потому-то нам так трудно сказать вам, кто и, стало быть, как прочел эту фразу, хотя есть основания надеяться, что жуть и гибельность Вента-Мисены не объясняются тем обстоятельством, что там появился на свет Педро Орсе. Затем заговорили о деле, по которому сошлись они здесь: неспешно поделившись опытом превращения в дискобола, птицелова и ходячий — или сидячий — сейсмограф, пришли к выводу, что все эти происшествия были и остаются связанными между собой, тем более что, по словам Педро Орсе, земля и сейчас дрожит. Вот прямо сейчас я это ощущаю — и в доказательство простер руку, как бы предлагая самим убедиться. Движимые любопытством Жоакин Сасса и Жозе Анайсо дотронулись до нее и ощутили вполне явственно — никаких сомнений! — легкое подрагивание, вибрацию и даже услышали глухой и отдаленный гул, и, право, не стоит уверять нас скептически, что рука трясется от старости, ибо и Педро Орсе еще не так стар, и дрожь вовсе не то же самое, что содрогание, ибо, если начнем судить по созвучиям, отчего бы не приплести сюда и дроги с драгами.

Сторонний наблюдатель подумал бы, издали глядя на этих троих, что они заключают между собой какое-то соглашение и вот сейчас рукопожатием подтвердили взаимные обязательства, не более того. А вокруг источают жар раскаленные камни, над белесой землей колеблется знойное марево, небо подобно огнедышащему зеву плавильной печи, даже здесь, в тени оливы. Чуть заметные ягоды на ней спаслись покуда от алчной прожорливости скворцов, вот погодите, увидите, что тут в декабре будет, хотя, впрочем, олива здесь одна, так что вроде бы не должны скворцы совершать сюда свои опустошительные налеты. Жоакин Сасса включил приемник, потому что все трое вдруг замялись, не зная, что сказать, да и немудрено — они ведь, в сущности, так мало знают друг друга, и раздался чуть гнусавый — от усталости и оттого, что батарейки садятся, — голос диктора: Как показали последние замеры, скорость движения полуострова сейчас стабилизировалась на семистах пятидесяти метрах в час, а трое сидят и слушают, По сообщениям, только что поступившим в редакцию, между Ла-Линеа и Гибралтаром образовалась глубокая расщелина, а тот все говорит и говорит, через час мы вновь встретимся с вами в эфире, но в этот миг над головами — фр-р-р-р — пронеслись скворцы, и Жоакин Сасса спросил: Твои? — и Жозе Анайсо, не поднимая даже головы, ответил: Мои, ему легко распознать их, Шерлок Холмс в подобной ситуации сказал бы: Элементарно, Ватсон, нет стаи, которая могла бы сравниться с этой, да еще в здешних краях, и был бы совершенно прав, ибо в преисподней птицы редки, разве что, согласно легендам, обитают там всякие совы да филины.

Глаза у Педро Орсе, который сначала следил за полетом скворцов безо всякого интереса, а лишь из вежливости, вдруг вспыхивают, и с языка будто сами собой срываются слова: А не отправиться ли нам на побережье, поглядеть, как проплывет мимо Скала? Слова эти лишь на первый взгляд представляются чушью и бессмыслицей — согласитесь, что, когда глядишь из окна вагона, тоже ведь кажется, что мимо плывут деревья, а ведь они так прочно укоренены в земле, а ведь мы не в вагоне, мы медленно движемся на каменном плоту, плывущем в море, и разница между ними — это всего лишь разница между телами жидкими и твердыми. О, как часто случается, что для перемен в жизни требуется вся эта жизнь, мы погружаемся в раздумье, ищем равновесия, снова колеблемся и не решаемся, возвращаемся к началу, снова принимаемся размышлять и думать, кружимся и вертимся, не сходя с места, по колеям времени, словно легкий ветерок, вздымающий пыль, палую

листву и тому подобный вздор, ибо на большее у него нет сил, и куда бы лучше нам жилось в краю тайфунов. Но иногда довольно бывает одного слова, чтобы мы вскочили, готовые к приключениям, и зной нам нипочем, и вот уж кинулись сломя голову, как дети, отпущенные наконец погулять, кувырком, с криками и смехом понеслись с горы. Парагнедых являет собой жаровню, в одно мгновение трое седоков взмокли, но и внимания на это не обращают — не отсюда ли, не из этих ли южных краев отправлялись открывать иные миры, новые земли суровые, жестокие, непреклонные, взмокшие и взмыленные люди в такой же вот железной скорлупе, только называлась она в ту пору не «кузов», а «доспехи», и в железных шлемах на головах, с железом в руках двигались и надвигались они на беззащитную идиллическую индейскую наготу, чуть прикрытую птичьими перьями.

Решили в городок не возвращаться, ибо много толков и пересудов вызвало бы появление Педро Орсе в автомобиле с двумя незнакомцами — то ли похитили его, то ли заговор затевается, но в любом случае следует вызвать полицию, а старейший из городских старейшин скажет: Не нужна нам тут гражданская гвардия. Нет, они поедут по другим, на карту не нанесенным дорогам, ибо загадочны, как сфинкс, туристские тропы, ведущие к новым открытиям. Сказал Педро Орсе: Покажу вам сначала Вента-Мисену, отчий свой край, — и так это прозвучало, словно он сам над собой горько усмехается или бередит еще не затянувшуюся рану. Они миновали развалины деревни, называвшейся Фуэнте Нуэва, что означает по-испански «новый ручей», но если и был он когда-нибудь в этих краях, то от старости иссох, а потом долго еще ехали по петлявшей дороге, покуда не сказал Педро Орсе: Здесь.

Смотрят глаза, но видят так мало, что принимаются искать, чего же тут не хватает, и не находят. Здесь? — переспрашивает Жозе Анайсо, и сомнения его понятны, ибо редкие домики, раскиданные как попало, сливаются по цвету с землей, в низине торчит колокольня, а у самой дороги, чего быть не может, — белый крест и ограда кладбища. Под огнедышащим солнцем земля вздымается и опадает, словно окаменевшие, припорошенные пылью морские валы, и если и миллион четыреста лет назад погодка была такой же, то не надо быть палеонтологом, чтобы с уверенностью заключить: здешний кроманьонец или как его — микенантроп, что ли? — умер от жажды. Но, впрочем, мир тогда был юн, а на месте этого полудохлого ручейка щедро струила полные воды свои река, росли огромные деревья, и трава была в рост человека, и все это было, было прежде, чем разместился здесь ад. Когда пройдет дождь, в свой срок и сезон покрываются, должно быть, пепельного цвета поля какой-никакой зеленью, которая потом засохнет и умрет, потом воскреснет и оживет, но низкие берега возделывать неимоверно трудно, человеку ведь ни за что не усвоить, как чередуются в природе эти циклы, ему нужно ведь хоть раз посадить да собрать, а там хоть — в буквальном смысле — трава не расти. Педро Орсе обводит рукой нищее селенье: Дома, где я родился, уже нет, а потом указывает налево, в сторону холмов с плоскими, будто стесанными верхушками, вон в тех пещерах и нашли первобытного человека. Жоакин Сасса и Жозе Анайсо глядят, и пейзаж оживает — полтора миллиона лет назад здесь жили мужчины и женщины, которые производили себе подобных, которые производили себе подобных, которые производили себе подобных, и так продолжалось вплоть до наших дней, и если спустя еще полтора миллиона лет придет кто-нибудь на раскопки этого убогого кладбища, то, поскольку микенантроп уже имеется, назовет найденный череп «орсейским человеком». Улицы пусты, не лают собаки, даже скворцы исчезли, и холодок страха проползает по спине Жоакина Сассы, он даже не может скрыть, что ему не по себе, а Жозе Анайсо спрашивает: А как называется вон та горная гряда? Сьерра-Сагра. А та, справа от нас? Сьерра-Мария. Когда умирал орсейский человек, это было последнее, что он видел. Интересно, как он называл ее, говоря с другими орсейцами, чьи черепа не достались потомкам? — спрашивает Жоакин Сасса. В ту пору у нее

еще не было названия, говорит Жозе Анайсо. Стало быть, надо подождать, пока не родится имя. Все трое долго и молча, не произнося ни слова, глядели на гору, и наконец Педро Орсе произнес: Пошли, и это означало, что прошлому пришла пора упокоиться с миром, весьма, впрочем, беспокойным.

Развлекая попутчиков, Педро Орсе пересказал с новыми подробностями то, как ученые в конце концов решили в присутствии представителей власти подсоединить к нему сейсмограф — идея была отчаянная, но оказалась плодотворной, поскольку они теперь смогли удостовериться в истинности его слов — самописец пошел вычерчивать зубцы, свидетельствующие о колебаниях почвы, а чуть лишь разомкнули клеммы, вновь вытянулась на миллиметровке прямая линия. То, чему нет объяснения, считается объясненным, заявил алькальд Гранады, бывший там среди прочих, но один из ученых поправил его: То, чему нет объяснения, должно будет подождать еще капельку, — эти слова, лишенные всякого научного ригоризма, были поняты и одобрены всеми. Педро Орсе отправили домой, попросили в случае надобности вновь предоставить себя в распоряжение науки и власти и особенно не распространяться о своих экстрасенсорных дарованиях — не правда ли, похоже на решение, принятое французскими ветеринарами по поводу таинственной атрофии голосовых связок у серберских собак.

Парагнедых решительно устремился на юг, по наезженным колеям и оживленным магистралям, где вроде бы не должно встретиться никаких проблем с бензином, однако вскоре вынужден был унять свою резвую рысь — перед ним еле-еле ползла нескончаемая вереница машин всех видов и мастей — легковые, грузовые с прицепом и без, фургоны и фуры, мотоциклы, мотороллеры, — а также велосипедов, мулов, впряженных в повозки и телеги, ослов, влекущих на себе всадников, ни один из которых не был Роке Лосано, и пешеходов: одни просили подвезти, другие презрительно отворачивались от механического транспорта и упрямо шагали с видом богомольцев, идущих по обету, и излишне было спрашивать, что же за обет они дали и куда идут: необязательно носить имя Педро Орсе, чтобы тебя обуяло желание посмотреть, как Гибралтар проплывет вдали и позади останется, — достаточно быть испанцем, а таких здесь множество. Они идут из больших городов — из Кордовы, из Линареса, из Хаэна, из Гуадикса, но также из Игера-де-Архоны, Эль-Токона, Булар-Бахо, Аламедильи, Хесус-дель-Монте, Альмасегаса, отовсюду, кажется, выслали делегации: долго и терпеливо, с тысяча семьсот четвертого — прикиньте, сколько же это выходит? — ждали эти люди, рассуждая, что если Гибралтар не наш, так пусть же он и англичанам не достанется. И столь мощен этот человеческий поток, что дорожная полиция повсюду, где только возможно, открывает для него еще одну, встречную полосу; к северу направляются лишь считанные единицы, и у них, должно быть, веские причины грести против течения — может, на похороны торопятся, — но все равно на них косятся, подозревая, что они симпатизируют англичанам и спешат прочь, дабы скрыть, как огорчены они таким тектоническим сдвигом, геостратегическим оборотом событий.

А для остальных это большой праздник, прямо святая неделя, и в кузовах многих грузовиков навалены кресты, хоругви, статуи Пречистой Девы, сверкает медь оркестров, и взмыленные ослы навьючены запасом шутих, петард, ракет — если хватит фитиля, взовьются они, как Клавиленьо, до второй и до третьей областей воздуха, а потом, глядишь, попадут и в область огня, и опять сгорит полбороды у бедного Санчо, если тот в доверчивости своей вновь поддастся на обман[1]. Как на праздник и девицы вырядились, нацепили все свои ленты-серьги-бусы, надели лучшие мантильи, а когда у стариков ноги подкашиваются, молодые несут их на закорках — известное дело, как аукнется, так и откликнется, сами в свой час немощны-

[1] См.: *Мигель де Сервантес.* Дон Кихот. Т. 2, гл. XLI.

ми станем, тогда нас наши дети взвалят к себе на спину, — пока не подберет их какое-нибудь средство передвижения, и тогда можно будет дать роздых замлевшим членам, и все это стремится в одну сторону — на побережье, на пляжи, а еще лучше — на высокие холмы, откуда откроется морская панорама и предстанет как на ладони проклятый мыс, жаль только, что далеко, не слышно, как верещат там сбитые с толку, потерявшие из виду землю обезьяны. Чем ближе к морю, тем плотнее заторы на дорогах, и многие уже вылезают из машин, идут пешком или просятся к гужевикам, тем-то никак не бросить без присмотра своих мулов и ослов, которых надо поить-кормить, вешая им на шею торбу с овсом или сеном, и полицейские оказываются на высоте положения, благо сами все из крестьян, понимают, стало быть, а потому не позволяют водителям оставлять грузовики и легковушки где попало, велят принять вправо, прижаться к обочине, чтобы дать проход четвероногим, а заодно и всяким мотоциклам, мотороллерам, велосипедам, ибо все эти механизмы по субтильности своей не загромождают автостраду. Музыканты, ступив на землю, исторгают первые такты пасодоблей, уже взвилась в поднебесье первая ракета, запущенная самым нетерпеливым или объятым патриотическим восторгом сильнее прочих, но прочие корят его и бранят за то, что без прока и видимой причины истратил заряд. Остановился и Парагнедых, единственный во всей кавалькаде португальский — то есть с португальскими номерами — автомобиль, ему от созерцания затерянного в океане Гибралтара ни холодно ни жарко, его историческую память щемит при слове «Оливенса»[1], а по этой дороге туда не доедешь. Многие уже растеряли друг друга в этой толчее, жены ищут мужей, дети зовут маму, но все, к счастью, в конце концов устроится, семьи воссоединятся, и если день этот — не для ликования, то и рыданий Творец не допустит. Шныряют в толпе и собаки, причем почти совсем не лают — разве что когда ввяжутся в драку, — но из Сербера нет ни одной. Вот появились и два бесхозяйных ослика, и только собрались воспользоваться их неосмотрительным приближением Педро Орсе, Жоакин Сасса и Жозе Анайсо — один пешком пойдет, двое других верхом поедут, а потом поменяемся, — как возникли и их владельцы — цыгане, шумною толпою двигающиеся на север, ибо уж им-то на Гибралтар в высокой степени наплевать, — и если бы не почтенные седины и внятные разъяснения испанца Педро Орсе, могла бы пролиться португальская кровь.

Вдоль побережья растягивается необозримый бивак — многие тысячи зевак устремили взгляд в море, иные влезли на деревья, на крыши, не говоря уж про тех, кто стоит в отдалении, вооружась биноклями, на отрогах Сьерра-Контравьесы или на вершинах Сьерра-Невады, да и зачем про них говорить, если нас интересуют лишь люди попроще, которые, пока рукой не пощупают, не признают, и хоть так близко, чтоб пощупать Гибралтар, явно не подобраться, к этому надо стремиться. Среди них — Педро Орсе, Жоакин Сасса и Жозе Анайсо: первого привел сюда пылкий нрав, двух других — пытливая любознательность; сейчас они расположились на скалах у самого берега, а день клонится к закату, что дает основания неисправимому пессимисту Жоакину Сассе заметить: Если Гибралтар ночью проплывет, мы, выходит, спешили напрасно. Огни-то увидим, возражает ему Педро Орсе, это даже еще красивей, пройдет мимо мыс, как ярко освещенный пароход, и, пожалуй, пригодится загодя припасенный фейерверк со всеми его гирляндами, вертящимися колесами, дождем и каскадами или как они там называются, когда пресловутый мыс растает на горизонте, скроется во тьме ночи, прощай, прощай, больше не увидимся. Но Жозе Анайсо, разложив на коленях карту, производит на бумажке какие-то вычисления, повторяет их все одно за другим, чтобы уж было наверняка, проверяет масштаб и наконец объявляет: Друзья мои, Гибралтар покажется здесь дней через де-

[1] В 1801 г. испанские войска, захватив без боя пограничную крепость Оливенсу, в два дня оккупировали Португалию.

сять, и в ответ на недоуменные восклицания своих спутников протягивает им бумажку с расчетами, и, слава богу, чтобы уразуметь их, не нужно быть семи пядей во лбу или хотя бы дипломированным учителем — они всякому понятны и требуют самых начатков арифметики. Смотрите сами: наш полуостров или остров — или кто он теперь? — движется со скоростью семьсот пятьдесят метров в час, то есть в сутки его относит на восемнадцать километров, а от залива Альхесирас до нас по прямой — двести, вот и прикиньте. Педро Орсе скорбно склонил голову: А мы-то вместе со всем этим множеством спешили, опоздать боялись, пропустить миг торжества, а теперь, выходит, десять дней ждать надо, это ж взбесишься. Так, может, двинемся вдоль побережья ему навстречу? — осведомился Жоакин Сасса. Да нет, отвечал ему Педро Орсе, не стоит, дорога ложка к обеду, ему бы сейчас тут появиться, когда мы так воодушевлены, а потом пыл наш угаснет. Что же мы будем делать? — спросил Жозе Анайсо. Обратно пойдем. И не останемся? Чего не приснилось, то и не сбудется. Ну раз так, так его и растак, завтра и тронемся в путь. Уже? Меня школа ждет. Меня — контора моя. Меня — аптека.

И они отправились искать брошенного где-то Парагнедых, а покуда они ищут и не могут найти, самое время будет сказать, что многие тысячи тех, кто в нашей истории не смеет подать голос или отдать его «за» или «против», тех, кто даже бессловесной массовкой не пройдет и по самому заднику сцены, так вот, все эти люди на протяжении десяти дней и ночей не отступили ни на пядь, питались тем, что принесли с собой, а когда на вторые сутки припасы иссякли, принялись покупать продовольствие в округе, кухарить и стряпать на вольном воздухе, на больших кострах, подобных тем, какими в стародавние времена подавали друг другу вести, и люди, оставшиеся без денег, голодными все же не оставались, получали свою долю наравне со всеми, словно воротились или настали времена всеобщего братства, хотя превыше сил человеческих времена эти воскресить или приблизить, поскольку никогда их не было и не будет. Но эту восхитительную атмосферу не суждено ощутить Педро Орсе, Жоакину Сассе, Жозе Анайсо — они повернулись к морю спиной и идут прочь, теперь уж на себе ловя подозрительные взгляды многих и многих встречных, продолжавших спускаться к побережью.

А меж тем уже темнеет, вспыхивают первые огни. Поехали, говорит Жозе Анайсо. Педро Орсе двинется в путь на заднем сиденье, молча, печально, с закрытыми глазами, и опять же как никогда приспело время вспомнить припев португальской песенки — Ты куда? На праздник. Ты откуда? С праздника, — и даже без восклицательных знаков и многоточий сразу чувствуется разница между нетерпеливой радостью первого ответа и усталой печалью второго, это в напечатанном виде они отличаются лишь предлогами. Во весь путь были произнесены всего два слова: Поужинаем вместе, и произнесли их, как велит долг гостеприимства, уста Педро Орсе. Жоакин Сасса и Жозе Анайсо не сочли нужным что-то на это отвечать, но тот, кто счел бы это невоспитанностью, слабо разбирается в природе человеческой, ибо более сведущий поклялся бы, что просто эти трое стали друзьями.

И уже глубокой ночью они въезжают в Орсе. В такой час пустынные улицы его погружены во мрак и безмолвие. Парагнедых можно оставить у дверей аптеки, ему надо передохнуть перед дальней дорогой — завтра снова рысить, носить на себе троих седоков, как решено было за этим вот столом, уставленным немудрящей снедью, поскольку Педро Орсе, во-первых, живет один, а во-вторых, об эту пору не до кулинарных изысков. Включили телевизор, новости теперь передают каждый час, и увидели Гибралтар, уже не просто отделившийся, но и порядочно отдалившийся от Испании, оставшийся, бедняга, затерянным в океане островком, превратившийся в гору, в сахарную голову, и тысячам его орудийных стволов нечего брать на прицел, и проку в них никакого. Можно, разумеется, для услады имперского сознания развернуть их на север или выстроить там новые форты, но все равно это

будет зряшный труд, деньги, выброшенные не на ветер, так в воду. Сильное впечатление произвели эти кадры, но разве сравнишь их с теми, что были засняты со спутника и свидетельствовали о неуклонном и постоянном расширении пролива между Иберийским полуостровом и Францией, вот от этого и вправду волосы дыбом, мороз по коже, когда глянешь на это несчастье, с которым людям не совладать, — пролив уже никакой не пролив, а просто-таки открытое море, и там на воле плавают суда, никогда прежде так далеко не забиравшиеся. Ясно, что заснятое с космической высоты перемещение не увидеть, невооруженный глаз скорость в семьсот пятьдесят метров в час не воспринимает, но телезрителям просто казалось, будто дрейфует каменная громада прямо у них в голове, отчего голова эта шла кругом — самые слабонервные готовы были упасть в обморок, да и те, что покрепче, жаловались на дурноту. Велась съемка и с неутомимых вертолетов — показали гигантский, отвесный, как ножом срезанный пиренейский утес, и разворошенный человеческий муравейник, обитатели которого, как во времена исхода, двигались на юг лишь затем, чтобы увидеть: проплывает мимо Гибралтар — не веря глазам своим, и правильно делая, ибо это обман зрения: Гибралтар на месте стоит, это мы от него уплываем, а в качестве живописной и любопытной подробности под конец репортажа, целой тучей, заслонившей объектив камеры, появилась многотысячная стая скворцов: Даже птицы разделяют наше смятение, сказал в этом месте диктор, хотя естествознание учит нас, что у птиц свои резоны и мотивы лететь куда им надо или охота, не помышляя ни о вас, ни о нас, а разве только о некоем Жозе Анайсо, а тот, неблагодарный, восклицает в этот миг: Я и забыл про них.

Передали и репортаж из Португалии — на побережье, где атлантические валы бьют о скалы или ворошат песок, стояло множество людей, вглядываясь в горизонт с тем трагическим видом, какой бывает у тех, кто уже много веков ждет появления неведомого, опасаясь при этом, что оно так и не появится, а если и появится, то будет обыденным и банальным. И вот, как сказал Унамуно, смуглые щеки ладонями стиснув, взор свой вперяешь в ту точку, где солнце садится, но, впрочем, во всех странах, омываемых морем с запада, поступают точно так же, правда, у этого народа — смуглые щеки и плавал он много, вот и все отличие. Португальцы, с лирической слезой в голосе декламирует диктор, стоят на своих золотых пляжах, бывших когда-то лучшими в Европе, да, бывших и переставших быть таковыми, ибо мы покинули европейскую гавань и снова пустились бороздить простор Атлантики, не ведая, какой адмирал ведет нас, какой порт ждет, и тут камера выхватила маленького мальчика, пускавшего по воде камешек так, чтобы он несколько раз отскочил от воды, прежде чем погрузиться в нее, — этим искусством люди быстро овладевают, ему не учат, и Жоакин Сасса сказал: Вот, он забросил камень, насколько силы ему позволили и не дальше, однако Пиренейский полуостров — или как его там теперь? — словно бы наддал, прибавил хода, проворней устремился к волнующемуся, каким спокон века бывает оно в это время года, морю. А последнюю в выпуске новость диктор сообщил мимоходом, видно не придавая ей особенного значения: Отмечается большая, чем обычно, склонность населения к перемещению, причем не только в Андалусии, где причина этого явления известна, и мы, полагая, что наши граждане устремляются в приморские районы из чистого и понятного любопытства, заверяем наших телезрителей, что ничего интересного там не происходит, в чем вы могли убедиться и сами, посмотрев наш репортаж об этих португальцах, которые смотрят-смотрят, да все ничего не высмотрят, так не будем же уподобляться им. В эту минуту и сказал Педро Орсе: Найдется у вас место для меня?

Жоакин Сасса и Жозе Анайсо некоторое время молчали, силясь понять, с какой стати испанец, сию минуту получивший такой добрый и толковый совет, решил отправиться в Португалию. Вопрос был более чем уместным, и Жоакин Сасса на правах владельца Парагнедых задал его. Не хочу тут оставаться, отвечал Педро Орсе,

земля трясется, а люди думают, что все это мои бредни. Но, может быть, и в Португалии так будет и то же вам скажут, возразил Жозе Анайсо, и к тому же нам с Жоакином надо приступать к своим обязанностям. Не бойтесь, я вас не обременю, довезите только до Лисабона, я там никогда не бывал, побуду и вернусь. А как же семья, аптека? Я думал, вы уж давно поняли, что семьи у меня нет, я последний в роду, а за аптекой присмотрит мой помощник, он справится. Тогда и говорить больше не о чем. Мы очень рады, что вы решили составить нам компанию, это сказал Жоакин Сасса. Плохо будет, если тебя сцапают на границе, напомнил ему Жозе Анайсо. А я скажу: был в Испании, не знал, что меня разыскивают, а теперь спешу предстать пред светлые очи гражданского губернатора, но, скорей всего, мне и не придется ничего объяснять, они присматриваются к тем, кто выезжает, а мы-то будем въезжать. Только через другой пост, вспомнив о скворцах, сказал Жозе Анайсо и с этими словами разложил на столе карту Иберийского полуострова, начерченную, раскрашенную и напечатанную в те времена, когда он еще был частью европейской тверди и костная мозоль Пиренеев еще смиряла его тягу к бродяжничеству, и трое мужчин, склонившись над ней, всматриваются в плоскую проекцию этой части света так внимательно, словно не узнают ее. Страбон[1] сказал когда-то, что полуостров очертаниями похож на бычью шкуру, тихо, но как-то слишком уж внятно проговорил Педро Орсе, и хотя ночь стоит теплая, дрожь пробрала Жоакина Сассу и Жозе Анайсо, будто въяве увидевших перед собой исполинского зверя — освежевав, его принесли в жертву и подарили континенту, но льющаяся из туши кровь все хлещет и во веки веков не иссякнет.

Разложенная карта показывает им две их отчизны — мозаичную, подвешенную в воздухе Португалию и Испанию с ее отвалившейся на юге челюстью — со всеми их округами, провинциями, с галькой крупных городов и песком поселков и деревень, не всех, однако, ибо иную песчинку — Вента-Мисену, например, — и в микроскоп не разглядеть. Шарящие по карте руки добираются до Алентежо, ползут к северу, гладя картон, как гладят лицо — от левой щеки к правой, как движутся стрелки на часах, и текут сами часы: обе провинции Бейра, а перед ними Рибатежо, а за ними — Траз-ос-Монтес и Миньо, Галисия, обе Астурии, Страна Басков и Наварра, Кастилия и Леон, Арагон, Каталония, Валенсия, Эстремадура, наша и ваша, Алгарви, Андалусия, где мы сейчас находимся, и Жозе Анайсо упер палец в устье Гуадианы и сказал: Вот тут и въедем.

Памятуя о стрельбе на заставе Росаль-де-ла-Фронтера, наученные горьким и кровавым опытом скворцы, не желая вновь испытывать судьбу, благоразумно сделали порядочный крюк к северу и пересекли воздушную границу в безопасном месте, километрах примерно в трех от моста, который в описываемое нами время уже был построен. Португальские стражи не обратили ни малейшего внимания на то, что одного из троих путешественников зовут Жоакин Сасса, из чего со всей непреложностью можно заключить, что дух их был омрачен какими-то — и несравненно более важными — заботами, а какими именно, станет вам ясно из нижеследующего диалога. Куда едем? — спросил полицейский. В Лисабон, ответствовал сидевший за рулем Жозе Анайсо, а что? На дорогах дальше будут пропускные пункты и блокпосты, так что попрошу неукоснительно следовать правилам, обязательно останавливаться и во избежание крупных неприятностей не предпринимать попыток протыриться в объезд. Что-нибудь стряслось? Смотря что понимать под этим словом. Только не говорите, что Алгарви тоже отделилась, хотя, случись такое, я бы не удивился — эта провинция всегда была наособицу. Да нет, тут дело посерьезней: народ захватывает отели, расселяется там, туристов, говорят, все равно нет, а

[1] Страбон (ок. 63 г. до н. э.— ок. 21г. до н.э.) — древнегреческий географ, автор «Географии» в 17-ти книгах, почти целиком дошедших до нас.

нам нужна крыша над головой. А мы и не знали, когда же это началось? Вчера вечером. Вот это да! — воскликнул тогда Жозе Анайсо, который, будь он французом, облек бы свое изумление в иную форму и сказал бы, например, «Ça alors!», ибо у каждой нации свои междометия, вот и Педро Орсе высказался по этому поводу звучным «Карамба!», тогда как Жоакин Сасса отозвался ему чуть слышным эхом, помянув чью-то мать.

Можете следовать, отпустил их полицейский, помните, что я сказал, и Парагнедых беспрепятственно въехал на территорию Португалии у местечка Вила-Реал-де-Санто-Антонио, покуда его седоки обсуждали необыкновенные происшествия: Вот ведь, надо же, кто бы мог подумать, хотя известно, впрочем, что португальцы бывают двух видов — одни спускаются на берег моря и вперяют тоскующий взор в горизонт, а другие бесстрашно идут на приступ гостиничных цитаделей, обороняемых полицией, республиканской гвардией да вдобавок еще, как нам стало известно, регулярной армией, причем уже имеются раненые, о чем по секрету сообщили нашим путникам в одном кафе, возле которого они остановились, чтобы разжиться сведениями. Вот так они и узнали, что в отелях Албуфейры, Прайя-да-Роши и Лагоса ситуация просто критическая — здания окружены со всех сторон силами правопорядка, поведшими правильную осаду смутьянов, которые забаррикадировали окна и двери, укрепились, заняли круговую оборону и с остервенелой непреклонностью, будто мавры-нехристи какие, остаются столь же глухи к угрозам, как и к призывам одуматься и просьбам проявить благоразумие, ибо догадываются, должно быть, что белый флаг парламентера предшествует гранатам со слезоточивым газом, а потому не желают вступать ни в какие переговоры и слышать не хотят о капитуляции. Карамба, тихо, себе под нос повторяет Педро Орсе, и лицо его озаряется отблеском патриотической досады — отчего же не испанцы первыми додумались до такого?

У первого же шлагбаума их хотели было завернуть на Кастро-Маринь, но Жозе Анайсо с жаром запротестовал, ссылаясь на важнейшее и неотложное дело в Силвесе — он специально сказал «в Силвесе», дабы не навлечь на себя подозрений: Вы бы нас еще проселочной дорогой пустили! — на что командир блокпоста, на которого мирный вид трех пассажиров и легкая, почтенная изношенность Парагнедых произвели благоприятное впечатление, ответил: Оно и лучше было бы, если не хотите нарваться на неприятности. Но, господин лейтенант, в подобной ситуации, когда страна катится черт знает куда — согласимся, что это выражение на редкость уместно здесь, — стоит ли придавать такое значение тому, что кто-то самочинно занял сколько-то там гостиниц, не революция же это, в самом-то деле, чтобы устраивать такой переполох и объявлять в стране всеобщую мобилизацию, а просто народные массы порой теряют терпение, только и всего, и вся эта тирада принадлежит Жоакину Сассе, проявившему такое поразительное отсутствие дипломатического такта, что если бы лейтенант, уже давший отмашку, не придерживался принципа «первое слово дороже второго», пришлось бы все-таки нашим путникам пилить в Кастро-Маринь. Дерзость все же не осталась без отповеди, по-военному суровой: Армия выполняет здесь свой долг, представьте, вот мы бы сказали, что нам в казармах неуютно, да вломились бы в «Шератон» или «Ритц», и сильно, должно быть, был сбит с толку этот лейтенант, если снизошел до дискуссии со штатским. Святая правда, господин лейтенант, не обращайте на него внимания, он у нас такой — вечно ляпнет не подумавши, сколько раз я ему твердил. Значит, мало, пора бы уж сначала думать, потом говорить, не маленький, ответил лейтенант, самим тоном этого высказывания кладя конец беседе, и отошел от машины, показав жестом — можете следовать! — и счастье, что он не услышал ответной реплики Жоакина Сассы, иначе кончилось бы дело тюрьмой.

Их задерживали еще несколько раз, республиканская гвардия была еще менее

приветлива, чем армия, а потому приходилось трястись по проселочным грунтовым дорогам, прежде чем сумели выбраться вновь на автостраду. Жоакин Сасса дулся — и было отчего: Лейтенанту этому по службе положено мораль читать, а тебе вот вовсе не обязательно было встревать и говорить, что я всегда ляпну не подумавши. Ну извини, я ведь просто хотел поскорее от него отделаться, ты вздумал с ним шутить, а это ошибка непростительная, с властью даже самые остроумные шутки плохи, либо она их не понимает, и тогда зря, значит, ты старался, либо понимает, и тогда придется тебе совсем скверно. В этом месте Педро Орсе попросил, чтобы ему помедленней растолковали, в чем предмет спора, и волей-неволей пришлось несколько снизить тон, да еще несколько раз повторить одно и то же, так что разбор того, из-за чего весь сыр-бор, ясно показал, что происходящее внимания не заслуживает, и когда Педро Орсе вник в суть инцидента, тот был уже исчерпан.

Когда миновали развилку Боликейми, Жозе Анайсо, пользуясь тем, что шоссе было пустынно, вдруг, никому ничего не говоря, съехал на обочину и погнал Парагнедых через поле напрямик, срезая дорогу. Куда тебя несет?! — завопил Жоакин Сасса. Если так и будем торчать перед каждым постом, никогда не доберемся до отеля, а ведь интересно взглянуть, что же там происходит, разве нет? — отрывисто, потому что его подбрасывало на кочках и выбоинах, отвечал, отчаянно крутя руль, Жозе Анайсо. Педро Орсе на заднем сиденье безжалостно мотало и швыряло из стороны в сторону, и Жоакин Сасса, захохотав, прерывающимся от толчков голосом одобрил: Верно, верно, хорошо придумал. К счастью, метров через триста обнаружилась скрытая за рощицей фиговых пальм и поваленной стеной мощеная дорога, а вернее сказать — мощи дороги. Теперь они выбрались на оперативный простор и со всеми предосторожностями стали подкрадываться к Албуфейре, стараясь держаться в низинах, но все равно выдавая себя клубами пыли из-под колес, никудышный из Парагнедых получился разведчик, а авангард и подавно, но полиция осталась далеко позади, она сторожит развилки и перекрестки, оседлала, выражаясь военным языком, оживленные магистрали, у нее самая страда на автостраде, ей важно перекрыть основные коммуникационные узлы, а на прочее никаким силам правопорядка, сколько бы их ни было, сил не хватит: в этой провинции гостиниц — как, извините за сравнение, рожковых деревьев. По правде говоря, тем, у кого пункт назначения — город Лисабон, вовсе незачем околачиваться в этих объятых смутой местах, однако нам желательно удостовериться в истинности сообщений прессы, много раз случалось убеждаться, что наплели нам не с три, а с тридцать три короба, и размах событий вовсе не таков, каким тщатся нам его представить, — ну, может, были единичные, отдельные случаи, один-два, а все эти посты и шлагбаумы суть практическое воплощение мудрой предусмотрительности, ибо если беспорядкам помешать, то потом и вмешиваться не придется. Однако власти уже замешкались. Через редколесье, тревожа тяжелыми шагами красную землю, идут мужчины и женщины с мешками, котомками, узлами за спиной, с детьми на руках и с твердым представлением о том, что именно так полагается резервировать номер в отеле — главное, забросить туда эти убогие пожитки и вселиться самому с женой и детьми, а потом уж, если все пойдет хорошо, выписать всю прочую родню, перевезти кровать, стол, сундук, благо иной обстановки не нажили, никому и в голову не придет, что стол с кроватью и в гостинице найдутся, а сундук с успехом можно заменить платяным шкафом.

А у ворот Албуфейры готовится битва. Путешественники, оставив Парагнедых во втором эшелоне, под благодатной сенью дуба — в таких и подобных случаях на его помощь рассчитывать нечего, механизм, что с него взять, никаких чувств не испытывает, идет куда ведут, стоит где оставят, и дела ему до дрейфующего в океане полуострова нет, хотя благодаря этому дрейфу короче становятся его пробеги. Битва, как в стародавние времена, начинается с вербальной, извините, преамбулы

— словесный поединок, обращение к войскам с ободряющим словом, имеющим целью поднять их боевой дух, а с молитвой — к Пречистой Деве или святому Иакову, — слова-то всегда хороши, вот дела обычно оказываются хуже некуда, и не возымела нужного действия речь, с которой воззвал к противнику главарь смутьянов: Правофланговые, обозные, капралы, к вам обращаюсь я, друзья мои, внемлите мне, вспомните, что вы, как и мы, сыны народа, несущего такие жертвы, народа, что строит дома, а сам остается бездомным, возводит гостиницы, отказывающие ему в гостеприимстве, взгляните — с нами жены наши и дети, мы пришли сюда затем лишь, чтобы обрести достойный кров над головой, место, куда можно приклонить голову, жилье, подобающее человеку, а не скотине, ибо мы люди, а не бесчувственные машины: в этих пустующих отелях есть сотни и тысячи номеров, предназначавшихся для туристов, но туристы уехали навсегда, покуда они были тут, мы смиренно и покорно сносили невыносимое наше бытие, но теперь просим, чтобы нам позволили войти и расселиться, мы будем платить за номер столько же, сколько платим за наше нынешнее жилье, несправедливо требовать с нас больше, и клянемся всем святым, а также не святым, поддерживать там чистоту и порядок, ибо не рожала еще земля женщин, способных хотя бы отдаленно сравниться в этом с нашими женщинами, вы скажете — «дети», да, от детей много грязи, шума и беспокойства, но наши дети всегда будут чистенькими и опрятными, это нетрудно, поскольку, насколько я знаю, в каждом номере имеется туалетная комната, а в ней на выбор — ванна, душ, умывальник, вода холодная и горячая, так что нетрудно ходить чистым, и клянусь вам, что даже те из числа детей наших, кто в силу возраста своего уже успел привыкнуть к грязи, погряз, так сказать, в пороке нечистоплотности, станут опрятнейшими существами на свете, все это лишь вопрос времени, люди, впрочем, всегда говорят, что им нужно время, хотя это единственное, что у них есть, все прочее лишь химера и мираж, одним словом, химераж. Никто не ожидал от вождя мятежников такой философической концовки.

Черты лица свидетельствуют, а удостоверения личности подтверждают, что солдаты и в самом деле сыны народа, но вот командовавший ими майор то ли успел в стенах военного училища отвыкнуть и отречься от своего происхождения, то ли по рождению принадлежал к высшим слоям общества, для которых и предназначены были отели Алгарви, но так или иначе он отвечает на это: Убирайтесь отсюда, пока в рыло не получили, доказывая тем самым, что грубость речей не есть верное и непременное свидетельство принадлежности к простонародью. Солдаты видят перед собой милые сердцу образы отца с матерью, однако чувство долга сильнее родственных чувств: Свет очей моих, говорит мать сыну, а тот ее в ответ — прикладом. Но тут вожак самочинных постояльцев возвысил свой гневный голос, в отчаянии перейдя от убеждения к обличению: Презренный сброд, собак безродных свора, не узнаёте грудь, что выкормила вас — эта поэтическая вольность делает обвинение довольно бессмысленным, ибо нет такого сына или дочери, которые бы помнили вкус материнского молока да и самый процесс кормления, хотя очень многие авторитетно утверждают, что в глубинах нашего подсознания таятся и хранятся еще и не такие воспоминания, а жизнь наша, в сущности, из этих и подобных ощущений и состоит.

Майору очень не понравилось то, как его обозвали, и он скомандовал своим: Правое плечо вперед, бегом марш! — причем в один голос с предводителем мятежников, выразившимся несколько иначе: Бей их, ребята! — и тут они сшиблись, что называется, грудь с грудью, и началось побоище. В это самое время подоспели к месту происшествия Жоакин Сасса, Жозе Анайсо и Педро Орсе, ни к чему не причастные, но не в меру любопытные, за что немедля и пострадали, ибо солдаты в пылу схватки не делали различий между актерами и публикой, так что, можно сказать, троим друзьям, вовсе не нуждавшимся в жилье, пришлось за него подраться.

Педро Орсе, невзирая на почтенные года, бился, словно за родимую Андалусию, прочие также делали что могли, ну, может быть, чуточку меньше, чем могли, ибо принадлежали к миролюбивой нации. Были раненые, которых утаскивали с поля боя волоком или относили на обочину, были рыдания и проклятия женщин, и вот наконец камень, издали пущенный подростком по имени Давид, поверг наземь майора Голиафа, кровь хлынула из глубоко рассеченного подбородка, и стальная каска не смогла его защитить, потому что нынешние шлемы, не в пример шишакам прошлых веков, не снабжены забралом, а дальше — больше: мятежники вслед за тем стали теснить солдат, обтекли их по обеим сторонам дороги, чтобы затем, применив бессознательный, но гениальный тактический ход, броситься врассыпную по крутым улочкам и переулкам и не позволить войскам, осаждающим отель, прийти на выручку к побежденному батальону, и такой конфузии не испытывала регулярная армия с незапамятных времен какой-нибудь Жакерии. Владелец отеля, у которого, должно быть, от последних происшествий ум за разум зашел или же в душе вдруг пробудилось сочувствие народному делу, стал распахивать одну за другой двери номеров, приговаривая: Входите, входите, лучше уж вы, чем эта пустыня.

Итак, цитадель пала под первым же натиском, а Жоакин Сасса, Жозе Анайсо и Педро Орсе получили в свое распоряжение и пользование гостиничный номер, за который, по правде говоря, не боролись и который двое суток спустя отдали семье, больше в нем нуждавшейся, — у нее, помимо избитых в свалке, была еще и разбитая параличом бабушка. В этой никогда и никем прежде не виданной суматохе случалось, что мужья теряли жен, а родители — детей, но в результате драматических разминовений, которых никто бы не смог выдумать, что само по себе убедительно доказывает правдивость нашего повествования, так вот, в результате их, повторяем, разбросанные по номерам разных отелей, но движимые единым порывом ветви семейного древа, обретя, стало быть, крышу над головой, более того, по крыше на каждую голову, в конечном итоге все же воссоединялись и почему-то именно в том отеле, у какого рядом с названием было больше звезд. Полицейские комиссары и армейские полковники требовали у Лисабона подкреплений, бронетехники и инструкций, правительство, не зная, куда кидаться, отдавало и тотчас отменяло приказы, грозилось и добром просило и вскорости недосчиталось троих членов кабинета, подавших в отставку. Тем временем с улиц и с пляжа можно было видеть в окнах отелей торжествующих новоселов — на просторных верандах, где стояли столики для завтрака и диваны с подушечками, отцы семейств уже домовито и деловито стучали молотками, вгоняя первые гвозди и натягивая веревки, чтобы было где сушить белье, которое матери, напевая, уже стирали в ваннах. И бассейны вскипали от ныряний и купаний, и никто не озаботился тем, чтобы объяснить детишкам, что сначала надо бы принять душ, а уж потом лезть в голубую воду, — не так-то просто отучить людей от привычек, приобретенных в конурах и лачугах.

Известно, что дурные примеры не в пример заразительней хороших, хотя и неведомо, почему распространяются они с такой неимоверной скоростью, но так или иначе волна самочинных вселений перехлестнула через границу и разлилась по всей Испании, и вообразите только, как обстояло дело в Марбелье и Торремолиносе, где каждый отель — словно город, а три составляют целый мегаполис. Анархия! Хаос! Нарушение права собственности! — загудела Европа, прослышав об этих тревожных новостях, а одна французская газета — из тех, что формируют общественное мнение, — дала на всю первую полосу заголовок ПРИРОДУ НЕ ОБМАНЕШЬ! При всей своей банальности эта сентенция показалась истинным перлом проницательности, и с тех пор, когда речь заходила о бывшем Пиренейском полуострове, европейцы только пожимали плечами, разводили руками и говорили друг другу: Чего ж еще от них ждать, что с них взять, как волка ни корми — и прочее, а диссонансом в общем хоре прозвучало лишь мнение одной маленькой неаполитанской га-

зетки, макиавеллически оповестившей свет о том, что ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ В ПОРТУГАЛИИ И ИСПАНИИ РЕШЕНА!

Покуда трое друзей оставались в Албуфейре, полиция при поддержке частей специального назначения предприняла еще одну попытку штурмом взять отели, выкинув оттуда незаконных поселенцев, однако, наткнувшись на дружный и ожесточенный отпор со стороны постояльцев, готовых драться до последней капли крови, и владельцев отелей, знавших, какой чудовищный разгром учиняют обычно спасатели-спасители, — отступила, решив возобновить приступ в более благоприятных обстоятельствах, когда время и посулы несколько притупят бдительность осажденных. Когда же Педро Орсе, Жоакин Сасса и Жозе Анайсо двинулись своим путем в Лисабон, в захваченных гостиницах уже появились демократически избранные органы самоуправления — комитеты по здравоохранению и гигиене, по общественному питанию, по стирке, полосканию и глажке, по празднествам и увеселениям, по культуре, по народному образованию, по физкультуре и спорту и прочие, совершенно необходимые для исправного функционирования любого сообщества. На мачтах и флагштоках — и тех, что высились перед отелями прежде, и тех, что сорудили заново, — развевались разноцветные, из чего попало скроенные флаги, стяги, штандарты и вымпелы всех стран мира, спортивных клубов, ассоциаций и союзов — и над всеми прочими реяло португальское знамя. В духе здоровой состязательности всю эту пестроту тщились затмить вывешенные в окнах покрывала.

Но, как всегда бывает, учиненный этим гармоничным сообществом, которое самим фактом своего существования противопоставляло себя другим, заявляло о своих отличиях, а в данном случае лишний раз подтверждало старую истину — что для одних хорошо, то другим нож острый, захват отелей переполнил и без того уж готовую перелиться через край чашу терпения, а проще говоря, вконец встревожил тех, кого принято называть сильными мира сего. Многие из них, всерьез опасаясь, что Пиренейский полуостров канет на дно вместе с ними и всем их достоянием, вослед за ордой туристов поспешно покинули отчизну, из чего не следует, разумеется, будто они чувствовали себя в ней чужестранцами: просто-напросто разные есть степени и ступени принадлежности к этой самой отчизне — хоть в возвышенном, хоть в прозаически-административном смысле этого понятия. Тому в истории мы находим множество примеров.

И теперь вот, когда наши социальные заморочки подверглись не то что дружному, а прямо-таки единодушному — неаполитанская газетенка не в счет — осуждению, началась вторая волна эмиграции, причем столь массовой, что закрадывались сомнения: а не готовили ли ее тщательно с того самого дня и часа, когда всем стало ясно, что рана, рассекшая единое некогда тело Европы, сама собой не зарубцуется, а, напротив, пойдет вглубь и вширь. Огромные суммы, лежавшие на банковских счетах, словно растаяли, оставив после себя сущие пустяки, имевшие скорее символическое значение — так, чтобы из чистого суеверия счет этот самый не закрывать: в Португалии — эскудо пятьсот, в Испании те же пятьсот, но уже песет, ну, может, чуть больше; а всякое там золото и серебро, драгоценности и произведения искусства и прочее движимое имущество как смело́ с Иберийского полуострова пронесшимся над морем вихрем, смело́ и разнесло, да не на четыре, а на все тридцать две указуемые розой ветров стороны. Дураку ясно, что за сутки всего этого не провернуть, а вот недели хватило, вполне достаточно, говорю, оказалось одной недели, чтобы неузнаваемо преобразить социальную, так сказать, физиономию двух иберийских государств, изменить сверху донизу их облик. Сторонний и поверхностный наблюдатель, не ведающий фактов и резонов, а потому впадающий в добросовестное заблуждение, решил бы, что испанцы с португальцами вдруг, разом, в одночасье обеднели, тогда как произошло нечто совсем иное — просто взяли да уехали богатые люди, а статистика болезненно чутка к таким отъездам.

Наблюдателям, которые умудряются увидеть весь ареопаг олимпийских богов и богинь там, где нет ничего, кроме тучек небесных, или, наоборот, в громоносном и молниеблещущем явлении самого Юпитера усматривают лишь явление атмосферное, мы никогда не устанем пенять — мало, мало, господа, толковать об одних только обстоятельствах и туповато разносить их по полюсам предшествующего и последующего, как поступаете вы, не желая шевелить мозгами, надо, непременно надо брать в расчет и то, что находится между этими полюсами, ибо если не принять во внимание время, место, мотив, средства, личность, факт, способ, если не учесть и не взвесить всего этого, то вы, доверяясь первому впечатлению, рискуете совершить роковую ошибку. Человек — существо разумное, спору нет, но не до такой степени, как хотелось бы, и, делая подобное заявление, мы смиренно признаем собственное свое убожество и ущербность, как и в делах благотворительности, начиная прежде всего с самих себя — это всегда лучше, чем ждать, когда другие ткнут тебя носом в твое несовершенство.

В Лисабон они въехали под вечер, в час, когда с кротко-умиротворенных небес льется не что-нибудь, а лишь бальзам на душу и обнаруживается бесспорная правота того удивительного знатока ощущений и впечатлений, кто заявил однажды: пейзаж — это состояние души[1], не объяснив, правда, что представляли собой виды и ландшафты в ту эпоху, когда мир наш населяли одни питекантропы, у которых и сама душа была лишь в зачатке, и царил в ней полный туман. Но вот по прошествии скольких-то тысячелетий, усовершенствовавших природу человеческую, может теперь Педро Орсе узнать в меланхолическом облике города верный образ собственной печали. А печально ему оттого, что он привык к этим португальцам, заставившим его вновь посетить тот уголок земли, тот дикий край, где он родился и жил, а теперь приходит пора с ними расставаться, вам — туда, мне — сюда, кому куда, эрозии, именуемой «необходимость», подвержены даже семьи, чего уж говорить о недавно возникшем приятельстве, о дружбе, еще толком не укоренившейся.

Парагнедых движется по мосту медленно, на предельно допустимой скорости: это для того, чтобы испанец успел восхищенным взором окинуть красоты земли и моря, оценить грандиозность связующей два берега конструкции, конструкция же эта — речь о фразе, а не о сооружении — перифрастическая, и выстроена она, чтобы избежать повторного употребления слова «мост», ибо в противном случае получится у нас, не дай бог, солецизм, а именно — та его зловредная разновидность, которую знающие люди именуют плеоназмом. В искусствах разного рода вообще, а в искусстве словесности особенно, кратчайшее расстояние между двумя точками, пусть и недалеко друг от друга отстоящими, никогда не было и во веки веков не будет прямой линией, а пыл и жар, пафос и нажим, присущие этому утверждению, призваны если не отогнать, то заглушить сомнения в том, что все вышесказанное соответствует действительности. Путники так засмотрелись на красоты Лисабона и торжество инженерной мысли, что не приняли всерьез смятения, внезапно овладевшего скворцами. Опьяненные высотой, проносясь в опасной близости от огромных опор, вздымавшихся из воды, чтобы поддержать небосвод, ошалев от всего этого великолепия: там — город, в оконных стеклах которого бушует пламя заката, тут — море, здесь — река, напоминающая медленное струение раскаленной, припорошенной пеплом лавы, птицы вдруг заметались из стороны в сторону, резкими и частыми ударами крыльев меняя направление, и земля словно закружилась вокруг моста, так что север стал востоком, а потом югом, а юг — западом и севером, и неведомо, в какой части света окажемся мы с вами в тот день, когда настигнут нас такие же или еще большие изменения. Было уже сказано, что люди, если даже

[1] Речь идет об одном из высказываний Сальвадора Дали.

видят подобные явления, смысла их не постигают, вероятно, так произошло и на этот раз.

Путники добрались уже до середины моста, и вежливо пробормотанное Педро Орсе «красиво» не требовало и не предполагало иного ответа, кроме скромно-удовлетворенного хмыканья. Было еще слишком рано, а верней — не слишком поздно, чтобы, отвезя испанца в отель и устроив его там, продолжать путешествие к тому городку в провинции Рибатежо, где живет Жозе Анайсо и где Жоакин Сасса, если захочет, сможет вновь провести ночь под смоковницей, но португальцы сочли, что неудобно бросать гостя, и единодушно решили задержаться в столице на день-два, показать ему все ее достопримечательности, дабы и он, воротясь в Орсе, имел все основания от своего лица повторить проникнутые давним и невинным тщеславием, снабженные бесхитростной рифмой слова: Кто в Лисабоне не бывал, тот добра не видал.

Деньги у Жоакина Сассы и Жозе Анайсо имелись — пускаясь в заграничный вояж, они взяли с собой все, что было, да еще, как мы знаем, сумели и на гостиницу не потратиться, проведя одну ночь под звездным пологом, другую — под кровом андалуссийского аптекаря, а за проживание в отеле Албуфейры, благодаря всеобщей анархии, царившей в провинции Алгарви, счет им не выставили. В Лисабоне же, где мы с вами оказались следом за ними, штурмы гостиниц и самочинное вселение в них имели место только в предместьях и пригородах, центральные отели спаслись от этой напасти благодаря сочетанию двух факторов: во-первых, что ни говори, а столица есть столица, и там силы правопорядка пребывают в высокой степени концентрации, которая и обеспечивает крепость — настоя и устоев, а во-вторых, лисабонец — человек по натуре робкий, он хоть страдает, но воли себе не дает и не совершает ничего предосудительного, дабы не ощутить себя под осуждающим взглядом соседа, в свою очередь испытывающего те же терзания. Из-за недостатка постояльцев многие отели под предлогом разных благотворительных акций закрылись, однако иные продолжают работать, неуклонно снижая расценки и доведя их до такой дешевизны, что многие многодетные отцы всерьез принялись подумывать — а не перебраться ли им из квартир, за которые они платят неимоверную аренду, в какой-нибудь пятизвездный «Меридиан» или в иное, но лежащее в тех же широтах заведение. Наши путешественники в своих помыслах о перемене жребия земного в такую даль, в такую высь не заносились, а потому занесли свои вещички в скромную гостиницу, что в конце Розмариновой улицы, по левую руку будет, если сверху идти, название же ее к сути нашего рассказа отношения не имеет, однажды и по другому поводу мы ее упомянули — и хватит[1].

Скворцы — они скворцы и есть, недаром о беспечных и легкомысленных людях принято говорить, что они живут как птицы небесные: те и другие не склонны задумываться о своих поступках, не способны предвидеть или вообразить то, что последует в следующую минуту, причем любопытно, что подобная непредусмотрительность сочетается с широтой и великодушием и даже с самопожертвованием, как случилось на нейтральной полосе, устланной трупиками расстрелянных, проливших за других свою драгоценную кровь, — вы, надеюсь, поняли, что речь все же идет о птицах, а не о людях. Однако, пожалуй, слишком мягко было бы назвать легкомыслием и беспечностью поведение скворцов, которые всей своей многотысячной стаей, позабыв всякую осторожность и здравый смысл, опустились на крышу отеля, привлекая внимание зевак и полиции, любителей птиц и ценителей дичи к себе, а значит, и к нашим героям: они, хоть совесть их никакими грехами не отягощена, вызвали большой интерес властей предержащих, решивших нарушить их покой. Дело в том, что троим путешественникам было пока неведомо, что португальская пресса на страницах, отведенных для описания всяческих феноменов и аномаль-

[1] Уже упоминавшийся герой предыдущего романа Жозе Сарамаго, «Год смерти Рикардо Рейса», живет в той же лисабонской гостинице, что и персонажи «Каменного плота».

ных явлений, откликнулась и на небывалый доселе случай, произошедший на границе, когда стая скворцов атаковала ничего не подозревавших стражников, причем журналисты весьма неоригинально поминали, как и следовало ожидать, пресловутый фильм Хичкока.

Печать, радио, телевидение, получив первые сообщения о том, что творится на Розмариновой улице, поспешили прислать туда фотографов, операторов и репортеров, из чего вовек бы не проистекло никаких последствий, если бы не методический и — отчего бы не назвать вещи своими именами? — научный подход одного журналиста, который решился спросить себя, какая связь существует между скворцами на крыше отеля и обитателями, временными или постоянными, его номеров. А трое этих постояльцев — Педро Орсе, Жоакин Сасса и Жозе Анайсо, знать не зная о том, какая опасность нависла в буквальном смысле над их головами, распаковали чемоданы, разложили свой скудный багаж и уже через минуту-другую вышли бы из отеля, чтобы, пока не пришло время ужинать, прогуляться по лисабонским улицам. Но за эту самую минуту настырный журналист успел свериться с книгой записи постояльцев, прочесть записанные в ней имена и фамилии, причем две из них привели в движение шестеренки его памяти. Он не был бы профессионалом, если бы оставил без внимания имя Жоакина Сассы, имя Педро Орсе — это же не Рикардо Рейс какой-нибудь, тем паче что книга, где это имя значится, за давностью лет валяется где-нибудь на чердаке в пыли, и страница, вероятно, никогда не увидит дневного света, а и увидит — имени нельзя будет прочесть на ней, выцветут чернила, которыми оно написано, либо бумага, на которой его написали, ибо есть у времени такое свойство — стирать, гасить, губить. Если до сих пор считалось, что двух зайцев убить — это высшее охотничье достижение, то с этой минуты число преследуемых нами представителей семейства заячьих отряда грызунов, подвергающих испытанию наши ловкость и проворство, убойную нашу силу, увеличивается до трех особей, в связи с чем в тексты соответствующих пословиц и поговорок вносятся необходимые изменения — всюду, где написано «два», следует читать «три». Быть может, и это еще не предел возможностей.

Жоакину Сассе и Педро Орсе, которых умолили спуститься вниз, к стойке портье, а потом усадили в одной из гостиных перед большим зеркалом, ничего не оставалось, как дрогнуть под напором журналистов и признаться: да, это я швырнул камень в море, да, это я — живой сейсмограф. А как же скворцы, ведь не может же быть, чтобы такое множество скворцов собралось здесь случайно?! — вопросил тот самый, самый умный репортер, и тогда Жозе Анайсо, не покинув в такую минуту друзей и не кривя душой, сделал заявление для прессы: Скворцы летят за мной. Большая часть вопросов, адресованных Жоакину Сассе, ничем почти не отличалась от тех, что являлись ему в воображаемом разговоре с гражданским губернатором, а потому мы здесь и не приводим ни их, ни ответы на них, а Педро Орсе, которому не в полной мере удалось стать пророком в своем отечестве, обстоятельно изложил недавние события своей жизни, признавшись, что чувствует, да-да, и в данную минуту тоже, колебания почвы, ощущает нечто подобное сильной и глубокой дрожи, поднимающейся по костям, что в Гранаде, в Севилье, в Мадриде подверглись разнообразным тестам его сенсорные, моторные, интеллектуальные способности и что такие же, а равно и любые другие исследования готов он пройти в Лисабоне, если португальские ученые сочтут это необходимым. Пока шла пресс-конференция, за окном смерклось, скворцы, во всем виноватые, рассеялись, расселись по деревьям окрестных парков, журналисты, исчерпав все вопросы и утолив любопытство, ушли, унося аппаратуру съемочную и осветительную, но отель все никак не мог угомониться — горничные и коридорные под любым предлогом просачивались в вестибюль, заглядывали в двери, чтобы увидеть лица феноменов.

Утомленные всей этой непрекращающейся суетой, трое друзей приняли решение в ресторан не ходить, а поужинать здесь же. Педро Орсе был очень озабочен последствиями внезапной своей словоохотливости: Чего это я так язык распустил, сколько раз предупреждали меня, чтоб помалкивал, когда в Испании узнают, мне не поздоровится, но если я пробуду тут еще несколько дней, может, и позабудут. Сомнительно, отвечал на это Жозе Анайсо, весьма сомнительно, завтра же наша история появится во всех газетах, а по телевизору нас покажут еще сегодня, да и радио молчать не станет, там люди усталости не знают. Как бы то ни было, сказал Жоакин Сасса, из нас троих ты в самом выгодном положении: всегда можешь доказать, что скворцы следуют за тобой по своей воле, ты их не подманиваешь, не подкармливаешь, а вот мы с Педро Орсе влипли всерьез, на него пялятся как на диковину, и лисабонские ученые такого случая не упустят, да и мне мой камень дорого обойдется. Машина же есть, вспомнил Педро Орсе, садитесь да уезжайте завтра с утра пораньше, а еще лучше сегодня, а я останусь, а спросят, где вы, скажу — понятия не имею. Поздно, чуть только меня покажут по телевизору, сейчас же на студию позвонит кто-нибудь из моих земляков, объявит, что знает меня, что я учительствую там-то и там-то, славы-то всем хочется, сказал Жозе Анайсо и добавил, нет уж, лучше нам держаться вместе, язык держать за зубами, может, тогда отстанут.

Он был совершенно прав: в последнем выпуске новостей появился подробный репортаж с кадрами, запечатлевшими всю стаю скворцов, фасад отеля и его управляющего, который делал такие вот не соответствующие действительности заявления: В нашей гостинице ничего подобного никогда прежде не происходило, — и трех друзей, отвечающих на вопросы.

Как и полагается в таких случаях, репортаж сопровождался комментарием приглашенного в студию и непреложно уверенного в своей правоте эксперта, каковым на этот раз был известный специалист в весьма современной области знания — динамической психологии, который дал несколько возможных объяснений произошедшего, не исключив, между прочим, и гипотезу чистейшего шарлатанства. В исторические кризисные моменты, подобные тому, что переживаем мы ныне, сказал он, всегда отмечается появление разного рода авантюристов и проходимцев, своими россказнями обманывающих легковерных обывателей и преследующих порой вовсе не безобидные и далеко идущие политические цели — вызвать дестабилизацию в обществе, а впоследствии воспользоваться ею для захвата власти. Поздравляю вас, заметил в этом месте Жозе Анайсо, и себя тоже. А каково ваше мнение относительно этих скворцов? — осведомился ведущий. Да, это действительно загадочный факт: либо человек, за которым птицы следуют неотступно, обладает каким-то необыкновенным манком, либо перед нами случай массового гипноза. Птиц, должно быть, нелегко загипнотизировать. Напротив, даже ребенок способен с помощью кусочка мела погрузить курицу в транс. Но одно дело курица, и совсем другое — две-три тысячи скворцов, которые под гипнозом умудряются лететь. Видите ли, стая, являющаяся совокупностью отдельных особей, сама по себе одновременно играет роль и медиума, и... Простите, я хотел вам напомнить, что для некоторых наших телезрителей употребляемая вами терминология может показаться слишком специальной. Хорошо, я постараюсь объяснить попроще: вся стая стремится к созданию гомогенизированного гипнотического поля. Не уверен, что нас поняли, но в любом случае спасибо за то, что выбрали время принять участие в нашей передаче; если события получат дальнейшее развитие, в чем сомневаться не приходится, у нас будет возможность вновь вернуться к интересующему нас вопросу и обсудить его более подробно и на более глубоком уровне. Всегда рад, улыбнулся эксперт. Болван, отозвался на это Жоакин Сасса, нарушив благостную атмосферу. Похоже на то, заметил Жозе Анайсо, однако бывают моменты, когда и болванов надо слушать внимательно. Ни единого слова не понял, сказал Педро Орсе,

кажется, со мной впервые такое, будто он не по-лузитански говорил, — и если воспринимать слова в их буквальном смысле, воображение живо нарисует нам, какого рода беседу мог вести, к примеру, Вириат[1] с Васко да Гамой, а ведь нас уверяют, что оба героя — сыновья одной отчизны. А покуда они обсуждали эти и другие важнейшие вопросы, управляющий отелем в отдаленном кабинете принимал делегацию — пришли к нему владельцы окрестных ресторанов и сделали такое предложение: Сколько запросите с нас за разрешение разложить на крыше сети, скворцам рано или поздно придется сесть туда, с деревьев мы их будем сгонять, всю обслугу бросим на это дело — эх, люди, люди, ведь это все равно что чужой жене ребеночка сделать, рестораторы, видимо, из тех, кто полагает, будто единственный сокровенный смысл всякого явления в том, что нет у явления сокровенного смысла, и управляющий колеблется, но не поэтому, а потому — потому что боится: крышу повредят, но вот решается, называет сумму. Дорого, отвечают ему рестораторы, и начинается торговля.

А на следующий день поутру явилось еще несколько важных, чинных, прекрасно одетых господ и в приличествующих случаю выражениях от имени республики и правительства оной предложили Жоакину Массу и Педро Орсе следовать за ними, и был среди них советник посольства Испании, приветствовавший своего соотечественника с неприязнью столь явной и нескрываемой, что источником ее могло быть лишь ущемленное национальное чувство. Пояснили, что речь пойдет о небольшом и кратком допросе — поверьте, это почти формальность, — который, быть может, добавит новые материалы к обширному досье, собранному на Пиренейский полуостров, отделившийся от континента, судя по всему, бесповоротно и, так сказать, окончательно. Жозе Анайсо попросили не беспокоиться, усомнившись, очевидно, что он наделен даром завораживать и увлекать за собой, сравнимым лишь с талантами Гамельнского крысолова, да и скворцов, как на грех, в это время не было видно, они в полном составе проводили рекогносцировку лисабонских небес, а в сети, предательски разложенные на гостиничной крыше, угодили лишь четыре бродячих воробья — их должен был бы ждать иной конец, да, видать, не судьба. Как раз судьба, только вот чья? — иронически спрашивает нас некто, и нам, благодаря этому неожиданному и постороннему вмешательству, придется усвоить, что вопреки народной мудрости, гласящей: «Своей судьбы никто не минует», всегда может выпасть нам чужая судьба, в точности так, как случилось с воробьями, которых постигла участь, уготованная скворцам.

И Жозе Анайсо, оставшись в холодке поджидать своих товарищей, попросил принести ему газеты; все интервью были на первых полосах, с фотографиями и кричащими заголовками: ЗАГАДКИ СТАВЯТ НАУКУ В ТУПИК, НЕВЕДОМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗНАНИЯ, ОПАСНАЯ ТРОИЦА, ТАЙНА ОТЕЛЯ «БРАГАНСА» — черт, как старались мы не называть отель, а газетенка взяла да выболтала — и БУДЕТ ЛИ ИСПАНЕЦ ВЫДВОРЕН НА РОДИНУ? Время шло, пора было обедать, но о Жоакине и Педро не было ни слуху ни духу, и обуянный тревожными думами — арестованы, посажены? — потерял Жозе Анайсо аппетит. Я ведь даже не знаю, куда их увезли, вот дурень, надо было хоть спросить, да нет, надо было ехать с ними, нельзя было оставлять их в такую минуту, ну ладно, психовать не стоит, все равно бы не позволили, даже если б я и попросил, тем более что я был очень доволен, что меня оставили в покое, я — трус, слизняк, да нет — хуже: тот хоть дергается, а я застыл на месте, и по суровости последнего высказывания можно судить, до чего дошел Жозе Анайсо, какой степени негодования против самого себя достиг он, и плохо только, что нам не дано знать, какое место занимала искренность в вихре этих

---

[1] Вириат — пастух, в 147—139 гг. до н.э. руководивший освободительной борьбой лузитан, населявших территорию современной Португалии, против римского владычества.

противоречивых чувств и мыслей, а потому, как видно и как водится в жизни, благоразумней будет воздержаться от окончательных выводов, покамест не последует поступков. Сначала он пошел к управляющему спросить, не слышно ли чего о том, куда, хотя бы примерно, попали его товарищи, как называется, где помещается ведомство, которое могло ими заинтересоваться, но в ответ на все эти вопросы слышал лишь: Нет, сеньор, не знаю никого из этих сеньоров, никогда прежде не видал, ни наших, ни испанца из посольства, и когда прозвучало это слово, Жозе Анайсо вдруг озарило: Конечно, в посольство, в посольство надо бежать, там всё знают наверняка, и тотчас же, поскольку озарения поодиночке не ходят, пришла другая блестящая мысль: И дать знать в газеты, репортеры моментально все разнюхают, выйдут на след исчезнувших.

Жозе Анайсо легким шагом поднялся к себе в номер, чтобы надеть другие башмаки и почистить зубы, и обыденность поступков вовсе не противоречит самым решительным намерениям — вспомните хоть простуженного Отелло, который, как это ни смешно, высморкался, прежде чем задушить Дездемону, а та в свою очередь, несмотря на нехорошие предчувствия, не заперлась на ключ, но, впрочем, жена никогда не откажется принять мужа, даже если догадывается, что он идет ее убивать, а Дездемона к тому же знала, что в комнате ее лишь три стены, и примерно в этих же декорациях чистил зубы, сплевывая в раковину, Жозе Анайсо, когда послышался стук в дверь. Кто там? — спросил он, не ожидая ничего хорошего и уж подавно не надеясь услышать произнесенное Жоакином Сассой: Это мы, давно уж вернулись, и в самом деле из-за двери отозвался голос горничной: Горничная. Одну минутку, сказал он, завершил свои гигиенические процедуры — вымыл, вытер лицо и руки — и открыл. А горничная — самая обыкновенная гостиничная прислуга, и жизнь ее лишь по касательной и лишь на краткий миг, нужный для того, чтобы передать сообщение Жозе Анайсо, соприкоснется с бытием его самого и его спутников, нынешних и грядущих; такое часто случается — и в театре и в жизни не обойтись без человека, который в нужную минуту стукнет в дверь и скажет: Вас там спрашивает какая-то дама. Удивленный Жозе Анайсо облекает свое удивление в слова: Меня? — а горничная добавляет то, что считала необязательным сообщать сразу: Она хотела видеть вас троих, но поскольку тех двух сеньоров нет, и Жозе Анайсо, подумав: Журналистка, сказал: Сейчас спущусь. И горничная уходит — уходит навсегда, она канет в небытие, она нам больше не понадобится, и не будет у нас никаких поводов вспоминать о ней, помнить ее, пусть и не испытав никаких чувств. Пришла, постучалась, передала что велено и что по неведомой нам причине не сообщили по телефону, — быть может, оттого это случилось, что жизнь любит время от времени поддать драматизма, ведь в самом деле не сравнить телефонный звонок со стуком в дверь, а безразличное «Слушаю» — со встревоженным «Кто там?», которому предшествует недоуменно-невысказанное «Кто бы это мог быть?» Мы-то с вами знаем, что пришла горничная, но это лишь половина ответа, а может, и еще меньше, и потому Жозе Анайсо, спускаясь по лестнице, твердит: Кто бы это мог быть? — позабыв, что в первую минуту подумал о журналистке, — есть такие мысли, которые будто для того только и созданы, чтобы на время замещать другие, более весомые, а потому и приходящие в голову с небольшим опозданием.

В отеле, как и во всяком доме, откуда ушла беспокойная жизнь, царит покой, но, слава богу, еще не вечный, и в опустелых помещениях, не успевших пока прийти в запустение, еще не смолк отзвук недавно раздававшихся там голосов и шагов, еще слышен прощальный плач, шепот разлуки. За стойкой портье, на фоне полочек с ящичками, куда кладут ключи от номеров, записки постояльцам и счета, управляющий что-то пишет в книгу или из книги переписывает, он человек деятельный, даже если делать нечего. Когда Жозе Анайсо проходит мимо, он бровями, глазами и подбородком показывает ему в сторону гостиной, и Жозе Анайсо тем же мане-

ром отвечает: Знаю, на немое сообщение: Вас там ждут. В дверях он остановился и увидел молодую женщину, а вернее — девушку, разумеется, это она его ждет, больше некому, поскольку больше там нет никого, и несмотря на то — или благодаря тому? — что задернутые шторы создают полумрак, она кажется ему привлекательной, даже красивой, на ней брючки и жакетик того цвета, который, кажется, называется индиго, что еще не свидетельствует о ее принадлежности к журналистике, как, впрочем, и вообще ни о чем не свидетельствует, но вот что странно: рядом с ее креслом стоит небольшой чемодан, а на коленях у нее лежит палка — не большая и не маленькая, не меньше метра, не больше полутора, производящая на нашего героя сильное действие: неужели она и по улицам с палкой шла? Нет, не журналистка, решил Жозе Анайсо, заметив, что рядом нет орудий труда — блокнота, шариковой ручки, диктофона.

Гостья поднялась при его появлении, и это неожиданное движение — потому неожиданное, что по всем правилам хорошего тона и законам этикета даме надлежит оставаться на месте и ждать, покуда мужчина не подойдет к ней и не произнесет приветственных слов, после чего она в соответствии со степенью близости и характером своих с ним отношений и просто характером должна протянуть ему руку или подставить щечку для поцелуя, при этом улыбнувшись женской улыбкой — любезно, многозначительно, с тайным умыслом, с явным намеком, ну, словом, смотря по обстоятельствам, — и даже не движение, а само присутствие женщины в четырех шагах от него проняло замешкавшегося на пороге Жозе Анайсо внезапным ощущением: так ускорило свой бег время, что зеркало-свидетель не поспело за ним, ибо в предыдущий миг в нем отразились еще незнакомые друг другу люди, а по эту сторону рамы и стекла двое начали узнавать друг друга, узнают, ну вот и узнали. Это движение, о котором в предыдущий миг сказать было нечего, превратило пол в качающуюся палубу корабля, медленно возносящегося на гребне волны и рушащегося вниз: не следует путать это с уже известным нам содроганием, описанным Педро Орсе, — не кости у Жозе Анайсо завибрировали, нет, он физически ощутил всем своим телом, как Пиренейский полуостров, называемый так только для удобства и по привычке, обрел плавучую природу, двинулся по воде: раньше он все это знал, а теперь нутром почувствовал, что так оно и есть. И вот благодаря этой женщине, а может быть, и не ей самой, а той минуте, когда он ее увидел, ибо в счет идут только те минуты, когда что-то происходит, Жозе Анайсо перестал быть всего лишь одушевленным манком для скворцов. Он делает к ней шаг, и приложенная для этого сила складывается с теми, что, не встречая сопротивления, влекут корабль с отелем «Браганса», уподобившимся резной фигуре у него на носу, — простите за явную неуместность выражений. Изъясняюсь как могу.

Моих друзей здесь нет, сказал Жозе Анайсо, их утром увезли давать разъяснения ученым, и до сих пор они не вернулись. Я уж начал беспокоиться, собирался даже идти на поиски, и покуда он произносит все эти слова, его не покидает сознание того, что они лишние, но удержать их не может. Она отвечает, голос у нее приятный — низкий и отчетливый: То, что я собираюсь рассказать, касается любого из вас троих, и, может быть, вы мне сумеете объяснить толком, что произошло. Глаза у нее цвета юного неба. Что еще за юное небо, откуда я выкопал это выражение? — проносится в голове у Жозе Анайсо, а вслух он говорит: Почему вы стоите, садитесь. Она села, и он сел. Как вас зовут? Жозе Анайсо. А меня — Жоана Карда. Очень приятно. Они не обменялись рукопожатием, потому что это было бы нелепо делать сидя, пришлось бы привстать им обоим, что было бы еще нелепей, или ему одному, что было бы, по крайней мере, вполовину менее нелепо, если бы нелепость делилась пополам без остатка. Она и вправду хороша собой, хотя темные, почти черные волосы не должны бы гармонировать с глазами цвета юного неба, цвета сумерек рассветных или вечерних — годятся и те и другие. Чем могу служить? —

учтиво спросил Жозе Анайсо. Не знаю, удобно ли разговаривать здесь, пробормотала Жоана Карда. Мы одни, нас никто не слышит. Мы вызываем повышенный интерес, взгляните. И действительно, мимо проема, отделявшего эту гостиную от холла, уже прошел, весьма ненатурально изображая чуть рассеянную деловитость, управляющий, прошел раз и другой, причем так, словно он только что отказался от мысли придумать себе какое-нибудь новое занятие. Жозе Анайсо посмотрел на него строгим взглядом, но это не дало ни малейшего эффекта, а потом понизил голос, что придало беседующим еще более подозрительный вид. Я не могу вас пригласить к себе в номер, это неудобно, да и, наверно, воспрещено здешними правилами. Что ж тут неудобного, мне, надеюсь, не придется защищаться от того, кто и не думает на меня нападать. Я и в самом деле не собираюсь на вас нападать, тем более что вы вооружены. Оба улыбнулись, но улыбки вышли натянутыми и вымученными, потому что собеседниками внезапно овладела какая-то странная тревога, беседа и вправду принимала чересчур вольный оборот, особенно если учесть, что знакомы собеседники не долее трех минут и, кроме имени, ничего друг о друге не знают. Конечно, в случае надобности эта палка пригодится, сказала Жоана Карда, но я не затем ее ношу, а если честно — это из-за нее меня занесло сюда. Это утверждение, как ни странно звучало оно, неведомым образом разрядило обстановку, и давление — атмосферное и артериальное — явно пришло в норму. Жоана Карда положила палку на колени, продолжая крепко сжимать ее обеими руками, и ждала ответа, который наконец и последовал: В сущности, вы правы, пойдемте отсюда, поговорим в кафе или в парке, если не возражаете. Она взялась за ручку чемодана, он перехватил. Чемодан оставим у меня в номере, да и палку там же. Палку я не отдам и чемодан с собой возьму, быть может, я уж не вернусь сюда. Как угодно, жаль только, чемодан такой маленький, что палка в него не поместится. Не все на свете предназначено друг для друга, отвечала Жоана Карда, и в этом замечании при всей его очевидности скрывается глубокая философия.

Выходя, Жозе Анайсо сказал управляющему: Когда появятся мои друзья, передайте, пожалуйста, что я скоро вернусь. Непременно передам, сеньор, не беспокойтесь, отвечал тот, не сводя глаз с Жоаны Карды, но во взгляде его не было вожделения, а лишь ни к чему конкретно не относящаяся настороженность, столь свойственная всем управляющим. Они спустились по лестнице, миновав литую фигурку, изображавшую довольно условного средневекового рыцаря, а может, пажа — ему бы, держа в руке зажженный светильник в виде шара, стоять на каком-нибудь мысу — Сан-Висенте, Эспишел, Рока, Финистерре или в ином месте, которое хоть и не носит столь громкого имени, но терпит не меньше, сдерживая беспрестанный натиск волн, и в этом случае наш рыцарь или паж не остался бы незамеченным, ибо Жозе Анайсо и Жоана Карда, проходя мимо, даже не взглянули на него, поскольку у них и других забот хватало, пусть даже они, будучи спрошены, и не сумели бы сказать, каких именно.

Когда сидишь в прохладе отеля, в этом вековом полумраке, трудно представить себе, какая жара на улице. Если еще не забыли, дело происходит в августе, а климат на Пиренеях не изменился оттого, что полуостров отплыл от континента на ничтожные полтораста километров, если, конечно, скорость его, как по радио объявили, остается неизменной, вот ведь, всего пять дней прошло, а кажется — год. Немудрено, что Жозе Анайсо произнес то, что и должен был: Прогулки по такому пеклу, да еще с чемоданом и с палкой, меня не прельщают, мы через десять минут заживо сваримся, лучше посидим в кафе, выпьем прохладительного. Лучше бы в саду, в тени, на скамеечке. Ну что же, есть тут и сад поблизости — парк Дона Луиса, знаете? Знаю, хоть и не местная. Ах, вы не местная, бессмысленно повторил Жозе Анайсо. Они спустились по Розмариновой улице, он нес ее чемодан и палку, можно представить себе, как нелестно думали бы о нем прохожие, не возьми он у

дамы чемодан, и какой малопристойный оборот приняли бы их суждения о даме, шествующей по Лисабону с палкой в руке: все мы чересчур приметливы, все горазды на суждения и осуждения, только дай повод, а не дашь — и без него обойдемся. В ответ на восклицание своего спутника Жоана Карда ответила лишь, что прибыла сегодня, поездом, и с вокзала направилась прямо в отель, а обо всем прочем нам еще узнать предстоит.

И вот они сидят в тени деревьев, и он спрашивает: Что же привело вас в Лисабон, зачем вы нас искали? Затем, что вы и ваши друзья имеете отношение к тому, что происходит. А что происходит? Вы отлично понимаете, о чем я, — наш Пиренейский полуостров отделился и поплыл. Порой мне и самому кажется, что мы причастны к этому, а порой я думаю, что просто все мы трое сошли с ума. Когда представишь себе, как вокруг звезды крутится некая планета, днем и ночью, в холод и зной, крутится, крутится, крутится почти в полной пустоте, где есть лишь какие-то исполинские небесные тела, о которых мы ничего, кроме имени, нами же данного, не знаем, или подумаешь, что такое время, о котором мы на самом деле не знаем совсем ничего, тоже можно сойти с ума. Вы что — астроном? — спросил Жозе Анайсо, вспомнив Марию Долорес, антрополога из Гранады. Нет, не астроном и не полоумная. Простите, я ляпнул не подумав, у нас у всех нервы немного расшатались, слова наши выражают совсем не то, что должны были бы: иногда — больше, чем следует, иногда — меньше, чем хотелось бы, в общем, простите. Прощаю. Вы меня сочтете скептиком, но со мною лично ничего необычайного, если не считать скворцов, не случилось, хотя. Хотя — что? Совсем недавно в отеле, когда я вошел в комнату, где вы сидели, то почувствовал себя словно на палубе корабля, такое со мной было впервые. Ну а мне казалось, будто вы идете ко мне из какой-то дальней дали. Вот-вот, а там было всего три-четыре шага.

Налетевшие внезапно со всех четырех концов скворцы расселись по деревьям. С окрестных улиц бежали люди, задирали голову к небесам, тыкали пальцем. Ну вот, опять они, с досадой сказал Жозе Анайсо, теперь и не поговорить, поглядите, сколько народу. В этот миг скворцы, как всегда, разом и дружно взвились в небеса, закрыв черной трепещущей тучей весь сад, а люди закричали: кто — со страху, кто — желая распугать их, кто — от восторга. Жоана Карда и Жозе Анайсо глядели, не понимая, что происходит, а туча меж тем вытянулась и истончилась, стала клином, крылом, стрелой, и скворцы, сделав три стремительных круга над садом, двинулись к югу, перелетели реку, исчезли вдали, скрылись за горизонтом. Собравшиеся зеваки — они же ротозеи — дивились и ахали от изумления, а иные — от разочарования, и через несколько минут сад был уже пуст, вновь повеяло жаром, а на скамейке сидели мужчина и женщина, стоял чемодан, лежала вязовая палка. Жозе Анайсо сказал: У меня такое впечатление, что они больше не вернутся, а Жоана Карда: Теперь я вам расскажу, что было со мной.

С учетом важности сведений, поведанных Жоаной Кардой, решили, что ей будет неблагоразумно останавливаться в том же отеле, на крыше коего все еще были разложены сети, ожидавшие — хоть и напрасно, как мы с вами знаем, — возвращения скворцов. Мудрое было решение, и благодаря ему удалось избежать того, чтобы женщина, столь блестяще владеющая рапирой метафизики, попала в одну западню с тремя подозреваемыми, если не обвиняемыми субъектами. Выражаясь не столь витиевато и заумно, скажем, что поселилась Жоана Карда в отеле «Боржес», в самом средоточии квартала Шиадо, поселилась там вместе со своим чемоданом и палкой, которая, к прискорбию, была именно палкой, а не телескопическим штативом, не складывалась и в чемодан не влезала, а потому и вызывала не только недоуменные взгляды прохожих на улице и портье в гостинице, но и шуточки, призванные скрыть удивление и пропускаемые обладательницей этой палки —

не костыля, не посоха, не трости — мимо ушей. В конце концов, нет такого декрета, чтоб нельзя было постоялице внести в свой номер хоть дубовую палицу, а уж тем более эту тонкую палку длиной не более полутора метров, легко помещавшуюся в кабине лифта, а приткнешь ее в уголок, она будет вовсе незаметна. Беседа Жозе Анайсо с Жоаной Кардой продолжалась, виясь и ветвясь, даже и после захода солнца, и на каждом ее витке приходили собеседники к выводу о том, что во всех этих происшествиях естественного было мало и происходило нечто подобное тому, как если бы место естественности прежней и привычной заняла некая новая естественность, пришла без судорог и перебоев, не меняя цветов действительности, что нимало не облегчает ее постижения. Впрочем, так нам и надо, сами виноваты — слишком привержены к драматическим эффектам, встаем на котурны и делаем театральные жесты: вот, скажем, дивит и изумляет нас таинство деторождения, когда исходящее в стонах и криках тело, лопнув наподобие перезревшей инжирины, выпускает на свет божий другое тело, — это истинное чудо, спору нет, но ведь не меньшее чудо и извержение раскаленного семени, и его гибельный марафон, завершающийся медленным самосозиданием нового бытия, причем собственными силами, хоть, конечно, и не без посторонней помощи, и чтобы далеко не ходить за примером, сообщим, что пишущий эти строки сам неисцелимо невежествен насчет того, что и как с ним было и происходило тогда, как, впрочем, не вполне внятно ему и творящееся сейчас. И Жоана Карда сказать может не больше того, что знает, а знает она лишь это: Лежала на земле палка, я подобрала ее и провела по земле черту, может, из-за этого все и началось, мне ли о том судить, нужно пойти и своими глазами взглянуть. Так судили они и рядили и расстались лишь в сумерках — она отправилась вверх, в отель «Боржес», он — вниз, в «Брагансу», испытывая при этом сильнейшие угрызения совести: как же так, духу не хватило разузнать, что сталось с моими друзьями, тварь я неблагодарная, стоило лишь появиться этой женщине, и я заслушался ее россказней. Пойти нужно, взглянуть своими глазами, повторила Жоана Карда, поменяв для пущей убедительности порядок слов, ибо во многих случаях сказать то же, да не так же есть наилучшее и единственное решение. У входа в гостиницу Жозе Анайсо поднимает глаза к небу, но от скворцов ни пушинки, ни перышка, а крылатая тень, мелькнувшая над головой стремительно и плавно, как потаенная ласка, — это летучая мышь, что отправилась промышлять комаров и жучков. Уже вспыхнул электричеством стеклянный шар в руке у рыцаря на площадке, который словно говорит постояльцу «Добро пожаловать», но тот не удостаивает его и взглядом: Славная ночка мне предстоит, если Педро Орсе и Жоакин Сасса не вернулись.

Но они вернулись. Они ждут, сидя в тех же креслах, где несколько часов назад сидели Жозе Анайсо и Жоана Карда, и толкуйте после этого, что не верите в совпадения — это они чаще всего встречаются в мире, если вообще не сами определяют его логику. Снова медлит на пороге Жозе Анайсо, надеясь, что все повторится, однако ничего на этот раз не происходит, пол остается незыблем, четыре шага расстояния — четырьмя шагами, а вовсе не межзвездными пространствами, и ноги движутся сами по себе, и уста произносят то, чего и ждут от них: Ты искал нас? — спрашивает Жоакин Сасса, и на такой простой вопрос Жозе Анайсо не в силах ответить так же просто: Да или Нет, ибо то и другое будет разом и правдой, и ложью, объяснения же слишком затянутся, и потому он задает собственный вопрос, столь же естественный и законный: Где вас черти носили столько времени? Он видит, какой усталый вид у Педро Орсе — неудивительно, годы, что ни говори, свое берут, но даже молодой, полный сил человек измочаленным вышел бы из рук всех этих ученых, исследовавших его и изучавших, бравших бесконечные анализы, просвечивавших рентгеном, стукавших по коленке молоточком, залезавших в уши, светивших в зрачки, снимавших энцефалограммы, — конечно, после такого веки будут

точно свинцом налиты. Тянет прилечь, говорит он, ваши португальские доктора доконали меня. Пожалуй, он отдохнет у себя в номере, а к ужину спустится, скушает куриного бульону с рисом и куриную же грудку, не потому что аппетит разыгрался, а потому что кажется, что весь желудок забит этой белой дрянью, которую дают пить перед рентгеном. Тебе ж не делали рентген, замечает на это Жоакин Сасса. Нет, не делали, но ощущение такое, будто бария наглотался, со слабой томной улыбкой, поникнув головой, будто увядающая роза, отвечает Педро Орсе. Ну что же, иди к себе, отдыхай, говорит Жозе Анайсо, а мы с Жоакином поужинаем здесь где-нибудь, потолкуем, а потом поднимемся, постучим к тебе. Нет, стучать не надо, я буду спать, спать часов десять кряду, это единственное, чего мне хочется, и он удаляется, еле волоча ноги. Бедняга, во что только мы его втравили, говорит Жозе Анайсо. Меня тоже терзали анализами и вопросами, но, конечно, никакого сравнения с тем, чему подвергли его.

Выйдя на улицу, друзья решили проехаться по городу, благо ужинать еще рано, и поговорить без посторонних глаз. Они совершенно сбиты с толку, начал Жоакин Сасса, и в нас так вцепились не потому, что больше у них ничего нет, а наоборот — из-за сегодняшних газет и вчерашних передач по телевидению люди как с цепи сорвались — валом валят: одни клянутся, что чувствуют — земля трясется, другие уверяют, что швыряли камешки в реку, а оттуда вдруг как вынырнет русалка, третьи жалуются, что попугайчики стали издавать какие-то странные звуки. Так оно и бывает: события нарастают как снежный ком, а что до наших скворцов, то мы их, похоже, больше не увидим. Это почему же? Потому что они улетели. Взяли да улетели, и это после того, как целую неделю не отставали от тебя ни на шаг? Да, снялись и улетели. И ты сам это видел? Видел: пересекли реку и скрылись в южном направлении. Ты что — стоял у окна? Нет, сидел в парке поблизости. Вместо того чтобы пуститься на поиски? Да я хотел было, а потом зашел в парк и там остался. Воздухом дышал? Да, и беседовал с одной дамой. Вот это, я понимаю, настоящий друг — нас, можно сказать, истязают, а ты развлекаешься, в Гранаде сорвалось с той археологшей, решил в Лисабоне взять реванш. Та была не археологша, а антропологша. Какая разница. А эта — астроном. Ты шутишь. На самом деле я не знаю, кто она по профессии, а насчет астрономии я сейчас тебе расскажу, как это вышло. Не имею ни малейшего желания слушать то, что ко мне не имеет отношения. Имеет, имеет, история, которую она мне поведала, касается нас троих. А-а, понимаю, она тоже камешки бросала. Нет. Ну, значит, ощутила колебания почвы. Опять не попал. Тогда канарейка полиняла. Не угадал, и не смешно нисколько. Ну извини, просто меня взбесило, что ты и не подумал искать нас. Говорю ж тебе, я как раз собирался, уже, можно сказать, в дверях был, хотел идти в испанское посольство, когда появилась эта женщина: в одной руке чемодан, в другой палка, одета в джинсовый костюмчик, волосы темные, а кожа белая-белая, а глаза — глаза даже не знаю, как описать. Какие интересные подробности, а главное, что они непосредственно касаются нашего злосчастного Пиренейского полуострова. Скажи еще, что она хороша собой. Да, хороша. И молода. Молода, хоть и не девчонка. Судя по твоему тону, ты влюбился. Это громко сказано, но я почувствовал, как пол уходит из-под ног. О таком я еще не слышал. Хватит. Разве что когда напьешься до беспамятства. Хватит, я сказал. Ладно, хватит так хватит, чего хотела от тебя эта дама и что это за палка у нее? Из вяза. Я слаб в ботанике и не знаю, что такое вяз. Вяз — то же, что ильм, и с твоего позволения замечу вскользь, что ты блестяще владеешь техникой допроса. Жоакин Сасса рассмеялся: Овладел благодаря моим сегодняшним палачам, впрочем, прости, что перебил, рассказывай про свою даму, и как ее, кстати, зовут? Жоана Карда. Очень приятно, теперь можешь переходить к сути дела. Суть дела в том, что ты подбираешь ветку и просто так, от нечего делать, безо всякого намерения и цели, проводишь по земле черту. Когда я был мальчишкой, мне случа-

лось так поступать. И что? Ничего, никаких последствий, а жалко. А теперь представь, что эта черта каким-то волшебным образом рассекла Пиренеи, и они треснули сверху донизу, и весь Иберийский полуостров отделился и поплыл. Да она полоумная, твоя Жоана Карда. Но она приехала в Лисабон не затем, чтобы объявить нам, что вот она провела по земле черту — и полуостров отделился от континента. Слава богу, не все еще сошли с ума. Она говорит только, что черту эту не смогла уничтожить никакими силами — ни метлой замести, ни ногой затереть, ни водой залить, ни ножом выскрести. Чепуха. И это говоришь ты — славнейший камнеметатель всех времен, ты, который забросил шестикилограммовый камень на пятьсот метров, сам Геркулес, хоть он и полубог, не сумел бы побить твой рекорд. И ты хочешь, чтобы я поверил, будто ни ветер, ни вода, ни метла не могли извести эту черту? Да, а если прокопать это место мотыгой, черта появляется вновь. Это невозможно. Ты неоригинален, я тоже сказал «Это невозможно», а Жоана Карда мне ответила на это: «Остается убедиться своими глазами» или «Сами увидите», не помню точно, все это и вправду кажется чушью, если бы не происходило в действительности. Да происходило ли? — осведомился Жоакин Сасса.

День еще не совсем угас, тускнеющего света достаточно, чтобы видеть море до самого горизонта, и с того возвышенного места, откуда двое смотрят на него, оно кажется безмерным, как океан, и, быть может, поэтому Жозе Анайсо бормочет: Другое, и Жоакин Сасса непонимающе переспрашивает: Ты о чем? Вода другая, вот и жизнь так преображается, а мы не замечаем: сидим тихо и думаем, что не меняемся, но нет — это иллюзия, самый настоящий обман, мы движемся с жизнью вместе. По скалам, над которыми вьется дорога, с силой бьет море, и неудивительно: оно привыкло к свободе и размашистым движениям, привыкло жить само по себе, без посторонних — не брать же в расчет крошечное суденышко, не чету нынешним левиафанам, расталкивающим форштевнем океанские валы. Сказал Жозе Анайсо: Поужинаем здесь где-нибудь, а потом поедем в отель, посмотрим, как там наш Педро Орсе. Бедняга, они его и вправду доконали. Припарковались на одной из узких улочек, ведущих к площади Пасо-д'Аркос, и пошли искать ресторанчик, но прежде чем найти и войти, сказал Жоакин Сасса: Покуда меня там терзали этими тестами и анализами, я услышал такое, о чем никогда прежде не думал, обрывок фразы, но мне и этого хватило, тот, кто обронил ее, решил, что я не услышу, а и услышу — не пойму. И что же ты услышал? До сих пор наш полуостров — черт, уже не полуостров, а как его назвать?! — движется строго по прямой между тридцать шестой и сорок третьей параллелями. Ну и что? Эх ты, а еще учитель, в географии, я вижу, слабак. Не понимаю. Поймешь, если вспомнишь, что Азорские острова расположены между тридцать седьмой и сороковой параллелями. Дьявол! Вот-вот, зови его. Полуостров налетит на них. Именно. И произойдет величайшая в истории катастрофа. Может, произойдет, а может, и нет, и, как ты сказал недавно, все это и вправду покажется чушью, если бы не происходило в действительности, а теперь пойдем ужинать.

Они сели за столик, заказали. Проголодавшийся Жоакин Сасса набросился на хлеб, масло, оливки, вино, улыбкой прося извинения за свою прожорливость: Последний ужин приговоренного к смерти, и, лишь слегка насытившись, спросил: Ну а где обретается эта дама с неописуемыми глазами? Она остановилась на Шиадо, в отеле «Боржес». А я думал, она местная. Нет, она успела сказать, что не из Лисабона, а откуда — не знаю, она не сказала, а я не спросил, оттого что думал, стоит нам ехать с ней или нет. А зачем нам ехать? Посмотреть на эту черту. Значит, ты сам сомневаешься? Да нет, пожалуй, не сомневаюсь, но хочу увидеть своими глазами, своими руками пощупать. Ты вроде того испанца, помнишь, на осле, мы встретили его между Сьерра-Мореной и Сьерра-Арасеной? Если она говорит правду, нам откроется зрелище поинтересней, чем Роке Лосано, который, когда доберется до цели,

ничего, кроме воды, не увидит. Откуда ты знаешь, как его зовут, мы же не спрашивали, как его имя, кличку осла спросили, а его имя нет. Должно быть, приснилось. Еще захочет ли Педро с нами ехать. Тот, кто ощущает колебания земли, нуждается в спутниках. Как и тот, кто почувствовал, что паркетный пол ходит ходуном, будто палуба. Ладно тебе. Бедняге Парагнедых нелегко придется — четыре пассажира и какой-никакой багаж, а он далеко не молод. Никто не живет больше того, что ему отпущено. Да ты мудрец, я смотрю. Хорошо, что ты согласился. Я-то думал, странствия наши окончены, возвращаемся по домам, живем, как прежде жили. Ага, покуда не треснемся об Азоры. Зато до тех пор нам жизнь гарантирована.

Они окончили ужин, и Парагнедых неторопливой рысцой повез их в отель, машин на дороге было мало — должно быть, опять начались перебои с бензином, но наших героев тревожит лишь изношенный мотор. Очень может быть, что застрянем где-нибудь намертво, вот и будет конец нашему путешествию, сказал Жоакин Сасса и вдруг вспомнил: С чего ты решил, что скворцы улетели навсегда? Всякий знает разницу между «прощай» и «пока», ну так вот, то, что я видел, было прощанием, причем навсегда. Да почему? Не могу объяснить, может, это простое совпадение, но улетели они, как только появилась Жоана. Какая Жоана? Так ее зовут. Ты мог бы сказать — «бабенка» или «дамочка», как поступают мужчины в тех случаях, когда им кажется, что назвать женщину, о которой они говорят, по имени будет чересчур интимно. По сравнению с тобой я в этих вопросах еще приготовишка, но, как видишь, ее имя само собой выговорилось, и это верный признак того, что никакого интима нет. Ну да, а вдруг ты коварней, чем кажешься, и делаешь вид, что хочешь доказать противное тому, что чувствуешь и думаешь на самом деле, чтобы я решил, что то, что ты чувствуешь и думаешь, — это именно то, что ты якобы хочешь доказать, не знаю, ясно ли я выражаюсь. Нет, неясно, но не в этом дело, ибо ясность и туманность — это те же свет и тень, темное светло, светлое темно, что же касается чьей-либо способности правдиво говорить о том, что мы чувствуем и думаем, то я умоляю тебя этой способности не верить — и не потому, что человек сознательно лукавит, а потому, что просто ему это не под силу. Так вот почему люди так много говорят. Да, это единственное, на что мы способны, — говорить, а вернее — просто пробовать и пытаться говорить. Итак, скворцы исчезли, зато Жоана появилась, свято место пусто не бывает, можешь гордиться — ты пользуешься успехом. А вот это мы еще посмотрим.

В отеле им вручили записку от Педро Орсе с просьбой не будить и телефонограмму от Жоаны Карды: «Все правда, это вам не приснилось». Жоакин Сасса заглядывает Жозе Анайсо через плечо, и в голосе его звучит насмешка: Дама-с-Неописуемыми-Глазами заверяет тебя, что существует на самом деле, а потому не стоит этой ночью терять время и видеть ее во сне. Они поднимаются по лестнице в свои номера, и Жозе Анайсо говорит: Завтра утром позвоню ей, скажу, что мы едем с нею, если ты не против. Я не против, и не обращай внимания на мои шпильки, может быть, это я от зависти. Завидовать мнимости — вовсе уж гиблое дело. Природный ум сейчас шепнул мне: все на свете — мнимость и ничего не существует в реальности, а потому этим нам и придется довольствоваться. Доброй ночи, философ. Приятных снов, товарищ по несчастью.

В обстановке строжайшей тайны, приняв все меры предосторожности для того, чтобы простые граждане ничего решительно не заподозрили, правительства поручили ученым изучить продвижение полуострова в открытое море, совершаемое им с загадочным постоянством и неуклонно стабильной скоростью. От мысли понять, как и почему отделился Иберийский полуостров, к этому времени пришлось уже отказаться, надежда жила всего несколько дней и угасла. Хотя собрано было неимоверное количество сведений, компьютеры невозмутимо требовали ввести но-

вые и новые данные либо давали вздорные ответы, неся сущую околесицу, как произошло, например, в прославленном Массачусетском технологическом институте, где программисты сгорели со стыда, прочитав на дисплеях окончательный ответ: РЕЗУЛЬТАТ ЧРЕЗМЕРНО ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА СОЛНЦЕ. В Португалии из-за того, возможно, что и по сию пору не удается избавить современный литературный язык от упорных и живучих архаизмов, единственным внятным заключением были слова: ПОВАДИЛСЯ КУВШИН ПО ВОДУ ХОДИТЬ, ТУТ ЕМУ И ГОЛОВУ СЛОМИТЬ, внесшие окончательную сумятицу в головы и души, поскольку хотя речь не шла ни о кувшине, ни о голове, но нетрудно было уловить в этом высказывании намек на некое повторяющееся действие, которое руководствуется собственным периодическим циклом, а потому неизвестно, когда прекратится — все зависит от продолжительности этого природного феномена, от накопленной инерции, короче говоря, все формулируется так: КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ. Любопытно отметить, что компьютеры этой формулы не выдали, а ведь могли бы, ибо существуют черты несомненного сходства между нею и абракадаброй насчет кувшина и головы: и там и там присутствует вода, хотя и в разном виде: в первом случае она заключена в некую емкость, во втором это капли, находящиеся в свободном падении. Есть и еще нечто общее — время.

Бесконечно долго можно было бы предаваться этим доморощенным умствованиям, но следует сразу сказать, что научный мир, геологов и океанологов, они занимали мало. В самом упрощенном виде проблема, над которой они бились, звучала в точности столь же элементарно, как наивный вопрос, заданный некогда тем галисийцем — помните? — по поводу реки Ирати: Куда же девается вся эта вода? — желал знать он, а мы спросим: Что происходит под толщей этой воды? Тем, кто наблюдал за происходящим со стороны — будь то твердь европейского континента или воздушное пространство, где, без устали продолжая замеры и аэрофотосъемку, порхали вертолеты, полуостров наш казался — именно казался — массой земли, плывущей по водам. Однако это невозможно. Для того чтобы поплыть, ему надобно было бы отделиться от всего континента, что произошло бы лишь в том случае, если бы приложенные к отделению силы не встретили бы сопротивления, не отклонились бы в сторону, то есть, по научному говоря, при нулевой девиации, но и в этом случае полуостров спустя небольшое время ударился бы об него и распался на куски под неумолимым воздействием воды и морских течений, которые неизбежно размыли бы всю эту плавучую платформу, оставив лишь тонкий слой на самой поверхности. Из этого следует, что не весь Иберийский полуостров отделился, а сдвинулся лишь какой-то верхний его слой, толщина коего нам неизвестна, то есть нижняя часть осталась на месте, продолжая являться частью земной коры, а верхняя медленно соскользнула с нее и не поплыла по водам, мутя их тучами ила и пугая рыб, в точности как недоброй памяти Летучий голландец, а двинулась всей своей громадой по дну. Это очень соблазнительная гипотеза — в ней есть нечто мистическое, а если еще чуть-чуть напрячь воображение, получилась бы еще одна захватывающая глава из «20 000 лье под водой». Но времена ныне не те, требования науки стали несравнимо строже, и если уж невозможно понять, что заставило полуостров съехать в пучину морскую, то отчего бы не направить туда тех, кто своими глазами, воочию, так сказать, увидит это чудо, заснимет на пленку передвижение каменной громады, запишет сопровождающие ее звуки, подобные, наверно, предсмертному воплю кита, этот непрестанный треск и скрежет камня о камень. Короче говоря, пришел час водолазов.

Однако просто так особенно глубоко не нырнешь и долго под водой не останешься. Ловец жемчуга, губок, кораллов способен погрузиться метров на пятьдесят, ну на семьдесят, и пробыть под водой минуты три-четыре в зависимости от того, насколько жестока необходимость и сурова была школа. Здесь же речь идет о со-

всем иных глубинах, где вода куда холодней, так что даже от резинового костюма, превращающего человека в подобие черного в желтую полоску или крапинку тритона, проку будет мало. Что ж, стало быть, нужно тяжелое водолазное снаряжение — скафандры, баллоны со сжатым воздухом, но и с помощью этих достижений науки и техники, с тысячей предосторожностей можно опуститься лишь метров на двести-триста, а дальше — дальше лучше не испытывать судьбу и послать батискафы без экипажа, оснащенные телекамерами, датчиками, эхолотами, ультразвуковыми зондами и прочим железом, которое сослужит нам добрую службу и поможет выполнить стоящие перед нами задачи.

И вот на северном, южном и западном побережьях одновременно, дабы получить объективную картину, начаты были подводные работы, а для прикрытия — объявлено о плановых военно-морских учениях флотов НАТО: сделано это было для того, чтобы слух об экспедициях не породил новую волну паники, — вспомним, что дело-то все же было необъяснимое и небывалое: тысячелетиями покоился полуостров на своем основании, а потом взял да пополз. И сейчас очень уместно будет сообщить: ученые таили и скрывали, какую пугающую, чтоб не сказать фатальную, перспективу открывает развитие все той же гипотезы о горизонтальном расслоении земли. Вопрос звучал с леденящей кровь простотой: что произойдет, когда и если на пути полуострова появится какая-нибудь впадина вроде Марианской, то есть, иными словами, когда ровная поверхность, по которой он скользит, перестанет быть таковой? Чтобы лучше понять, о чем идет речь, обратитесь к собственному купальному опыту и вспомните, какой ужас охватывает вас, когда под ногами вдруг не оказывается дна и все наше умение плавать на краткий миг становится недостаточным. Вот так и Пиренейский полуостров, лишившийся опоры, должен неминуемо погрузиться в пучину, утонуть, захлебнуться — кто бы мог подумать, что после стольких столетий тихих, серых будней нам будет сужден удел Атлантиды.

Избавляя вас от подробностей, которые в свое время станут всеобщим достоянием и послужат просвещению всех интересующихся тайнами морей, а пока заносятся в совершенно секретные вахтенные журналы, составляют суть рапортов и докладов, охраняемых еще более ревностно и даже шифруемых, ограничимся лишь сообщением о том, что самое тщательное исследование континентального шельфа результатов не дало. Не обнаружили никаких трещин, кроме тех, что существовали с сотворения мира, не уловили никаких посторонних шумов. Когда первоначальные надежды не сбылись, решено было обратиться к изучению океанского дна — опустили в безмолвную глубь хитроумные аппараты, способные выдерживать чудовищное давление, искали, шарили, рыскали и ничего не нашли. «Архимед», чудо французской конструкторской мысли, достиг максимальных глубин, перебравшись из эвфотической зоны в пелагическую, а оттуда в батиальную, светил прожекторами, щупал электронными щупами, запускал зонды такие и сякие, шерстил подводный горизонт радарами и эхолотами — все впустую. Моргали и мигали лампочки, щелкали датчики хитроумных приборов, фиксируя длинные отроги, крутые обрывы, пропасти и бездны, нетронутым дивом представавшие во всем своем угрюмом величии, восходящие и нисходящие потоки и течения, оставались на пленке дивизионы сардины, флотилии тунца, эскадры мерлана, армады меч-рыбы, а будь во чреве «Архимеда» лаборатория с должным количеством реактивов, катализаторов и прочих химических веществ, можно было бы разнести на отдельные элементы морскую воду, в которой так беспечно плещутся люди, по невежеству своему и не подозревая даже, что в ней растворены — перечисляем в порядке количественного убывания — хлор, натрий, магний, сера, кальций, калий, уголь, стронций, бор, кремний, йод, сода, барий, фосфор, бром, железо, цинк, алюминий, аргон, азот, свинец, олово, мышьяк, медь, уран, никель, марганец, серебро, титан, вольфрам, зо-

лото, боже, какие сокровища, с лихвой восполняющие то, чего недостает земной тверди, и только одного нет — нет трещины, которая смогла бы объяснить тот природный феномен, что на глазах у всех выявляет и доказывает свое существование. Один виднейший американский ученый, придя уже в совершеннейшее отчаяние и встав на полубаке гидрографического судна, вскричал, обращаясь к ветрам и горизонту: Сим объявляю, что полуостров сдвинуться с места не может, на что другой ученый, далеко не такой знаменитый, но зато итальянский, а значит, находящийся во всеоружии прецедентов исторических и научных, себе под нос, однако достаточно громко, чтобы услышал его тот, кто все слышит, пробормотал, чуть перефразировав своего великого соотечественника: А все-таки он движется. А правительства — даже не скажешь «несолоно хлебавши», ибо вдосталь и досыта нахлебались они горько-соленого, как океанская вода, разочарования, — вынуждены были ограничиться сообщением о том, что под эгидой ООН проводилось международное исследование — изучали, мол, воздействие процесса перемещения полуострова на миграцию промысловых рыб. На этот раз не гора родила мышь, а океан произвел на свет жалкого ершика.

А наши путники получили эту информацию на выезде из Лисабона, но значения ей не придали, оттого, вероятно, что шла она, как принято ныне выражаться, в пакете с другими сведениями об отдалении полуострова, также не вызвавшими у них особого интереса. Человек ко всему привыкает, а народам это удается еще быстрей и легче, и в конце концов все это ужасно напоминает плаванье на огромном корабле, таком огромном, что жизнь на нем можно прожить, а от кормы до носа так и не дойти: корабль не был полуостровом, полуостров еще был неразрывно связан с континентом, а сколько жило на свете людей, которые из всех мест на земле знали одно лишь место своего рождения, так в чем же, ответьте, разница? И теперь, когда Жоакин Сасса и Педро Орсе вроде бы полностью освободились от неистового ража ученых-аналитиков и больше не опасаются властей, а к Жозе Анайсо скворцы так неожиданно утратили всякий интерес, все трое могли бы вернуться по домам, если бы не появление этой женщины, которая, так сказать, все затеяла сначала. Встретившись в том самом парке, где накануне сидел Жозе Анайсо с Жоаной Кардой, все четверо, заново рассмотрев факты и обстоятельства, единодушно решили предпринять путешествие к тому месту, где вязовой палкой по земле была проведена линия, ничем вроде бы не отличающаяся от тех, что чертил в свое время каждый из нас, но при этом — единственная в своем роде, короче говоря, съездить и убедиться, что Жоана Карда — субъект деяния и свидетель в одном лице — говорит правду. А она покуда не сказала, где находится это место, не назвала даже ближайшего города, ограничилась лишь тем, что определила общее направление: Едем на север, а дальше я покажу. Педро Орсе, незаметно отведя Жозе Анайсо в сторонку, осведомился, благоразумно ли, по его мнению, ввязываться в такую авантюру и слепо доверяться совершенно неизвестной легкомысленной дамочке с палкой в руке, и не кроется ли за всем этим интрига, ловушка или еще чего похуже? Что, например? Ну, не знаю: может, она завезет нас в лабораторию какого-нибудь ученого маньяка, знаешь, как в кино показывают, к новому Франкенштейну, отвечал, уже смеясь, Педро Орсе. Уйми свое андалуссийское воображение, посоветовал Жозе Анайсо, это буря в стакане воды. Воды-то мало, да ветер силен, афористически ответствовал испанец. Да брось, заметил Жозе Анайсо, чему быть, того не миновать, и с этими словами подошел к двоим прочим своим спутникам, вступившим в это время в такой вот примерно диалог: Сама не знаю, как это вышло, валялась палка, я подобрала ее и по земле провела линию. Так, может быть, это была волшебная палочка? Ну нет: для волшебной слишком велика, да и потом я слышала, будто волшебные палочки сделаны из хрусталя с золотом, и сами собой светятся, и звезда на конце сияет. А вы знали, что та палка была из вяза? Я в породах деревьев

слабо разбираюсь, но хочу сказать, что, возьми я самую обыкновенную спичку, результат был бы тот же. С чего вы так решили? Что должно сбыться, сбудется, и силе этого противиться не надо. Вы, стало быть, верите в предопределенность? Я верю в то, что должно случиться. Ну вот, сказал Педро Орсе, вы как наш друг Жозе, он у нас тоже фаталист. Дело было утром, дул, будто ласкаясь, легкий ветерок, обещая, что день не будет чересчур знойным. Ну что, едем? — спросил Жозе Анайсо. Едем, отвечали остальные, включая Жоану Карду, зашедшую за ними в отель «Браганса».

Жизнь наша полна происшествий мелких и на первый взгляд незначительных, а также и тех, что на какое-то время приковывают к себе все наше внимание, а когда потом беремся мы их оценивать в свете последствий, ими вызванных, выясняется, что и в памяти-то они не удержались, вытеснены иными, заслуживающими названия «решающие» или хотя бы ставшими одним из соединительных звеньев в той длинной цепи событий, среди которых не найдется места суматохе укладки, хотя дело это нужное, дело трудное, ибо попробуйте-ка разместить багаж четверых людей в таком маленьком автомобильчике, каков был Парагнедых. Эта процедура полностью поглотила все внимание путешественников, каждый предлагал свои способы и давал советы, однако главным вопросом, вопросом из вопросов, бросавшим незримый отсвет на все прочие, лежавшим в подоплеке всей этой суеты и, вероятно, даже влиявшим на расстановку действующих лиц, топтавшихся вокруг машины, оставалось: с кем рядом поедет Жоана Карда? За руль, естественно, сядет Жоакин Сасса, кому ж, как не владельцу, нести почетную обязанность и вести Парагнедых в начале пути, тут все ясно и споров не вызывало, левое переднее место принадлежит ему по священному праву собственности. Подменять его время от времени и в случаях необходимости будет Жозе Анайсо, ибо Педро Орсе это не под силу, причем даже не в силу его почтенного возраста, а потому что, проведя жизнь в глубокой провинции, более того — за аптечным прилавком, он остался чужд хитроумной механике и не отличает акселератор от глушителя. Что же касается дамы, то пока еще не приспело время узнать, водит ли она машину. Теперь, когда вы ознакомлены с исходными данными, с условиями, так сказать, задачи, естественным решением ее представляется, что Педро Орсе и Жоана Карда совершат путешествие на заднем сиденье, тогда как впереди сядут командир экипажа и второй пилот. Однако андалуссийский фармацевт не говорит по-португальски, Жоана Карда не знает ни слова по-испански, а кроме того, они только что познакомились, а если и возникнет между ними какая-нибудь близость, то еще не сейчас и не скоро. Место рядом с водителем, хоть люди из суеверия, а равно и на основании данных, полученных опытным путем, и называют его «место смертника», остается почетным, отчего по правилам хорошего тона и должно быть предложено даме, а прочие путешественники разместятся сзади, в чем ничего особенного нет, если учесть, сколько приключений пережито ими вместе. Но вязовая палка слишком длинна и не помещается спереди, а Жоана Карда, само собой разумеется, не расстанется с ней ни за что на свете. Стало быть, остается одно: рядом с Жоакином Сассой сядет Педро Орсе по двум веским причинам, и затрудняемся сказать, какая более веская, — во-первых, как уже было вам доложено, это самое удобное и, значит, почетное место, а во-вторых, Педро Орсе годами старше остальных, то есть, в соответствии с тем, что с черным юмором называется естественным законом жизни, так и так находится к смерти ближе. Однако в расчет следует брать нечто совсем иное, превалирующее над всеми этими разветвленными аргументами, а именно то, что Жозе Анайсо и Жоана Карда непременно желают ехать рядом, на заднем сиденье и прилагают к этому известные усилия, выражающиеся в движениях, неподвижности и внезапной глухоте, поражающей обоих при рассмотрении всех иных вариантов. Ну, расселись? — с богом!

Торопливые рассказчики всегда твердят, что о путешествии рассказывать нечего, тщась внушить нам, что за те десять минут или десять часов, которые они выпустят из своего повествования, не произошло ничего заслуживающего упоминания. С точки зрения деонтологии[1] правильней было бы выразиться совсем иначе, а именно: как и во всяком путешествии, сколько бы ни длилось оно и где бы ни пролегал его маршрут, здесь тоже случались тысячи происшествий, произнесены были тысячи слов, продуманы тысячи мыслей, и на место «тысячи» лучше бы поставить «десять тысяч», но наш рассказ и без того несколько затянулся, а потому приемлю на себя смелость слегка сократить описание пути, в трех строках изложив то, что имело место на протяжении двухсот километров, прикинувшись при этом, что четверо ехали молча, бездумно и неподвижно, тоже как бы притворяясь перед самими собой, что ничего любопытного в дороге не было. Однако невозможно было бы счесть не заслуживающим никакого внимания то обстоятельство, что Жоана Карда с полнейшей естественностью пересаживалась вперед, когда Жозе Анайсо сменял за рулем утомившегося Жоакина Сассу, причем благодаря неведомым ухищрениям умещалась впереди и вязовая палка, которая и обзору не мешала, и переключению скоростей не препятствовала. Излишне говорить, что по возвращении Жозе Анайсо на заднее сиденье оказывалась с ним рядом Жоана Карда, но вот что стоит отметить — ни он, ни она пока не знали, почему и с какой целью все это происходит, если же и знали, то сказать не решались, ибо свой вкус у каждого мгновенья, и еще длится он покуда, еще чувствуется.

Изредка попадались им по дороге брошенные машины — все как одна раскуроченные: та без колес, другая без фар, третья без «дворников», у четвертой одной двери не хватает, а у пятой ни одной не осталось, а иные представляли собой подобие омара с начисто выеденной сердцевиной и брошенным за ненадобностью панцирем: все, что можно было снять и унести, было снято и унесено. Впрочем, движение на дороге вообще сократилось, чему виной нехватка бензина: лишь изредка проскакивала встречная или попутная. Бросались также в глаза и кое-какие явные несообразности вроде ослика, тащившего по скоростной автостраде телегу, или кучки велосипедистов, которые при всем желании и с полным напряжением сил не смогли бы развить ту скорость, ниже которой, если верить упорным, но тщетным призывам дорожных знаков, вступавшим в драматически неразрешимое противоречие с действительностью, двигаться было запрещено. Были и пешеходы с котомками за плечами или с двумя мешками, связанными вместе и переброшенными на деревенский манер так, что один висел на груди, а другой на спине, словно перемётные сумы; встречались и женщины с корзинами на голове. Люди шли поодиночке, а то и целыми, судя по всему, семьями — со старыми, малыми и вовсе грудными. Потом, когда Парагнедых пришлось съехать с магистрали, путники стали встречаться реже и выявилась прямо пропорциональная зависимость числа их от качества и значения дороги. Три раза пожелал Жоакин Сасса осведомиться, куда направляются они, и трижды слышал в ответ одно и то же: Туда, мир посмотреть. Странники никак не могли не знать, что мир в прямом и строгом смысле слова сделался меньше, и, вероятно, именно поэтому решили, что теперь самое время осуществить давнюю мечту и поглядеть его, а когда спрашивал Жозе Анайсо: А как же дом, работа? — отвечали ему невозмутимо, что, мол, дом там остался, а работу найдем, и звучало это так, что прежний мир не должен мешать постижению мира нового. И ох, хорошо, что встреченные по скромности ли, оттого ли, что им и собственной докуки хватало, не интересовались в свою очередь, куда же направляются путешественники, очень красиво прозвучал бы ответ: Да вот решили смотаться

---

[1] Деонтология — раздел этической теории, рассматривающей проблемы долга, моральных требований и нормативов и вообще долженствования как формы проявления социальной необходимости.

с этой сеньорой поглядеть, что за линию начертила она на земле вязовой палкой, а если бы осведомились у них, чем занимаются они в жизни, то предстала бы наша четверка тоже не в слишком привлекательном свете: Бросил я страждущих без лекарств, сказал бы, наверно, Педро Орсе, Ничего-ничего, чиновников и без меня как собак нерезаных, моего отсутствия никто и не заметит, сказал бы Жоакин Сасса, добавив, что, помимо всего прочего, он в законном отпуске, И я тоже, сказал бы Жозе Анайсо, пойдите в школу, посмотрите — учеников нет, каникулы, до самого начала октября я волен, А я вам ничего не скажу, отрезала бы Жоана Карда, я даже тем, с кем в одной машине еду, ничего пока не сказала, так неужто стану с незнакомыми разговаривать?!

Миновали городок Помбал, и Жоана Карда нарушила молчание: Там впереди будет дорога на Соуре, свернем на нее, и с тех пор как покинули Лисабон, она впервые указала точный маршрут: казалось путникам, что они едут в густом тумане или, если вспомнить общую обстановку, очутились, подобно древним мореплавателям, посреди бушующих валов и впору было воскликнуть: Мы в море, море нас несет, куда несет нас море? Скоро узнаете. Через Соуре проскочили не останавливаясь и двинулись дальше по узким дорогам, пересекавшимся, расходившимся надвое и натрое, а иногда кружившимся, казалось, на месте, покуда не доехали до какой-то деревни, объявлявшей о своем названии придорожным щитом — Эрейра. Это здесь, сказала Жоана Карда.

Жозе Анайсо — его черед был вести машину — резко затормозил, словно черта была проведена здесь, посреди дороги, а он чуть не пересек ее, и не потому, что боялся разрушить ее, — по словам Жоаны Карды, сделать это невозможно, — а от некоего священного ужаса, охватывающего даже самых закоренелых скептиков в те минуты, когда привычное и повседневное рвется, как ниточка, из-за неосторожного и небрежного движения руки, не берущей на себя никаких обязательств, если только это не обязательства сберечь, укрепить, протянуть ее еще дальше. Жоакин Сасса, выглянув наружу, увидел дома, деревья над крышами, убранные поля, а за ними угадывались затопленные водой рисовые плантации — скорей всего, это кроткая река Мондего, а не какой-нибудь лесной ручей. Если бы мысль эта пришла в голову Педро Орсе, то в нашей истории непременно появилась бы фигура Дон Кихота, во всем своем печальном образе скачущего нагишом среди скал Сьерра-Морены[1], но совершенно ни к чему были бы тут к слову пришедшиеся сцены из романа о странствующем рыцаре, и потому Педро Орсе, выйдя из машины, ограничивается тем, что убеждается — да, и здесь земля дрожит. Жозе Анайсо обошел Парагнедых, распахнул, истый джентльмен, правую дверцу, притворяясь, что не замечает добродушно-иронической ухмылки Жоакина Сассы, принял от Жоаны Карды вязовую палку, протянул руку, чтобы помочь даме выйти, она подала ему свою, и они соединились дольше и крепче, чем нужно для того, чтобы поддержку обеспечить и принять, причем было это уже не в первый раз, нет, далеко не в первый, а во второй — в первый и до сей поры единственный руки их нашли одна другую благодаря внезапному толчку автомобиля, но Жозе Анайсо и Жоана Карда не сказали тогда — как, впрочем, и сейчас — ни слова, тем паче что слова, хоть выкрикни их, хоть прошепчи, все равно не умеют так льнуть и приникать друг к другу.

Воистину пришла пора объясниться — да нет, не в том смысле — объяснений требует Жоакин Сасса, который, как капитан корабля, вскрывая запечатанный конверт с секретной картой и нанесенным на нее новым курсом, боится обнаружить в нем чистый листок бумаги: Ну, дальше что? Дальше двинемся вот этой дорогой,

---

[1] Имеется в виду XXV глава первого тома романа Сервантеса, в которой Дон Кихот облюбовывает в горах Сьерра-Морены поляну с ручьем для совершения обряда покаяния в честь Дульсинеи Тобосской. Сарамаго намекает на свойство испанцев то и дело обращаться к различным эпизодам из «Дон Кихота».

отвечала Жоана Карда, а пока будем идти, я расскажу вам то, чего еще не говорила, но не потому, что это имеет отношение к цели нашего приезда, а просто пора представиться тем, кто последовал за мной в такую даль. Могли бы сделать это раньше, говорит Жозе Анайсо, еще в Лисабоне или по дороге. Да зачем же: либо вы поехали со мной, поверив одному моему слову, либо слово это требовалось подтвердить множеством иных, и тогда грош ему цена. Ага, значит, нас ждет награда за то, что поверили вашему слову. Но мне решать, какой будет эта награда и когда вручать ее. Жозе Анайсо не пожелал отвечать на это, сделав вид, что увлеченно рассматривает линию черных тополей на горизонте, но услышал, как Жоакин Сасса пробурчал: Ай да девочка. Я уже не девочка, улыбнулась Жоана Карда, но и не бой-баба, какой могу показаться. Я вовсе вас таковой не считаю. Властная, самонадеянная, самоуверенная, палец в рот не клади, да? Скажите просто — «таинственная», и этого будет достаточно. В самом деле: здесь есть тайна, и я не привезла бы сюда никого, кто поверил бы, не увидев все собственными глазами, даже вы не поверите, а потом даже вам не поверят. Но вы оказали нам эту милость, привезя нас сюда. Я привезла, и мне повезло, ибо хватило одного только слова. Дай бог, чтоб других не понадобилось. Диалог этот вели Жоана Карда и Жоакин Сасса, а двое их спутников участия в нем не принимали: Педро Орсе — оттого что не понимал, о чем идет речь, а Жозе Анайсо, явно терявший терпение и сдерживавшийся с трудом, — добровольно самоустранившись. Заметьте, что ситуация с зеркальной точностью, порождающей неизбежные различия, повторяла ту, что возникла в Гранаде, когда Мария Долорес говорила с одним португальцем, хоть предпочла бы — с другим. Но в данном случае все со временем станет на свои места, ибо недаром сказано: Тот, кого жажда одолела, мимо рта не пронесет.

И вот они уже идут по тропинке гуськом, потому что она узкая, и Педро Орсе замыкает шествие: ему потом все объяснят, если, конечно, ему и в самом деле есть дело до португальских дел. Я живу в Коимбре, начала Жоана Карда, а сюда в Эрейру приехала, когда с мужем развелась, месяц назад, мотивы какие? да стоит ли об этом говорить, порой и одного мотива достаточно, а иногда и целую симфонию собери — не хватит, и жаль мне вас, если жизни каждого из вас этому до сих пор не научили, я не оговорилась: «жизни», а не «жизнь», у нас у всех их несколько, и притом разных, и слава богу, что одни убивают другие, иначе жить было бы невозможно. Она перепрыгнула через довольно широкий ручей, а мужчины — следом, и, воссоединясь на другом бережку, вновь зашагали по мягкой песчаной почве, намытой во время паводка. Приехала сюда, тут у меня родные, продолжала Жоана Карда, мне хотелось подумать, но не о том, верно я поступила, неверно, — знаете эти качели? — сделанного не вернешь, а просто о жизни, зачем она нужна, зачем я ей нужна, и пришла к единственному выводу, что не знаю этого. По лицам Жоакина Сассы и Жозе Анайсо видно было, что они несколько сбиты с толку: женщина, с палкой в руке объявившая в Лисабоне о некой землемерной небывальщине, здесь, в полях Мондего, расфилософствовалась, да еще в такой невыносимой, все усложняющей манере, когда вместо уже сказанного «да» говорится «нет» и сказано будет «нет» наперекор давно произнесенному «да». Жозе Анайсо, как человеку образованному, легче примениться ко всем этим несообразностям, а вот Жоакин Сасса их только смутно ощущает, и потому они смущают его душу вдвойне. Жоана Карда, остановясь, ибо они уже совсем рядом с тем местом, куда она вела их, досказывает то, что еще осталось, а прочее высказано будет в другое время: И я отправилась в Лисабон искать вас не столько потому, что и с вами происходили какие-то чудеса, нет — мне показалось, что вы, в точности как и я, чужды той внешней логике, которой подчиняется мир, и безмерно было бы мое разочарование, откажись вы сопровождать меня, но вы не отказались, и, может быть, я еще сумею что-нибудь почувствовать — сейчас или потом, после того, как все потеряю, а теперь идемте.

Такая удаленная от реки, окольцованная высокими тополями круглая прогалина или поляна, которой никогда не касался заступ или лемех, встречается не так редко, как принято считать — вступим на нее, и время остановится, и вместо тишины услышим безмолвие, и мороз пойдет по коже, но не потому, что здесь творятся чудеса, происходит волшба, что это ворота в потусторонний мир или на тот свет, — да нет, это просто деревья, окольцовывающие поляну, от сотворения мира будто нетронутую, разве что песком ее умягчило, но под песком оказывается плодородный слой, а спрос с того, кто посадил здесь деревья таким образом. Жоана Карда завершает свои объяснения: Вот сюда я пришла поразмышлять о своей жизни, должно быть, это самое тихое место в мире, самое тихое, но и самое беспокойное, не стоило бы вам об этом говорить, но если бы вы не попали сюда, то и понять бы не смогли, и вот в один прекрасный день, ровно две недели назад, когда я пересекала эту полянку из конца в конец, хотела присесть в тени вон того дерева, нашла я эту палку, она лежала на земле, а откуда взялась — неизвестно, еще накануне ее здесь не было, мне даже показалось, что кто-то специально ее положил, аккуратно пристроил, но я не обнаружила ничьих следов — только свои собственные да тех людей, что проходили здесь сто веков назад. Жоана Карда, останавливая своих спутников у самого входа на прогалину, договаривает: Я подняла палку и почувствовала, что она живая, словно то дерево, от которого ее отсекли, а может, это я сейчас так чувствую, подняла и — скорей как ребенок, а не как взрослая женщина — провела по земле черту, отделяя себя от Коимбры, от человека, с которым жила, и черта эта рассекла мир пополам, надвое. Смотрите.

Они шагнули за край окружности, приблизились — да, была черта, словно только что проведенная, и земля по обе стороны от нее была влажной и рыхлой, несмотря на жаркий день. Они молчат — мужчины не знают, что сказать, Жоане Карде к сказанному добавить нечего, пришло время не слов, а деяния, которое либо подтвердит, либо сведет на нет всю ее волшебную историю. И она наступает на черту, шаркает по ней, как скобелем, затирает ее, давит и мнет, топчет ногами, будто святотатственно глумясь над реликвией. В следующее мгновение на глазах у изумленной публики черта возникает вновь, воскресает в первозданном виде, точно такой, как была только что: все бугорки и комочки и каждая песчинка в отдельности меняют форму и расположение, занимают свои прежние места, обретают прежний облик и образ, и вот вам — проведенная по земле линия, и нетронутая ее часть неотличима от той, что была затерта и уничтожена. Я стирала ее всю целиком, говорит изменившимся голосом Жоана Карда, смывала ее водой, закладывала ее камнями, а когда убирала их, она появлялась снова, хотите — сами проверьте. Жоакин Сасса наклонился, погрузил пальцы в рыхлую землю, взял пригоршню, далеко отбросил ее от себя, а непрерывность линии тотчас восстановилась. Настала очередь Жозе Анайсо — он попросил у Жоаны палку, провел ею рядом с первой линией глубокую борозду, а потом затер подошвами — и она исчезла. Ну-ка, теперь вы, сказал он. Острый конец палки вонзился в почву, но края глубокой рваной раны, появившейся на поверхности, тотчас стянулись, и вся она зарубцевалась, стала шрамом. Нет, дело не в палке и не в руке, которая ее держит, сказал Жозе Анайсо, в расчет идет только время, когда это происходит. Тогда Жоакин Сасса сделал полагавшееся ему — выбрал из нескольких припасенных Жоаной Кардой камней один, по весу и по форме похожий на тот, что бросил когда-то в море, и изо всех сил швырнул его как можно дальше, но упал он, естественно, там, где и должен был упасть, — всего в нескольких шагах, большее превыше сил человеческих.

Педро Орсе присутствовал при всех этих экспериментах, но личного участия в них принимать не пожелал — вероятно, ему довольно было того, что земля под ногами продолжала сотрясаться. Он взял из рук Жоаны Карды вязовую палку и сказал: Можете сломать ее, выбросить, сжечь, ни на что больше не годна ваша

палка, камень Жоакина Сассы, скворцы Жозе Анайсо, сгодилось все это лишь однажды, это как люди, они ведь тоже предметы разового пользования, прав Жозе Анайсо: в расчет принимается и в зачет идет только мгновение, мы ему служим. Пусть так, отвечала Жоана Карда, но палка навсегда останется со мной, эти мгновенья наступают без предупреждения. Меж деревьев с противоположной стороны поляны показалась собака. Она медленно обвела всех взглядом и пересекла прогалину — рослая, крепкая, с золотисто-рыжей шерстью, внезапно вспыхнувшей под солнечным лучом как пламя. Жоакин Сасса, забеспокоившись, подобрал с земли камень, швырнул в нее: Не люблю собак — но не попал. Собака остановилась, не испугавшись и не угрожая, остановилась, чтобы взглянуть, даже не залаяла. Дойдя до деревьев, обернулась — так, на расстоянии, она казалась даже еще крупней — и неторопливо скрылась в зарослях. Да уж, шуткой пытаясь унять свою тревогу, сказал Жоакин Сасса, Жоана права: рано расставаться с палкой, если тут бродит такое зверье. Собака между тем на дикую не была похожа.

Возвращались той же дорогой, обсуждая теперь вполне практические вопросы: в Лисабон возвращаться поздно, где бы переночевать? Да ничего не поздно, сказал Жоакин Сасса, даже если не гнать, отлично поспеем к ужину. Я бы предпочел остаться в Фигейре-да-Фош, сказал Жозе Анайсо, или в Коимбре, а завтра бы с утра вернулись сюда, может быть, Жоане будет что-нибудь нужно, и в голосе его звучит крайняя озабоченность. Ты так считаешь, начал с улыбкой Жоакин Сасса и, не договорив, высказал остальное взглядом. Я тебя понимаю, ночью хочешь подумать, сообразить, что говорить завтра, мгновенья наступают без предупреждения. Теперь они идут перед Педро Орсе и Жоакином Сассой, а наступающий вечер так тих и кроток, что сердце щемит непонятно отчего, от каких чувств, не направленных никуда — разве что к этому свету, к бледному небу, к неподвижно стоящим деревьям, к неторопливому струению реки, которая сперва лишь угадывается, а потом возникает въяве впереди, и зеркальную гладь ее медленно пересекают птицы. Жозе Анайсо, сжав руку Жоаны Карды, говорит: Мы по эту сторону черты, мы вместе, вот только надолго ли, и женщина отвечает: Теперь уж скоро узнаем.

Когда подошли к машине, увидели собаку. Жоакин Сасса вновь нагнулся за камнем, но отчего-то не бросил. И собака не сдвинулась с места, несмотря на этот угрожающий жест. Педро Орсе приблизился к ней вплотную, протянул руку, словно желая погладить или демонстрируя свои мирные намерения. Собака, подняв голову, оставалась неподвижна. Из пасти у нее свисала голубая шерстяная нитка. Педро Орсе провел ладонью по ее спине, повернулся к спутникам. Иные мгновенья предупреждают о своем появлении, сказал он, земля дрожит под лапами этого пса, и положил руку ему на загривок.

От ласки пес закрыл глаза, явно испытывая острое блаженство — если слово это применимо не к людям, наделенным должной остротой чувств, чтобы стать чувственными, а к бессловесным тварям, — потом поднялся, поочередно оглядел всех четверых, дал им время осознать происходящее, отошел. Метров через десять остановился, подождал.

Собственный опыт, равно как и сведения, почерпнутые из фильмов и книг, где подобное представлено в изобилии, подсказывают нам, что собаки поступают таким образом, когда хотят, чтобы люди следовали за ними. В данном случае бросается в глаза, что золотисто-рыжий пес теперь, когда все в сборе, указывает им путь, которым, по его песьему разумению, должно им следовать, причем — простите за то, что повторяемся, — непременно всем вместе. Ну уж если собака способна передать это сообщение, то, чтобы принять его, человеческого интеллекта хватит с лихвой. Но люди, из-за того, что слишком часто в прошлом их обманывали, всегда склонные подозревать подвох и сделавшиеся со временем эмпириками-экспери-

ментаторами, желают непременно во всем удостовериться, и прежде всего простейшим методом повторения, а когда — как в этом случае — достигли определенного культурного уровня, не довольствуются результатами одного эксперимента, затевают второй, слегка видоизменяя исходные условия: итак, Жозе Анайсо и Жоана Карда идут к машине, Педро Орсе и Жоакин Сасса остаются на месте, посмотрим теперь, что предпримет собака. А вот что: отлично понимая, что машину ей не остановить, даже если бросится она под колеса на верную смерть, ибо ни один водитель, как бы далеко ни простиралась его любовь к четвероногим друзьям человека, не затормозит, чтобы принять ее последний вздох или оттащить на обочину бездыханное тело, она загораживает дорогу Педро Орсе и Жоакину Сассе, в точности как за пять минут до этого — Жоане Карде. Третье и самое убедительное доказательство представлено было в тот миг, когда все четверо погрузились в автомобиль, Парагнедых тронулся, и поскольку по чистой случайности тронулся он именно в нужную сторону, пес побежал перед ним — уже не для того, чтобы перекрыть дорогу, а как бы открывая процессию. Все эти, с позволения сказать, эволюции происходили без участия любопытных, ибо вы уже могли заметить, что многие важные эпизоды нашего повествования имеют место на въезде в города и деревни или же на выезде из оных, но в любом случае — за пределами населенного пункта, чему должны быть представлены объяснения, а раз должны быть, то и будут, однако всему свое время, немного терпения.

Жозе Анайсо затормозил, собака остановилась и оглянулась, а Жоана Карда подвела итог эксперимента: Она хочет, чтобы мы следовали за ней. Вот сколько времени потребовалось, чтобы уразуметь то, что очевидно было с самого начала — с того мига, как собака пересекла прогалину: люди ведь не всегда воспринимают очевидное, оставаясь глухи и слепы к знакам и знамениям, и даже когда уже никаких сомнений не остается, продолжают упорствовать, подобно Жоакину Сассе, который спрашивает: А зачем это нам за ней следовать? С какой стати четверым взрослым людям тащиться за бродячим псом, у которого на ошейнике даже нет записочки — спасите, терпим бедствие — или пластиночки с выгравированной надписью — я потерялся, отведите меня к хозяину или к хозяйке туда-то и туда-то, что за бессмыслица такая?! Да ладно, отвечал ему на это Жозе Анайсо, эта история не более нелепа, чем все происходившее с нами до сей поры, в этом смысла тоже вроде было немного. Да не «вроде», а вообще не было. Не надо искать смысла, вмешался Педро Орсе, смысл странствия открывается лишь в самом его конце, а мы еще на середине, если не в начале пути, так что ничего еще не известно, скажи мне, какую цель преследовал ты, и я тебе скажу, в чем тут смысл. Хорошо, но покуда этот день не настал, что делать будем? Воцарилось молчание. Свет понемногу меркнет, день удаляется, оставляя под деревьями длинные тени, и даже птичьи голоса звенят по-иному. Собака ложится наземь в трех шагах от машины, кладет голову на вытянутые передние лапы, ждет, не выказывая нетерпения. Говорит Жоана Карда: Я готова идти туда, куда она нас ведет, может быть, она затем и появилась, когда доберемся до цели, узнаем. Жозе Анайсо, тяжело задышав, но отнюдь не вздохнув, пусть даже и с облегчением, сказал только: Я тоже. И я, добавил Педро Орсе. Ну что же, раз вы все заодно, не мне же быть тем злодеем, кто станет у вас на пути и не даст вам следовать за этим проводником, компанию рушить не буду, тем более что у меня все равно отпуск, — такова была финальная реплика Жоакина Сассы.

Решиться — это значит сказать «да» или «нет», произвести кратчайшее колебание воздуха той или иной комбинацией звуков, это легко, трудности начинаются потом, когда надо осуществить решение на практике: много требуется для этого времени и еще больше терпения, ибо надежды мало, а зримых перемен еще меньше. Легко сказать «пойдемте следом за собакой» — отлично, только нельзя ли по-

яснить, как это будет выглядеть, как вы себе это представляете: проводник даром речи не обладает, стало быть, в машине ехать не может и не скажет — налево, теперь направо, теперь все время прямо, а на третьем светофоре опять направо, — да и не влезет такой здоровенный пес в автомобиль, набитый людьми и чемоданами, не говоря уж о вязовой палке, хотя это, впрочем, наименьшее из зол, если не мешает Жозе Анайсо и Жоане Карде ехать бок о бок. Да, раз уж упомянули Жоану, прибавим еще ее багаж, а прежде чем ухитриться разместить его, надо за ним сперва заехать, объяснить кузенам и племянникам причину внезапного отъезда, но при этом никак не могут появиться у ворот их дома Парагнедых, трое мужчин и собака. Я с ними еду — звучит, конечно, хорошо, звучит невинно и искренне, тем более что это чистая правда, однако женщине, совсем недавно расставшейся с мужем, не стоит лишний раз давать повод для сплетен, неизбежных в крошечной Эрейре, деревне, в сущности, бурные разрывы хороши для столиц и больших городов, но даже и там это недешево обходится, и один бог знает, каких душевных и телесных мук они стоят.

Солнце садится, и ночь не за горами, не то время, чтобы начинать странствие неведомо куда, да и Жоане неловко и неучтиво будет так вот исчезать, не то что худого, а и вообще никакого слова не говоря, она ведь сказала родне, что едет в Лисабон поездом по делу. Проблемы эти могут, конечно, показаться надуманными, но сильны все же условности и в обществе и в семействе. Но вот Педро Орсе вылезает из машины, подходит к собаке, приподнявшейся при виде его, и начинается между ними беседа — так, по крайней мере, кажется в сгущающейся тьме, хотя нам лично известно, что пес не способен даже лаять, — по завершении которой испанец вернулся к своим спутникам и сказал: Ну, Жоана может отправляться домой, собака с нами останется, а вы сообразите, где переночуем, а потом условимся, где завтра заберем нашу дамочку. Под эту гарантию развернута была карта и через три секунды принято решение — остановиться в Монтеморе-Старом, получив приют в каком-нибудь скромном пансиончике. А если там нет такого? — спросил Жоакин Сасса. Тогда поедем в Фигейру, сказал Жозе Анайсо, чтобы уж было наверняка, заночуем в Фигейре, а ты утром сядешь в рейсовый автобус, мы будем ждать тебя возле казино, на стоянке, поняла? — излишне говорить, что все эти инструкции относились к Жоане Карде, принимавшей их с полным доверием к тому, от кого они исходили. Она попрощалась: До завтра — и в самый последний момент, уже высунув одну ногу наружу, обернулась и поцеловала Жозе Анайсо, не в щечку чмокнула, как велят приличия, не в уголок рта, а прямо в губы, и поцелуй этот с полным правом мог называться молниеносным и по продолжительности, и по произведенному эффекту, причем Жозе Анайсо еще долго не мог оправиться от испытанного им потрясения, чего, конечно, не было бы, продлись столь сладостное соприкосновение губ еще немного. О, если бы видели это кузины из Эрейры, что сказали бы они! Нетрудно себе представить: да это верх легкомыслия, вот ты какая, оказывается, а мы-то во всем винили твоего мужа, да он просто ангел кротости, ты же этого мужчину вчера впервые увидела, а сегодня уже его целуешь, нет бы ему предоставить инициативу, как должно поступать всякой женщине, ибо лучшее ее украшение — скромность, и, помимо всего прочего, ты обещала вернуться из Лисабона в тот же день, а провела там сутки и неизвестно где ночевала, нет, это, право, нехорошо, одумайся, Жоана Карда, но потом, когда все улягутся, кузина выскользнет из кровати, проберется к ней в комнату, спросит: Ну, как это было? — а та ответит: Сама не знаю, и это будет чистая правда. Почему я это сделала? — спрашивает она себя, идя в темноте, особенно плотной и густой под деревьями. Руки у нее свободны, их можно поднести к той ямке меж ключицами, где, говорят, помещается душа, чемодан остался в машине, забил местечко для всего прочего ее багажа, и вязовая палка — под надежным присмотром троих мужчин и собаки, которую Педро Орсе подма-

нил к машине, усадил туда, где недавно сидела она, Жоана Карда, и когда все они уже крепким сном спят в Фигейре-да-Фош, две полуночницы в Эрейре продолжают секретничать: Как бы я хотела уехать с тобой, говорит кузина, она замужем и несчастлива в браке.

А новый день начался с пасмурного утра, вот и верь после этого приметам — ведь вчерашний вечер, словно райским светом озаренный, был так ясен и мягок, и деревья так кротко покачивали ветвями, и ни морщинки не было на туго натянутом полотне Мондего, отражавшей гладкое чело небосвода, и кто бы мог подумать, что сегодня под нависшими низкими тучами та же самая река обратится во вспененное море, но старики пожимают плечами: Первое августа, говорят они, первый день зимы, еще счастье, что с опозданием чуть не на целый месяц настала такая погодка. Жоана Карда пришла пораньше, однако Жозе Анайсо уже ждал ее в машине: так рассудили двое его спутников — пусть влюбленные побудут наедине, наговорятся всласть перед дальней дорогой, а куда поведет она и чем кончится, покуда неведомо. Собака провела ночь в автомобиле, а сейчас прогуливается по пляжу с Жоакином Сассой и Педро Орсе, скромно, но неотступно следуя у ноги последнего и показывая, что его общество она явно предпочитает всякому иному.

На стоянке среди других, более импозантных машин Парагнедых смотрится скромно и почти незаметно, это раз, а утро, как уже было сказано, хмурое, прохожих совсем нет, это два, и потому вполне естественно, что Жоана Карда и Жозе Анайсо, оставшись наедине, бросаются друг к другу, будто год не видались и изнывали в разлуке с первого дня, и начинают целоваться жадно и жарко — это уже не вспышка, а целая череда молний: слов было произнесено мало, ибо трудно говорить, когда рот занят другим, но все же по прошествии нескольких минут стало слышно честно сказанное Жозе Анайсо: Ты мне мила, наверно, я тебя люблю, и раздавшееся в ответ: Я, кажется, тебя люблю, потому и поцеловала вчера, то есть нет, не так: я бы не поцеловала тебя, если бы не чувствовала, что люблю, но способна любить гораздо сильней. Но ты ведь меня совсем не знаешь. Если для того, чтобы полюбить человека, надо ждать, пока не узнаешь его, то, пожалуй, жизни не хватит. Ты сомневаешься, что людям дано узнать друг друга? А ты веришь, что такое возможно? Я первый спросил. Тогда скажи, что такое, по-твоему, «знать»? Словаря под рукой нет. В таких и подобных случаях словарь скажет лишь то, что ты и без него знал. Словари говорят лишь то, что может пригодиться всем. Повторяю вопрос: что такое «знать»? Не знаю. Но любить при этом можешь? Тебя — могу. Не зная меня? Выходит, что так. Откуда у тебя такая странная фамилия? Деда звали Инасьо, а односельчане переделали в Анайсо, со временем это превратилось в нашу фамилию, а тебя почему зовут Карда? Когда-то, давным-давно, это было «кардо»: в наших краях так называют чертополох, по-местному волчец, но потом какая-то дальняя прабабка осталась с детьми на руках после смерти мужа, очень бедствовала, чуть не побиралась, вот и прозвали ее Карда, что значит «ворсянка», знаешь, есть такое растение? Нет, я думал, карда — это такая щетка из стальных игл, ею расчесывают лен, шерсть, ворс на сукно наводят. Да, а в словаре я нашла, что еще было в старину такое орудие пытки — мало того, что несчастных мучеников обезглавливали, огнем жгли, кожу с них заживо сдирали, да еще, оказывается, терзали этой самой кардой. Так вот что меня ждет. Если я изменю последнюю букву, ты не много от этого выиграешь. Колешься, как чертополох? Нет, имя — это одно, я — другое. А что же ты такое? Я — это я. Жозе Анайсо протянул руку, коснулся ее лица, пробормотал: Ты, и она сделала то же самое и тихо повторила: Ты, а на глаза ей навернулись слезы, они после всех недавних ее горестей всегда теперь были у нее близко, и вот уж ей захотелось узнать о том, кто сидел рядом: Ты женат, у тебя дети есть, чем ты занимаешься? Был когда-то, не обзавелся, учитель. Она перевела дыхание, а может быть, вздохнула с облегчением и сказала улыбаясь: Надо бы их по-

звать, околеют, бедные, от холода. Когда я рассказывал Жоакину о нашей первой встрече с тобой, то никак не мог подобрать слова, чтобы объяснить, какие у тебя глаза, сказал — цвета юного неба, сказал — не могу описать, и он сострил: Дама-с-Неописуемыми-Глазами, и так тебя теперь называет. Как, как? Дама-с-Неописуемыми-Глазами, но за глаза, конечно, в твоем присутствии не смеет. Мне нравится это имя. А мне нравишься ты, но теперь и правда пора их позвать.

Взмах руки — и ответный взмах, и по песку медленно идут Жоакин Сасса, Педро Орсе, и огромный пес кротко и послушно шагает между ними. Судя по тому, как машет, встреча прошла в обстановке полного взаимопонимания, говорит Жоакин Сасса, и опытное ухо легко расслышит в звучании этих слов сдержанную печаль — благородное и высокое чувство, замаскированное завистью или даже досадой — это добавлено для любителей стилистических выкрутасов. Она тебе тоже нравится? — понимающе спрашивает Педро Орсе. Да нет, а может, и нравится, вся беда в том, что я сам не знаю, кто мне нравится, а главное — как сделать, чтоб не разонравилась. На это проникнутое негативизмом высказывание испанец не находит что ответить. Вот они садятся в машину — доброе утро, доброе утро, как спалось, очень рады приветствовать на борту нашего крейсера, интересно, куда же заведет нас наше приключение — звучат эти любезные, всегда готовые к употреблению фразы, и только в последнюю вкралась ошибка, точнее было бы сказать: Куда же поведет нас этот пес? Жозе Анайсо, благо он и сидел за рулем, завел мотор, стал маневрировать, выезжая со стоянки, так, теперь куда? — повторял он, крутя руль влево-вправо, делая вид, что пребывает в сомнении, и выигрывая время, и вот собака повернулась вокруг своей оси и мелкой, но ходкой рысцой, ровной, как у заводной игрушки, затрусила по направлению к северу. Из пасти у нее свисала голубая шерстяная нитка.

И это был тот самый день, когда уже далекую, километров на двести по последним замерам отстоявшую от Пиренейского полуострова Европу потрясло от подножия до основания, передернуло социально-психологической судорогой, когда смертельной опасности подверглось континентальное самосознание, столь кропотливо и тщательно взращиваемое и лелеемое на протяжении долгих веков. Надо сказать, что европейцы, от виднейших государственных мужей до самых обычных граждан, боюсь, даже испытав известное, хоть и невысказанное, облегчение, очень скоро привыкли к тому, что лишились земель на крайнем западе, и если новые урезанные географические карты, в целях скорейшего просвещения поспешно выпущенные в продажу, еще резали глаз, то происходила эта, так сказать, резня лишь от оскорбленного эстетического чувства, от не поддающегося точному определению ощущения некоего смутного беспокойства, легкой дурноты, вроде той, что испытываем мы, глядя на безрукую Венеру Милосскую, ибо именно Милосом назывался тот остров, где богиню когда-то обнаружили. Да что вы говорите, разве это не имя скульптора, изваявшего статую? Уверяю вас, что Милос — это остров, на котором бедняжка была найдена и, будто новый Лазарь, воскрешена, однако такое чудо, чтобы еще и руки у нее отросли, никто сотворить не в силах.

Пройдут — если это им, конечно, удастся — века, и Европа даже не вспомнит о тех временах, когда была она велика и пустилась в плаванье, как мы сейчас уже не в силах вообразить себе Венеру Милосскую с обеими руками. Разумеется, не забудешь про эти бедствия, прокатившиеся по всему Средиземноморью, не отмахнешься так сразу от ущерба, нанесенного приливами и штормами прибрежным городам, отелям, чьи ступени спускались прямо к пляжам — а теперь вдруг не стало ни того ни другого, — а Венецию-то, Венецию как жалко, Венецию, ставшую форменным болотом, деревенькой на сваях, которые тоже, того гляди, подмоет и обрушит, и о туризме, дети мои, придется забыть, хотя, если голландцы будут пошевеливаться живее, через несколько месяцев город Святого Марка сможет вновь

распахнуть ворота перед восхищенной публикой и предстать перед ними еще краше, чем был, избавленным от катастрофы затопления, благо системы гидравлического равновесия, созданные по принципу сообщающихся сосудов, дамбы и шлюзы обеспечат постоянный уровень воды, а пока самим итальянцам надлежит принять надлежащие меры для того, чтобы жемчужину Адриатики не засосало тиной и илом, но, можно сказать, главное делается и уже сделано, честь и хвала потомкам того героического мальчика, который всего лишь кончиком своего указательного пальчика спас город Харлем от исчезновения с лица земли, не дал наводнению и потопу смыть и затопить его.

А воспрянет Венеция, отыщется рецепт исцеления и для всего остального Средиземноморья. Сколько раз прокатывались по здешним краям чума и война, сколько раз опустошали их землетрясения и пожары, но неизменно восставали они из праха, воскресали из пепла, обращая горечь страданий в наслаждение, созидая из варварства цивилизацию с неотъемлемыми от нее площадками для гольфа и бассейнами, яхтами на рейде и кабриолетами на пляже, ибо ни одна тварь земная не сравнится с человеком в способности приспосабливаться к новым обстоятельствам — особенно благоприятным. И вот, хоть это и не к чести европейцев, не утаим от вас, что многие из них, познав о том, что непредсказуемые обитатели западных окраин континента поплыли без руля и без ветрил в неведомую даль и вряд ли вернутся назад, расценили это как благодеяние, подарок судьбы, обещание еще более удобного бытия, сочтя, что рыба ищет где глубже, а человек — где лучше, и если пиренейцы не остались в лоне Европы, то, значит, поняли в конце концов, что она такое, и избавили ее от своего присутствия, а прочие не вполне полноценные европейцы рано или поздно, так или иначе тоже осознают — им с ней не по дороге. И можно предположить, что, если так оно и дальше пойдет, сведется весь континент к одной стране, и станет она квинтэссенцией истинно европейского духа, совершеннейшим воплощением его, и будет тогда Европа одна сплошная Швейцария.

И все же, все же, если есть европейцы такие, то есть, значит, и европейцы сякие — с шилом в одном месте, дьявольской какой-то закваски, и все никак не переведутся они, сколько бы ни изощрялись авгуры и сивиллы в предсказаниях. Это они с тоской провожают глазами промчавшийся мимо поезд, сожалея, что не их уносит он неведомо куда; это они при виде птицы в небе хотят, уподобясь какому-нибудь зимородку, немедленно испытать восторг свободного парения; это они, глядя вслед скрывающемуся за горизонтом кораблю, исторгают из глубины души вздох со всхлипом, и напрасно полагают стоящие рядом возлюбленные, будто вздох порожден их близостью, ибо выражает он желание оказаться как можно подалее. И вот кто-то из этих неуживчивых, не снедаемых, так обуянных вечным беспокойством людей осмелился впервые написать: Nous aussi, nous sommes ibériques[1], намалевав эти дерзостные, свидетельствующие о явном душевном нездоровье слова на каком-то заборе, будучи не в силах еще открыто объявить о своем желании, но не находя сил и таить его. Судя по тому, что написано это было по-французски, появилась эта надпись где-нибудь во Франции, однако с тем же успехом мог автор ее оказаться жителем Бельгии, уроженцем Люксембурга. За первым заявлением последовали второе, третье, сотое — они стремительно распространялись, возникая на стенах домов, на фронтонах и фасадах, на мостовых и тротуарах, в тоннелях метрополитена, на опорах мостов и путепроводов, вызывая законное негодование европейцев исконных и истинных, верных своим консервативным устремлениям: Эти анархисты совсем с ума посходили, — вот так у нас всегда, во всем анархисты виноваты.

Затем фраза пересекла границу, и в соответствии с тем, где появлялась, она,

[1] Мы тоже иберийцы (*франц.*).

сохраняя значение, изменяла звучание: Auch wir sind iberisch — так выглядела она по-немецки, We are iberians too — по-английски, Anche noi siamo iberici — по-итальянски, а уж потом лесным пожаром расползлась по всему Старому Свету, запылала неугасимым огнем красных, черных, синих, зеленых, желтых, лиловых букв, составлявших диковинные словосочетания: Wij zijn ook Iberiërs — по-голландски, Vi ocksa är iberiska — по-шведски, Ogsaa vi er iberiske — по-датски, Me myöskin olemme iberialaisia — по-фински, Vi ogsa er iberer — по-норвежски, Eímaste íberoi ki emeís — по-гречески, а затем, хоть, разумеется, не так бурно и буйно, возникла по-польски — My też jesteśmy iberyjczykami, по-венгерски — Mi is ibérek vagyunk, по-русски — Мы тоже иберийцы, по-румынски — Şi noi sîntem iberici, по-словацки — Ai my sme iberčamia. Но венцом, вершиной, апофеозом, акмэ — не побоимся и этого редкого слова, употребленного нами в первый и единственный раз, — всего стало появление на священных стогнах Ватикана, на стенах его дворцов и колоннах его базилик, на постаменте микеланджеловской «Пьеты», на торцах площади Святого Петра гигантских небесно-голубых букв, складывавшихся в латинское изречение, которое содержало в точности то же самое признание — Nos quoque iberi sumus, — подобное гласу самого Господа, говорящего о себе в полагающемся ему по рангу множественном числе, или как «мене-текел-фарес» новой эры, и папа, выглядывая из окна своих покоев, в испуге осенял крестным знамением себя и эту надпись — но вполне безуспешно, ибо краска, которой она намалевана, была из самых лучших, стойких и прочных, и десять братств в полном составе, вооруженные швабрами, щетками, пемзой, скребками и оснащенные растворителями, не сумеют с этим справиться, и работы хватит до нового Вселенского собора.

И вот за одну ночь оказалась Европа покрыта этими начертаниями, и то, что поначалу выглядело лишь как бессильно-задорная похвальба одинокого мечтателя, сделалось громовым криком протеста, ревом уличных манифестаций. Как всегда, власти недооценили серьезность угрозы и сперва лишь насмехались да посмеивались, однако уже вскоре обеспокоились размахом этого движения, которое уже нельзя было списать на происки заграницы, ибо вся заграница стала ареной этой подрывной деятельности, что избавляло от необходимости точно и конкретно определять, о какой же загранице идет речь. Вошло в моду прикреплять на лацкан пиджака, на живот и на спину, на прочие части тела листок с этим изречением, выведенным на всех вышеперечисленных языках, включая и эсперанто, трудный, правда, для понимания, и на всевозможных диалектах и наречиях. В качестве ответной меры правительства ограничились на первых порах устройством теледискуссий и «круглых столов», где главную роль играли люди, бежавшие с Пиренейского полуострова сразу после того, как стало ясно, что разрыв необратим, — не туристы, никаких выгод из своего страха не получившие, а коренные, можно сказать, иберийцы, природные пиренейцы, те, кто, решась оборвать узы патриотизма и традиции, собственности и власти, предпочел геологическому хаосу физическую стабильность. Они со знанием дела живописали ужасы иберийской действительности, давали советы, пытаясь ласково, бережно и тактично вразумить беспокойных, удержать их от опрометчивых решений, ставящих под удар европейское самосознание, и завершали свои монологи откровенным и прямым, глаза в глаза, обращением к телезрителю: Делай как я, выбери Европу.

Эти дебаты оказались не слишком продуктивны и эффективны — проку от них было мало, если не считать, конечно, протестов по поводу дискриминации, жертвой которой стали сторонники полуострова, — если бы демократический плюрализм, твердили они, не был пустым звуком, их непременно следовало пригласить в студию и дать им возможность высказать свои взгляды, буде таковые найдутся. Этого не было сделано из вполне понятной предосторожности. Вооружась весомыми аргументами, молодые люди — ибо именно молодежь совершила наиболее заметные

деяния — смогли бы выразить свой протест еще убежденней, заявить о нем на улицах, в школе и дома еще громче. Не стоит об этом забывать. Можно, конечно, спорить о том, воздержалась бы молодежь, получив в свое распоряжение эти доводы и аргументы, от прямого действия, умиротворил бы их голос разума, вопреки тому, что от начала времен составляет основу их убеждений. Да, можно спорить об этом, конечно, можно — но не нужно, потому что чего же кулаками махать после драки, после того, как эта самая молодежь забрасывала камнями здание телецентра, громила магазины, где продавались телевизоры, вышвыривала их на улицы при тщетных разувереньях владельцев: Да я-то в чем виноват? — но их относительная невинность ничем им не помогла, и телевизоры, ударяясь о тротуар, взрывались, как петарды загорались, и горели, и сгорали дотла. Прибывавшая на место происшествия полиция принимала меры, атаковала смутьянов, разгоняла их дубинками, и продолжались эти столкновения больше недели и прекратились лишь на восьмой день, в тот самый день, когда наши герои покидают Фигейру-да-Фош следом за собакой, указующей путь троим мужам достославным и жене, так скажем мы, храня верность избранному стилю, хоть она еще не стала женой одному из них, но за этим дело не станет, и всякий, имеющий представление о влечениях и кружениях сердца, извинит нам незамысловатый каламбур. И вот они едут на север, и Жоакин Сасса уже сказал: Если проедем через Порто, прямо ко мне в гости попадем, и в этот самый час сотни тысяч, миллионы юнцов по всему континенту вышли на улицу во всеоружии — но не доводов и резонов, а бейсбольных бит, велосипедных цепей, обрезков водопроводных труб, ножей и ножниц, багров и заточек, — будто обезумев от ярости, а также от разочарования и в предчувствии грядущих страданий, крича «Мы тоже иберийцы» с тем же отчаянием, которое заставляло торговцев взывать «Мы ни в чем не виноваты».

Потом, когда спустя сколько-то дней и недель улягутся страсти, психологи и социологи покажут и докажут нам, что юношество вовсе не хотело быть иберийским, а лишь воспользовалось предлогом и обстоятельствами, чтобы дать выход той неутолимой мечте, которая длится обычно столько же, сколько и сама жизнь, но впервые проявляется — нет, скорей даже прорывается — в пору первой юности, обретая выражение свое в том и там, где можно. Или нельзя. И на полях сражений — а точнее, на улицах и площадях, ставших полем битвы, — сотнями исчислялись раненые, и было даже трое-четверо убитых, хоть правительство и пыталось всячески утаить эти скорбные цифры в туманных противоречиях своих коммюнике и новостей, и августовские матери так никогда, наверное, и не узнали, сколько их сыновей пропало без вести, не узнали по той же причине, по какой матери, вечно обреченные терпеть все, терпят и поражение, и оттого это происходит, что не умеют сплотиться и организоваться: всегда кое-кто, оставаясь в стороне, оплакивает свою потерю, ухаживает за уцелевшим сыном или, раскорячась под мужем, заводит себе нового. Гранаты со слезоточивым газом, водометы, резиновые палки, щиты и шлемы с забралом, вывороченные из мостовых булыжники, водопроводные трубы, выломанные из оград чугунные копья и железные дротики — вот какое оружие использовали противоборствующие стороны, затем на смену ему пришли средства еще более и до боли убедительные, разнообразные новинки, впервые опробованные здесь силами правопорядка, ибо война, как и беда, одна не ходит: первая война испытывает, вторая усовершенствует, третья доказывает эффективность, или в обратном порядке, смотря откуда и с какой войны начинать отсчет. В сборниках воспоминаний и в воспоминаниях изустных остались последние слова того хрупкого голландского юноши, сраженного резиновой пулей, бракованной, очевидно, ибо она оказалась на поверку тверже стали, но случай этот моментально перешел в легенду, и каждая страна клялась, что именно она была отчизной этому пареньку, не отказываясь, стало быть, и от авторства этой пули и дорожа предсмертной фразой не в

силу содержащегося в ней смысла, а потому что она была исполнена прекрасного юношеского романтизма, а государствам все это по вкусу, особенно если речь идет о проигранных битвах, когда остается лишь произнести: Наконец-то и я стал иберийцем — и испустить дух. Неведомо нам, знал ли этот юноша, чего хочет, или же ему только казалось, что знает, как, за неимением лучшего, происходит сплошь и рядом, но он в любом случае не похож на Жоакина Сассу, который затруднялся определить, кто ему нравится, но, по крайней мере, жив остался, а потому не потерял шансов в один прекрасный день, если не зазевается, уяснить это для себя.

Утро становится днем, день перейдет в вечер, а по длинной дороге, прижатой почти к самому берегу, бежит, ни разу не сбившись со своей ровной рыси, песпроводник, оказавшийся, впрочем, далеко не борзым псом, ибо даже Парагнедых при всей своей дряхлости способен был бы развить скорость гораздо более высокую, чем та, с какой движется он эти несколько часов. Машине так ползти вредно, говорит сидящий за рулем Жоакин Сасса, беспокоясь, не случилось бы с изношенным механизмом какой поломки. Транзистор, в котором недавно заменили батарейки, вещает о беспорядках, бушующих на всем континенте, и о том, что, по сведениям из достоверных источников, на правительства стран Пиренейского полуострова европейские государства оказывают сильное давление, требуя, чтобы те положили конец безобразиям, словно им по силам исполнить это желание, а править бултыхающимся в океане полуостровом — то же, что управлять Парагнедых. Протесты европейцев получили достойный отпор: испанцы отвергли их претензии с мужественной горделивостью, португальцы — с женственным высокомерием, и было объявлено, что вечером премьер-министры обеих стран выступят по национальному радио — каждый по своему, разумеется, — но с согласованными заявлениями. Некоторое замешательство вызвала осторожная позиция Соединенных Штатов, обычно с охотой и готовностью вмешивающихся в решение мировых проблем, особенно если они сулят какую-либо прибыль, а на этот раз давших понять, что встревать не намерены, пока не станет ясно, до каких Геркулесовых столпов — в буквальном смысле — дойдет дело. Но все же именно США поставляют нам горючее, пусть с перебоями, пусть нерегулярно, все равно — низкий им за это поклон, иначе в этой глуши и вовсе было бы невозможно заправиться. Кабы не американцы, и нашим путешественникам, вздумай они и дальше следовать за собакой, очень скоро пришлось бы идти пешком.

Когда же свернули к придорожному ресторанчику пообедать, собака покорно остановилась, осталась снаружи — понимала, значит, что ее двуногим спутникам без еды нельзя. Педро Орсе вышел первым, вынес ей остатки и объедки, но она от них отказалась, и запекшаяся вокруг ее пасти кровь внятно объяснила почему. Она уже поохотилась, сказал Жозе Анайсо. А голубая нитка так и свисает, заметила Жоана Карда, и это второе обстоятельство заслуживает большего внимания, нежели первое, поскольку наш пес, если он тот, за кого мы его принимаем, две недели кряду ведя такую бродяжью жизнь, пересек весь полуостров от самых Восточных Пиренеев и неизвестно, куда двинется дальше, причем за все это время никто не ставил перед ним миску с похлебкой, не баловал косточкой. Что же касается голубой шерстяной нитки, она могла и выпасть, а потом снова прилипнуть — охотник же перед тем, как спустить курок, задерживает дыхание, а потом, естественно, вновь чередует вдох и выдох. Эх, славный ты песик, благодушно обратился к нему Жоакин Сасса, умел бы ты так же заботиться о нас, как, судя по всему, заботишься о себе, мы бы горя не знали. Пес на это мотнул головой, но смысл этого движения мы растолковать не беремся. Потом вышел на шоссе и возобновил путь не оглядываясь. День лучше утра, солнце пригревает, а он, собака, сукин сын, черт безрогий, опустив голову, вытянув морду, отставив хвост, знай чешет неутомимой рысью, и рыжая шерсть его отливает на свету темным золотом. Что это за порода та-

кая? — спрашивает Жозе Анайсо. Если б не хвост, смахивал бы на помесь легаша с овчаркой, говорит Педро Орсе. Он наддал, радостно сообщает Жоакин Сасса, а Жоана Карда, быть может для того, чтобы не оставаться в одиночестве, добавляет: Как бы его назвать? — видите, рано или поздно, но неизбежно возвращаемся мы к вопросу имен.

Премьер-министр, как и было обещано, обратился к нации и сказал ей так: Португальцы! В последнее время и особенно в последние сутки наша страна подвергается давлению, которое без преувеличения назову недопустимым: оно исходит со стороны почти всех европейских стран, где, как известно, отмечавшиеся ранее серьезные нарушения общественного порядка, к которым мы не имеем ни малейшего отношения, обострились и усилились, вылившись в массовые уличные манифестации солидарности со странами Пиренейского полуострова и населяющими их народами, войдя в глубокое противоречие с политикой, проводимой правительствами стран Европы, к числу которых мы уже не принадлежим, оказавшихся перед лицом значительных социально-культурных процессов, происходящих в этих странах, жители которых видят в историческом испытании, посланном нам судьбой, провозвестие более счастливого будущего, а проще говоря — надежду на воскрешение и омоложение человечества. Так вот, правительства европейских стран вместо того, чтобы оказать нам поддержку и помощь, что явилось бы яркой демонстрацией элементарного гуманизма и выражением истинно европейского самосознания, решили превратить нас в козлов отпущения, свалить на нас всю ответственность за свои трудности, при этом обращаясь к нам с нелепым призывом задержать соскальзывание нашего полуострова в океан, которое хотя бы из простого уважения к фактам следовало бы назвать плаванием. Это тем более прискорбно, что, по имеющимся у нас сведениям, мы ежечасно удаляемся от новообразованного побережья Западной Европы на семьсот пятьдесят метров, а европейские правительства, которые никогда прежде на деле не считали нас равноправными членами сообщества, ныне просят нас сделать то, чего в глубине души не хотят сами и что, как им должно быть известно, сделать невозможно. И в эти бурные дни Европа, как несомненное средоточие культуры, как историческая колыбель нашей цивилизации, испытывает явный недостаток здравого смысла. Мы же, сохраняя спокойствие, подобающее тем, кто ощущает свою силу, в сознании своей правоты, будучи законным и конституционным правительством, намерены и впредь решительно отвергать всякий нажим, в какой бы форме и от кого бы он ни исходил, и перед лицом всего человечества клянемся руководствоваться в своих поступках исключительно национальными интересами, интересами народов, населяющих Пиренейский полуостров, о чем я могу заявить совершенно официально и ответственно, поскольку правительства Испании и Португалии работали и работают в постоянном и тесном контакте, принимая все необходимые меры для того, чтобы известные судьбоносные события, начавшиеся с разлома в Пиренеях, пришли к своему благополучному завершению. Слов самой горячей и искренней признательности заслуживают проникнутые истинным гуманизмом действия администрации Соединенных Штатов и проводимая ею реалистическая политика, благодаря чему мы в должной степени обеспечены как горючим и топливом, так и продуктами питания, которые прежде в рамках многосторонних договоренностей импортировались из стран Европы. В обычных условиях такие вопросы подлежали бы урегулированию по дипломатическим каналам, но с учетом остроты нынешней ситуации возглавляемое мною правительство сочло своим долгом немедленно сделать эти факты достоянием самой широкой гласности, тем самым еще раз выражая неколебимую уверенность в том, что португальцы, как уже не раз бывало на протяжении веков, еще теснее сомкнут ряды вокруг своих легитимных представителей и священных символов госу-

дарственности, в этот труднейший момент своей славной истории явив миру образ народа, исполненного решимости, спаянного нерушимым единством. Да здравствует Португалия, ура!

Четверо путешественников выслушали эту речь уже в окрестностях Порто, заехав в придорожное кафе перекусить и задержавшись там, чтобы посмотреть по телевизору тысячные манифестации, схватки с полицией — озноб пробирает при виде этих благородных юношей, несущих транспаранты и плакаты с пресловутым изречением. Чего это они так забеспокоились о нас? — спросил Педро Орсе, а Жозе Анайсо, сам того не заметив, повторил фразу премьер-министра, несколько спрямив ее смысл: О самих себе они забеспокоились. Путники завершили трапезу, вышли к машине, вынесли собаке объедки, от которых та на этот раз не отказалась, и, пустив Парагнедых аллюром более стремительным, ибо четвероногий поводырь уже едва различим впереди, сказал Жоакин Сасса: На выезде с моста надо будет как-нибудь усадить пса в машину, назад, к Жозе и Жоане, по городу так не поедешь, да и сам он ночью вряд ли захочет следовать таким порядком.

Прогноз сбылся, желание Жоакина Сассы исполнилось, и собака, уразумев, чего от нее хотят, медленно и грузно развалилась в ногах у сидевших сзади, голову положила на руку Жоаны Карды, однако не заснула, так и ехала с открытыми глазами, в которых, будто в черном зеркале, мелькали городские огни. Заночуем у меня, говорил Жоакин Сасса, у меня широченная кровать и диван раскладывается, так что двое запросто на нем уместятся, если, конечно, они не слишком толстые, а один из нас троих — это относится, разумеется, к мужчинам — прикорнет в кресле, ничего страшного, я хозяин, мне там и спать, или в крайнем случае переночую в пансионе поблизости, по соседству. Его спутники не отвечали, изъявляя молчанием согласие или желание обсудить щепетильный вопрос попозже, в иной обстановке, и атмосфера слегка наэлектризовалась, возникло некое напряжение, известная неловкость, стало казаться, что Жоакин Сасса — с него станется — намеренно, шутки ради завел разговор на эту тему. Но и двух минут не проехали они в молчании, как нате вам, пожалуйста, прозвучал отчетливый голос Жоаны Карды: Я с Жозе лягу, и вправду, видно, конец света близок, и мир наш обречен погибели, если женщина берет инициативу на себя: вот раньше были у них понятия и правила, начиналось дело с начала, с жарких и призывных мужских взглядов, с ответного взора женщины, пущенного из-под потупленных ресниц как стрела, продолжалось потом, до первого соприкосновения пальцев, долгими разговорами, письмами, ссорами и примирениями, шли в ход многозначительность оброненных платочков и дипломатичность покашливаний, и хотя итогом всего этого было то же самое и — после ли свадьбы или же вместо нее — укладывалась дама на спину, а кавалер на даму, но все же никогда не бывало такого бесстыдства, такого полного забвения приличий, тем более в присутствии человека преклонных лет, а еще говорят, что у андалусиек нрав пылкий, куда им до этой португалки, имеется в виду Педро Орсе, едущий в том же автомобиле, ни одна из них не скажет так вот прямо в глаза: Я с Жозе лягу. Однако времена меняются, да еще как меняются, а ежели и хотел Жоакин Сасса подшутить над чужими чувствами, то вышла ему эта шутка боком, Педро же Орсе, вероятно, и не совсем понял, о чем идет речь, ибо сказано было на языке хоть и родственном, да не родном. А Жозе Анайсо рта не раскрывал — да и что ему было говорить: прими он самодовольный вид счастливого любовника, вышло бы жалко и глупо, а смутись и возмутись он от такой прямоты — еще того хуже, так что самое мудрое — хранить молчание, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: только Жоана Карда могла произнести эти слова, нестерпимой грубостью прозвучали бы они в его устах да еще без предварительной консультации с нею, а если бы он сперва осведомился у нее, согласна ли она, получилось бы и вовсе нечто совершенно непотребное, так что согласимся — есть такое, что долж-

но и можно взять на себя только женщине, в зависимости, разумеется, от обстоятельств и переживаемого момента, да, вот именно — момента, того краткого мига, той секунды, возникающей между двумя людьми, которые вот-вот совершат непоправимую ошибку. Руки Жозе Анайсо и Жоаны Карды соединены на загривке собаки, и Жоакин Сасса, незаметно поглядывая на них в зеркало заднего вида, замечает, что они улыбаются: обошлось, проехало. С этой дамочкой ухо держи востро, думает он, вновь ощущая укол зависти, впрочем, он же сам виноват — сам же признался, что не знает, кто ему нравится.

Роскошным его жилище никак не назовешь — маленькая спальня, а гостиная, где стоит пресловутый диван-кровать, еще меньше, есть ванная: это холостяцкая квартира, спасибо, что такая есть, не надо мыкаться по меблированным комнатам. В кладовой — хоть шаром покати, хорошо, что путники утолили голод по дороге, на последнем привале. Они смотрят в телевизор, ожидая новостей, но европейские министры иностранных дел еще не успели дать отклик на выступление португальского премьера, который для того, чтобы те не прикидывались, будто не слышали или не поняли, вновь появляется на экране и говорит: Португальцы! — а остальное мы уже знаем. Перед тем как улечься, четверо держат военный совет, хотя никаких решений им принимать не надо, за них все решит пес, улегшийся в ногах у Педро Орсе, но никто не хочет отказать себе в удовольствии высказать свое суждение. Может быть, здесь и окончится наше странствие, говорит Жоакин Сасса, явно заинтересованный в том, чтобы так оно и было. Или где-нибудь дальше, к северу, замечает Жозе Анайсо, думающий совсем о другом. Наверняка ближе к северу, соглашается Жоана Карда, помышляющая о том же самом, но истина заключается в словах Педро Орсе, который говорит: Пес его знает, и добавляет, зевнув: В сон клонит.

Пасьянс — кому где и с кем ложиться — был разложен с той же быстротой, что и диван-кровать — умелыми руками Жоакина Сассы при содействии Педро Орсе. Жоана Карда незаметно вышла, а Жозе Анайсо еще несколько минут сидел как у праздника, притворяясь, что он тут вообще ни при чем, но сердце у него заходилось таким громким и частым стуком, словно выбивало боевую тревогу, так что от этой дроби, отдававшейся где-то под ложечкой, должен был бы ходить ходуном весь дом, хоть никакого землетрясения и не было, а потом, произнеся: Покойной ночи, до завтра, встал и удалился, сознавая, что эти слова не соответствуют значительности момента. Спальня была тут же рядом, а под самым потолком — окно без занавеси или шторы, и это могло бы восприниматься как отсутствие должной скромности, но объясняется тем, что Жоакин Сасса живет один и подсматривать ему, даже если б страдал он таким извращением, решительно не за кем, впрочем, надо сказать, что было бы не только поучительно, но и весьма интересно иногда подглядеть за самим собой, хотя удовольствия бы это не доставило никакого. Из всех этих стилистических фиоритур вовсе не следует, будто Педро Орсе и Жоакин Сасса намеревались предаться столь предосудительному мальчишеству, однако это окно — даже не окно, а тень окна, — еле различимое во тьме, оказывает некое возбуждающее действие, волнует, будоражит, воспаляет кровь, будто все, что происходит, происходит не за стеной, а здесь же, рядом, в толчее свального греха, и Жоакин Сасса, перевернувшись на спину, взбил подушку повыше, приподнял голову, чтобы создать ауру тишины и лучше слышать, во рту у него пересохло, он героически противится искушению встать, пойти на кухню выпить воды, а по дороге уловить доносящиеся из спальни шорохи. Педро Орсе, утомленный дорогой, как лег, так и заснул, свесив руку на спину растянувшегося у дивана пса, и подземные толчки, ощущаемые одним, передаются, должно быть, другому, и снится им, наверно, одно и то же. А из спальни не доносится ни звука — ни сдавленного стона, ни невнятно пробормотанного слова, ни вздоха. Как тихо, думает Жоакин Сасса, даже странно,

и он даже не представляет, до какой степени это странно, и никогда не узнает этого и вообразить себе этого не сумеет, потому что происходящее остается тайным для всех, кроме тех, с кем происходит оно. Жозе Анайсо проник в Жоану Карду, и та приняла его, он был тверд, она — нежна и податлива, и больше они уже не двигались, сплетя пальцы с пальцами, прильнув губами к губам, в полнейшем безмолвии, дождавшись, когда яростная, но тоже беззвучная волна накрыла их с головой, не отпуская, покуда не стихла последняя судорога, не иссякла последняя скудная капля — вот так мы выразимся, чтобы нас не обвинили в безнравственном живописании полового акта: какие отвратительные слова, и просто счастье, что они почти совсем выходят из употребления. А Жоакин Сасса, проснувшись поутру, подумает, что парочка за стеной набралась немыслимого, нечеловеческого терпения и дождалась, пока заснут ее спутники, и один Бог, если только Бог посвящен в эти плотские тайны, знает, чего это ей стоило, но ошибется Жоакин Сасса, потому что в тот самый миг, когда он погружается в сон, Жоана Карда снова принимает Жозе Анайсо, и на этот раз они уже не так молчаливы, как прежде, ибо есть подвиги, которые дано свершить лишь однажды. Наверно, заснули, сказал кто-то из них, и тела обоих наконец-то расслабленно обмякли, наступило давно заслуженное освобождение.

Педро Орсе проснулся первым: пепельный палец зари, скользнув от окна, коснулся его утомленных губ, и ему приснилось, что его целует женщина, он пытался удержать и продлить сон, но глаза уже открылись, а губы остались пересохшими — ничьи уста не увлажнили их своим животворящим прикосновением. Пес вскинул голову, приподнялся на передних лапах, пристально поглядел на человека; в комнате стояла такая плотная полутьма, что непонятно было, какой свет отражая блестели его глаза. Педро Орсе погладил его, и тот в ответ коротко лизнул его худую руку. Эти движения разбудили Жоакина Сассу, который поначалу не мог понять, где находится, — его сбили с толку диван, где он ночевал лишь изредка, и непривычное соседство. Педро Орсе, откинувшись на спину, поглаживая лежавшую у него на груди голову пса, сказал: Вот и новый день, интересно, что он принесет, и Жоакин Сасса ответил: Может, собачка наша передумает, у людей так часто бывает: проснешься — а все вокруг другое, а мы вроде те же, а сами себя не узнаем. Сейчас на это не похоже. Пес поднялся во весь свой огромный рост и, тяжело ступая, направился к закрытым дверям. В полутемной комнате смутно виднелся лишь его размытый силуэт да поблескивали глаза. Ждет, сказал Жоакин Сасса, позови его, рано еще. Пес подошел на голос Педро Орсе и покорно опустился на пол, разговор продолжался вполголоса: Сниму деньги со счета, там, правда, немного, и одолжу где-нибудь, говорит Жоакин Сасса. А что будем делать, когда они кончатся? Может, раньше кончатся наши приключения. Кто знает, что нас ждет. Ну, выкрутимся, в крайнем случае — украдем, эти слова произнес с улыбкой Жоакин Сасса. Будем надеяться, до таких противозаконных деяний дело не дойдет; Жозе Анайсо тоже снимет деньги со счета, благо здесь, в Порто, есть отделение банка, где он держит свои сбережения; Педро Орсе взял с собой все свои песеты, что касается Жоаны Карды, то о ее материальном положении мы совсем не осведомлены, но можно предположить — она не из тех, кто будет жить на подачки или за счет любовника. Мы, правда, сомневаемся, что эти четверо сумеют поступить куда-нибудь на службу — для этого нужны такие качества, как постоянство, стабильность, наконец, оседлый образ жизни, они же гоняют по всей стране следом за собакой, чья судьба, мы уповаем, скоро станет известна хотя бы ей самой, но сейчас не время узнавать у животных, если даже они и не лишены голосовых связок, куда они направляются.

В соседней комнате в объятиях друг друга спали утомленные любовники — это истинное чудо, которое, как ни прискорбно, не может длиться вечно, и это вполне

естественно: тело есть тело, оно со всем, что есть в нем, от начала до конца, заключено в кожаную оболочку и ею ограничено, принадлежит ему одному и нуждается в спокойствии, в независимости, и чтобы все процессы в нем протекали автономно, без вмешательства извне, а сон в обнимку требует от каждого, кто участвует в этом процессе, некой, с позволения сказать, угнезденности и прилаженности друг к другу, а присутствие рядом другого тела нарушает эту гармонию — то рука затечет, то локоть вонзится меж ребер, — и тогда мы, собрав всю положенную нам нежность, шепчем еле слышно: Любовь моя, подвинься чуточку. Итак, Жоана Карда и Жозе Анайсо спят, утомясь, ибо посреди ночи свершили третье соитие — они ведь находятся еще только в самом начале своей любви и потому неукоснительно соблюдают славное правило — не отказывать плоти в том, чего она, по собственным своим резонам, требует. А Жоакин Сасса и Педро Орсе вместе с собакой, стараясь не шуметь, вышли из квартиры и отправились на поиски пропитания: каждый называет утреннюю трапезу по-своему, как принято у него в стране, но единый голод сглаживает лингвистические разногласия. Когда вернутся, любовники уже пробудятся ото сна и будут плескаться под душем, какие счастливцы эти двое и настоящие скороходы — как далеко умудрились они продвинуться за столь краткий срок.

Перед самым выходом все четверо стали в кружок и посмотрели на собаку с озабоченным видом, присущим тем, кто ждет указаний, сомневаясь одновременно и в их целесообразности, и в том, что окажутся в состоянии их выполнить. Будем надеяться, молвил Жоакин Сасса, что на выезде из Порто она доверится нам так же, как доверилась на въезде, и остальные поняли, что именно он хотел этим сказать: представьте себе, что будет, если пес по кличке, ну, скажем, Верный, маниакально устремленный на север, заставит ехать по улице с односторонним движением или свернуть там, где поворот запрещен?! А будут конфликты с полицией, столкновения, пробки, аварии, и все население Порто с хохотом сбежится поглазеть на такое диво. Но ведь этот пес не дворняга какая-нибудь, прости господи: его генеалогическое древо корнями уходит в самую преисподнюю, а ведь мы знаем, что она и есть источник всякой мудрости — и древней, и нынешней, и той, что еще только суждено когда-нибудь явиться в мир. И вот поэтому, а быть может, и потому, что Педро Орсе прошептал псу на ухо какие-то слова, значение которых до сих пор установить не удалось — не исключено, что это было заклинание, — тот спокойно, как ни в чем не бывало, с таким видом, словно иной способ передвижения ему вообще неведом, уселся в машину, но — обратите внимание! — голову на колени Жоане Карде на этот раз не положил, а бдительно следил за тем, как Жоакин Сасса крутит по переулкам и закоулкам, и всякий, кто понаблюдал бы за тем, куда направляется Парагнедых, сказал бы: На юг едут, а через минуту поправился бы: А теперь взяли западней или: Поехали к востоку, ведь это и есть четыре основные стороны света, потому что, если двигаться по всем направлениям, указуемым розой ветров, мы вовеки не выпутаемся из паутины улочек Порто и из затруднения, куда сами себя загнали.

Пес и четыре человека приходят к соглашению; четыре разумных существа решили довериться инстинкту животного, а впрочем, может быть, всех их манит магнит, установленный где-то на севере, или тянет голубая шерстяная нить, неотличимая от той, что зажата в собачьих зубах. Но вот город остается позади, дорога, несмотря на все изгибы и повороты, ведет туда, куда надо, а пес дает понять, что хочет выйти, и выпрыгивает в распахнутую перед ним дверцу, видно, что после ночевки под крышей он восстановил силы, отдохнул и отъелся. Рысь становится резвей и размашистей, и Парагнедых, повеселев, перестав грызть удила от нетерпения, устремляется следом. Шоссе теперь идет не вдоль побережья, и только поэтому не дано нам увидеть тот пляж, на котором Жоакин Сасса продемонстрировал когда-то силу, не снившуюся Самсону. Жаль, говорит наш дискобол, что удаляем-

ся от берега, я бы вам показал то место, где вышла та история с камнем, сам библейский Самсон не сумел бы свершить такого, но из скромности обрывает фразу, ибо разве сравнится чудо его со свершенным Жоаной Кардой в полях Эрейры, с загадочным дрожанием земли, ощущаемым Педро Орсе, и если здесь проводником нам служит сухопутный пес, то что сказать о многотысячной стае скворцов, следовавших за Жозе Анайсо неотступно в продолжение столь долгого времени и оставивших его, лишь когда пришла им пора отправляться в новый полет?

Дорога идет вверх, потом вниз и снова вверх и теперь уже постоянно лезет в гору, разве что изредка, лишь чтобы передохнуть, спускается под уклон, горы в здешних краях невысоки, да сердце у Парагнедых изношено, и он тяжело отдувается, еле справляясь с одышкой, а пес впереди без устали отмахивает милю за милей. Остановились перекусить у пастушьей сторожки на обочине, и снова пес исчез, сам позаботившись о своем пропитании, и вернулся с окровавленной мордой, и теперь уж мы знаем, что это за кровь, и никакой тайны тут нет: если еду не кладут тебе в кормушку, ее надо выследить и добыть самому. Снова отправляются они в путь, неуклонно держа к северу, и Жозе Анайсо говорит, обращаясь к Педро Орсе: Если и дальше так поедем, скоро попадем в Испанию, к тебе домой. Мой дом — в Андалусии. Не все ли равно? Нет, страна — это одно, родина — совсем другое, ее знаешь, а о стране понятия не имеешь. Разве ты не бывал в Галисии? Никогда, это чужой дом.

Ну если они и попадут в Испанию, то еще не сейчас, эта ночь будет проведена в Португалии. Жозе Анайсо и Жоана Карда зарегистрировались как муж с женой, Жоакин Сасса и Педро Орсе в целях экономии взяли один номер на двоих, а псу пришлось ночевать с Парагнедых, потому что хозяйка пансиона отказалась впустить в дом такую зверюгу: Куда такое чудовище, пусть на улице спит, а то еще блох напустит. Нет у него блох, возразила Жоана Карда, но возражения ее не были приняты во внимание, ибо дело не в блохах. Посреди ночи встал с кровати Педро Орсе, надеясь, что входная дверь не на запоре, а она вправду оказалась открыта, и часа два поспал в автомобиле в обнимку с псом: если по причинам объективным и очевидным любовь невозможна, то для дружбы помехи нет. И показалось Педро Орсе, когда он залезал в машину, что пес тихонько подвыл, должно быть, приснилось что-нибудь, так бывает — когда очень хочется чего-нибудь, премудрая наша плоть, сжалившись над нами, удовлетворяет желания разными способами, в том числе и во сне и снами, так, по крайней мере, принято считать. Еще бы! а иначе кто бы в силах был снести вечную неудовлетворенность, от жизни неотъемлемую, раздается тут неизвестно чей голос, который время от времени вмешивается в наше повествование.

Потом Педро Орсе вернулся в пансион, а пес направился следом, но, поскольку вход ему был воспрещен, улегся на ступеньках, и перо мое бессильно описать ужас, обуявший хозяйку, когда при первых лучах восхода выпорхнула она, ранняя пташка, наружу в радостном предвкушении нового трудового дня, отворила ставни навстречу рассветной прохладе, и тут с половика поднялся Немейский лев, разинул пасть — это был всего лишь зевок невыспавшегося существа, но и зевок способен повергнуть в оторопь и смятение, если обнажаются при этом чудовищные клыки и язык, такой красный, будто по нему струится кровь. Да, большой был крик, и большой вышел скандал, и постояльцы не столько мирно удалились, сколько были выгнаны взашей, и Парагнедых уже заворачивал за угол, а хозяйка, стоя на приступочке крыльца, все еще поносила и проклинала безмолвного зверя: эти хуже всех, ибо если верно речение «Пес, что лает, не кусает», то справедливо и обратное, и если мощь челюстей и острота зубов находятся в прямой зависимости от молчания, то избави нас боже от таких встреч. Путники со смехом вспоминали эту сцену, а Жоана Карда из женской солидарности заметила, что, будь она на месте

хозяйки, тоже перепугалась бы, да и вам не стоило бы рядиться в храбрецы, хуже нет отваги по обязанности — глубоко копнула она этим замечанием: каждый мужчина втайне пытается совладать со своей трусостью, а Жозе Анайсо решил при первой же возможности поведать возлюбленной, какие страхи томят его душу, и правильно — что это за любовь, если всего не говорить, вот когда пройдет она, тогда пожалеешь о том, что выложил все как на духу, тем более что духовник порою во зло употребляет оказанное ему доверие. Будем надеяться, что Жозе Анайсо и Жоана Карда устроятся так, чтобы избежать такого оборота событий.

Граница уже невдалеке. Успев привыкнуть к чудесным способностям своего проводника, путешественники как нечто само собой разумеющееся воспринимают то, что пес — пусть побудет он пока безымянным, в свое время мы выберем ему достойную кличку — без малейших колебаний, без заминки избирает на развилке двух дорог ту, по какой следовать, а ведь помимо развилок существуют еще и перекрестки. Конечно, собачка однажды уже проделала этот путь в обратном направлении, с севера на юг, но приобретенный опыт мало чем может ей пригодиться, если мы вспомним, сколь многое меняется от перемены точки зрения, которая, как нам, к счастью, известно, все определяет. Люди постоянно живут рядом с чудесами, но узнают едва ли половину их, да и ту чаще всего понимают неверно, потому что, как Господь Бог наш, желают, чтобы этот и прочие миры всенепременно сотворены были по их собственному образу и подобию, причем им безразлично, кто эти миры сотворил на самом деле. Инстинкт ведет собаку, однако неведомо, что или кто ведет инстинкт, и если как-нибудь на днях придется нам давать объяснение некоей странности, то, вероятней всего, объяснение проскользит по поверхности, не затронув сути, если только не дадим объяснения самому объяснению, а тому — еще одно, а этому — новое, и так до бесконечности, до того последнего мгновенья, когда уже не останется ничего, чтобы объяснить гору объясненного, и таким вот попятным движением доберемся мы до первоначального хаоса, но речь у нас идет сейчас не о том, как образовалась Вселенная — кто мы такие есть, чтобы рассуждать об этих премудростях? — а о собаках.

И о людях. О тех, кто следом за собакой движется к границе, до которой уже рукой подать. На склоне дня покинут они португальские пределы и только тогда, чему виной, должно быть, сгущающиеся сумерки, обнаружат исчезновение пса и сейчас же растеряются, как дети в дремучем лесу: что делать? Жоакин Сасса воспользовался случаем, чтобы подвергнуть сомнению пресловутую собачью верность, но мы это высказывание отметаем как заведомый вздор, а прислушаемся-ка лучше к здравому суждению умудренного житейской опытностью Педро Орсе: Он переплыл, наверно, реку и ждет нас на том берегу, и если бы люди проявляли настоящее внимание к тем звеньям и, извините, валентностям, которыми сцепляется не только одно вещество с другим, но и бытие с бытием, — речь сейчас о Жоане Карде и Жозе Анайсо, — то сразу поняли бы, что у пса побуждения могут быть такие же, как у скворцов, ибо не исключено, что именно здесь он переходил границу, когда шел с севера на юг, и, вероятно, не захотел вновь пережить те неприятные моменты, когда его, разгуливавшего без ошейника и намордника, приняли за бешеного и встретили ружейным огнем.

Стражи границы рассеянно проглядывают документы, разрешают следовать, и видно, что они не слишком перегружены работой: люди, как мы имели возможность убедиться, ездят много, но все же по мере сил стараются страну не покидать, словно боятся потерять большой дом, то есть отчизну, даже если по доброй воле покинули малый — свое убогое обиталище. На другом берегу реки Миньо царит такая же скука, и слабую искорку любопытства высекает лишь присутствие среди трех португальцев испанского гражданина преклонного возраста, а случись такое в обычное время, в беспрестанной череде въездов-выездов, и на это никто не обра-

тил бы внимания. Жоакин Сасса отъехал с километр, прижался к обочине и затормозил: Подождем, может, Педро прав и пес знает, что делает, нагонит нас. Ждать пришлось очень недолго — десяти минут не прошло, как еще не успевший обсохнуть пес появился перед автомобилем. Прав, прав оказался Педро Орсе, и нам бы не сомневаться в его правоте, да задержаться бы на берегу, поглядеть на отважную переправу, да потом бы с удовольствием и пользой описать ее, а не границы и пограничников, которые ничем, кроме цвета и кроя мундиров, друг от друга не отличаются и говорят одно и то же, хоть и на разных языках: Проходите, Можете следовать, тем все дело и кончилось, и даже искорка любопытства — не более чем убогий плод нашей фантазии, призванный хоть немного расцветить унылый эпизод.

Буйство фантазии, игра воображения весьма пригодились бы нам сейчас для рассказа о том, как свершали наши герои путешествие, длившееся два дня и две ночи, как ночевали в деревенских гостиницах, как по древним-древним дорогам неуклонно двигались на север, пересекая галисийские земли, как мочили их дожди, возвещая пришествие осени, но вот и все, что можно сказать об этом странствии, и выдумывать тут нечего. Что еще? — ночные объятия Жоаны Карды и Жозе Анайсо, постоянная бессонница Жоакина Сассы, рука Педро Орсе, свесившаяся с кровати на спину псу, — в здешних краях его впускали под крышу. И опять дорога прямо к горизонту, который близко к себе не подпускает. Жоакин Сасса снова заговорил о том, что чистейшее безумие — покорно следовать за дурацким псом неведомо куда, неизвестно зачем, на край света, на что Педро Орсе возразил ему не без обиды, а потому сухо: Перед тем как добраться до края света, мы упремся в море. Следует отметить еще, что пес устал, бежит, понуро опустив голову, и хвост уже не полощется победным стягом, и подушечки лап, хоть и подбила их природа жесткой кожей, не выдерживают постоянного трения о каменистую почву, растрескались в кровь, что как-то вечером обнаружил Педро Орсе, отчего так неприязненно и ответил он Жоакину Сассе, который, наблюдая за этим со стороны, примирительно говорит: Перекисью бы надо промыть. Ага, поучи падре «Отче наш» читать, без тебя знаю, я, слава богу, фармацевт по профессии. Впрочем, если не считать этого малозначительного инцидента, путешественники ладили между собой.

Когда добрались до Сантьяго-де-Компостела, пес взял северо-восточней. Должно быть, мы у цели — гляди, как он взбодрился, вскинул голову, отставил хвост, вновь пошел размашистой ровной рысью, Жоакину Сассе пришлось даже чуть пришпорить Парагнедых, чтобы не отстать, и, поскольку они оказались вплотную к своему проводнику, вскричала Жоана Карда: Глядите, глядите, нитка! Все взоры обратились к голубой шерстяной нитке, изменившейся разительно: она, побуревшая от грязи настолько, что и не разберешь даже, каков ее природный цвет, а теперь вновь блещет первозданной синевой, не похожей ни на небесную лазурь, ни на океанский ультрамарин, будто кто-то взял да выстирал ее или заново спрял и выкрасил, если это она же, а не другая, и снова сунул собаке в зубы, сказав: Пошел! Дорога сузилась и вилась теперь вдоль холмов. Солнце спускалось к морю, которого отсюда не видно, природа — большая мастерица устраивать зрелища, удивительно подходящие к тем ли, иным ли нашим обстоятельствам: ведь еще утром и потом целый день с печального и хмурого неба сеялся галисийский мелкий дождичек, а вот теперь окрестные поля озаряет золотистый свет, и шкура пса сверкает и блещет, как драгоценность, будто он не из мяса и костей, а из червонного золота. Даже Парагнедых преобразился и больше не похож на древний драндулет, а уж седоки в нем похорошели необыкновенно и едут в сияющем солнечном нимбе, как осененные небесной благодатью. Жозе Анайсо пробрал озноб при виде того, как красива Жоана Карда, Жоакин Сасса повернул и опустил зеркало, чтобы полюбоваться блеском своих глаз, а Педро Орсе рассматривает свои старческие руки — они вдруг помолодели, словно поколдовавший над ними алхимик дал им бессмер-

тие, хотя прочим частям тела, оставшимся бренными, придется в свой срок помереть.

Внезапно пес останавливается. Солнце присело на зубчатый гребень гор, за которым угадывается море. Дорога, петляя и кружа, идет вниз, туда, где с двух сторон поджидают, готовые стиснуть ей горло, отроги гор, да нет, это оптический обман — это издали так выглядит. Впереди, на склоне, большой, просто и без затей выстроенный старый дом, вроде бы заброшенный, хотя поля вокруг него возделаны. Часть его уже погружена в тень, дневной свет тускнеет и меркнет, и весь мир, кажется, в обморочном одиночестве. Жоакин Сасса затормозил. Все вышли. Безмолвие полнится каким-то подрагивающим, словно замирающее эхо, гулом, конечно, может быть, это всего лишь далекое море бьет о скалы, отличное объяснение, ведь даже в поднесенной к уху раковине звучит память о рокоте валов, но, похоже, здесь другой случай — здесь звучит именно тишина, и нельзя умирать, пока не узнаешь, что это такое: Ну что, слышал, как звучит тишина, понял, каково это, можешь отправляться, свободен. Эта минута, впрочем, ни для кого из четверых пока не наступила. Они знают, что целью их странствий был этот дом, к нему привел их чудесный пес, неподвижно, как статуя, и настороженно усевшийся в стороне. Жозе Анайсо стоит рядом с Жоаной Кардой, но не прикасается к ней, понимает, что не должен дотрагиваться до нее, и она это понимает, ибо бывают такие моменты, когда и любовь должна знать свое место, смириться со своей малостью, уж простите, что таким вот манером верховное человеческое чувство, в иных обстоятельствах становящееся чуть ли не всем, низводится почти до полного ничтожества. Педро Орсе вышел из машины последним и, едва ступив на землю, тотчас ощутил, что ее подрагивание усилилось до степени пугающей. Здесь уж точно зашкалили бы стрелки всех сейсмографов, а вершины холмов приходят в движение, подобное тому, в каком за горной грядой пребывают мельтешащие, налезающие друг на друга волны морские, плывущий каменный плот отталкивает их от себя, а они, гонимые могучими подводными течениями, все бьются о него.

Солнце скрылось. Почти невидимая голубая нить затрепетала в воздухе, словно ища поддержки, коснулась рук и щек. Жоакин Сасса ухватил ее — случайно или так суждено ему было, выяснять сейчас не станем, хотя имеется у нас множество весьма основательных резонов подвергнуть сомнению и одну гипотезу, и другую, — и что теперь ему делать с нею: в машину не сесть, рука сжимает и вытягивает к себе нить, не давая ветру пронести ее по всем изгибам дороги. Что мне с нею делать? — спрашивает он, но спутники не знают, что ему ответить, а пес уверенно сходит с дороги и начинает подъем по пологому откосу, за ним идет Жоакин Сасса, перебирая пальцами вдоль голубой шерстинки, словно он прикасается к птице, раскинувшей крылья у него над головой. Прочие сели в машину, и Жозе Анайсо, не сводя глаз с Жоакина Сассы, тронул ее с места, двинулся вверх по шоссе — медленно, чтобы не обогнать товарища, но и не отстать от него, и то, насколько плотно и прочно приладится одно к другому, зависит сейчас от его чувства времени, от умения сохранять равновесие тех минут, в которые все и должно произойти, и попасть нужно не загодя, но и без опоздания, теперь вы понимаете, почему нам так трудно достичь совершенства.

Когда остановились на площадке перед домом, Жоакин Сасса находился в десяти шагах от него — дверь была открыта. Пес вздохнул совсем как человек и лег, уткнув морду в передние вытянутые лапы, когтями вытащил из пасти обрывок голубой нити, стряхнул его на землю. В темном проеме двери появилась женщина. В руке она держала нить — ту самую, другой конец которой по-прежнему был зажат в пальцах Жоакина Сассы. Она шагнула с единственной ступеньки и сказала: Войдите, вы, наверно, устали с дороги. Жоакин Сасса шел первым, вокруг запястья у него была обмотана голубая нитка.

Однажды, рассказала Мария Гуавайра, вот в это же примерно время, и свет был такой же, появился перед домом пес, изможденный, словно проделал долгий-долгий путь, со свалявшейся от грязи шерстью, со сбитыми в кровь лапами, появился и толкнулся в дверь лбом, а я подумала, что это один из тех нищих попрошаек, что бродят с места на место, стучат в дверь своим страннического посохом, а как откроешь им, говорят «Подайте, милая сеньора, Христа ради», отворила, но увидела перед собой собаку, до того измученную, будто целый свет прошла, и земля была окроплена кровью из-под ее растрескавшихся лап, но вот что странно — я нисколько не испугалась, хотя, если не знать ее кроткий нрав, такое страшилище любого вгонит в столбняк, а она, бедняга, чуть только увидела меня, сразу повалилась наземь, будто только и ждала, когда я выйду, и вроде бы даже заплакала, знаете — как тот, кто хочет да не может сказать, и все то время, что она провела тут, ни разу не залаяла. С нами она шесть дней, и мы тоже не слышали ее голоса, говорит Жоана Карда. Ну, я взяла ее в дом, вымыла, расчесала, накормила, смазала ее раны, она ведь не бродячая, по шерсти видно, что были у нее хозяева, кормили и обихаживали ее как полагается, заботились о ней, никакого сравнения с нашими галисийскими псами, они голодными рождаются, впроголодь живут, от голода и подыхают, их приласкают, так дубьем, а приветят — камнем засветят. Потому они сроду хвост не поднимают, поджимают между ног, хотят проскользнуть понезаметней, а чуть зазеваешься — цапнут в отместку за все хорошее. Этот не кусается, заметил Педро Орсе. А откуда он взялся, мы, должно быть, никогда не узнаем, сказал Жозе Анайсо, да это и не важно, интересно другое: он разыскал нас, чтобы привести сюда, и как тут не спросить — зачем? Не знаю, однажды он взял в зубы обрывок нитки и ушел, но перед тем поглядел на меня так, словно хотел сказать: Оставайся тут, пока не вернусь, и пошел в горы: спустился тогда в том самом месте, где сейчас поднялся. А что же это за нитка такая? — осведомился Жоакин Сасса, крутя на запястье моток, который связывает его с Марией Гуавайрой. Сама бы хотела знать, отвечает та, со своей стороны сматывая нить в клубок и пощипывая ее кончиками пальцев, точно басовую гитарную струну, и любопытно, что при этом оба вроде бы не замечают, что она их связует. Зато от внимания остальных это не укрылось, и хотя мысли свои присутствующие вслух не высказали, угадать их нетрудно: Я всего лишь решила распустить старый чулок, в каком деньги хранят, а вышло из него столько шерсти, сколько и сто овец не дадут — где сто, там и сто тысяч, — и как, по-вашему, можно это объяснить? А за мной следом летели несколько дней подряд тыщи две скворцов. А я бросил в море камень весом с меня самого, и далеко бросил, сказал, слегка прилгнув, Жоакин Сасса, Педро Орсе же ограничился тем, что заметил: Земля дрожала и сейчас дрожит.

Мария Гуавайра поднялась, открыла дверь, сказав: Смотрите, и они увидели голубое облако — голубое по краям, а чем ближе к середине, тем плотнее, и гуще, и темнее оно становилось, центр же был совсем почти черный. Видите? Если оставлю дверь открытой, из него непременно высунется наружу кончик, вроде того, что поднялся по шоссе и привел вас сюда, — говорила Мария Гуавайра Жоакину Сассе, и кухня, где стояли они все, вдруг словно опустела, и все исчезли, оставив их наедине, соединенных голубой нитью, а голубое облако у ног, казалось, дышало, и потрескивал огонь в очаге, на котором кипела и булькала похлебка из капусты с волоконцами говядины.

Мужчина и женщина, соединенные таким образом, не могут оставаться в этом виде дольше того времени, которое необходимо, чтобы со всей непреложностью прочувствовать эту связь, и потому Мария Гуавайра, перебирая пальцами нить и сматывая ее, добралась до запястья Жоакина Сассы, обхватила его, а потом положила образовавшийся клубочек себе на грудь — только дурак не поймет значения этого жеста, и только очень большой дурак усомнится в том, правильно ли он по-

нял его значение. Жозе Анайсо, отодвинувшись от жаркого пламени очага, сказал: Все это кажется вздором, но мы в конце концов убедились, что существует связь между тем, что случилось с каждым из нас, и — вы слышали, наверно? — тем, что Испания с Португалией отделились от прочей Европы. Слышала, но в здешних краях это незаметно: перевалишь через горы, выйдешь на берег, увидишь, что море все то же и такое же. Но по телевизору же показывали. У меня нет телевизора. По радио сообщали, в новостях. Новости — это слова, и никогда толком не узнаешь, что в этих словах нового.

На этом скептическом замечании беседа пресеклась, Мария Гуавайра достала из буфета посуду, разлила суп, предпоследняя миска досталась Жоакину Сассе, последнюю взяла себе, и всем вдруг показалось, что ей ложки не хватит, но нет, всем хватило, и хозяйке не пришлось дожидаться, покуда Жоакин Сасса доест. Тут он и осведомился, одна ли она живет здесь, поскольку до сих пор никого более не видел в доме, и женщина ответила, что вдовеет третий год: Вот так и живу меж горами и морем, детей нет, и прочей родни тоже нет, братья подались в Аргентину, лучшей доли искать, отец умер, мать рассудка лишилась, в больнице лежит, в Корунье, и навряд ли сыщешь на свете одиночество похлеще моего. Можно снова замуж выйти, осенило Жоану Карду, которая тотчас раскаялась в сказанном: какое право есть у нее давать такие советы — сама-то несколько дней назад брак расторгла и вот уж с новым мужчиной крутит. Устала я, да и потом если кто и польстится, так не на меня, в мои-то годы, а на мою землю. Но вы же еще молоды. Была когда-то, уж и не помню когда, и с этими словами склонилась над очагом, чтобы свет пламени получше осветил ее лицо, и поверх огня посмотрела на Жоакина Сассу, словно говорила: Вот она я, погляди хорошенько, тебя привела ко мне голубая шерстяная нить, которую я держала в руке, я тебя подтащила к своей двери, а могу и в кровать затащить, и, уверена, ты упираться не будешь, но красавицей мне не бывать, разве если ты превратишь меня в самую прекрасную женщину из всех, что были или есть на свете, это могут сделать и делают лишь мужчины, жаль только, что дело это не может продолжаться вечно.

А Жоакин Сасса смотрел на нее и видел, как пляшущее пламя постепенно преображало ее лицо, углубляя все его впадины, подчеркивая тени, и только блеск темных глаз оставался прежним — быть может, это непролитые слезы заволокли их пленочкой такого сияния. Да, не красавица, подумал он, но и не уродина, и руки такие усталые, рабочие, натруженные, не то что у меня, конторской крысы, пребывающей в законном и оплаченном отпуску, и, кстати, если я не ошибаюсь, завтра истекает его срок, и послезавтра мне надо вернуться на службу, да не может этого быть, как же я оставлю здесь Жоану и Жозе, Педро и пса, им-то зачем со мной ехать, а без Парагнедых им не добраться до дому, да они и не хотят домой, и единственное, что в эту минуту взаправду существует на земле, — это то, что мы все вместе, здесь и сейчас: Жоана Карда и Жозе Анайсо тихо разговаривают о чем-то своем или о чужом, ставшем роднее своего, Педро Орсе положил руку на загривок псу, должно быть, измеряют силу подземных толчков и колебаний почвы, которых никто, кроме них, не ощущает, а я вот сижу-гляжу на Марию Гуавайру, а у нее такая забавная манера смотреть, будто она не смотрит, а дает на себя смотреть, и одета она по-вдовьи, хотя срок траура давно прошел, время должно было уж смягчить боль утраты, черные дни, как в песне поется, миновали, но обычай требует черноты хоть в одежде, хорошо, глаза блестящие, и тут еще это голубое облако, а волосы у нее каштановые, подбородок круглый, губы пухлые, зубы, хоть она их и не скалит, — белые, слава богу, да она просто красива, как же я сразу не заметил, я ведь был связан с нею этой нитью, пусть и не знал, к кому она меня приведет, ну ладно, надо решать, остаюсь я или возвращаюсь, ничего страшного, если опоздаю на несколько дней, на нашем полуострове такое творится, что, пожалуй, и во-

обще не заметят, а заметят — сошлюсь на то, что никак было не проехать, а вот теперь лицо у нее вульгарное, а вот теперь похорошело, а вот теперь, теперь ей сама Жоана Карда в подметки не годится, моя женщина, дражайший Жозе Анайсо, лучше твоей, да и как вообще можно сравнивать эту модную городскую штучку с моей дикой лесной красавицей, от нее наверняка веет солоноватой морской свежестью, которую ветер перенес через горы, и под вдовьим нарядом у нее белое тело, и вот теперь, Педро Орсе, друг мой, я бы сказал тебе, если бы мог. Что бы ты мне сказал? Сказал бы, что теперь знаю, кто мне нравится. Поздравляю, лучше поздно, чем никогда, бывает, что и жизни на это не хватает. Ты знаешь таких? Да возьми, к примеру, хоть меня, и, мысленно ответив таким образом, произносит Педро Орсе вслух: Пойду прогуляюсь с собакой.

Еще не слишком поздно, но холодно. По направлению к горе, заслоняющей собой море, тропинка вьется, потом лезет вверх по склону, петляя, как мотовило, влево-вправо, а потом становится неразличима. Еще немного — и долина эта погрузится в полную тьму, вроде той, что случилась в приснопамятную ночь короткого замыкания, хотя точнее было бы сказать, что здесь каждую ночь воцаряется такая тьма, и для этого не надо рвать линии электропередач, присущие Европе цивилизованной и культурной. Педро Орсе вышел из дома, потому что он там лишний. Не оборачиваясь, пошел вперед, сначала быстро — можно сказать, побежал со всех ног, потом, когда ноги стали подкашиваться, — помедленней. Он не чувствует ничего похожего на страх, оказавшись в немом окружении этих каменных стен, ибо родился и жизнь прожил в пустыне, шагая по пыли, по камням, где не удивишься, наткнувшись на конский череп или подкованное копыто: кое-кто утверждает, что спешились здесь и всадники Апокалипсиса: на войне пал конь войны, от чумы издох конь чумы, голод сглодал коня голода, смерть — последний, высший резон всему на свете и неизбежная концовка этого всего: просто нас сбивает с толку цепочка живых, в которой и мы бредем в то место, которому по необходимости всему давать имя называем «будущее», бредем, беспрерывно обретая там новые и новые человеческие существа, беспрестанно оставляя за собой существа старые, которых, чтобы они не выходили из прошлого, мы должны были назвать мертвыми.

Состарилось или устало сердце Педро Орсе. Ему теперь приходится останавливаться все чаще, отдыхать все дольше, но всякий раз он продолжает путь — идущий рядом пес придает ему сил. Они обмениваются друг с другом некими посланиями, и пусть код их не расшифровывается, достаточно того, что они просто существуют, что боком животное касается бедра человека, чьи пальцы ласково теребят такое нежное внутри собачье ухо, и мир полнится звуком шагов, шумом дыхания, потрескиванием трения, и вот теперь уже донесся из-за хребта глухой рокот моря, делающийся все отчетливей, все громче, пока наконец не возникает перед глазами безмерное пространство, слабо посверкивающее под редкими звездами безлунного неба, а внизу живой гранью между ночью и смертью вспененная спесь прибоя мерно накатывает на берег, чтобы тотчас исчезнуть и тотчас накатить вновь. А скалы в тех местах, где бьются о них волны, чернее, словно там камень плотнее и крепче или потемнел оттого, что с начала времен мокнет в воде. И дует ветер с моря: одна его часть — это самый обычный, натуральный бриз, а другая, много меньшая, возникает оттого, что полуостров плавно плывет по водам, это легчайшее дуновение, но с тех пор, как мир стал миром, никакой ураган не сравнится с ним.

Педро Орсе, смерившему взглядом океан, показался он маленьким — это оттого, что при глубоком вздохе так раздуваются легкие, что легко примут в себя все эти пучины и бездны, да еще хватит места для режущего волны плота с каменной его рострой. Педро Орсе сам теперь не знает, человек ли он или рыба. Он спускается к морю следом за псом, который узнает и выбирает правый путь, и плохо бы ему пришлось во тьме без этого осторожного и чуткого вожатого, и никогда бы не

нашел он ни вход в каменный лабиринт, ни выход из него. И вот наконец они достигли исполинских каменных плит, уступами спускающихся к самому морю, и грохот его ударов о скалы делается оглушительным. Под этим черным небом, под рев моря человек, если вдруг выплывет над головой луна, умрет от счастья, думая, что умирает от тоски, от страха, от одиночества. Педро Орсе больше не знобит. Ночь светлеет, на небе зажигается еще сколько-то звезд, и пес, на минутку отлучившись, прибежал обратно: шлепанцы он подавать не обучен, но мы ведь знаем его достаточно давно и хорошо, чтобы не сомневаться — он способен сообщить все, что захочет, и Педро Орсе должен будет сопровождать его туда, где ждет нежданное — выброшенный ли на берег утопленник, сундук ли с сокровищами, кусок Атлантиды или обломок Летучего голландца, — но, оказавшись на месте, он не увидел ничего, кроме камней на камнях и среди камней, однако пес врать не будет, если привел сюда, значит, есть тут что-то особенное, и Педро Орсе заметил, что сам стоит на огромном камне, формой отдаленно напоминающем корабль, а на нем торчит другой камень, длинный и узкий, как мачта, и вот еще один — совсем как руль, и румпель есть, хоть и сломанный. Греша на темноту, Педро Орсе обошел камни кругом, потрогал их и ощупал и убедился, что глаза его не обманывают, перед ним и вправду — вот приподнятый и заостренный нос, вот тупая корма, вот несомненная мачта и очевиднейший руль — самый настоящий корабль, только из камня. Геологический феномен. Педро Орсе более чем сведущ в химических процессах, чтобы объяснить происхождение находки: древний корабль, построенный, разумеется, из дерева, в незапамятные времена выброшен на берег волнами или брошен командой, стоит здесь на камнях, земля и песок заносили его, а потом органическое вещество минерализовалось, а корабль очистился от земли, и сколько же еще тысячелетий, дождей, ветров, смены холода и жары потребуется, чтобы размыть его очертания и сточить его обводы, сделать неотличимым от камней? Педро Орсе уселся на палубе — в таком положении ему не видно ничего, кроме неба да моря вдалеке, если бы корабль чуть покачивало, показалось бы, что он плывет, и тут — вот она, сила воображения! — старику пришла в голову нелепая мысль: этот окаменелый корабль на самом деле плывет, да не просто плывет, а еще и тащит за собой, как на буксире, весь наш Пиренейский полуостров, ох, не надо доверять бешеному бреду фантазии, а впрочем, ничего невозможного бы не было в привидевшемся Педро Орсе плавании, мы и не такие чудеса видали, да вот беда — корабль-то стоит кормой вперед, и ни одна уважающая себя лоханка так плавать не будет. Озябший Педро Орсе поднимается на ноги, и пес спрыгивает с борта — пора домой, хозяин, года ваши не те, чтобы ночи напролет разгуливать, если в юности недобрали, теперь уж поздно упущенное наверстывать.

Когда добрались до перевала, Педро Орсе ноги не держали, а его бедные легкие, совсем недавно еще способные, казалось, втянуть в себя целый океан, сейчас раздуваются, точно дырявые кузнечные мехи, воздух жестко царапает ноздри, сушит глотку, и в самом деле — такие альпинистские авантюры не по возрасту пожилому аптекарю. Он мешком опустился на камень, упер локти в колени, а щеки подпер ладонями, лоб блестит от испарины, ветер раздувает седые редкие пряди: печальное зрелище — настоящая развалина, жалкие остатки человека, к несчастью, еще не научились минерализировать людей во цвете лет, в расцвете сил, чтобы превращать их в не подверженные порче и тлену статуи. Но дыхание выровнялось, воздух смягчился, входит и выходит без этого жестяного скрежета. Заметив все эти благотворные перемены, пес, прилегший рядом в ожидании, подобрался, готовясь вскочить. Педро Орсе поднял голову, посмотрел вниз, в предгорье, где стоял дом, окруженный, как ему показалось, аурой какого-то матового сияния, озаренный каким-то несветящимся светом, если эта фраза, состоящая, как и всякая другая, лишь из слов, может быть доступна правильному пониманию. На память Педро

Орсе пришел эпилептик из Орсе, который после припадков, пытаясь путано объяснить, какие ощущения им предшествуют, описывал подрагивающий в воздухе поток невидимых частиц, некое излучение, подобное исходящему откуда-то издали жару, или искривление световых лучей на самом пределе их досягаемости: сегодняшняя ночь и впрямь богата чудесами — нить и облако голубой шерсти, каменный корабль на берегу, а теперь еще этот дом, таинственным образом трепещущий и подрагивающий — или это только так кажется издали? Очертания его размываются и двоятся, колеблются в воздухе, и сам он то удаляется, становясь почти неразличимой точкой, то, медленно пульсируя, возвращается. На мгновение Педро Орсе испугался, что его бросили одного в этой пустыне — еще одной, — но страх тотчас прошел, зато пришло время постичь, что там внизу соединились Мария Гуавайра и Жоакин Сасса и времена изменились, теперь пора приладить пестик к ступке, да простится мне столь грубое, простонародное и старомодное сравнение. Педро Орсе уже поднялся было, чтобы начать спуск по склону, но опять присел, продрогнув до костей, на камень, терпеливо дожидаясь, когда дом обретет свое прежнее и привычное домовое обличье, когда — разнообразим наши скабрезные иносказания — опадет, взметнувшись напоследок, тот последний язык пламени, который так жарко полыхает сейчас в очаге, а старик все сидел да сидел, не трогаясь с места, чтобы уж наверное найти на месте огня лишь пепел.

Мария Гуавайра проснулась с первым светом зари у себя в комнате, в своей кровати, и рядом с ней спал мужчина. Она слышала его дыхание, такое глубокое, будто из самого мозга костей добывает он себе новые силы, и невольно старалась дышать ему в такт. Колыхнувшаяся грудь заставила ее ощутить свою наготу. Обеими руками она провела по своему телу от середины бедер — и вверх, обогнула лобок, проскользила ладонями от живота к грудям и внезапно вспомнила свой изумленный крик, когда вчера ночью где-то внутри ее существа взорвалось, вспыхнуло солнечными протуберанцами наслаждение. Уже окончательно проснувшись, женщина прикусила кончики пальцев, чтобы не вскрикнуть снова, но в этом задавленном крике ей хотелось узнать прежние ощущения, сделать так, чтобы они стали навсегда неразлучными с нею, а может быть, это рвалось из груди вновь пробудившееся желание или отчаяние, угрызения совести или тоскливая тревога, находящая себе обычно выход в словах: Что теперь со мной будет? — одни мысли неотделимы от других, и не бывает химически чистых ощущений, они всегда смешиваются и переплетаются, а Мария Гуавайра живет в сельской глуши, вдали от центров цивилизации, преподающих науку любви и правила любовного поведения, и скоро ведь уже явятся те двое крестьян, которые обрабатывают ее земли, и что она им скажет, как объяснит, что дом полон незнакомцев, — в свете дня все на свете предстает преображенным. Спящий рядом мужчина швырнул в море обломок скалы, а Жоана Карда надвое рассекла землю, а Жозе Анайсо был царем скворцов, а Педро Орсе ощущал под ногами колебания почвы, и пес появился невесть откуда, чтобы соединить этих людей. Но прочнее всего он соединил меня с этим человеком, я потянула за нить, и ты по ней дошел до моего порога, до моей кровати, проник внутрь моего тела и в самую душу, потому что только душа могла исторгнуть из себя тот крик. Через несколько мгновений глаза ее закрылись, а когда она вновь открыла их, увидела, что Жоакин Сасса проснулся, ощутила крепость его плоти и с жаждущим всхлипом раскинулась, принимая его, и на этот раз не закричала, а заплакала, засмеявшись, за окном же был белый день. О чем говорили они, мы из приличествующей случаю скромности умолчим, пусть каждый сам представит себе их беседу, пороется в своем воображении, но, скорей всего, все равно не угадает — это трудно, хотя словарь любви весьма небогат.

Светясь белизной — правильно предполагал вчера за ужином Жоакин Сасса,

— поднялась с постели Мария Гуавайра и сказала так: Не хотела я вновь надевать свой темный вдовий наряд, но не успею найти ничего другого, работники мои скоро уж будут здесь. Она оделась, вернулась к кровати, склонилась над Жоакином, закрыла его лицо своими волосами, поцеловала, а потом бегом выбежала из спальни. Жоакин Сасса свернулся клубочком, смежил вежды, он заснет сейчас, а та слеза, что блестит у него на щеке, может быть, оставлена Марией Гуавайрой, но не исключено, что она его собственная, ибо мужчинам тоже случается плакать, и это вовсе не стыдно, только на пользу им идет.

А в этой комнате ночуют Жозе Анайсо и Жоана Карда, дверь туда закрыта, они еще спят. А из другой комнаты появился пес, взглянул на Марию Гуавайру и вернулся на место, снова улегся, оберегая покой своего хозяина Педро Орсе, отдыхающего после всех своих ночных походов и открытий. Уже в воздухе чувствуется — день сегодня будет жарким. Со стороны моря движутся облака и кажется, что обгоняют ветер. Рядом с Парагнедых стоят двое — это поденщики, пришедшие на работу, и один говорит другому, что как ни плакалась вдова на неурожай, а машину-то все же купила. Мужа нет, вот и дурит — это саркастическое замечание принадлежит тому, что постарше. Мария Гуавайра окликнула их и, пока разводила огонь, кипятила кофе, объяснила — дала, мол, приют заблудившимся путешественникам, трое — португальцы, а один — из Испании, они еще спят, намаялись, бедные. И не страшно вам, сеньора, одной в пустом доме, молвил тот, что помоложе, и фраза эта, исполненная человеческого сочувствия, является лишь вариантом других, многократно уже звучавших здесь и исполненных совершенно иного значения: Вам бы, сеньора, замуж, как же без опоры — или: Не хвалясь скажу, никого, сеньора, не сыщете лучше меня и по хозяйству помочь, и для иного-прочего, Поверьте, сеньора, вы мне по сердцу пришлись, Верю, сеньора, что когда-нибудь останусь тут навсегда, Вы, сеньора, верно, думаете, я деревянный, а я голову из-за вас потерял. Насчет головы не знаю, но будешь руки распускать — зуба точно лишишься, так сказала однажды Мария Гуавайра, и потому работяге помоложе ничего не оставалось как вернуться к первой фразе, слегка видоизменив ее: Кто же, вас, сеньора, защитит, если что — но и в таком прочтении речи его не возымели желанного действия.

Работники отправились в поле, Мария Гуавайра вернулась к себе. Жоакин Сасса спал. Осторожно и медленно, чтобы не разбудить его, она открыла ларь, стала перебирать свои наряды золотой поры — розовые, зеленые, голубые, белые, красные, оранжевые и сиреневые, а равно и прочие, разноцветные, и не то чтобы тут была целая театральная костюмерная или очень уж большой доход получала она со своей земли, но ведь всем известно: двух платьев довольно, чтобы устроить праздник, а с двумя юбками и двумя блузками можно зажечь на небе радугу. Одежда пахнет нафталином и затхолью, Мария Гуавайра решает вывесить ее на дворе да проветрить, чтобы отбить едкий дух химии и омертвелого времени, и, когда спускается, держа в охапке эту пеструю груду, встречает Жоану Карду — она тоже оставила любовника в тепле простынь и, моментально сообразив, что происходит, решает помочь. И вот уж обе они хохочут, развешивая на веревках юбки и платья, хлопающие и вьющиеся под ветром наподобие флагов, так что невольно хочется вскричать: «Да здравствует свобода!»

Потом возвращаются в дом, на кухню, готовят завтрак, и от смешанного аромата свежесмолотого кофе, молока, хлеба, хоть черствого, да вкусного, домашнего мармелада мужчины просыпаются — первым появляется Жозе Анайсо, за ним Жоакин Сасса, а третьим вышло существо хоть и мужского пола, но не мужчина — короче говоря, вышел пес наш, показался на пороге, оглядел собравшихся и скрылся. За хозяином пошел, сказала Мария Гуавайра, у которой, в сущности, все права считаться хозяйкой, но она, как видим, добровольно от них отказалась. И вот

показался наконец Педро Орсе, поздоровался, сел к столу и замолчал надолго, не без раздражения взирая на затаенную, но все равно неуместную нежность, по-прежнему сквозящую в каждом движении, слове и взгляде двух парочек, четверых его сотрапезников, да что поделаешь: тем, кто счастлив, другое солнце светит.

Не идет ему эта неприязненная мина, и наш долг — понять старика, ибо он, хоть таковым себя и считает, вслух об этом еще не говорил, а потому Жозе Анайсо пытается вовлечь его в разговор, осведомляясь, хороша ли была его ночная прогулка, приятным ли спутником оказался пес, и несколько умиротворенный Педро Орсе не отталкивает, фигурально выражаясь, руку дружбы, протянутую ему так вовремя, пока томящее его чувство своей ненужности и чужеродности не стало еще горше. Я дошел до самого берега, говорит он, и сильно удивился — еще сильней, чем удивилась при этих словах Мария Гуавайра, отлично знающая, как далек и труден путь к морю. Конечно, без собаки бы не добрался, объяснил он, и в этот миг возникает перед его мысленным взором каменный корабль, и он на несколько мгновений впадает в растерянность, не зная, приснилось ли ему все это или существовало в действительности. Если не приснилось и не привиделось, стало быть, он есть, он существует, он стоит на берегу, пока я сижу тут за столом с кружкой кофе, и столь могущественна сила воображения, что окаменевший корабль на черной скале, который он вчера еле-еле мог различить при свете редких звезд, ныне, в сиянии дня, под лазурью небес, в ярком блеске солнца, предстает во всей красе. Я видел там корабль, сказал Педро Орсе и, не опасаясь, что его истолкуют превратно, пустился объяснять в подробностях, хоть, быть может, и не соблюдая нужную терминологическую точность, химический процесс, однако довольно скоро запнулся, замялся, стал подыскивать слова, ибо его смутило неодобрение, появившееся на лице Марии Гуавайры, и нашел прибежище в другой, спасительной гипотезе: Впрочем, не исключаю, что это всего лишь необыкновенный эффект эрозии.

Жоана Карда заявила, что должна увидеть все это своими глазами, Жозе Анайсо и Жоакин Сасса изъявили готовность сейчас же отправиться на берег, и только Мария Гуавайра молчала. Глядела на Педро Орсе, а он на нее. Тогда смолкли и другие, смекнув, что за ней последнее слово, если, конечно, вообще существует оно, последнее слово, и это сомнение вызывает к жизни тонкий и деликатный вопрос — а как живет-поживает все то, о чем сказано было последнее слово, после того, как было оно сказано? Сжав руку Жоакина Сасса, словно присягу принося, сказала Мария Гуавайра: Это каменный корабль. Вот и я говорю — окаменелость, произошел процесс минерализации, но нельзя исключать и возможность того, что это чисто случайное явление, возникшее под воздействием ветра и других атмосферных факторов, дождя, например, а равно и морской воды, вероятно, сколько-то столетий назад уровень моря был выше нынешнего. Это каменный корабль, он не окаменел, а всегда был каменным, он приплыл из дальней дали и остался на берегу, когда покинули его люди. Люди? — переспросил Жозе Анайсо. Может быть, и один человек, это я точно не знаю. А остальное, значит, известно вам точно, но какая же тут может быть точность, откуда ей взяться? — воскликнул Педро Орсе. Старики говорили, а им — другие старики, а тем — еще более древние, что когда-то приплыли из-за морей на каменных кораблях и высадились на наш берег святые, одни были живы, другие уже умерли, как Сантьяго, например, и корабли остались с тех пор на берегу, а вы видели только один из них. Вы сами-то верите в то, что говорите? — спросил Педро Орсе. Дело не в том, верю или нет, все, что мы говорим, прибавляется к тому, что есть, что уже существует, сначала сказала «гранит», теперь говорю «корабль», а когда договорю, хоть и не верю в то, что говорю, придется и самой поверить сказанному, были мука, вода и закваска, а вышел хлеб.

Вот какая попалась Жоакину Сассе высокоэрудированная поселянка, этакая Минерва с галисийских гор, да это и неудивительно — люди обычно знают больше,

чем нам кажется, большинство людей и не подозревают, какой мудростью обладают, плохо лишь, что им хочется стать тем, кем быть они не могут, брали бы пример с нашей Марии Гуавайры, которая скромно признается, что за всю жизнь прочла лишь несколько книг, да и то сомнительно, чтобы был от них хоть какой-нибудь прок, и, как вы сами понимаете, она не столь самонадеянна, чтобы сделать это заявление, — нет, это автор, известный любитель истины, в очередной раз не сумел удержаться от комментария. Только собралась Жоана Карда спросить, когда же они пойдут смотреть на каменный корабль, как Мария Гуавайра, для того, вероятно, чтобы прекратить спор о камнях и окаменелостях, включила радио послушать новости, которые исправно передавал ей мир каждое утро, и новости эти, хоть и прозвучали не с самого начала, без труда, впрочем, угадываемого, оказались самого пугающего свойства. Сообщили, что вчера ночью скорость, с которой перемещается полуостров в океане, возросла неизвестно почему без малого втрое по сравнению с началом дрейфа и составила по самым последним замерам две тысячи метров в час, то есть чуть не полсотни километров в сутки.

Надо полагать, на всем Пиренейском полуострове воцарилась в эту минуту мертвая тишина: люди слушали радио у себя на кухне и репродукторы на площадях, хотя иные узнали об этих сообщениях с опозданием — вот, к примеру, те двое, что работают на землях Марии Гуавайры, — и можно предположить, что младший выбросит из головы планы обольщения и покорения хозяйки и задумается лишь о собственной жизни и безопасности. Однако самое скверное еще впереди: диктор прочел сообщение из Лисабона, рано или поздно оно должно было стать достоянием гласности, и так уж сколько держали дело в секрете. В правительственных и научных кругах Португалии высказывается обеспокоенность по поводу вероятного столкновения с Азорским архипелагом, находящимся в точности в той точке, через которую должен будет пройти полуостров, и среди жителей прибрежной полосы наблюдается если не паника, то сильная тревога, для которой не должно быть оснований, поскольку в ближайшие часы будет осуществляться планомерная эвакуация городов и населенных пунктов, расположенных на побережье, а потому находящихся в непосредственной опасности, что же касается нас, испанцев, то мы можем пока считать себя в безопасности: Азоры расположены между тридцать седьмой и сороковой параллелями, а север нашей отчизны — Галисия — находится северней сорок второй параллели, из чего легко сделать вывод, что если полуостров не изменит траектории, то жертвой столкновения станут лишь наша злосчастная пиренейская сестра, и, разумеется, не менее злосчастные острова, которые в силу небольшой площади, занимаемой ими, могут быть просто раздавлены и потоплены массой камня, движущейся, как мы уже сказали, с впечатляющей скоростью пятьдесят километров в час, хотя не исключено развитие событий по иному, более благоприятному варианту, и Азорский архипелаг по воле провидения станет естественным препятствием на пути полуострова, до сих пор двигавшегося безостановочно, впрочем, все мы в руке Божьей, ибо превыше сил человеческих предотвратить грозящую нам катастрофу, но, повторяем, мы, испанцы, хоть и находимся в относительной безопасности, не вправе предаваться беспочвенному оптимизму, и поскольку весьма вероятны косвенные последствия столкновения, в прибрежной галисийской полосе должны оставаться лишь те, кто исполняет свои профессиональные обязанности, а всем прочим следует перебраться во внутренние районы страны. Тут диктор замолк, заиграла музыка, сочиненная явно совсем по другому случаю, а Жозе Анайсо, припомнив давний разговор, сказал Жоакину Сассе: Ты был прав тогда насчет Азоров, и, лишний раз доказуя, какой безмерной силой обладает тщеславие человеческое даже на грани жизни и смерти, обрадовался Жоакин Сасса, что в присутствии Марии Гуавайры во всеуслышание признали его правоту, в которой, впрочем, его заслуги не было, ибо он не сам додумался до этого

предположения, а подслушал его в лабораториях, куда попал вместе с Педро Орсе.

И вот, словно в повторяющемся кошмаре, просит Жозе Анайсо листок бумаги и карандаш, снова производит вычисления, только на этот раз подсчитывает не то, сколько дней осталось до встречи с Гибралтаром, который проплывет мимо Сьерра-Гадора — что вы! куда там! — а когда именно треснется мыс Рока об остров Терсейру — мороз по коже, волосы дыбом, чуть только представишь себе этот ужас, — а потом об остров Сан-Мигель, на который, словно на вертел, нанижется мякоть Алентежо, истинно, истинно вам говорю, вы такой беды еще не знавали. Мы проплыли уже километров триста, говорит Жозе Анайсо, а от Лисабона до Азорских островов примерно тысяча двести, стало быть, остается еще девятьсот, а в сутки проделываем полсотни, я округляю, и это значит, что через восемнадцать дней, то есть двадцатого сентября, а может быть, и пораньше, произойдет наша встреча с Азорами. В подоплеке бесстрастия, с которым сделан был этот вывод, лежала лишь вымученная и горькая ирония, а потому никто даже не улыбнулся. Но ведь мы находимся в Галисии, вспомнила Мария Гуавайра, нас не заденет. На это надежды мало, отвечал Педро Орсе, стоит полуострову чуть-чуть сменить курс, взять южнее — и нас со всей силы долбанет об Азоры, так что единственное спасение — бежать, бежать в глубь страны, по радио правильно сказали, но и это, пожалуй, не спасет. Бросить дом и землю? Если все пойдет так, как ожидается, не понадобится вам больше, милая сеньора, ни дом, ни земля. Все они сидят вокруг стола, пока еще можно, целых восемнадцать дней еще можно сидеть. Горит огонь в очаге, на столе хлеб и прочее — молоко там, сыр, кофе, — но все взгляды притягивает к себе именно хлеб, половина большой краюхи, с поджаристой корочкой и плотным, однородным мякишем, и все до сих пор ощущают во рту его вкус, язык и нёбо помнят шероховатые крошки, остававшиеся после жевания, а когда придет конец света, в этом же скорбном безмолвии будем мы взирать на последнего муравья, сознавая, что расстаемся с ним навсегда.

Сказал Жоакин Сасса: Сегодня кончается мой отпуск, по всем законам и правилам завтра мне надлежит быть в Порто, выйти на работу, но эти правильные слова были всего лишь преамбулой следующего заявления: Не знаю, останемся ли мы вместе, нам как раз это предстоит сейчас обсудить и решить, но я лично желаю быть там, где будет Мария, если, конечно, она согласна. Ну, поскольку свое время не только всякому овощу, но и всякому высказыванию и каждая часть конструкции прилаживается в должном порядке и последовательности, то все присутствующие дали возможность Марии Гуавайре ответить первой, что она и сделала без околичностей и разглагольствований: Согласна. Сказал Жозе Анайсо: Если столкнемся с Азорами, учебный год начнется позже или вообще никогда не начнется, а я останусь с Жоаной и с вами, если она решит остаться. Настал черед говорить Жоане Карде, и она, уподобившись Марии Гуавайре, ответила, проявив редкостный для женщин лаконизм: Решусь, и присутствующие поняли все, что под этим подразумевалось. И наконец последним, потому что надо кому-то и последним быть, сказал Педро Орсе: Где вы, туда и мне, и эту фразу, нарушающую законы логики в той же мере, что и правила грамматики, мы исправлять не собираемся в надежде, что отыщется в ней со временем некий особый смысл, который извинит ее погрешности, ибо всякий, кто имеет дело со словами, знает — от них можно ожидать всего чего угодно. Собаки, как известно, говорить не умеют, а потому и наш пес даже звонким лаем не высказал своего одобрения.

В тот же самый день они отправились на берег взглянуть на каменный корабль. Мария Гуавайра надела что-то такое яркое и разноцветное, не дав себе труда пройтись по нему утюгом — ветер и солнечный свет и так разгладили морщины и складки, образовавшиеся от долгого лежания в бездонном ларе. Вел их славный проводник Педро Орсе, впрочем, больше доверявший инстинкту и чутью пса, чем соб-

ственным глазам, которым при свете дня все предстает, по правде говоря, будто впервые. На Марию Гуавайру надежда плоха: она этой дорогой не ходит, да и нет ей дела до того, куда они идут, — ей бы лишь под любым предлогом взять за руку Жоакина Классу, прильнуть к нему всем телом и дать себя увлечь в сторонку, на минутку, длящуюся столько же, сколько поцелуй, а поскольку, как все мы знаем, это ненадежный способ измерения времени, то парочка постоянно отстает от главных сил экспедиции. Жозе Анайсо и Жоана Карда ведут себя не в пример скромнее — оно и понятно: они близки уже целую неделю, заморили, так сказать, червячка, утолили первоначальный пыл и теперь не ответствуют на зов плоти, а сами ее зовут, но аппетит, как известно, приходит во время еды, и исходящее от дома сияние, прошлой ночью издали наблюдаемое Педро Орсе, объяснялось не только любовными играми Марии Гуавайры и Жоакина Классы — по крайней мере, еще десять пар одновременно предавались там любви.

С моря идут облака — не идут, а летят, сбиваясь в плотные стаи и тотчас вновь рассеиваясь так стремительно, будто каждая минута длится лишь долю секунды; все движения — и быстрые, и медленные — этих мужчин и этих женщин укладываются — то ли и впрямь, то ли так кажется — в одно это мгновение, и можно было бы сказать: мир спятил, если бы в наших силах было постичь всю глубину этого незамысловатого выражения. Они стоят уже на вершине, откуда видно штормящее море. Педро Орсе не узнает местности — все эти гигантские нагромождения скал, валунов и утесов, еле заметную тропинку, спускающуюся подобием лестницы, боже, как прошел он тут вчера ночью, пусть даже и с помощью собаки, это истинное чудо, которое он объяснить не в силах даже себе самому. Он ищет глазами каменный корабль — и не находит его, но тут Мария Гуавайра выдвигается в авангард, давно пора, кому же, как не ей, знать здешние пути-дороги. И вот они на месте, и только Педро Орсе открыл рот, чтобы сказать: Это не здесь, как тотчас увидел перед собой каменный руль со сломанным румпелем и огромную мачту, при свете дня кажущуюся еще толще и выше, и весь корабль — но странные перемены произошли с ним, словно эрозия, о которой старик толковал сегодня за завтраком, в одну ночь выполнила работу тысячелетий, да где же он? не вижу — нет ни приподнятого заостренного носа, ни выпуклого днища, да, камень этот общим своим абрисом, очертаниями напоминает корабль, но и святейшему из святых не под силу сотворить такое чудо, чтобы эта громадина хотя бы держалась на воде, и не в том дело, что она из камня, а в том, что камень почти совсем уже не похож на корабль, ведь в конце-то концов птица летает лишь потому, что похожа на птицу, думает Педро Орсе, но тут слышен голос Марии Гуавайры: На этом корабле приплыл из восточных стран святой, и сейчас еще видны следы его ног, когда сошел он на берег и двинулся в глубь страны, следы эти — углубления в скалах, ставшие из-за беспрестанно накатывающего прибоя маленькими озерцами. Разумеется, всякое сомнение законно, но все же будем последовательны, или все примем, или все отвергнем, а если допустить, что святой приплыл из дальней дали на каменной плите, то отчего бы не признать возможным, что огненные его ступни прожгли скалы так, что следы остались по сию пору. И ничего другого не остается Педро Орсе, как принять и признать все это, но все же в памяти своей он хранит образ другого корабля, который видел он один прошлой ночью — почти беззвездной и оттого заполненной возвышенными видениями.

Море мечется по скалам так, словно пытается сопротивляться неостановимому приливу камня и земли. Люди смотрят теперь не на мифический корабль, а на разгул стихии. Ехать пора, говорит Жозе Анайсо. Куда? — говорит Жоана Карда, а Жоакин Сасса: Нас ведь пятеро да еще собака, мы не поместимся в Парагнедых, эту проблему надо как-то решить, вот, например, мы с Жозе вдвоем поедем поищем какую-нибудь машину побольше, их там по обочинам десятки стоят, трудно

только найти такую, чтобы была на ходу, те, мимо которых мы проезжали, все были раскурочены. Придем домой и сообразим, что делать, сказал Жозе Анайсо, время еще есть. А как же мой дом, земля? — пробормотала Мария Гуавайра. Выбора нет, или уберемся отсюда, или погибнем — эти слова, произнесенные Педро Орсе, решили исход дела.

И после обеда Жоакин Сасса и Жозе Анайсо пустились на поиски более вместительного автомобиля — хорошо бы найти армейский джип, а еще лучше — грузовичок с крытым кузовом, фургон, этакий дом на колесах — но, как и предвидел Жоакин, при чрезвычайном богатстве выбора ничего подходящего им не попадалось. К вечеру, когда они возвращались домой, встречное, с запада на восток, движение становилось все более интенсивным: с побережья начался исход жителей, ехавших на машинах, а иногда и на неизменных тяжко навьюченных ослах, на велосипедах — хотя по здешней крутизне особенно педали не покрутишь — и на огромных грузовиках, и в автобусах мест на полсотни, если не больше, куда садилась целая деревня, и не знавала доселе Галисия таких миграций. Кое-кто из встречных с удивлением смотрел на наших путешественников, плывших против течения, кое-кто махал им руками, пытался остановить: Куда вас черт несет, не знаете, что ли, что происходит? Спасибо, спасибо, не беспокойтесь, знаем, нам надо своих забрать, пока здесь еще безопасно, отвечали они, а потом Жозе Анайсо сказал спутнику: Если здесь такое, представляешь, что в Португалии творится, и тут их осенила спасительная мысль: Что ж мы за дурни-то такие, вот оно, решение-то, перебе-ремся в глубь страны, сделаем две ездки, или три, или сколько понадобится, все перевезем, пустующий дом найти легче легкого, люди все бросают. С этой новостью они и вернулись к остальным, обрадовавшимся ей, как она того заслуживала, с тем чтобы с утра начать сборы, отложить в сторонку самое необходимое и что надо доставить на новое место в первую очередь, а пока, после ужина, устроить пленарное заседание и составить списки, прикинем, что выкинуть, а что взять с собой, Парагнедых придется завтра попыхтеть.

Однако утро началось с того, что работники не пришли, а Парагнедых не завелся. Нам бы не хотелось, чтобы кто-нибудь усмотрел в этих событиях какую-то взаимосвязь и решил бы, например, что поденщики-аграрии, по насущной необходимости или поддавшись внезапному зловредному побуждению, похитили из автомобиля какую-нибудь важную часть его устройства. Это не так. И тот, что постарше, и молодой были вовлечены в стремительный исход жителей, опустошивший побережье на глубину пятидесяти километров, однако через три дня к брошенному дому Марии Гуавайры вернется один из работников — тот, разумеется, который помоложе, который ухаживал за хозяйкой и за землями ее, именно в таком или же в обратном порядке, но нам никогда не дано будет узнать, вернулся ли он для того, чтобы испо́лнить свою мечту — стать собственником всего этого богатства, так глубоко укорененного в почве, вступить в обладание им хоть на несколько дней, пока геологическая катастрофа не уничтожит и его самого, и землю, и мечту, — или же для того, чтобы охранять чужую собственность, борясь с одиночеством и страхом, рискнув всем в надежде выиграть все, то есть и руку Марии Гуавайры, и ее имущество, и уповая, что беда пройдет стороной. В тот день, когда Мария Гуавайра вернется сюда — если вернется, — она увидит, как этот человек ковыряется в земле или спит, утомясь от работы, на облаке голубой шерсти.

Целый божий день возился Жоакин Сасса с упрямым механизмом, а Жозе Анайсо помогал ему чем и как мог, однако знаний и дарований у обоих не хватало, чтобы решить задачу. Имелись запчасти, в избытке было рвения и старания, но где-то там, в самом нутре двигателя, в сокровенных его глубинах, что-то устало и сломалось, а может быть, долго снашивалось и вот наконец выработало ресурс — силы кончились: так бывает с людьми и, значит, может быть и с машинами, когда на ров-

ном месте, без всякой видимой причины и, само собой, без всякого предупреждения тело говорит: Все, больше не могу, тело, или душа, или дух, или воля, и тогда уж с места его не сдвинешь, не запустишь, на ноги не поставишь, и вот до этой самой ручки дошел Парагнедых, и скажите спасибо, что околел он лишь после того, как довез людей до этого жилья, а не бросил посреди шоссе, и нечего ругаться, и стучать кулаками, и пинать ногами, проку от этого все равно не будет, не оживите вы Парагнедых. В унынии вернулись в дом Жоакин Сасса и Жозе Анайсо, перемазанные машинным маслом с ног до головы, с рассаженными в кровь пальцами, оттого что почти голыми руками пытались они совладать с тугими болтами и неподатливыми контргайками, и пошли умываться, нежно опекаемые своими женщинами, и сгустилась в доме атмосфера несчастья. Как же мы выберемся отсюда? — вопрошал неизвестно кого Жоакин Сасса, который в качестве автовладельца чувствовал себя не то что ответственным, а просто виноватым во всем произошедшем и считал, что эту пакость судьба подстроила ему лично, что небеса ополчились против него персонально — и что тут скажешь: уязвленное самолюбие саднит не меньше, чем сбитые в кровь костяшки пальцев.

Затем был созван семейный совет, который наверняка проходил бы очень бурно, если бы Мария Гуавайра, взявшая слово первой, не предложила: Знаете что, у меня тут есть крытый фургон, хоть и старый, но вполне еще годный, и есть лошадь — она тоже не первой молодости, но если вовремя давать ей корм и роздых, быть может, у нее хватит сил свезти нас куда надо. Вслед за этим предложением воцарилась на несколько мгновений растерянная тишина — оно и понятно: как еще могут воспринять люди, привыкшие к двигателям внутреннего сгорания, неожиданное предложение вернуться под воздействием тяжких житейских обстоятельств к архаической старине? Крытый, говорите? — переспросил Педро Орсе, человек практической складки и представитель иного поколения. Да, с парусиновым верхом, он хоть и прохудился кое-где, но можно заделать, есть у меня толстая ткань, она сойдет для этого. Да если нужно будет, воскликнул Жоакин Сасса, обдерем Парагнедых; мне уж больше на нем не гарцевать, пусть окажет нам последнюю услугу. Тут все повскакали на ноги, предвкушая замечательное приключение и то, как под парусами этой галеры поплывут они по миру — согласитесь, если бы я сказал «пойдут по миру», смысл был бы совсем иной, — и закричали наперебой: Где эта лошадь? Где телега? — и Марии Гуавайре пришлось объяснять им разницу между телегой и тарантасом, называемым в здешних краях галерой: у него четыре колеса, и от передка к задку идут особые такие брусья, уменьшающие тряску, а под парусиновым тентом, который укроет их от ненастья, хватит места для целой семьи, и если соблюдать порядок и правильно распределить ресурсы, не хуже будет, чем в доме.

Старый конь, когда в его стойло неожиданно хлынул свет и раздались громкие голоса, недоуменно и испуганно скосил на пришельцев большой черный глаз. Верно, верно гласит народная мудрость, что, покуда не пришел твой смертный час, все еще может произойти, так что раньше смерти помирать не надо.

(Окончание следует)

ИЛЬМА РАКУЗА

Стихи из книги «Перечеркнутый мир»

Перевод с немецкого Е. СОКОЛОВОЙ

«Нет на земле ничтожного мгновенья...»

Вавилонская башня была из слов. Карабкаясь по ним, люди хотели добраться до неба. Им оставалось совсем немного, но Бог смешал слова.

Похоже, это единственный способ туда вскарабкаться или хотя бы приблизиться. Просто нужно собрать те слова, рассыпанные по дорогам и языкам. Хоть горку слов, хоть пригоршню — только тех самых. Они мечены.

Первые рукотворения ребенка — куличики в песочнице — неосознанные дерзкие прообразы Вавилонского столпа. Девятистрочники Ильмы — Вавилонские куличики.

Смысл поэта — снова сделать мир Божьей тварью. Не пытаться сравниться, но просто помочь. Придать ему хоть немного человечности. Дать жизнь каблуку. На морозе стереть губы паром. Прочитать снег между строк. Преодолеть сопротивление времени, его материала.

Материал времени: цюрихский дом, заросший совсем по-русски лопухами. Взрослеющий сын, который вырастет и уйдет. Оторванная снарядом голова в телевизоре. Бродский, который, забыв о том, что умер, все пьет у нее за столом чай, дивясь подстаканнику — тому самому, с летящим к Луне спутником, из уехавшего куда-то советского поезда.

Бог, смешав языки, дал ей от матери — венгерский, от отца — словенский. Она сделала своими — немецкий, английский, французский, итальянский, русский.

Детство в Триесте. В том мире не было Джойса, но была бора — ураган, налетавший с гор. Из окна — железнодорожный виадук, за ним — море. Однажды ураган сорвал крышу с вагона. Повисшая на проводах, как воздушный змей, крыша не успокоилась, пока не превратилась в написанные слова.

Где, собственно, Вавилон? В Триесте? Цюрихе? Нью-Йорке? Венеции? На Васильевском острове, на улице Шевченко, где прожила когда-то год? Корпус консерваторского общежития стоял рядом со Смоленским кладбищем, куда уходила читать. До двадцати лет хотела быть пианисткой. Потом бросила — страх зала. А слова хорошо искать в одиночестве.

Языки вроде мешались для непонимания, а оказалось, Бог создал разные наречия, чтобы сделать мир многозвучным. Богаче, радостнее. Непонимание живет не в разности языков, а в чем-то другом. Какая разница, на каком языке Маша любит Треплева, а Треплев — не ее, а Нину, Нина — Тригорина, тот — Аркадину. Отсутствие любви не зависит от грамматики. Одиночество живет в словах и иудея и эллина. Важно лишь, чтобы слова были из обломков той башни, настоящие, как у Цветаевой или Дюрас, Ремизова или Айги.

Ильма пишет рассказы и стихи о людях, а получается — об одиночестве. У нее есть стихотворение о стареющей руке. Страшно стареть в одиночку. Книги ее стихов печатают в лучших издательствах, но кому теперь нужны стихи?

Ее русский поэт — Баратынский. Когда-то она защитила о нем диссертацию. За два года до смерти он написал: «Нет на земле ничтожного мгновенья...». В девяти

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1997
© Е. Соколова. Перевод, 1999
© М.Шишкин. Вступление, 1999

строках Ильма снова и снова пытается спасти от времени мгновение прощания, мгновение вторника, распахнутого шкафа, стареющей руки.

У каждого свое, сшитое по индивидуальному фасону, время. Время Ильмы — безжалостно и покрыто шерстью. Уткнешься в грудь отца — оно заберет его. Ухватишься за руку любимого человека — выхватит и любимого. Времени можно противопоставить только одно: уехать и писать.

Бергель — узкая долина в Альпах на границе с Италией. Это ее долина. Она делит ее с Джакометти и Рильке. И всеми ищущими рассыпанные слова или камни. Бондо — маленькая горная деревня, куда редко приезжают туристы. Люди здесь молчаливые, камней больше, чем слов, даже крыши кроют сланцем. Летом она перевезет сюда урну с отцом — тот так хотел. Здесь ему будет хорошо. На урне — надпись. Человек превращается в слова.

Кто-то ищет слова на ощупь, Ильма — на звук. Она подбирает слова, как подбирают мальчиков в хоре.

Поэзия для Ильмы — бесконечный диктант. Писать, как слышится. Принимать услышанное как должное. Нечто сродни послушанию.

И еще что-то важное. В ее текстах среди звуков тотального человеческого взаимонепонимания — хруста обгоревшей корки, жирного шлепанья карт гадалки, посвиста крахмальной простыни на опостылевшем ложе — всегда чуть слышен шорох иронии. Именно потому, что она принимает этот мир всерьез.

Стихи Ильмы просты. Она идет к простоте. От акронимов предыдущих сборников через трещины девятистрочников к простым вещам: любви до и после расставания, жизни до и после смерти.

Время, вопреки Августину, становится Божьей тварью, лишь став словом.

МИХАИЛ ШИШКИН

Цюрих, апрель 1999

* * *

Иосифу Бродскому

Кресло, кровавый цвет…
Кофр дорожный да кофр
к путешествию в Новый Свет
твой «Титаник» готов.
В кофре книги впритык
битком. Твой отъезд
как-то вдруг Привет
Да дела Вот всегда
Навсегда. Ведь тебя уже нет.

* * *

Иосифу Бродскому

Снег идет в Ленинграде.
Ночь, заправка. Никого
как в пустыне. Фасады
домов проспекты в сиротском
наряде. Ты отсюда
беззвучно сбежал
в стихи. И теперь
мы тихо легко скользим
по этому городу. Молча.

* * *

Иосифу Бродскому

Туфли. Стук каблуков.
Переулок. Улыбка
твоя где-то там. Ты встал
на свету у канала в смятенье
не знаю
что говорить. Воротник вверх.
Слово — облако возле губ
вкруг. Ну, до встречи.
В который вторник?

* * *

Знает асфальт
что будет?
Или мне обратиться
к гадалке? Мысль
о мистике судеб
меня рассмешила ночью
и по-детски в полусне
вслепую я как Марина
Цветаева

* * *

Все стоит.
Лошадь рука
стена и щека
кресло пар электричка
часы и журнал
боль и шаль
замерли на прощанье.
А ты все уходишь
вдаль

* * *

Джим она говорит ведь это важней всего.
Анна он говорит я не пугало ты чего.
Снова и снова все то же: намечается пат
или (если по-честному) шах и мат.
Двое любят друг друга как лучше
хотят — кому? Дни проходят
их общее ложе все больше похоже
на счеты. Здесь обитают отныне только
гнев и печаль. Кто же скажет прощай?

* * *

В просветах между стволами: снег
в пробелах между словами: снег
в паузах между столбами: снег
в нишах между домами: снег
и лед
в лужах между пивными: снег
в прогалах между дубами: снег
в видениях между лугами: снег
в тарелках и на ладонях: снег

* * *

Снег загипсован
ночи пусты
что есть я
твоя власть и ты
врозь
пьешь кофе
смеются цветы.
Пальмы дельфины…
Уж лучше кроты.

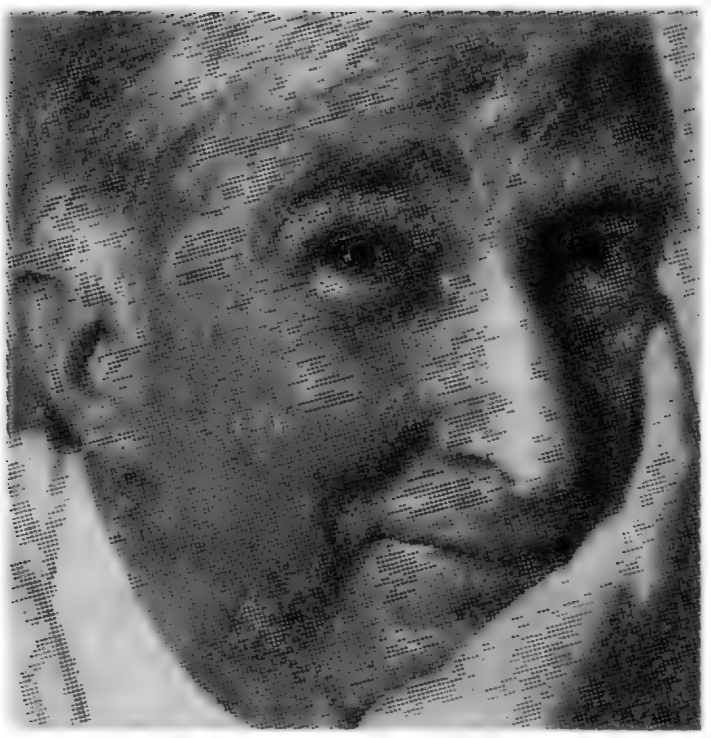
* * *

Уложи меня спать
искупай
как ребенка
с ложкой в руке
он свободен
месяц над лесом
в форточку
белую пену
бросает

* * *

Хлеб сгорел — не подашь
В пальцах дрожит карандаш
замер язык во рту
больно — невмоготу
плачут глаза без слез
сердце в комок спеклось
настежь шкафы Пусты
В доме так тихо Ты
никогда сюда не придешь

■



ДЖОН АПДАЙК

Бек и щедроты шведов

РАССКАЗ

Перевод с английского И. БЕРНШТЕЙН

Сообщение о том, что Нобелевскую премию по литературе за 1999 год получил Генри Бек, было встречено бурей негодования. «Нью-Йорк таймс» в редакционной статье возмущалась:

«Всем известная склонность Шведской академии избирать адресатами своих *динамитных* даров колоритные ничтожества и настырных антиобщественных деятелей на сей раз превзошла пределы причуды и приняла размеры прямого нахальства. Если уж снова пришла наконец очередь давать премию американцу, нельзя не усмотреть нарочитого оскорбления в том, что обойдены такие сильные претенденты на медаль, как Мейлер, Рот и Озик, не говоря о Пинчоне и ДеЛилло, а выбор пал на этого исписавшегося «изысканного» стилиста с его скудным творчеством, не поднявшегося даже до величественного молчания Дж. Д. Сэлинджера».

«Пост» цитировала Исайю Торнбуша, якобы заявившего: «При всем моем уважении к дорогому коллеге и старому другу Генри, это превращает Нобелевскую премию в пустую забаву. Я даже, знаете ли, изумился».

«БЕК? ЭТО ХТОЙ-ТО?» — гласил крупный заголовок на первой полосе «Дейли ньюс». «Пипл» разыскала у себя в архиве и поместила на обложке самую нелестную фотографию Бека, на которой он и его тогдашняя жена Беа изображены в рабочих комбинезонах на лямочках, якобы занятые приведением в порядок увитой виноградом беседки в саду своего псевдотюдоровского псевдорайского гнездышка в Оссининге. А «Нью-Йоркер» отозвался на это событие вяло-язвительным обзором Джона Саймона под заглавием «В поддержку Генри Бека — с натяжкой».

Тем временем телефон в его чердачном жилище на Кросби-стрит неумолчно звонил, подчас отвлекая новоявленного лауреата, достигшего середины восьмого десятка лет, от смены подгузничка восьмимесячной дочери Голде (постеверейство Робин Тигартен, когда дошло до выбора имени для ребенка, оказалось не таким уж глубоким), так что пряный запах охряного младенческого кала и пронзительные телефонные трели стали двумя сторонами одного переполошного переживания. У крепенькой малютки Голды резались зубки и был ровный, неуступчивый материнский взгляд, еще не лисий, а по-младенчески задумчивый, немигающий, серо-голубой. Она уже перестала принимать как должное, когда узловатые старческие пальцы отца протирали холодными детскими тампонами складочки у нее в паху и между ягодицами, а потом чересчур сильно нажимали на липучки по бокам лоснящегося мягкого животика. Она его дразнила и устраивала демонстрацию силы, изворачиваясь на пеленальном полотенце, завиваясь штопором, как деталь барочного орнамента. Голде больше нравились проворные, прохладные прикосновения пальцев матери или ласковых карих рук няньки Леонтины, уроженки острова Антигуа, вслед за Робин перебравшейся на Кросби-стрит с Краун-хайтс.

© 1998, by John Updike
© И. Бернштейн. Перевод, 1999

В телефонной трубке чаще всего раздавался голос Мери Джо Цвенглер, заведующей отделом рекламы в издательстве «Веллум-пресс».

— Но я не хочу участвовать в передаче Опры, — твердил он ей. — Терпеть не могу этих злобных феминисток из «кукурузных» штатов, которые составляют ее аудиторию.

Мери Джо вздыхала:

— Надо, Генри. Если ты не снизойдешь, две трети простых американцев воспримут это как личное оскорбление.

— Ну да. Те самые две трети, которые не умеют читать. Где они были, когда двадцатитысячный тираж «Броска на Юг» остался не распродан?

Мери Джо возражала с картинным долготерпением:

— Генри, ты теперь Нобелевский лауреат. У тебя нет больше права строить из себя затворника и мизантропа, мающегося творческой немотой.

— «Бек? Это хтой-то»? — процитировал он.

— Никто уже не задает такого вопроса. Ты — новость номер один, Генри. Так что, уж пожалуйста. Дохода от подскочивших продаж хватит вашей дочке до окончания колледжа, если только ты тоже немного поднажмешь со своей стороны. Мы даже подумываем о допечатке «Святые входят чередой».

— А почему вы раньше не допечатывали?

— Не придирайся, Генри. Книжные склады все время страшно поднимают цены. А теперь в новом здании у нас есть большой чердак.

Бек прикинул, что ее годовое жалованье рядом с его процентами от продаж возвышается до неба, точно секвойя рядом с карликовым вишневым деревцем.

— Я, кажется, не просил вас строить себе небоскреб, раз небоскребом обзавелись «Макгро и Хилл».

— Генри, ну пожалуйста, цыпочка, будь ангелом и не затрудняй мне жизнь, — попросила Мери Джо. Бек представил себе, как скрипит на ней кожаная одежда и брякают металлические заклепки, оттого что она переложила ногу на ногу и переменила позу в своем изготовленном по мерке вращающемся кресле. — Ты был очень мил у Чарли Роуза.

— Это Чарли был очень мил, — возразил Бек. — А мне он и слова вставить не давал.

В памяти всплыло продолговатое лицо интервьюера в розово-лососиновых тонах; Роуз надвинулся угрожающе близко, как на эйведоновском портрете, и спрашивал: «Признайтесь честно, Генри, вам не совестно, что вам дали эту премию, а стольким другим писателям — нет?» При этом глаза у ведущего культурной программы зверски выпучились и он уподобился диснеевскому Дику Ван Дейку.

Эти целеустремленные работники средств массовой информации работали на таком энергетическом уровне, что у Бека мозги натягивались, словно кусок жевательной резинки, когда на него наступишь и пытаешься шагнуть дальше. Еще прямолинейнее спрашивала его о том же Терри Гросс своим обманчиво юным запинающимся голоском: «Как, по-вашему, это можно объяснить? Ну, то есть даже страшно подумать, правда? Генри Джеймс не получил, и Теодор Драйзер, и Роберт Фрост, и Набоков...»

— Я не умею читать шведские мысли на расстоянии, — только и смог ответить в свое оправдание Бек. — Я и по-шведски не понимаю.

Заготовленная в полузабытьи ночной бессонницы, эта реплика казалась ему вполне остроумной, но произнесенная — утратила призвук непосредственности. Стриженная под мальчика коротышка-интервьюерша равнодушно хмыкнула и тут же, словно дикая собака динго, вцепляющаяся в горло раненого кенгуру, снова перешла в нападение:

— Нет, а серьезно...

В передаче принимали участие несколько культурных радиостанций Востока: Кристофер Линдон из Бостонского университета, и Ленард Лопейт из скучных муниципальных коридоров Нью-Йорка, и филадельфийская программа «Чистый эфир» из студии, заставленной коробками с пленкой, и Диана Рем из своего орлиного гнезда на Пьяной улице в самом сердце Американского университета в Вашингтоне, округ Колумбия. У

этой Дианы были поразительные подсиненные волосы и хрустальный зовущий голос — словно она кличет обедать сестер-подружек из соседней комнаты; из этих интервьюеров она меньше всех внушала Беку опасения. Ну да, как бы говорила она, Нобелевскую премию по литературе присудили мистеру Беку. А кому же еще, если не ему? Ждем ваших мнений, дорогие слушатели.

Первая дозвонившаяся женщина, чей медвяный южный говор шуршал у Бека в наушниках, будто шум в ушах, желала знать, правда ли, как она прочла в «Нэшнл инкуайрер», что у мистера Бека недавно родился ребенок, мать которого в три раза моложе его?

— Пожалуй, это по-своему верно, — нехотя подтвердил Бек. Его так и подмывало пояснить, что Робин его шантажировала, он был поставлен перед выбором: стать отцом или идти под суд как серийный убийца.

— У меня вот какой вопрос, сэр: на ваш взгляд, это справедливо по отношению к молодой женщине и к беззащитному малютке, ведь вы, прошу прощения, можете в любую минуту помереть?

— Справедливо?

Последние годы он почти не сталкивался с этим понятием. Мальчишкой, в игре, он, бывало, доказывал товарищам, что то или се получается несправедливо, но неумолимые волны десятилетий, прокатываясь над головой, постепенно вымывали его негодование.

— И насчет миллиона долларов, что вам достался, вы как, собираетесь употребить его на доброе дело?

Он уже сто раз объяснял интервьюерам и ведущим передач, из менее образованных, что к тому времени, когда он выплатит налоги штату, городу и государству, какой там миллион, и полумиллиона не останется. А если подсчитать, сколько часов работы и эргов энергии затрачено, да еще все единогласно утверждают, что теперь миру с него что-то причитается, то, по его подсчетам, выходят одни убытки. И вообще, что сегодня можно приобрести в Нью-Йорке на полмиллиона? Статуэтку работы Джеффа Кунса? Или кооперативный чуланчик на Пятой авеню? Бек принялся было втолковывать все это женщине, задавшей вопрос, которая словно бы поселилась у него в мозгу, как неизлечимый паразит, но она продолжала выяснять то, что ее интересовало:

— А это правда, сэр, как я прочла в нескольких солидных источниках, что вы, путешествуя по коммунистическому миру на средства правительства Соединенных Штатов, вступили в связь с одной знаменитой болгарской поэтессой и у вас имеется от нее сын, которого вы официально не признали? Мальчик воспитывался в строго коммунистическом духе и вырос, не зная отца, в то время как вы жили в свое удовольствие в капиталистических условиях?

Странные выдумки и фигуры речи сыпались на него с такой быстротой и напористостью, что он ничего не мог произнести, хотя после объявления о премии только и делал, что разговаривал. Он открыл рот, придвинул плотно одетую поролоном головку микрофона, похожую на крохотную боксерскую перчатку или на сжатый кулачок, но слышалось только хриплое дыхание. Диана Рэм, для которой даже полсекунды пустого времени были как нож острый, мелодично пропела:

— По-видимому, наш гость не хочет отвечать.

Голос в мозгу у Бека рыл все глубже, работая челюстями все быстрее и показывая грубое подбрюшье христианского предубеждения:

— Ну знаете, Диана, если этому господину неохота отвечать, тогда что он делает на вашей передаче? Надумал помалкивать, так, может быть, и премию эту не надо было принимать?

— Я никогда раньше не был отцом, — выговорил Бек. — И никогда раньше не получал Нобелевскую премию.

— Ну, если вы до сих пор не были отцом, — тут же отреагировал голос в наушниках, — при том что про вас пишут, вам бы поучить наших черных подростков, как предохраняться.

— Спасибо за звонок, Морин, — твердо сказала Диана Рэм и нажатием кнопки вычеркнула ту из эфира. — Следующий звонок, — объявила на всю страну ведущая. — Бетти Джин из Гринсборо, Северная Каролина.

Однако Бетти Джин оказалась не лучше. Она сказала:

— Я насчет черных подростков. Когда вы, знаменитости, заводите детей вне брака, по-вашему это как, хороший пример?

— Но я же не был знаменитостью до того, как мне дали премию, — обороняясь, возразил Бек. — Обыкновенный писатель, жил тихо, никому глаза не мозолил. К тому же я с удовольствием бы женился на матери ребенка, но она все еще обдумывает мое предложение. Она очень современная.

— Все вы, янки, — успела ввернуть Бетти Джин за секунду до своей электронной казни, — чересчур современные, я считаю.

Бек в глубине души разделял ее мнение. *Морально ущербные.* Лежа без сна у себя на чердаке, следя, как вокруг по стенам проплывают отброшенные поздними фарами размытые параллелограммы света, точно на полотнах Ротко, он прислушивался, не запищит ли младенец, и обдумывал прожитое и написанное, свою будничную, упорно уко-рачивающуюся земную жизнь. Несколько стран, несколько женщин. А как много осталось стран, которых он никогда не увидит, есть такие, что моложе Голды, иные рождаются прямо сейчас из обломков старых, истрепанных империй. Женщины... в женщинах, по-видимому, вся суть, биологически предусмотренная цель мужского существования: появляются, близятся, затмевают небосклон — и остаются позади. Их было довольно много. Сосчитать или перебрать по именам он уже не может, но от каждой что-нибудь да осталось: лицо — бледное пятно в затемненной комнате, неуверенная, милая улыбка, горячие, безумные тени глазных провалов. И все-таки их было вопиющее меньшинство из общего количества женщин подходящего возраста на земном шаре. То же самое с книгами. Семь томиков[1] (не считая английской антологии «Лучшее из Бека», которой давно уже нет в продаже) — это так, в сущности, мало в сравнении с тем, сколько он мог бы написать, и случались они так же самопроизвольно, нипочему, как и основные повороты в его судьбе. Семь этапов, семь рожков семисвечника, семь белых клавиш на клавиатуре. Бек так и не понял, для чего нужны в каждой октаве эти два пробела между черными клавишами полутонов. Наверно, чтобы пианист мог по ним ориентироваться. Когда Бек оглядывался назад, его семь книг отсвечивали в темноте прошлого, точно зарастающие следы в темном лесу, una selva oscura[2], в чащобе, где его сознание выходит на поверхность, во Вселенную. Он редко заглядывал на их бледные страницы: собственные книги были слишком опасно связаны с главной тайной — с тайной возникновения его личности, явившейся, как и Вселенная, по прихоти случая, из мрака и безмолвия. Сначала предсознательное слизистое чудо, многократное деление клетки в бархатной тьме лона, послушное неразгаданным сигналам, идущим от жизненно важных комбинаций хромосом и протеинов. Потом резкий переход на льдистый больничный свет, в центр шумного пахучего фрейдистского треугольника между кухней, спальней и уборной, в душную, но питательную среду. Затем длинные лестницы поднадзорного учения, ступень за ступенью, учитель за учителем, и вдруг нежданно-негаданно окончание школы в год Пёрл-Харбора и прямо на войну, с которой начались испытания на взрослость, и в их ряду нынешние старческие нобелевские хлопоты с сардонической усмешкой — позднейшее, если не последнее. «И каждый не одну играет роль, /Семь возрастов переживая»[3].

Голда захныкала у себя в кроватке, которую ставили на ночь прямо за порогом выгороженной спальни. Днем кроватку переносили в манежик, сколоченный из досок у стены, — получалась как бы коробочка, футлярчик для драгоценности, когда Голда там

---

[1] «Путеводный свет», роман (1955); «Брат-боров», повесть (1957); «Святые входят чередой», сборник (1958); «Избранники», роман (1963); «Широта взгляда», роман (1979); «Поживем — увидим», очерки и рассказы (1985) и «Бросок на Юг», повесть (1992). (*Прим. автора.*)

[2] Фраза из первой терцины Дантова «Ада». (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[3] Цитата из комедии Шекспира «Как вам это понравится».

спала днем. Робин уезжала в компьютерный центр на Третьей авеню, Бек сидел у себя за столом и тихонько писал, вычеркивая и поправляя, а Леонтина, на цыпочках, возилась с посудой от завтрака и стиркой. Двое взрослых, думал он, в рабстве у пяти килограммов бесхитростного эгоцентризма. Когда малышка бодрствовала, шоколадная няня, приговаривая что-то ласково-карибское, скармливала ей кусочки бутерброда с курятиной, и Голда их радостно жевала, хотя зубов у нее во рту все еще было меньше, чем пальцев на руке, а те, что имелись, были крупные и дались нелегко, проклевываясь из десен, они причиняли страдания. Потом, на диване, подавалась бутылочка с соской, Голда слепо сосала, а Леонтина во все глаза упоенно смотрела телесериал «Дни нашей жизни». В два часа дня телевизор переключался на другую программу, там показывали «Живем один раз», и Бек, если только позволяли докучливые лауреатские дела, уважая Леонтинино пристрастие, сам вез прогулочную коляску на детскую площадку. Одна убогая площадочка находилась на углу Спринг-стрит и Малбери-стрит, другая, еще беднее, — на Мерсер-стрит, к северу от Хьюстон-роуд, рядом со спортивным корпусом Нью-Йоркского университета. А когда Беку хотелось отличиться, он вез Голду через Бауэри на одну из детских площадок в длинном парке, носящем имя заботливой мамаши Рузвельта Сары. Платаны и гинкго уже побурели, под ногами цвели опавшие листья. Бек засовывал ножки непоседливой малышки в отверстия черного резинового сиденья качелей, увязывал понадежнее и качал туда-сюда, покуда это антигравитационное диво ей не прискучит. Голда еще не доросла до того, чтобы одолевать в одиночку шпили и качающиеся мостики пластмассового замка, но на спиральном желобе он иногда отпускал ее на два-три витка и внизу снова подхватывал этот скользящий снаряд в стеганом комбинезончике. Самой карабкаться вверх по наклонной лесенке он ей тоже давал, но держал наготове протянутые руки на случай, если она опрокинется, когда обернется к нему, гордясь покоренной вершиной. Роль отца виделась Беку в том, чтобы при нем малышка могла обходить опасность по самому краю, ближе, чем допустили бы Робин или Леонтина, — он должен вносить в ее жизнь элемент мужской тяги к риску.

Дома по гладкому полу Голда упорно передвигалась на четвереньках, переползая через игрушки, и взрослые ноги, и раскиданные книги, и скользкие стопки «Санди таймс», неостановимая, как маленький мускулистый танк. А вот ночью, когда она захнычет и Бек вставал к ней и нагибался над кроваткой, вынутая из ползунков, она уже не казалась мускулистой, а была один дух, одна бездонная бессловесная жалоба, в глубину которой Бек тщился заглянуть, чтобы понять причину. Первые шесть месяцев он просто вынимал ее из кроватки и подносил к своей нечутко спящей молодой подруге, а та спросонья на ощупь засовывала в маленький рот неправдоподобно большую белую, в зеленых прожилках грудь, заглушая ропот младенческого недовольства. Но Робин надоели молочные промочки на облегающих платьях, которые она носила на работу, надоела тираническая власть над собой другого организма, и она отняла Голду от груди; с тех пор Бек, держа на руках плачущее тельце, оказывался перед выбором: сменить подгузник, или поставить греть бутылочку, или и то и другое. Это общение ощупью с маленькой дочерью в ночные часы, когда по Кросби-стрит уже едва сочилось уличное движение — редкие гангстерские лимузины из Малой Италии[1], поздние желтые такси в клубы и из клубов, где танцы до утра, — совсем не походило на другие краткие контакты в его жизни: с одной стороны, он, уж хотя бы из-за своих размеров, был главный, однако нежность и атавистический покровительственный инстинкт перевешивали и выдвигали на первое место слабейшего.

Голда на пороге речи — она уже умела говорить «пока!» и махать на прощанье ручкой — общалась посредством того, что в Библии обозначается старинным словом «утроба», не только в смысле пряно пахнущего младенческого кала, но и через разные таинственные внутренние дела: пить хочется, животик болит, или сон страшный, или тоска экзистенциального одиночества — что-нибудь такое, изгоняющее душу из сонного рая в многолюдный мир на поиски утешения. Бек старался дать ей его. А в иные ночи

[1] Район Манхэттена, заселенный преимущественно итальянцами.

Робин сама просыпалась, и исходное тепло материнского прикосновения успокаивало горести ребенка. Рядом с ними на кровати престарелый Бек чувствовал прилив умиления, присутствуя при мягкой стыковке двух молодых женских тел. Слава богу, что Робин встревала; но и обидно, она отнимала у него, наверно, последнюю возможность дать удовлетворение другому существу — найти биологический ключик к другому «я», к чудесному своему продолжению, преломленному, как палочка в воде. «*Ты* — моя Нобелевская премия, — шептал он ей на ушко, пока в микроволновке шестьдесят секунд грелась бутылочка, а они с Голдой стояли у окна и смотрели сверху на желтую крышу одинокого такси, с тарахтением проезжающего по булыжной мостовой в какой-то притон, где зеркала, и наркотики, и мелькающий свет, и судорожные танцы. — Ты моя хорошая, хорошая, *хорошая,* — втолковывал Бек крохе, а она вопросительно заглядывала ему в лицо, не понимая горячности его шепота. — Ты совершенно замечательная».

Они с Голдой были одного поля ягоды — оба спали урывками, оба упрямо ползли своим путем.

— Ты папина дочурка, — ворковала над малышкой днем Леонтина, и Беку за письменным столом было слышно. — Такая же проказница, и волосы торчком.

— Леонтина, — иногда спрашивал он, — по-вашему, это большая ошибка, что я завел ребенка в таком возрасте?

— Детки — дар Божий, — отвечала она, как всегда чуть-чуть нараспев. — Они родятся, когда хочет Бог. Мамочка с папочкой, может, думают, еще не пора, лучше погодить, но Господу известно, когда приходит срок благословения. Вы так сильно любите эту девочку, мне иной раз смотреть больно. И мамочку тоже, а как же, но вы с ней взрослые люди, у каждого свои привычки, свои дела в жизни. Вот и мои родители так, папочка то дома, то невесть где. А нарожали девятерых так-то, от разу до разу. Я предпоследняя была. А братик мой меньшенький родился, когда уж матери было сорок два. Она, бывало, шутит, мне, говорит, его без очков уже и не видать.

Леонтинино уверенное приятие мира как божественной колыбели, в которой нам всем на роду написано мирно качаться, днем успокаивало Бека, а ночью, наоборот, тревожило, представляясь несомненно ложным. В бессонные часы он стоял на вершине своего одиночества, как святой столпник, вырванный из уюта обыденности. Присужденная ему Нобелевская премия обрушила целую лавину писем, и они трепали его, как враждебные вихри. *Нет чтобы дать ее коренному американцу, и чтобы был не жид, и не черный, и не иммигрант какой-нибудь, который слова по-английски верно сказать не умеет... я дописывал свой роман, работая на двух работах, чтобы оплатить химиотерапию жены плюс уход за ребенком, и всего один процент от той колоссальной суммы, которую вам вполне заслуженно, на мой взгляд, присудили, дал бы мне возможность... ты, конечно, не помнишь меня, но я сидела прямо позади тебя в школе № 87 на углу Семьдесят седьмой и Амстердам авеню, и хотя ты не обращал на меня внимания, я всегда знала, что придет день, когда... аукцион знаменитостей, годятся даже самые незначительные личные вещи, прошлый год у нас имели чрезвычайно большой успех обрезки ногтей Марии Кэри и использованные бумажные полотенца из кухни Джулии Чайлд... так и знай, Генри, ты всех сумел одурачить, кроме меня, я-то вижу тебя насквозь, жид пархатый, и знаю тебе цену... у нас в реформированной синагоге наш кружок чтения не может предложить даже скромного гонорара, но за такси мы заплатим, и перед началом будут закуски домашнего приготовления... моему сыну в декабре исполнится два года, и дружеское письмецо от Вас на Вашей личной почтовой бумаге, содержащее выбранный по Вашему вкусу отрывок из какой-нибудь книги, Вашей или другого великого писателя, и датированное датой, месяцем и годом... ты, по-моему, чувствовал себя неловко в передаче Чарли Роуза, но тебе ведь нечего стыдиться. Или есть что-то?.. прилагаю свою книгу, изданную на средства автора, где излагается с неоспоримыми подробностями, как Господь установит царствие Свое в первую очередь на Ближнем Востоке, а затем, в быстрой последова-*

тельности, и на остальных континентах... о помощи, подписанная фотография или заявление на одну страничку в поддержку человека, который борется за обращение юных умов назад, к книге, небольшой чек, цитата, подходящая к нашему делу, подпись, пожалуйста, собственноручная... буду рад заехать и поделиться нашими профессиональными советами и знаниями в области вложения в недвижимость... стараюсь совладать с досадой, но после сорока лет трудов, которые не чета твоим, и не только по моему мнению, но так считает большинство критиков, те, что не полные болваны, я не в состоянии спокойно принять то, что представляется мне жестоким и нарочитым пренебрежением мною, ***мною,*** *знаю, что это абсурд, дорогой Генри, знаю, что для тебя жизнь всегда была и есть просто тарелка с вишнями...* Зависть и злоба изливались на него с американских просторов, из всех штатов, включая Гавайи и Аляску, точно ледяной косой дождь, барабанящий по жестяной крыше его бедной обособленной лачужки. Бек пытался использовать бессонные ночные часы на сочинение лекции, которую обязан прочесть каждый Нобелевский лауреат. Из Швеции приходили вороха информации, большей частью на длинных европейских листах, которые не помещаются в американские папки. Его лекция должна состояться в Академии за три дня до торжественной церемонии. Кто там будет? Невозможно себе представить. *Ваши королевские величества, лорд-мэр города Стокгольма, члены Академии, достопочтенные гости, иностранные и местные! Нобелевская премия стала такой огромной, такой щедрой и знаменитой, что по справедливости ее никто не заслуживает, и недостойному лауреату остается только прятать свое смущение за спинами всех остальных, столь же недостойных. Она, эта премия, поднимает нас на головокружительную высоту планетарного внимания и соблазняет вещать на весь мир. Взирая сверху на нашу Землю, я вижу все расширяющийся разрыв между теми, кто летает на самолетах и кто не летает; между теми, кто улизнул в киберпространство информационного века, и теми, кто остался на земной поверхности обрабатывать пашню, добывать рыбу в морях и выполнять прочие важные обязанности, некогда составлявшие достойное содержание жизни всех, за самыми малыми исключениями.* Нет. Что он знает о доле других, помимо своей собственной затворнической жизни и обрывков чужих жизней, с которыми случалось пересечься? А насчет самолетов это полностью устарело. Он помнит, как воздушные перелеты были событием для избранных, для людей в хороших костюмах и модных платьях, — эдакое шикарное мероприятие, приправленное перчинкой страха, когда самолет начинало болтать среди серебристых, в изящных завитках, нагромождений грозовых туч, а дармовое шампанское и обед с уткой или бифштексом на настоящем фарфоре еще придавали ему элегантности в духе «Титаника». Но теперь в самолеты, толкаясь, лезет публика, которая прежде ездила на автобусах. Для них, пахнущих потом, одетых в шорты, джинсы и даже в нечто полосатое, похожее на пижамные брюки, перелететь за тысячу миль — пустячное дело, все равно что прокатиться в продуктовую лавку за углом. Самолет перестал быть чудом и сделался привычным, как хлеб насущный. Запихав как попало в багажные отделения над головой свои спортивные сумки и портативные компьютеры в ободранных футлярах, они даже не дают себе труда смотреть в окна со страшной семимильной высоты. Так что правильным оказался наш символ веры победившего капитализма: многомиллионные массы влекутся вверх по лестнице процветания, которую возводят технология и предпринимательство. *Телефон и радио, кино и телевидение, внутреннее сгорание и ракетные двигатели — человечество приняло все это на вооружение с такой же готовностью, с какой первожители Америки присвоили огнестрельное оружие, лошадей и огненную воду. И как получилось в Огайо и в Рурской долине, так будет и в Мали и Малайзии — все станут богатыми, цивилизованными и недовольными жизнью.* Нет. Экономическую геополитику лучше не затрагивать. Кто может сказать, куда идет этот дивный мир со всей своей неисчерпаемой приспособляемостью? Добавим автобиографическую нотку, как у Оэ или Хини. Вест-сайдско/бруклинское детство. Армия, война. Солдатский билль о правах. Нью-Йоркский университет. В сороковые годы жизнь в Гринич-виллидж, в пятидесятые и далее — на 99-й улице. *В детстве книги для меня были лишь прямоугольными предмета-*

ми, которые можно видеть в супермаркетах, писчебумажных магазинах, а лишенные цветных обложек — в библиотеке. Там, на полках, ряды их пыльных корешков с белыми десятеричными шифрами казались плотным оперением темного простертого крыла; к их запаху высохшего клея примешивался горький гиблый дух старых людей, в годы моей юности называвшихся «бродягами», а в нынешние, более просвещенные времена их зовут «бомжами». Что означали книги? Кто их создавал? Известно кто: мужчины в твидовых пиджаках и с трубками во рту, проживающие в Коннектикуте. И женщины, роскошные почти как кинозвезды, в воздушных шифоновых туалетах, или же, наоборот, одевающиеся по-мужски, как Дороти Томпсон и Марта Гелхорн, и не просто по-мужски, а даже в военную форму. Нет. Шведам да и всему миру нет дела до этих забытых писателей, бывших некогда для Бека звездами на небе. Надо, наверно, сказать о невыразимом счастье, которое испытываешь от прикосновения к бумаге карандашного острия, оставляющего след на белом поле. Но не слишком ли малозначителен этот атомарный миг, чтобы упоминать о нем перед такой огромной внимающей аудиторией? В мире страданий, голода и массовых убийств эстетические восторги непристойны. *Что же тогда?* — спросит он вслух. *Печатное слово? Книжная торговля, этот старый труп, который еще раздирают оголодавшие шакалы? Жадные авторы, жадные агенты, общества безмозглых книголюбов с кафетериями под музыку Вивальди, издательства, принадлежащие металлургическим корпорациям, которыми управляют равнодушные, как лед, швейцарские счетоводы. А тем временем человеческая речь, разные языки, на которых мы все говорим, теперь избавленные от смертоубийственных лающих призывов Геббельса и скудоумных двусмысленностей бюрократического коммунизма, превращаются в медоточивый радостный лепет «Майкрософта» и «Хонды», тайно сговорившихся сделать из нашего мира один огромный детский сад для инфантильных пользователей. Неужели роскошному, язвительному, как змеиное жало, языку Шекспира и Джерарда Мэнли Гопкинса, Чарльза Диккенса и Сола Беллоу суждено стать бинарным кодом в империи серых костюмов, управляемой человечками, которые спешат по улицам Манхэттена и Гонконга и что-то торопливо бормочут в свои сотовые телефоны? Кто остановит прогресс? Поэты? Дилетанты вроде вашего покорного? Не смешите меня, ваши высочества и разные сановники. Как любезно оповестил недавно американскую прессу один мой добрый старый знакомый, ваша премия — пустая забава.*

— Не могу, — пожаловался он Робин. — Не могу сказать ничего достаточно важного. Смысл всего, что я делаю, в том, что это не важно или, во всяком случае, не претендует на важность. Важность не важна, вот мысль, которую я всю жизнь пытался выразить.

— Это и скажи, — посоветовала она.

— Но это *не важно*, — возразил Бек. — Я же не придаю такого уж значения самому себе. И не хочу, чтобы подумали, будто я ставлю свою персону выше Нобелевской премии, если я понятно выражаюсь.

— А по-моему, ты слишком умничаешь, — между делом сказала Робин, в основном занятая тем, чтобы убедить Голду в питательных достоинствах нарезанной ромбиками морковки, которые малютка, восседающая в высоком креслице, брала масляными загибающимися пальчиками с блюдца и аккуратно бросала на пол. — Все, что нужно шведам, это чтобы их непринужденно поблагодарили...

— Нет, ты не понимаешь. Непринужденно надо поклониться, когда король вручит тебе все эти вещи — медаль там, диплом, недельный проездной по всему Стокгольму. И еще надо выразить благодарность в застольной речи на банкете после торжественной церемонии. А лекция — раньше. И мучаюсь я как раз из-за лекции. В кои-то веки представляется случай сделать заявление, после того как семьдесят шесть лет меня никто не слушал. Ну, может быть, мать слушала первые пять-шесть лет.

— ... немножко благодарности и полчаса интеллектуального развлечения. Ты хоть о них-то подумай, — продолжала рассуждать Робин. — Они целый год потели над этими премиями, забросив семью и работу. Шведы ведь тоже чувствовать умеют — вспомни фильмы Бергмана.

— У него только женщины умеют чувствовать; а мужчины нет. Мужчины замороженные. Леонтина, — Леонтина складывала чистые платьица и ползунки возле новой стиральной машины с сушилкой, которую установили у него на чердаке рядом с холодильником в недавно еще совсем необорудованной кухне, — Леонтина, что мне сказать людям всего мира?

— Скажите им, — не задумываясь, ответила Леонтина, — что с самого детства желали людям счастья. Что Господь вам диктует, а вы только записываете.

— Боюсь, что в Швеции это не прозвучит. Господь предпочитает держаться ближе к экватору.

Леонтину это рассмешило; с ней никогда не знаешь, что ее может рассмешить. Ее несмелый смех запинался на каждом коленце, как бы норовя нырнуть обратно в горло, словно смеяться грешно и надо смех запихнуть назад. Глаза ее лоснились весельем; шикарная короткая стрижка — распрямленная челка не закрывала лоб даже до половины. Ее двенадцатилетняя дочка Эмеральд, как было известно Беку по фотографиям, носила волосы заплетенными в множество косичек с бусинками — плод многочасовых материнских трудов.

Бек прикинул, не использовать ли в Нобелевской лекции эту мысль про благосклонность Бога к жителям экваториальных областей? Наверно, он все-таки зря не придает значения скрытым этническим ранам человечества. *Ваши величества, лорд-мэр и дорогие гости! Эта премия — драгоценный бриллиант на белой шее западной цивилизации; но позвольте мне как еврею подумать вслух о том, что́ эта цивилизация с ее христианством принесла моему народу. Она принесла гетто, погромы, словесные и физические унижения, неправедный суд без обжалования, ограничительные законы, желтые звезды, аутодафе, обвинение во всех смертных грехах всякий раз, когда той или иной христианской общине угрожала беда, и коллективную беззащитность перед всяким мелким христианским правителем и правительством. Одна нация, чьей славе и процветанию мы сотни лет служили как ремесленники, купцы и ростовщики, Испания, вознаградила нас безоговорочным изгнанием в тот самый год, когда была открыта Америка. Германия и Австрия, где таланты евреев принесли плоды гениальности, богатства и кажущейся буржуазной безопасности, — эти самые государства разработали план изничтожения евреев, план, который еще немного и был бы успешно осуществлен, что остается сегодня главным чудом XX века и окончательно зачеркивает все европейские притязания на добро и мудрость. Даже в моей стране, по мнению многих, слишком благоволящей к своим евреям, на стенах синагог часто появляются рисованные пульверизаторами свастики. А в Швеции, я читал, один из каждых трех подростков не верит, что массовые убийства моего народа действительно имели место. И поэтому, ваши величества, я как еврей чувствую, что не могу принять эту подачку, согласиться с этой попыткой заклеить обоями курящуюся яму, тысячи газовых печей, в которых тысячи талантов крупнее и сердец чище, чем мои...* Стоп. Что он делает? Отказ от Нобелевской премии выставил Сартра дураком перед всем светом, а Пастернака — советским рабом.

— Мери Джо, я в панике, — пожаловался Бек за столиком в «Четырех временах года», куда он пригласил ее, чтобы она угостила его обедом. — Придумай мне речь.

— Такой бывалый король экрана, как ты, Генри? Повтори то, что говорил Опре; прозвучало очень мило.

— Я не запоминаю своих ответов в этом чертовом прямом эфире. Произнесу и сразу же стараюсь забыть.

— Ты ей сказал, что не пишешь порнографии, а просто стремишься уделять заслуженное внимание сексуальному компоненту наших жизней. Что-то в таком роде.

— Шведов не волнует, пишу ли я порнографию. У них это все законно. Одна из сторон их здорового языческого мировоззрения.

— Никогда не забуду тебя в передаче Донахью, когда только-только вышла твоя «Широта взгляда». Я была на втором курсе в Барнард-колледже, и моя соседка по комна-

те с приятелем крутили телевизор, тогда программы переключали вручную, и я вдруг говорю: «Нет, постойте, этот тип интересно говорит». Ты был малость моложе, волосы шапкой на всю верхнюю половину экрана. И ты так спокойно, без нажима говорил, не позволяя ему хамить, а только слегка, любезно показывая аудитории, что считаешь его хамом...

— Но это же его работа. Высокооплачиваемое хамство. Хамство именем народа во благо народа. А говорил-то я что?

Круглое лицо Мери Джо — с остреньким передним подбородком, еще борющимся за гегемонию с остальными, обступающими его, как теневые контуры на телеэкране докабельных времен, — раскраснелось то ли от сострадания его мукам, то ли от двух больших бокáлов белого вина, полагающегося к обеду, а может быть, от удушающе тесной кожаной куртки на длинной молнии, похожей на портняжный метр, и с металлическими заклепками величиной с леденец.

— Важно не *что* ты говорил, а *как*. Искренне, но без многозначительности. Остроумно, но без... этого самого... без еврейского анекдота. Когда через полгода я прочла в журнале, что вы с женой расстались, помню — не надо бы мне этого рассказывать, не надо было пить второй бокал «Шардонне», — помню, я тогда страшно обрадовалась, подумала: может быть, мы с ним встретимся? И пошла работать в издательство, но ты там не показывался, вернее, показывался, но очень редко. Ты был из наших авторов-невидимок. Но все равно, Генри, мне понравилась эта работа, связи с общественностью. Наивно, наверно, с моей стороны, но не забывай, я еще только училась на втором курсе, и у моего тогдашнего друга — совсем его не помню, кроме того, что он всегда ходил с грязными ногтями, — были проблемы с потенцией. Прошу прощения за краску стыда.

— Мери Джо, ты и меня в краску вгонишь. Скажи, может, мне имеет смысл посмотреть пленку с этой передачей? Она хранится у вас в отделе рекламы?

— Честно признаться, Генри, возможно, что и хранилась, но при переезде в новое здание этого добра повыкидывали целую тонну. Почему бы тебе не порассуждать, к примеру, о будущем печатного слова?

— Слушай, Нобелевскую премию получают раз в жизни, и все говорят, это вообще чудо, что ее дали мне. А ты предлагаешь испортить торжественный миг пустой болтовней.

— Э, нет, милый, болтовню ты мне не порочь, — вскинулась она и наставила на него верхний из своих подбородков. — У нас по твою душу уйма запросов. И продолжают поступать. Вот смотри. Мы, если помнишь, дали положительный ответ насчет печатного интервью в «Вашингтон пост», но, сказав «да» вашингтонской газете, нельзя ответить «нет» атлантской «Конститьюшн». Там широкий рынок. Южане теперь читают — с тех пор как появились домашние кондиционеры. Еще имеется «Стар трибюн» в Миннеаполисе, их заведующий книжным отделом — многолетний друг нашего издательства, и потом, мы стремимся расширить связи с Северо-Западом, в «Ньюс трибюн» в Такоме очень толковый завотделом искусства...

— Я терпеть не могу печатные интервью, — перебил ее Бек. — На них столько вре́мени уходит. Сначала тебя увлекут, разговорят, а потом все изрежут и переиначат, как им вздумается. Что ты на самом деле говорил, зафиксировано только на аудиопленке, а ее они оставляют себе. Нет. С газетными интервью покончено. Они отжили свой век.

— Брать интервью к тебе будут приезжать домой...

— Только Голду будить.

— ... и занимают они не больше часа — полутора плюс еще чуть-чуть, сначала или по окончании, на фотосессию. Правда, Энни Лейбовиц, наверно, захочет наложить грим. Хотя, может быть, обойдется какой-нибудь забавной шляпой.

— Мери Джо, за что ты со мной так? Разве моя вина, что я тебе понравился в передаче Донахью? Самому себе я тогда совсем не понравился.

Она положила все еще изящную ручку на его волосатую, корявую лапу, неловко вылавливавшую маслянистые макаронины, которые, извиваясь, уходили из-под вилки, точно угри из ловушки.

— Ты нужен людям, милый Генри, и моя обязанность по службе — облегчить доступ.

— Я не виноват, что я им нужен. Лично мне они не нужны. Мне нужно, чтобы меня никто не трогал. Я хочу жить тихо и смотреть, как растет Голда. Она скоро начнет разговаривать. Она уже умеет говорить «пока!».

— Я прошу не ради себя. И даже не ради тебя. Я хлопочу об издательстве. Существует такая вещь — ты этого не усвоил, мама тебя слишком баловала, — но существует такая штука, как ответственность перед другими. Вместе с наградами приходят обязательства, кто так сказал? Не Делмор Шварц? Из-за тебя я начинаю серьезно подумывать о третьем бокале вина.

— Можешь подумывать сколько влезет. А я говорю «нет» всем газетным интервью.

— Но ты же это не всерьез?

Ее аквамариновые глаза когда-то были, возможно, большими и красивыми — теперь они зловеще поблескивали в середине лица, как два бутылочных осколка в песке на пляже.

И у него не хватило бессердечия устоять перед ее взором. Уступая, он пробурчал:

— Они сами от меня отвяжутся, когда я провалю Нобелевскую лекцию.

— Не провалишь. Этого не может быть. Фолкнер свою написал в самолете, с похмелья, и прочел невнятно, себе под нос, но теперь она исторический документ, вроде Геттисбергской речи[1]. Придумай что-нибудь в геттисбергском духе. Генри, слушай, ты согласен съесть за компанию со мной еще по шоколадной ватрушке или предпочтешь, чтобы я терзалась муками совести в одиночку?

Стокгольм, раскинутый по Балтийскому архипелагу, сверкал на морозе. Золотоголовые шведки с румянцем во всю щеку над волчьими и лисьими воротниками шагали по модным улицам мимо ресторанов и антикварных лавок Старого города — Гамла Стан. Бека доставили в достославное место писательских сборищ, «Чэлларен ден гюльдене фреден»[2], обедать в обществе нескольких шутников-академиков. Один писатель, автор знаменитых «Вермландских приключений» в духе Сельмы Лагерлёф, маленький плешивый непоседливый человечек, признался Беку:

— Уже казалось, всё, тупик, зависли между Гюнтером Грассом и Бэй Дао, с Кундерой в качестве темной лошадки. Вы попали в финал, так как некоторые опасались, что более сильная американская кандидатура может и вправду пройти, а вы, мошенник эдакий, возьми да и выйди на первое место! Ваша победа, на мой взгляд, — результат антисоциалистического протестного голосования. Мы тут, как вы можете видеть, живем хорошо, но кое-кто находит бремя налогов слишком тяжелым.

— Не позволяйте Зигфриду дурить вам голову этими милыми глупостями, — вмешалась дама-академик, утонченная поэтесса и биограф таких нордических классиков, как рано умерший страдалец Эрик Юхан Стагнелиус и сошедший под конец жизни с ума Густав Фрединг. — В Скандинавии вас очень уважают за вашу беспощадную ясность. Вы насилуете женщин, которых описываете. Я лично предпочитаю читать вас во французских переводах, в них у вас стиль особенно чистый и — как это говорится? — крутой.

— Когда подсчитали листки с вашей фамилией, — добавил фельетонист-лирик огромного роста и объема, — я удивился, но не испытал потрясения. С некоторых пор кажется, что вокруг стола собираются для голосования другие, призрачные выборщики. Отсюда и результаты сверхъестественные.

— Как вам, наверно, известно, — снова подхватил первый собеседник, поблескивая очками и подвижной нижней губой, — нас сейчас в Академии не полный комплект, до восемнадцати недобор. Были поданы заявления о выходе из состава, но замена у нас не предусмотрена. Раз ты член Академии, единственный способ выйти — это умереть.

---

[1] Знаменитая речь президента А. Линкольна, произнесенная при открытии государственного кладбища 19 ноября 1863 г. и посвященная установлению национального мира; ее учат наизусть все школьники США.

[2] «Погребок золотого покоя» (*шведск.*).

— Так же как из членов человеческого рода, — дипломатично ввернул Бек. Он немного нервничал. Робин и Голда остались одни в гостинице. Леонтину не захватили на эту неделю протокольных празднеств: Бек опасался, что на холоде она завянет, как жасминовый цвет. Он хотел, чтобы она больше времени проводила со своим мужем, который работал охранником и уходил в ночную смену, когда она возвращалась от них домой. И вообще Бек с Леонтиной слишком сблизились за это время, запряженные в одну телегу заботы о ребенке. Он все больше полагался на ее нездешние суждения и начал даже думать ее голосом. Сегодня, на исходе жизни, пришла пора отключать заржавелый, но еще работающий механизм своей влюбчивости.

А Робин не привыкла целый день сидеть с Голдой. Ей не хватало ее компьютеров и чувства собственной значительности, которое они ей давали. Не хватало своей страницы в Интернете. Швеция была не в ее вкусе.

— Тебе-то хорошо, — жаловалась она. — От тебя только требуется бывать там, где тебя поят вином, кормят обедами да берут интервью, и присутствовать на приемах в честь веселых Нобелевских лауреатов по биологии. А я сиди взаперти при плачущем ребенке в этом так называемом «Гранд-отеле» в окружении какой-то дурацкой помпезной мебели. Идти на улицу холодно, сидеть в четырех стенах жарко. А когда я попробовала заказать что-нибудь в номер по телефону, оказалось, что на кухне говорят исключительно по-турецки.

— Но Ингер сказала, что нам всегда будет на кого оставить ребенка.

Ингер Веттерквист была их нобелевская попечительница; таких приставляли к каждому лауреату. Красивая, толковая и всегда готовая прийти на помощь. От ее стройной, высокой шеи, опушенной льняными прядями, Бек не мог отвести глаз.

А вот у Голды со шведками возникли трудности. Стоило ей завидеть высокую белокурую красавицу, как она немедленно засовывала в рот указательный и средний пальчики левой руки и утыкалась лицом в колено матери. Назавтра после приезда, убедившись, что родители намерены оставить ее на золотоволосую няньку, она страшно переполошилась и разоралась так — Бек в жизни ничего подобного не слышал. Эти солнечные рослые арийки ее пугали.

И действительно, великолепная блондинка внушала страх. Бек заметил, что в мире становится все больше и больше молодых женщин под два метра ростом — группами, целыми баскетбольными командами, они бодро вышагивали по аэропортам или вдоль по Пятой авеню, словно Природа, перестав нуждаться в том, чтобы женщины оставались ближе к земле в целях деторождения и домашнего труда, приступила к выпуску новой разновидности для неведомых задач будущего.

Смущенная Робин, оправдываясь перед девушкой, прикомандированной сидеть с Голдой, пока родители будут на официальном обеде в американском посольстве, попробовала объяснить:

— Понимаете, наша девушка, которая помогает по дому, — черная... ну, вы слышали? Негритянка. И Голда к ней привыкла.

Кончилось тем, что Робин и Бек взяли Голду с собой в посольство; там среди прочего были поданы на стол крохотные морковки, которые малютка брала по одной и аккуратно бросала на пол.

А Беку и правда жилось весело, хотя Нобелевская лекция все еще не была написана — о чем он весь день старался не думать, зато ночью, просыпаясь с дурной головой после поздравительных возлияний, вспоминал и холодел от ужаса. Для него Швеция была одуряющим Эдемом. Ему нравились и краткий взблеск зимнего дня, холодного, как кристаллы льда, и огромные скульптуры Никки Сент-Фалль в «Модерна мюсеет» — женщины! слава им! Грета! Ингрид! их красота, чуть-чуть печальная, как надлежит быть настоящей красоте, рождена в Стокгольме, а затопила весь околдованный кинематографом мир, — нравились легкие пастельные тона города под низким субарктическим небом. Это напоминало Ленинград, каким он увидел его в 1964 году, тогда ему только исполнился сорок один год, он был чувствителен к чарам *аппаратчицы* с каменным лицом и в

армейской гимнастерке и счастлив дышать воздухом Толстого. Нынче, на старости, зрение его потускнело. Он сделал в жизни что мог. Старался писать то, что он хотел, а не то, чего от него ждали; он приехал сюда, в эту северную твердыню, чтобы сложить здесь свое перо. Он дал интервью для «Свенска дагбладет», «Экспрессен», «Дамернас верлд», «Дагенс нюхетер», «Вестерботтенс-курирен». Молодой журналист из «Свенска дагбладет», приехавший его интервьюировать, спросил, что думает Бек о перспективах социализма. Бек ответил, что, на его взгляд, социализм сейчас на стадии спада, но он еще подымется и будет служить альтернативой. Мир — это больной, ворочающийся в постели с боку на бок. Слабых всегда надо будет немножко защищать от сильных, но не слишком надежно, чтобы не пропала потребность самим становиться сильными. Неудача должна быть наказуема, иначе никто не будет стремиться к успеху. Человек находится в сложном положении: он добрее Природы.

Интервьюер из «Свенска дагбладет», толковый парнишка с уже наметившейся круглой проплешиной на макушке, сразу же спросил, не намерен ли Бек положить эти мысли в основу своей Нобелевской лекции?

— Если бы у меня было такое намерение, зачем бы я стал сейчас знакомить с ними вас и ваших читателей? А вот скажите мне вы, о чем обычно говорится в Нобелевских лекциях?

Молодой человек задумался. Ресницы у него были белые, рот узкий, умный — немного похоже на клоуна.

— Н-ну, о том, как важно, чтобы писались книги. Как вышло, что удостоенный премии стал писателем...

— По-вашему, о подобных вещах стоит говорить?

Интервьюируемый интервьюер неопределенно пожал плечами.

— Такова традиция.

— Швеция — страна традиций, да?

Рыжеватые волосы парня были такие тонкие, что кое-где стояли дыбом под действием статического электричества. Он нерешительно улыбнулся. Он не настолько хорошо владел английским, чтобы знать наверняка, что это не издевка.

— Пожалуй, можно так сказать, — ответил он.

— И кажется, к нам в номер скоро должны ворваться ангелы?

— Да, да, певцы, которые возвещают приход святой Лючии, это наш праздник света. — Парнишку все еще беспокоил вопрос о власти традиций в его стране, должно быть, Америка, по его понятиям, вообще страна без традиций. — Зимы у нас долгие, — пустился он в объяснения. — Дни короткие. Отсюда, наверно, потребность шведов в праздниках — в празднествах. Мы зажигаем свечи, много свечей и много факелов, вот увидите. У нас теперь Нобелевская неделя стала веселее Рождественской.

Шведы роздали длинные листы с поминутным расписанием предстоящей церемонии — какая музыка будет исполняться; в каком порядке пойдет процессия; кто где рассядется на подиуме среди членов всяких Академий, и обязательно так, чтобы лауреаты сидели лицом к королевской чете; а по краю сцены будут протянуты цветочные гирлянды, чтобы никто не оступился; а потом в огромном Голубом зале красно-кирпичной Стокгольмской ратуши состоится банкет на тысячу триста персон, есть будут со специального Нобелевского сервиза (Нубельсервисен) под пение Уппсальского мужского хора, по широкой парадной лестнице вниз, танцуя, пойдут девушки в голубых народных костюмах, а им навстречу будут подниматься вереницы официантов, держащих над головой блюда с десертом под тихо трепещущими язычками синего пламени. Но чтобы заработать право на участие в этих грандиозных мероприятиях, Бек должен сочинить и прочесть свою Нобелевскую лекцию.

— Бог мой, что же со мной будет? — жаловался он Робин в гостиничном номере. — Через два дня надо выступать с этой чертовой речью, а у меня нет ни минуты, чтобы сесть и написать текст, все время какие-то приемы и все время приходится пить шампанское.

— Генри, ну что ты дергаешься, я как женщина нуждаюсь в том, чтобы ты был спокойным и светским.

— Что ни придумаю, все не годится. Просто я недостоин.

— Это они и без тебя знают. Ты же сам говорил, что академики выбрали тебя, потому что голосовали друг дружке назло.

— А может быть, тот, кто мне это рассказал, шутил. У них такой своеобразный нордический юмор. Хо-хо, сейчас вышибу тебе мозги!

— А ты знал, — спросила Робин, — что во время войны они были не такие уж нейтральные? Я нашла в Интернете, что их Сапо, секретная полиция, сдавала нацистам бойцов Сопротивления. И у многих шведско-еврейских предпринимателей загадочным образом возникали пожары на производстве. Гитлер обожал шведов; в его глазах они были идеальная нация, das Volk.

— Не пугай меня, пожалуйста. У вас с Голдой расовые предрассудки.

— Она довольно много уже понимает. На-ка. Удели раз в жизни немного внимания дочери. — Она сунула ему на руки Голду. Ползунки у малышки немного промокли. Она улыбалась, обнажая редкие зубки и пуская слюни. Еще один зубок режется. Ее липкая любопытная лапка потянулась к лицу Бека и ухватила его за щеку.

— Ой, — поморщился он.

— Она так привыкла целыми днями оставаться со мной, что удивляется твоей щетине. Я пойду переоденусь и выйду на часок. Один симпатичный молодой служащий в конторе внизу предложил показать мне гостиничный компьютерный комплекс, а потом свозить на набережную, в высотный американский бар с видом на море. Он в ужас пришел, когда услышал, что я совершенно не видела Стокгольма. Не мог поверить, что я тут такая заброшенная.

— А ты ему не объяснила, что это в основном твоя добрая воля? Ингер предлагала найти африканку для Голды, хотя здесь это не так-то просто.

— Они тут все жулики, торгуют поддельными сенегальскими сумками. Ингер говорит, что есть очень смуглые турчанки, но я сказала, нет уж, спасибо, мусульман не надо.

— Вот видишь. Опять предрассудки. До Израиля мусульмане относились к евреям гораздо лучше, чем христиане.

Робин прочитала на его лице тревогу, готовность к поражению и сказала:

— Генри, я молодая. Мне необходимо размяться. Я вернусь вовремя, чтобы ты успел к восьми на этот официальный концерт. И Голда нуждается в магии отцовского влияния. Вот вы с ней как раз и напишете тебе лекцию.

— Члены Академии, достопочтенные гости, иностранные и местные, — так начал свою лекцию Бек. — Нобелевская премия стала такой огромной и знаменитой среди своих собратьев, что по справедливости ее никто не заслуживает и недостойному избраннику только остается прятать свое смущение за спинами остальных, столь же недостойных. — Публика сидела на стульях, расставленных по длинному полутемному парадному залу Шведской академии среди всяких арок и пилястров, — эдакая ренессансная фантазия, видение Микеланджело о человеческом теле, обращенном в архитектурные формы. Король, долговязый и серьезный, в очках в царственно-тонкой оправе, отсутствовал, равно как и его темнокудрая красавица королева. Бек-то по глупости воображал, что будет вещать с вершины мира. А перед ним оказались бледнолицые, равнодушно-вежливые слушатели, собранные в этом жарко натопленном зале у северной кромки Европы, субконтинента, жители которого на протяжении последних веков давили и дурачили остальной мир. Кое-где виднелись отдельные знакомые лица. Мери Джо Цвенглер и лохматый длинноногий, полулежащий на стуле Джим Флаггерти, директор издательства, заметно поседевший за те двадцать лет, что они знакомы, но все так же перекатывающий из-за щеки за щеку воображаемую жевательную резинку, прилетели, отринув заботы, чтобы оказать моральную поддержку своему автору. Явились, надев костюмы в полоску, некоторые из посольской мелкой сошки, командированные специально почтить присутстви-

ем. Робин устроилась в первом ряду, сияющая теплом среди ледяных иностранных лиц. Вся эта публика удивленно всколыхнулась, когда Бек после краткого представления, произнесенного профессором Стуре Алленом, появился на подиуме с младенцем на руках. Но так как в зале были главным образом шведы, они немедленно подавили отдельные смешки, решив, наверно, что живой ребенок — это своеобразная принадлежность национального костюма вроде африканской мантии Воле Шойинки за несколько лет до того.

— Нобелевская премия, она возносит человека на головокружительную высоту, — продолжал Бек, а Голда крутилась у него на согнутой правой руке, того гляди выскользнет, — ставит его на миг в центр всепланетного внимания и соблазняет вещать. Я мог бы порассуждать сейчас о мире, каков он сегодня, в 1999 году, — мире, который ждет, когда кривая времени переломится на грани нового тысячелетия; который поглядывает вчуже, будут ли исламские боевики и дальше закрывать всё новые участки поверхности земного шара тенью современного Средневековья; удастся ли Китаю спихнуть Соединенные Штаты с позиции первой сверхдержавы; изблюет ли Россия капитализм, точно гнилой плод смоковницы; и будет ли разрыв между теми, кто летает на самолетах и кто ездит на запряженной быками телеге, и дальше расширяться, вплоть до революции, или же, наоборот, сузится и наступит хорошо прожаренное диснеевское единообразие, — но что, мои глубокоуважаемые друзья, знаю я о мире? Моя жизнь прошла в заботах о погодных условиях внутри моей души и о моем ближайшем окружении. — В ближайшем окружении Голда становилась все беспокойнее, у нее сделалось серьезное выражение лица, что в сочетании с некими пряными запахами снизу предвещало развитие событий, которое скоро потребует внимания. Правы оказались Мери Джо и Робин: он мог так разглагольствовать до бесконечности, была бы только кафедра и внимающая аудитория. Об этой своей способности лучше бы ему вообще не знать. — Или, — продолжал он, — я мог бы поговорить об искусстве — деле, которым я судорожно и смятенно занимался в мои лучшие, драгоценные часы. Является ли искусство, как думали древние, подражанием жизни, или же, как утверждают теперь, оно содержит все, чего в жизни нет: упорядоченность на месте хаоса, твердость взамен неопределенности, мир и гармонию там, где в нас живет вечная ненасытность, а также, согласно учению Кьеркегора и Мюнша, страх, таящийся на самом дне наших душ? Страх, ужас от сознания того, что мы находимся здесь, на этой планете, которая с каждым новым открытием в астрономии оказывается все более одинокой и незначительной. А может быть, искусство — это одновременно и дубликат и прорыв, жизнь, как бы притянутая за уши к чему-то чуть-чуть более высокому, светлому; иному? Таким ощущаем мы искусство, когда оно сходит с кончика карандаша или появляется на дисплее компьютера. Как бы то ни было, Искусство — это *добро*, хотя бы только для художника.

Голда вертелась все отчаяннее, заставляя его напрягать свои ветхие мышцы и кости. Бек обвел взглядом публику, ряды белых лиц с редкими вкраплениями черных и желтых. Для близоруких серо-голубых глаз Голды — на самом-то деле это просто два оттенка голубизны: более темный ободок, а внутри радужка побледнее, небеснее, — зал, вероятно, уходит в бесконечность, через заднюю стенку, на всю остальную Землю.

— Я представляю здесь только самого себя, — не удержался от продолжения Бек. — По гражданской принадлежности я американец, по религии иудей, не соблюдающий установлений. Но когда я пишу, я, самое меньшее, — представитель моего рода, славного и бедного рода человеческого, а хотелось бы говорить и от лица приматов и вообще позвоночных, может быть, даже и от лишайников. *За Жизнь!* — так звучит древнееврейский тост, выражающий преклонение перед этим дивом, уж по крайней мере на молекулярном уровне, какие бы злодейства ни учиняли друг над другом прожорливые организмы. Я пришел сюда, дамы и господа, с твердым намерением обойтись без генерализаций, не обобщать чудеса, не замазывать неуловимую сущность единичного, того, что и есть явление, пользуясь терминологией Витгенштейна. Перед этой великой задачей язык мой немеет, и я тут во всеуслышание проваливаю свою Нобелевскую лекцию. Вот почему я... еще минутку, детка... пошел по стопам моего предшественника, Нобелевского

лауреата по литературе Нагиба Махфуза — это писатель, который получил удар кинжалом в горло за попытку честно и достоверно описать жизнь родного Египта, настоящий герой на своем литературном поле, где фальшивых героев пруд пруди, — и поручил от моего имени выступить моей дочери. Ей десять месяцев, первый день рождения ей предстоит отпраздновать в новом тысячелетии. Она принадлежит будущему. Мы с ней подготовили следующую тему: «Природа человеческой экзистенции». Итак, — повторил Бек натренированным председательским тоном: — Природа Человеческой Экзистенции!

Они с Голдой все прорепетировали, но с маленькими нельзя быть уверенным, связи у них в мозгу еще не закрепляются. Если бы она сейчас, с полными штанишками и на руках у отца, заплакала во все горло, это было бы тоже высказывание, но слишком эмоциональное, не в отцовском духе. Она не подвела отца. У нее был ясный ум ее молодой матери, очищенный от многих заблуждений и пороков, этих дьяволов, мучивших нас предшествующие две тысячи лет, — или правильнее будет сказать: пять тысяч семьсот шестьдесят лет? В публике круглолицая, сияющая Робин уже приоткрыла рот, охваченная материнской и супружеской заботой, готовая вступиться и спасти. Но Бек взял ребенка на левую руку, так, чтобы маленький рот с режущимися зубками оказался у самого микрофона, похожего на сетчатый шутовской погремок на гибкой ножке. Голда потянулась изогнутыми замусоленными пальчиками, словно хотела сорвать круглый металлический бутон. Бек ощутил лицом пушок на детской головке, жадно вдохнул запах талька. И шепнул в мягкое, горячее крохотное ушко:

— Скажи «пока!».

— Пока! — отчетливо и радостно произнесла Голда, и микрофон усилил и разнес это слово по всему прекрасному беспредельному залу. А она подняла правую ладошку так, чтобы всем было видно, и сжала и разжала пальчики в жесте прощания.

■

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

Стихи

Перевод с польского и вступление А. ГЕЛЕСКУЛА

«Стол со свечкой»

Не всегда поэта переводят поэты, и еще реже пишут о нем не статьи и трактаты, а стихи. Гёте, Байрон, Мицкевич, Лорка — больше в русской поэзии не припомню (исключая, конечно, Гомера). Но это титаны, символы. А вот о беззаконном, легковесном Галчинском Александр Ревич написал поэму; стихами говорили о нем Мария Петровых и Давид Самойлов — и речь шла не о символическом пьедестале, а о чем-то близком и понятном, почти родном. В стихотворении Самойлова «Соловьи Ильдефонса Константы» строки:

Ильдефонс играет на скрипке, потом на гитаре
И снова играет на скрипке...

— не поэтический вымысел. Галчинский действительно играл на скрипке, и не только. Строфа из этого же стихотворения, некогда вычеркнутая цензурой и по сей день не восстановленная:

Плачет редактор, за ним расплакался цензор,
Плачет директор издательства и все его консультанты:
«Зачем я его правил? Зачем я его резал?
Что он делает с нами? Ах, Ильдефонс Константы...»

— тоже биографична. Издательские перипетии, хорошо знакомые русскому поэту Самойлову, портили кровь и его польскому собрату — «зеленому Константы». И в довоенной Польше, и в послевоенной он был одинаково независим и неудобен. А на рубеже сороковых — пятидесятых Галчинский-сатирик — автор сценических гротесков, целого театра, достаточно абсурдистского, под названием «Зеленый гусь» — оказался в роли польского Зощенко. «Зеленый гусь» приказал долго жить, да и стихи легли в стол, дожидаясь посмертной славы.

Судьба Галчинского коренилась в его натуре. Он был наделен той одинокой свободой, которая не приносит радостей человеку, но с которой он ничего не может поделать. Дерзость, озорство, веселость и тоска — эта гремучая смесь не иссякала в поэте, не давая покоя ни ему ни другим. В молодости он мечтал стать уличным артистом, а еще лучше — факиром. И в каком-то смысле стал. Страсть к выдумкам, буффонаде, ко всему цыганскому, цирковому, неприкаянному и вольному оплела имя Галчинского легендами и анекдотами, в большинстве достоверными. На чужой, посторонний взгляд его жизнь, особенно довоенная, порой смахивала на плутовскую новеллу.

В Варшавском университете студента Галчинского едва не наградили медалью за блистательный реферат об английском поэте Гордоне Чийтсе; особенно впечатлял тонкий анализ стихов, да и сами стихи. Не наградили, поскольку обнаружилось, не без помощи самого Галчинского, что такого поэта не было и нет, разве что когда-нибудь появится.

© А. Гелескул. Перевод, вступление, 1999

Единственный раз в жизни Галчинскому улыбнулась чиновничья фортуна. Он устроился референтом по культуре при польском посольстве в Берлине. Перетерпев на первых порах битье баклуш, ему поручили ответственный доклад — перед дипломатическими кругами — об успехах польской Академии. Доклад был долгий и запомнился надолго. Сначала Галчинский с умным лицом, морща лоб, безмолвно прохаживался перед публикой, потом вытащил из кармана статистический справочник и стал монотонно зачитывать: «Производство мыла в Польше достигло в таком-то году... Производство мыла в Польше достигло в таком-то году...» и так далее. Производство мыла росло, недоумение, а затем и негодование слушателей тоже. Кончив, Галчинский долго молчал с задумчивым видом, а потом, сунув справочник в карман, развел руками: «Перед этими цифрами поэт бессилен». Фортуна обделена юмором, и с дипломатической карьерой было покончено.

Таким же «греко-цыганом», по меткому определению современников, он был и в поэзии. Стихи Галчинского словно подтверждают давнее пушкинское замечание, что поэзия вправе быть легкомысленной («глуповатой»). Живая мысль легка и ненавязчива, этим и отличаются поговорки от поучений. Читая Галчинского, невольно вспоминаешь другое имя, тоже поэта, но в иной области, — Марка Шагала. Разные судьбы, разные темы, но общее — легкость, дерзость и безбоязненность. Обоим легче завидовать, чем подражать, хотя многие полагали и доныне полагают иначе. Как и Шагала, Галчинского кто только не винил в небрежности, пренебрежении нормами и вообще в поэтическом бескультурье. К счастью, культуру он понимал по-своему, глубже и не путал ее с чистописанием.

Отсюда и некоторые трудности перевода. Далеко не уверен, что мне это удается, но думаю, что Галчинского надо переводить с помарками, сохраняя его небрежный, непричесанный и пленительный почерк. Во всяком случае, именно так переводили его Иосиф Бродский, Борис Корнилов, Мария Петровых, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Аркадий Штейнберг — перечисление сугубо алфавитное, но впечатляющее. Почему его так охотно и любовно переводили? Быть может, один из секретов его обаяния — в душевном здоровье. Странно звучит по отношению к человеку, который при жизни слыл мистификатором, хулиганом и чуть ли не полупомешанным. В молодости он и сам охотно надевал личину «безумца, гуляки праздного». Но жизнь и судьба Константы Ильдефонса Галчинского не располагала ни к праздности, ни к веселости. Еще студентом он лишился отца, мать вышла замуж и уехала в Чехословакию, он остался один. Дальше сплошная светотень: ранний счастливый брак — и вечные поиски работы. Два года армейской службы оторвали его от семьи, литературы и заработков, но впереди ждало худшее. Трагедия Польши стала и его трагедией — война, плен, шесть лет фашистских концлагерей, европейские скитания, возврат на неласковую, растерзанную родину. Он искренне хотел вжиться в новую Польшу, пытался обуздать свое неуместное вольнолюбие, но ничего с ним поделать не мог. В конце концов сердце не выдержало. Он умер в марте 53-го, сорока восьми лет, не дожив до «оттепели» и радикальных перемен не только в Польше.

Поэзия — это всегда и позиция, которую берут с боем и отстаивают до последнего. Жизненная позиция Галчинского, особенно послевоенная, бесхитростна — он не вития, не поэт-небожитель, а просто человек, который хочет и вправе жить по-человечески. Время упорно отказывало ему в этом праве. Но вся поэзия Галчинского, приглушая пафос иронией, негромко, но неизменно утверждала, что жизнь вопреки всему радостна, всегда и все равно радостна. Считать ли это душевным здоровьем, внутренней гармонией или чем-то еще, одно понятно — подобное жизнеощущение требовало таких душевных сил и мужества, о которых могу лишь гадать.

Надену черные брюки

Надену черные брюки,
кладбищенскую обнову,
и двину в синие дали
прощаться с гулом сосновым.

Оставлю темные слухи
и долгие пересуды,
да в загородной пивнушке
должок за битье посуды.

Когда умру, дорогие,
вдали от вас и полиции,
пошлите, друзья, депешу
Крушевской, панне Фелиции.

Фелиция пишет сонеты
и справится с некрологом:
УВЫ, ГОСПОДА ПОЭТЫ,
ЕЩЕ ОДИН ПРИБРАН БОГОМ.

1924

Фата-моргана

Ну, вот и беды отстали,
сейчас разгоним печаль мы.
В краю серебряной дали
растут зеленые пальмы.

На пальмах спят попугаи,
как звезды, сбитые в стаи,
и пальмы, спать помогая,
баюкать их не устали.

Под пальмой сонные дети
лежат, как черные дыни.
И светит, светит и светит
больное солнце пустыни.

А ночью небо над нею
как шахматные этюды.
И все смутнее, смутнее
бегущие вдаль верблюды.

1929

Колыбельная колыбельке

Петушок сидит над люлькой,
натуральный, не свистулька.
Запевала, задавала,
шпоры остры, перья алы.
Петушок, не квочка.

А под ним — господни силы! —
ручки малы, ножки милы...
птицы... принцы... сны... подарки...
предсказание гадалки...
Дочка.

А над нею в шуме, в гаме
ангелята вверх ногами,

звезды плещут, месяц катит…
Да на все и слов не хватит.
Точка.

1929

Романс

Женский голос в березах, русский отзвук романса.
«Ах, какая тоска!»
И береза иная,
и романса не знаю,
но такая тоска!

Вифлеемское небо все мрачней на закате,
а заря далека.
В небо танцем уносит
ветер женские пряди
и тоску мою злую
унесет в облака.

Бей по струнам. И море, и бездомность матроса —
всё в гитарной струне,
красота и утрата, синева, и береза,
и твой голос во сне.

1935

Зима школьных прописей

Кто снегом радует с небосвода,
хранитель наш и печальник?
Не Бог, мой милый, и не природа,
а наш войсковой начальник.
Заботится, дай ему бог здоровья,
молись за него с любовью.

А кто рисует тебе на стеклах
и пальмы, и звезды юга?
Не стужа бродит у спален теплых,
а мэр и его супруга.
Рисуют пальмы, чтобы жил красиво,
скажи им, дитя, спасибо.

А звон сосулек? Он тоже кем-то
затеян. Нет, не морозом.
Эксперты, детка, и референты
по самым важным вопросам
ночей не спали, «ура» кричали,
и видишь — не подкачали.

Сидят министры в варшавском зале,
и главный — такой хороший:
седой и статный, сверкнет глазами
и грязь заметет порошей.
Светлей дорога к пивной и школе,
спасибо ему. И если

метет, запомни — метет не в поле,
а в министерском кресле.

И знай — коль бубенчик зальется где-то
и снегом завеет тропку,
это министр в углу кабинета
нажал на такую кнопку,
что взмыли сани и выплыл месяц
светить городам и весям.

1936

***

Зима уже наступала, но ветер, южный, пахучий,
дышал, как девичьи ленты, над лагерем, талой лужей.
Как ноты, чернели буки за проволокой колючей.
Она из-за буков вышла и тихо сказала: — Слушай.

Я неразлучно с вами и горести ваши знаю.
Останься сильным и нежным, любовь и доблесть нетленны.
Я ваша мольба ночная, и ваша борьба дневная,
и золотистое облако. Я Богоматерь пленных.

Я знаю, как одиноко и как безответны письма,
бессонные знаю ночи и гиблую дней трясину.
И я все горести ваши сбираю, ныне и присно,
сплету венком шелестящим и кину под ноги Сыну.

И он им отыщет имя, склонясь над каждой слезою,
оставив царские знаки, сойдя с небесного трона,
одну наречет рубином, другую же — бирюзою,
а ту, что горчайших горше, — могучей зеленой кроной.

Я знаю, как нестерпимо, и я неразлучно с вами,
я след ваш на снежной хляби и раннее утро в зоне.
И всем, кто молчит и терпит со стиснутыми зубами,
на плечи, как дождь на травы, ложатся мои ладони.

Я ухожу, до встречи. Спешу я к угнанным женам.
Им легкие сны навею о днях, когда все вернется,
о розовых распашонках, о городе несожженном.
И зацвету калиной над теми, кто не проснется.

1944, лагерь Альтенграбов

Песнь о флаге

Был под Нарвиком[1] первый.
А второй? Под Тобруком[2].
Ну а третий — под Монте Кассино[3].

---

[1] Нарвик — порт на севере Норвегии, где в 1940 году после высадки десанта союзников шли жестокие бои, в которых отличились польские воинские формирования. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Тобрук — ливийский порт; в 1941—1942 гг. после захвата его британским десантом в боях с армией Роммеля сражались польские части.

[3] Монте Кассино — старинная горная крепость, немецкий форпост, на штурм которого в 1944 г. союзное командование бросило польские батальоны. Ценой огромных потерь они овладели крепостью, открыв союзным войскам дорогу на Рим.

Каждый цвета зари небывалой,
белый и алый, белый и алый,
алый, как пенный кубок,
белый, как пух голубок,
белый и алый.

Ночью слетелись флаги —
друг другу придать отваги:
— Держись, поникать не надо!
Не сломит и сила ада —
не зря мы назло той силе
друг друга заговорили,
и нас ни пули, ни чеки
не перекрасят вовеки,
не бойся — не покраснеешь,
а белым стать не посмеешь,
останешься бело-алым,
родным, безрассудным, шалым,
алым, как пенный кубок,
белым, как пух голубок,
белым и алым.

Что им еще оставалось,
как не скликать друг друга!
Сверля белизну и алость,
свинцовая выла вьюга.
Кричали флаги: — Не дрейфьте!
Пока хоть лоскут на древке,
пока не оттрепетал он —
останется бело-алым.
И ни свинец, ни злато
не сгубят того, что свято.
Под Нарвиком или Брянском
на нашем пути цыганском
заря не отполыхала,
все так же мы бело-алы,
белы, как пух голубок,
алы, как пенный кубок,
белы и алы.

Над полночным сукном зеленым
упыри вышибали пробки
и под гимн орденам и погонам
стрекотали всю ночь шифровки.
Упыриный рассудок плоский
не стерпел бело-алой загвоздки.

Флаг заплакал: — Не я виной,
что непрошеный, что иной,
неприкаянней, чем другие,
от недоли и ностальгии,
от отчаянности недужной
и души, никому не нужной.
Как шопеновские печали,
руки Девы меня тачали.

И девичья рука ответно
понесла лоскуток двуцветный
выше облака и зенита,
еще выше, где все забыто,
еще выше, где только слава,
где Варшава, моя Варшава
бело-алой песнею стала,
белой, как пух голубок,
алой, как пенный кубок,
белой и алой, белой и алой, белой и алой.

1944, лагерь Альтенграбов

Новогодняя открытка в местечки и села

Пускай голословят трутни,
а я, родные,
я знаю и ваши будни,
и выходные.

Вечерняя скука сморит
дневную склоку,
и новое утро взмоет,
да что в нем проку.

На улицу — дождь ли, солнце —
глядеть тоскливо:
единственный свет в оконце —
«ВИНО И ПИВО».

А здесь, на столичных стогнах,
светло, как в церкви,
и звуки Шопена в окнах,
и сплошь концерты,

кругом фонари и урны —
не ваша слякоть,
и все до того культурны,
что впору плакать.

А ваши окна забиты.
Тоска? Да бросьте!
Немного наладим быт мы —
и вырвем гвозди.

Культура — не свет небесный,
а стол со свечкой,
привычной и повсеместной,
зато сердечной.

И пусть огонек неярок,
а жить светлее.
Прощаюсь и вместо марок
я сердце клею.

1947

Вариации на житейские темы

Чтобы жаль было с ней расстаться,
жизнь должна быть как лента в танце,
с позолотой,

чтоб заботы, дела, печали
родниковой водой журчали,
не болотной,

чтоб не только по именинам
то колечко жене с рубином,
то браслетик,

чтоб Венера светила в поле,
чтобы к хлебу — щепотка соли
и букетик,

чтобы ночь была лунной-лунной
и сова проплывала шхуной
темнокрыло,

чтобы утро с его трудами
загоралось в оконной раме
и бодрило,

чтобы звезды на ясном небе,
дрозд на жердочке и «Онегин»
под рукою,

чтоб подсвечник стоял удобно
и дымился табак, подобно
пеплу Трои,

чтобы мирно цвели герани,
чтобы слышались, как в органе,
вздохи ветра

и звучал бы в нем vox humana
Иоганна Себастиана
до рассвета,

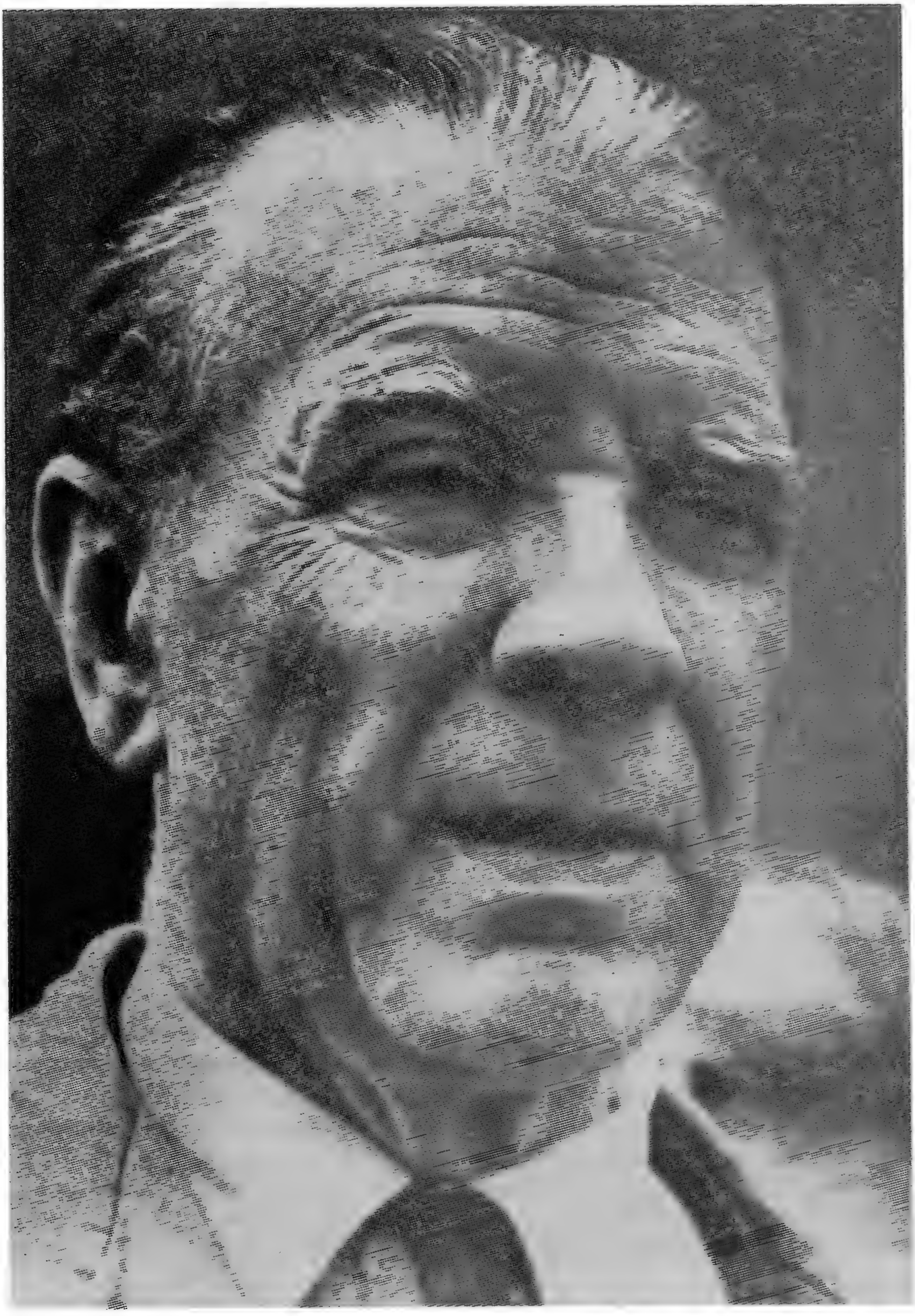
чтоб и кот, и сверчок, и псинка,
и чтоб был полуштоф с перчинкой,
а рождественский гусь с начинкой,

и вообще чтоб не только шкварки
или студни,
а на праздник — сонет Петрарки,
да и в будни.

1951

ЛИТературный ГИД

БОРХЕС,
или История бесконечности



Борхес в свои сто: знакомый и неизвестный

Как выстроить композицию, если сюжет — открытый? После романтиков в литературе, кажется, воцарилась мифология юности, мгновенной находки, однократного озарения: гений (он же — светоч) сверкнул — и погас. А куда более древняя модель «людей письма» — ровесников и свидетелей века, по-библейски умудренных годами? Тут-то и встает вопрос о строе целого, об источниках долголетия. В любом случае повторений в такой судьбе — с этим приходится трезво считаться — никак не избежать. Борхес (поэт-старик — лишь одна из его парадоксальных граней) нашел или по обыкновению где-то почерпнул, слегка переиначив, формулу взрослого существования в литературе: «иной и прежний». И, как ни странно, с годами в борхесовском образе открывается все больше непривычных черт. Среди прочего, становится яснее, до чего долго и трудно он, напечатавшийся уже девятилетним мальчишкой, шел к своей зрелости.

По неопубликованным юношеским книгам лирики и прозы, следы от которых все же сохранились или раскопаны, по отсеянным при переиздании ранних поэтических сборников стихам, по первым, потом не перепечатывавшимся, но сохранившимся у книгочеев сборничкам эссе начала двадцатых видно, от чего Борхес потом упорно и сознательно уходил. (Не забудем: этот путь в нем и вместе с ним проделывала вся латиноамериканская литература, которой на карте мира до Борхеса *просто не было*.) Дело не только в велеречивой пышности метафор, разъедающих лирику и прозу. Скорее, молодого Борхеса стал смущать безответственно раздувавшийся его сверстниками и современниками культ «я», не обеспеченный собственным достоянием (не потому ли сбивались в кучку?), зато ощутимо девальвировавший слово (не оттого ли слова изливались с такой щедростью?). Вместе с тем легко видеть, что многие составные части того, что потом стали называть Борхесом — эрудиция, любовь к детали, ироничность, включая самоиронию, рассчитанный контрапункт английского барокко с лаплатским танго, — в первоначальных опусах уже есть. Мелькают знакомые нам (по будущему) образы, звучат привычные (ретроспективно) имена. Чего, пожалуй, еще нет (но что, как теперь кажется, уже проскальзывает в примирительных интонациях, во внимании к повседневной прозе), так это спокойного чувства невидимой точки за любым горизонтом и даруемого этим спокойствием доверия к языку, к *у-словности* слова. Последнее свойство Борхес потом свяжет с классичностью, но в лагерь классиков — именно из-за борхесовской сосредото-

© Б. Дубин, 1999

ченности на запредельной вехе — не перейдет. Он предпочтет трудить оба крыла литературы: и классическое и романтическое.

Однако выбор при этом сделает жесткий — и неожиданный. Парадоксально, но целиной для этого, казалось бы, до мозга костей литературного юноши, знатока и ценителя разнообразнейших книжных традиций станет... *нелитературное*. Как будто бы не попадающие в горделивую литературу с большой буквы низкие предметы (мошенничество, преступление, сводничество, предательство, промискуитет, выпивка и малопристойные танцы мулатов и «черных».) Не удостоенные места в высокой словесности очерк, фантастика, детектив. Не попадающие ни в какую родовидовую ячейку — им и названий-то не подберешь — новеллы-эссе, стихотворения в прозе, рецензии на несуществующие книги. С конца двадцатых годов Борхес несколько десятилетий работает в ежедневных и еженедельных газетах, в массовых тонких журналах — семейных, иллюстрированных, включая придумывание подписей, скроенные тут же на месте врезки от редакции, заметки в подбор, материалы по случаю (как скандализовал он этими неблагородными сюжетами обожаемую и обожавшую его мать и как мучаются теперь литературоведы, устанавливая авторство сотен и сотен не подписанных Борхесом публикаций и предавая их тиснению прямо геологическими пластами: «Напечатанное в «Пестром обозрении», «Напечатанное в «Критике», «Напечатанное в «Юге», — и так том за томом, а конца пока не видно). Плодоносная разнородность здесь — и свидетельство, и источник силы: Борхес — не эстет, Борхес — работник. Но пока еще не найдены две главные вещи, по которым его будут узнавать и которые кто-то готов теперь счесть «единственным настоящим Борхесом»: *облик и интонация* старика в поэзии, *жанр и тон* писателя на географическом краю земли и при конце исторического мира (мира традиции, мира книги) — в прозе.

С той поры — по хронологии это примерно начало и середина пятидесятых, слом и крах пероновской диктатуры, годы растущего, в том числе за рубежом, признания, как, кстати, и выхода латиноамериканской литературы за географические и языковые рамки, время первого собрания сочинений, высокого официального поста и вместе с тем окончательной слепоты, — к высочайшей борхесовской продуктивности и его поразительному разнообразию присоединяется жестокий отбор. Показательно, что на вещи, написанные Борхесом в соавторстве (их количество и жанрово-тематическое разнообразие, кстати, ничуть не меньше — Борхес, что для его постклассического облика опять-таки характерно, любил и умел работать в паре), беспощадность мастера к себе как будто не распространялась: они были собраны и изданы при жизни и по воле Борхеса. Радикальность же самоопровержения, масштаб безжалостно отброшенного — а в отсев ушло приблизительно четыре пятых не просто написанного, но уже так или иначе опубликованного авторитетным писателем, для кого-то даже мэтром! — впечатляют. Присовокупим к этому плоды последних лет и месяцев жизни — новеллы, эссе, книги, вышедшие после кончины автора; дополним реестр целой библиотекой составленного и переведенного неуловимым и неисчерпаемым аргентинцем. Вряд ли случайность, что последние (скажу осторожнее, словами Рикардо Пильи: «те, которые мы, сраженные совершенством такого финала, считаем сегодня последними») замыслы всеохватного Борхеса — это книга мира «Атлас» и книга книг «Личная библиотека».

Сейчас Борхесу — век. Обычно к этому символическому возрасту писатель, и не всегда по чужой воле, бронзовеет: мемориально-чеканный профиль, академически выверенное (вываренное) собрание программных сочинений. С Борхесом ничего похожего — цикл завершен, идет новый: «Сызнова ныне времен начинается строй...» — процитировал бы он, вероятно, любимого Вергилия (в 1938 году эти строки спасали его в двух шагах от смерти). Всемирная библиотека, которая по условности — по нашей о том *у-словленности* — носит имя «Борхес» (сам он считал ее принадлежащей всем и никому), и состоит из конечного, хотя и не доведенного пока до конца, числа элементов, как известно, «периодична и бесконечна».

БОРИС ДУБИН

■

ВИКТОРИЯ ОКАМПО

Беседа с Борхесом

Виктория Окампо. Прежде чем вы приступите к рассказу об этой фотографии ваших предков, скажите, какое ваше первое детское воспоминание?

Хорхе Луис Борхес. Я не могу точно определить мое первое воспоминание. Не знаю, связано ли оно с этим берегом реки или с другим, относится ли к району Палермо в Буэнос-Айресе или к вилле в Пасо-дель-Молино в Монтевидео. Мне видится клумба и радуга.

В. О. Поговорим о вашей семье. Вы о ней упоминаете в своих стихах. В альбоме, который вы мне показали, на первой странице фотографии трех женщин. Кто была Джейн Арнетт де Хейзлем со стрижкой каре и в нарядном платье?

Х. Л. Б. Эта девушка — одна из моих прабабок. Она родилась в графстве Стаффордшир. Мне чудятся в ее лице черты моей сестры Норы. Она была из семьи квакеров.

Фанни Хейзлем де Борхес

В. О. Кто была Каролина Хейзлем де Суарес, глядящаяся в зеркало, — зеркала всегда тревожили вас и фигурируют в ваших стихах.

Х. Л. Б. Это моя двоюродная бабушка со стороны отца. Она потеряла свое состояние и занялась преподаванием английского языка. Была очень хороша собой. Одной из ее учениц была Мариета Айерса, часто вспоминающая миссис Суарес. На меня она, сам не знаю почему, производила большое впечатление.

В. О. Мне незачем спрашивать, была ли Фанни Хейзлем де Борхес вашей бабушкой-англичанкой. В какой мере ее можно считать англичанкой?

Х. Л. Б. Это для нее было свято. Как-то раз я, будучи еще мальчиком, под влиянием произведений сэра Вальтера Скотта спросил у нее, нет ли в ней шотландской крови. «Слава Богу (thank goodness!), во мне нет ни капли ни шотландской, ни ирландской, ни уэльской крови», — ответила она. Когда она умирала, мы все стояли вокруг нее, и она сказала: «Я всего лишь старая женщина, которая очень-очень медленно умирает. В этом нет ничего примечательного или интересного». Она оправдывалась перед нами, что так долго умирает. Она читала и перечитывала Дик-

---

© Е. Лысенко. Перевод, 1999

кенса, но также Уэллса и Арнолда Беннетта[1]. Сдержанность и деликатность Норы — от Фрэнсис Хейзлем.

В. О. Рядом с нею мы видим полковника Франсиско Борхеса Лафинура, ее мужа. Что вы знаете об этом военном, и в каком родстве он находился с Хуаном Крисостомо Лафинуром?

Х. Л. Б. Он был сыном Кармен Лафинур, сестры Хуана Крисостомо, нашего, пожалуй, первого поэта-романтика. Родился он в осажденной крепости Монтевидео во время Великой войны, как называют ее жители Восточного берега[2]. В пятнадцать лет он в этой крепости воевал против «бланкос»[3]; потом, в Касеросе, воевал под началом Уркисы[4]; потом в Парагвае, в Энтре-Риос, на границах южной и западной. Митре[5] тайно готовил переворот; бывший тогда президентом Сармьенто[6] спросил у моего деда, можно ли рассчитывать на военные отряды, находившиеся под его командованием в Хунине. «Пока вы у власти, — ответил Борхес, — можете на них рассчитывать». Революция ширилась, Борхес, который был приверженцем Митре, сдал командование своими отрядами и один явился в революционный лагерь в Туйу. Кое-кто усматривал в этом акте верности неверность. В 1874 году произошло сражение при Ла-Верде, митристы были разбиты; после их поражения Борхес на сером коне, в белом пончо, скрестив руки на груди, в сопровождении десяти-двенадцати солдат медленно направился к вражеским окопам. Он шел на верную смерть. <...>

В. О. Скажите, Борхес, кто были Ленор Суарес Аэдо и Исидоро Асеведо Лаприда?

Х. Л. Б. Вы назвали, Виктория, моих деда и бабушку. Ленор Суарес была дочерью полковника Исидоро Суареса, который в двадцать четыре года командовал колумбийской и перуанской кавалерией в атаке, принесшей победу при Хунине[7]. Он приходился троюродным братом Росасу, но был унитарием[8] по убеждениям и предпочел с честью умереть в изгнании, в Монтевидео. Мой дед Асеведо был ро-

---

[1] Арнолд Беннетт (1867—1931) — английский романист и драматург. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

[2] То есть уругвайцы.

[3] «Бланкос» («белые») назывались члены уругвайской Консервативной партии в отличие от «рохос» («красных»), членов Либеральной партии.

[4] Хусто Хосе де Уркиса (1801—1870) — аргентинский военный и политический деятель, выступивший против диктатора Рохаса и нанесший ему поражение в Касеросе (1852).

[5] Бартоломе Митре (1821—1906) — аргентинский военный и политический деятель. В период диктатуры Росаса сперва эмигрировал, затем присоединился к Уркисе, потом воевал с ним.

[6] Доминго Фаустино Сармьенто (1811—1888) — аргентинский политик, писатель и педагог. Автор знаменитого публицистического труда «Факундо, или Цивилизация и варварство» (1845).

[7] При Хунине, в Перу, в 1824 г. войска Боливара нанесли сокрушительное поражение армии испанцев.

[8] Унитариями называли в Аргентине приверженцев Конституции 1819 г., провозглашавшей сильную центральную власть.

дом из Сан-Николаса. Он любил говорить: «Я родился на хорошем берегу Арройо-дель-Медио[1]». Он сражался на Павоне, в Сепеде и в Пуэнте-Альсина; в те времена штатские были более опытны в военном деле, чем нынешние военные.

Леонор Суарес Аэдо и Исидоро Асеведо Лаприда

В девять или десять лет он как-то проходил мимо рынка «Меркадо-де-Плата». Было это во времена Росаса. Два человека в чирипá зазывали с повозок купить белые и желтые персики. Мальчик приподнял накрывавший их холст — то были отрубленные головы унитариев с окровавленными бородами и открытыми глазами. Он убежал домой, забрался на лиану, росшую в дальнем патио, и только вечером сумел рассказать о том, что видел утром. Потом, во время гражданских войн, ему довелось многое повидать, однако то первое впечатление оказалось самым глубоким.

В. О. Я вижу, что в вашем роду, Борхес, было много воинов. Не думаете ли вы, что это в какой-то иной форме отразилось в вашей литературе, в вашей жизни?

Х. Л. Б. В моей жизни вряд ли. В литературе — да. Меня никогда не покидала ностальгия по эпической судьбе, в которой боги мне отказали и, без сомнения, весьма мудро.

В. О. Что находите вы достойным восхищения в воине или какого рода воином восхищаетесь более всего? Что особенно восхищает вас, например, в человеке вроде Сан-Мартина — его физическая отвага или его бескорыстие, его талант тактика или его щедрость?

Х. Л. Б. Статуи Сан-Мартина, изображения статуй Сан-Мартина, годовщины, возложения цветов и — чего уж таить? — стиль панегиристов немного отдалили от меня этого деятеля. Сармьенто видел в нем военного в европейском духе, запутавшегося в войнах нашего континента, который он, бесспорно, любил, но так и не сумел понять.

В солдате я восхищаюсь духом человека, отказавшегося или старающегося отказаться от своей личной судьбы.

В. О. Не думаете ли вы, в соответствии с семейными традициями, что, как говорил маркиз де Сантильяна[2], «перо не притупляет острие копья»?

---

[1] Река, служащая естественной границей между провинциями Санта-Фе и Буэнос-Айрес.
[2] Иньиго Лопес де Мендоса Сантильяна (1398—1458) — испанский поэт.

Х. Л. Б. Поэзия начинается с эпоса, ее первой темой была война. <...>

В. О. Что привлекает вас в фигурах поножовщика и куманька, которые через много лет появятся в борхесовских рассказах.

Х. Л. Б. Меня привлекает то, что Эваристо Карриего[1] называл «культом храбрости». Думаю, что эти поножовщики были убогими людьми, которые, чтобы оправдать свое существование, создали то, что я однажды назвал «сектой ножа и удали». Разумеется, удали бескорыстной.

В. О. А что вам больше всего нравится в танго — музыка, текст, танец или все вместе?

Х. Л. Б. Больше всего мне нравится музыка. Милонга мне нравится больше, чем танго, а танго-милонга больше, чем танго-песня, которое мне кажется однодневкой. <...>

В. О. Вот здесь ваши отец и мать. Как вы думаете, какие черты вы унаследовали от этой молодой счастливой пары?

Х. Л. Б. Я был бы рад унаследовать хоть одну черту.

В. О. Не мучает ли вас мысль, что вы когда-либо причинили им страдания?

Х. Л. Б. Надеюсь, я не слишком их разочаровал, однако меня, как всех детей, совесть укоряет за многое. Особенно за то, что многие годы моей жизни я был глубоко несчастлив и этим сильно их огорчал.

В. О. В какие игры вы играли в том возрасте, когда вы сняты с книгой в руке? Что это за книга?

Х. Л. Б. Что до книги, мне ее сунул в руку фотограф. А что касается игр, в них заводилой была Нора. Она заставляла меня залезать на головокружительно высокий ветряк для накачивания воды в нашем саду в Палермо и ходить по очень высоким и узким оградам. Я следовал за ней, потому что не хватало смелости сказать, что я боюсь.

В. О. Стало быть, Нора была вашей подругой в играх, в шалостях и, как вы говорите, заводилой?

Борхес-отец

Леонор Асеведо де Борхес, мать писателя

Х. Л. Б. Именно так. Теперь она стала совсем другой. Однако твердость у нее прежняя, и она это доказала, когда сидела, как и вы, Виктория, в тюрьме. Те, кто ее теперь знают, не поверят, что ей очень нравились игры, которые англичане называют practical jokes[2]. Она отказалась от проказ и шалостей и вступила в блаженную секту ангелов.

В. О. А у вас были честолюбивые мечты? Пробудилось ли вполне уже в юности ваше призвание писателя, поэта?

Х. Л. Б. Да, я почему-то всегда знал, что буду писателем. Что ж до моих чес-

---

[1] Эваристо Карриего (1883—1912) — аргентинский поэт.

[2] Грубые шутки, сыгранные с кем-то (*англ.*).

толюбивых мечтаний, не знаю, Виктория, говорил ли я вам, что в детстве я часто слышал разговоры о *ratés* — употребляли не испанское слово *fracasados,* неудачники, а французское *ratés*. Я слышал эти разговоры о *ratés* и с тревогой говорил себе: «Только бы мне не стать raté!» Дальше этого мое честолюбие не заходило.

В. О. Да, в качестве *raté* вы потерпели неудачу. Какое у вас было в юности самое большое желание — быть любимым или быть знаменитым?

Х. Л. Б. Я никогда не мечтал быть знаменитым и, пожалуй, не надеялся быть любимым. Мне казалось, что я не заслуживаю быть любимым, что это было бы несправедливо: я полагал, что недостоин никакой особой любви, и, помню, в дни моего рожденья мне бывало стыдно из-за того, что меня осыпали подарками, а я думал, что ничего не сделал, чтобы это заслужить, — что я просто обманщик.

В. О. Почему вы почувствовали потребность писать? Что особенно привлекало вас в литературе в те годы?

Х. Л. Б. На первый вопрос ответить трудно или вовсе невозможно. Что касается второго, меня привлекали поочередно греческая мифология, скандинавская мифология, Пророк под Покрывалом из Хорасана, Железная Маска, романы Эдуардо Гутьерреса[1], «Факундо», чудесные кошмары Уэллса и «Тысячи и одной ночи» в переводе Эдуарда Уильяма Лейна. За порядок перечисления этих увлечений не ручаюсь. Два друга тех лет сопровождают меня и поныне — это «Гекльберри Финн» и «Дон Кихот».

В.О. Можно ли считать, что вы, как сказал бы Сент-Экзюпери, родом «du pays

[1] Эдуардо Гутьеррес (1851—1889) — аргентинский писатель.

de votre enfance»[1]? Чувствуете ли вы влияние своего детства, как в той или иной мере чувствуем все мы, с той лишь разницей, что одни сознают это больше, чем другие?

Нора Борхес

Х. Л. Б. В душе я остался тем же, что в детстве. Разве что приобрел кое-какой опыт.

В. О. Давайте теперь войдем в то, что вы называете «изначальным домом детства». Какой он был?

Х. Л. Б. Хронологически первым был невысокий старинный дом на улице Тукуман, между улицами Суипача и Эсмеральда. В нем, как во всех домах, были два окна с железными решетками, передняя дверь с тамбуром и два патио. В первом, вымощенном черными и белыми мраморными плитками, был бассейн с черепахой на дне, чтобы очищать воду. В Монтевидео, говорят, роль фильтра играла жаба. Люди не задумывались над тем, что черепаха не только очищает воду, но также загрязняет.

Более отчетливо я помню дом в Палермо на улице Серрано. Это был один из немногих на нашей улице двухэтажных домов. Остальные дома были одноэтажные и вокруг лежали пустыри.

В. О. Дом в Парана́[2], где родился ваш отец, вы видели во сне или наяву?

Х. Л. Б. И во сне и наяву, но, поскольку я его много раз видел на фотоснимке, думаю, что образ его в моем сознании — это образ фотоснимка, а не самого дома, который я видел, когда приезжал в Энтре-Риос. Тут, как и со многими моими друзьями, я с грустью спрашиваю себя, действительно ли мое воспоминание о Гуиральдесе[3] это воспоминание о Гуиральдесе или я его подменил воспоминанием о его фотографии. Фотография легче запечатлевается в памяти, потому что она неподвижна, когда же видишь человека, он ведь непрестанно меняется.

В. О. Какие краски, какие звуки, какие голоса помните вы в этом саду на улице Анчорена 1626, изображенном на снимке? Ваша сестра Нора мыслит в красках и в формах. Когда она была еще совсем молодая, она меня однажды спросила: «Что тебе больше нравится, роза или лимон?» Вы в этом похожи на нее?

Х. Л. Б. Нет, нисколько. Я не могу сказать, как Теофиль Готье: «Je suis quelqu'un pour qui le monde visible existe»[4]. Я мыслю скорее отвлеченно или эмоционально, а

---

[1] Из страны вашего детства (*франц.*).
[2] Парана́ — административный центр аргентинской провинции Энтре-Риос.
[3] Рикардо Гуиральдес (1886—1927) — аргентинский писатель, самый знаменитый его роман — «Дон Сегундо Сомбра» из жизни гаучо.
[4] Я человек, для которого видимый мир существует (*франц.*).

не в формах и красках, как моя сестра. Я не всегда уверен, брюнеты или блондины люди, с которыми я общаюсь; наверно, моя прогрессирующая слепота способствовала становлению абстрактного мира, в котором я живу. <...>

В. О. Вспоминали ли вы с любовью свой Буэнос-Айрес, когда были учеником коллежа в Женеве, который Нора изобразила с красной крышей?

Х. Л. Б. Да, я всегда думал о Буэнос-Айресе. У нас дома было несколько аргентинских книг: «Факундо», три томика Аскасуби[1], «Мартин Фьерро», «Военные силуэты» Эдуардо Гутьерреса и «Хуан Морейра». Я очень гордился, что в романе «Военные силуэты» речь идет о моем дедушке Борхесе, хотя, естественно, я бы предпочел быть внуком Морейры, а не Борхеса. Была также книга «Еретические мессы», которую Эваристо Карриего посвятил моему отцу. Не могу также не упомянуть «Сентиментальный лунный календарь» Лугонеса и «Золотые горы». Я читал и перечитывал эти книги, чувствуя, что они связывают меня с родиной. Однако из этой моей

Дом на авениде Кинтана, 263

ностальгии не следует делать вывод, что я не чувствовал глубокой любви к городу Женеве, какую чувствую и поныне. <...>

В. О. Расскажите о вашем отце. Хотелось бы знать, какая литература ему нравилась и каким был этот человек, которого вы видели и знали.

Х. Л. Б. Он был человек очень умный и, как все умные люди, очень мягкий. Был последователем Спенсера. Однажды он мне сказал, чтобы я хорошенько запомнил отряды солдат, их военную форму, казармы, флаги, священников и лавки мясников, потому что все это скоро исчезнет, а я смогу рассказать своим детям, что был очевидцем всего этого. Его пророчество еще не исполнилось. Он был настолько скромен, что предпочел бы быть невидимкой. Очень гордился своим англосаксонским происхождением, но любил и пошутить по этому поводу. С притворным недоумением он говаривал: «Не понимаю, почему так восхваляют англичан. Что они такое, в конце-то концов? Просто орава сельских батраков-германцев». Его кумирами были Шелли, Китс, Вордсворт и Суинберн. Реальность поэзии, тот факт, что слова могут быть не только игрой символов, но также магией и музыкой, — все это было мне открыто моим отцом. Теперь, когда читаю вслух какие-нибудь стихи, я невольно подражаю голосу отца. Он часто повторял, что в нашей стране катехизис заменила история Аргентины. Он относился подозрительно к разговорной речи,

---

[1] Иларио Аскасуби (1807—1875) — аргентинский поэт.

Адольфо Бьой Касарес, Виктория Окампо и Хорхе Луис Борхес

полагая, что многие слова таят в себе ложный смысл. Больные, которых отправляют в санаторий, думают, говорил он нам, будто их там сделают здоровыми, потому что корень этого слова латинское sanus — «здоровый».

В журнале «Носотрос» вы можете найти несколько его замечательных сонетов — отчасти в манере Энрике Банчса[1]. Он оставил один исторический роман «Кауди-льо». Написал и уничтожил несколько книг. Читал по-английски лекции на кафедре психологии в Центре изучения живых языков, что на улице Эсмеральда.

В. О. В каком из ваших стихотворений и рассказов вы мечтали снова выйти на вот этот балкон?

Х. Л. Б. Не знаю. Если говорить о балконе нашего первого дома на авениде Кинтана, он, наверно, упомянут в каком-нибудь стихотворении. Дело в том, что, хотя мне очень нравились рассказы, я тогда думал, что недостоин сочинять рассказы, что это для меня слишком трудная задача. Но если речь идет о нашем доме на улице Анчорена, я в то время, вероятно, обдумывал рассказ «В кругу развалин». Писал я его неделю. Всю ту неделю я ходил на работу в библиотеку Альмагро, несколько раз был в кино, встречался с друзьями, однако это происходило будто во сне, потому что «В кругу развалин» я переживал как ни одно из моих литературных произведений ни до него, ни после.

---

[1] Энрике Банчс (1888—1968) — аргентинский поэт, автор стихов в классическом стиле.

В. О. Верите ли вы, что от людей, долго обитавших в каком-нибудь доме, там что-то сохраняется, что-то как бы витает, и все дома — в большей или меньшей степени «haunted» «hantees»[1]? И почему в испанском нет слова «haunted»? Возможно, ни у одного испанца или латиноамериканца не было потребности его изобрести?

Х. Л. Б. Совершенно с вами согласен. Думаю, что слов вроде «haunted», «uncanny» «eerie»[2] нет в других языках потому, что люди, на них говорящие, как вы сказали, не чувствовали потребности их изобрести. Зато в английском или шотландском есть слово «uncanny», и в немецком аналогичное «unheimlich», потому что этим людям слова были необходимы, потому что эти люди чувствовали присутствие чего-то сверхъестественного и вместе с тем злокозненного. Думаю, что языки соответствуют потребностям тех, кто на них говорит, и если в каком-либо языке отсутствует некое слово, причина в том, что нет такого понятия или, вернее, чувства. <...>

В. О. Вы поместили действие рассказа «Мертвый» на берег этой уругвайской реки, где вы сняты?

Х. Л. Б. Да. Я думал именно о том месте, но историю эту можно было бы перенести к любой границе, вовсе не обязательно, чтобы она происходила на берегу реки Арапей.

В. О. Как вы себе представляете фильм на основе этого вашего рассказа, который вдохновил одного североамериканского режиссера? Я слышала, что по рассказу «Мертвый» собираются снять фильм.

Х. Л. Б. Без лишнего тщеславия могу сказать, что из этого рассказа можно сделать хороший вестерн. В слова «хороший вестерн» я не вкладываю ни малейшего пренебрежительного оттенка. Полагаю, что в наше время, когда писатели забыли, что одна из их обязанностей или одно из их призваний — это создание эпоса, вестерн сохранил для мира эпический дух. То есть на всех широтах вестерн сумел удовлетворить потребность в эпопее, являющуюся одной из благороднейших черт человеческой души. <...>

В. О. Нора, которая на этой фотографии чем-то похожа на Офелию, жила и росла вместе с вами. Не думаете ли вы, что в ее живописи отражаются какие-то черты предков из этого альбома, или же воины у нее преобразились в ангелов? Могла бы Нора рисовать воинов, а вы описывать ангелов?

Х. Л. Б. Думаю, что нет. Если бы Нора взялась рисовать воинов, они были бы кротчайшими и добрейшими существами. Что ж до меня, я считаю себя недостойным заниматься ангелами. Но что касается предков, думаю, в Норе скорее есть что-то от протестантских пасторов английской ветви нашей семьи, чем от аргентинских или уругвайских воинов.

В. О. А вот здесь я вижу моего зятя Адольфо Бьой Касареса. Расскажу вам один факт, возможно, вам не известный. Когда Адольфито был еще подростком, его мать Марта, озабоченная пробуждавшейся в сыне склонностью к писательству, спросила меня, с кем я могу его познакомить, кто мог бы стать его руководителем, его другом. Я ответила: с Борхесом. Как вижу, я не ошиблась. В ту пору моя сестра Сильвия занималась живописью. Она и Нора были подругами задолго до замужества, потом Сильвия вышла за Адольфито, а Нора за Гильермо[3]. С каких пор началась ваша дружба с семейством Бьой?

Х. Л. Б. Вы задали мне очень трудный вопрос — с датами я не в ладу. Помню, что мы с Адольфито подружились в какой-то день, когда он повел меня к себе из этого дома, где мы теперь с вами беседуем. Думаю, мы оба как-то влияли друг на друга. Всегда считают, что старший больше влияет на младшего, однако я думаю, что если я чему-то научил Адольфито, то он научил меня гораздо большему. Адольфито косвенно, ненавязчиво вел меня к большей простоте, к отходу от барочного стиля; в общем, юный Адольфо Бьой Касарес был учителем, наставником старого уже Хорхе Луиса Борхеса.

В. О. Как вам двоим пришло в голову сотворить Бустоса Домека?

Х. Л. Б. Я не хотел писать вместе с Бьой, мне казалось, что соавторство невоз-

---

[1] Посещаемый призраками (*англ., франц.*).
[2] Жуткий, сверхъестественный, страшный (*англ.*).
[3] Гильермо де Торре (1990—1972) — испанский поэт, критик; в 1937 г. эмигрировал в Аргентину.

Лондон. Борхес с матерью

можно, но однажды утром он мне предложил попробовать: я собирался к ним на ленч, оставалось два свободных часа, и у нас уже был сюжет. Мы начали писать, и — случилось чудо. Начали мы писать в стиле, не похожем ни на мой, ни на его. Вместе мы каким-то образом создали третьего персонажа, Бустоса Домека — Домек это фамилия одного из прадедов Бьой, Бустосом звали моего прадеда из Кордовы, — и в результате оказалось, что произведения Бустоса Домека не похожи ни на то, что Бьой пишет самостоятельно, ни на то, что я пишу самостоятельно. Каким-то образом этот персонаж существует. Но существует только тогда, когда мы беседуем вдвоем. <...>

В. О. Перебирая бумаги, я нашла еще снимок, вам не известный. Хочу включить его в книгу. Этот снимок сделан в Вилья-Окампо, в холле, когда в Буэнос-Айрес приехал сэр Джулиан Хаксли, генеральный директор ЮНЕСКО. Было это при диктаторе. Я получила от Хаксли письмо, в котором он просил меня пригласить моих друзей — писателей, преподавателей, ученых, чтобы он мог с ними познакомиться. Что я и сделала. Среди них был профессор Уссе. Накануне этой встречи наш дом чуть не сгорел. Две комнаты на втором этаже были совершенно испорчены огнем. В том числе библиотека, где находились книги моего отца. Пришлось нам собраться в холле, и вот здесь сняты вы с нашими друзьями, среди них Рафаэль Альберти. На заднем плане виден портрет моего прадеда Мануэля Окампо, друга Сармьенто, написанный Прилидиано Пуэйрредоном. Думаю, вы были согласны с тем,

что говорилось в тот вечер. Не знаю, помните ли вы, что из-за этого посещения моего дома Джулиан Хаксли не был принят диктатором...

Х. Л. Б. Пожалуй, было бы правильней сказать, что это посещение избавило Джулиана Хаксли от свидания с диктатором.

В. О. У меня есть еще одно фото, сделанное здесь, в Вилья-Окампо, когда вы и Мальеа пришли к нам на ленч с великой актрисой Элен Хейз. Что вам больше всего нравится в театре?

Х. Л. Б. Я больше люблю читать пьесы, чем смотреть на сцене, кроме пьес О'Нила. О'Нил при чтении кажется мне поверхностным, но на сцене он меня потрясает, глубоко волнует. Когда я думаю о театре, в памяти мгновенно возникают два имени: имя Ибсена, которого я надеюсь когда-нибудь прочесть в оригинале, и имя Бернарда Шоу. The rest is silence[1].

В. О. Раз уж мы заговорили о театре, расскажите немного о том, что для вас значил кинематограф, если он действительно вам нравится и вы часто ходите в кино.

Х. Л. Б. Раньше я был кинозрителем. Теперь я скорее кинослушатель. Мне было бы приятно снова увидеть фильмы о гангстерах Джозефа фон Штернберга, те, в которых Банкрофт и Фред Колер без конца убивают друг друга. Я также не раз смотрел фильмы «Призрак розы», «Большая игра», «Вечер в опере», «Безумие», «Головокружение», «Ниночка», «Любовь без преград», «Коллекционер», «В назначенный час», «Картум»... Знаю, в перечнях больше всего привлекает внимание то, что пропущено. Как правило, я предпочитаю фильмы американские или английские.

В. О. Если бы вы могли увидеть во сне свою жизнь — ведь мы не только проживаем жизнь, но и видим ее в снах, — на каком периоде вам хотелось бы подольше задержаться — на детстве, отрочестве или на зрелости?

Х. Л. Б. Мне хотелось бы подольше задержаться на этом дне 1967 года.

Перевод с испанского Е. ЛЫСЕНКО

■

[1] Остальное — молчание (*англ.*).

ЭМИР РОДРИГЕС МОНЕГАЛЬ

Соавторы и помощники

Значительная часть произведений Борхеса написана в сотрудничестве с другими авторами, и поэтому ее следует рассматривать отдельно. До 1956 года произведения, созданные в соавторстве, чередуются с произведениями, созданными самим Борхесом, разумеется, гораздо более многочисленными. Но с того момента, когда офтальмологи запретили ему читать и писать, Борхес был вынужден все чаще прибегать к посторонней помощи. Поскольку писать он не может, свои тексты он сочиняет в уме. С тщательностью близорукого человека, каким был всегда, Борхес привык неустанно переделывать каждую фразу, испещряя рукописи мельчайшей правкой, микроскопическими буковками. С 1956 года Борхес свои тексты диктует преданным писцам, в числе которых на первом плане — мать, исполнявшая роль его секретаря вплоть до середины 70-х годов.

Его сотрудников можно четко разделить на две группы: с одной стороны, случайные люди, участвовавшие в составлении той или иной книги эссе или помогавшие в подборе цитат, в подготовке материалов, записывавшие его лаконичные замечания; с другой — помощник, которого никак не назовешь секретарем, — Адольфо Бьой Касарес, близкий друг, ученик и (как сказал сам Борхес) тайный наставник. Как свидетельствуют окружающие его люди, Борхес проявляет беспредельное терпение по отношению к тем, кто помогает редактировать его тексты, но также известно, что он не оставляет ни одного слова, которое не было бы предварительно им обдумано, взвешено, обсуждено и, в конце концов, одобрено. Отсюда можно заключить, что каждая книга, опубликованная Борхесом с помощью сотрудников первой группы, это его книга, хотя и не является книгой, написанной Борхесом (такое различение мне кажется необходимым). Большинство таких книг продиктованы, и некоторые имеют источником (например, новелла «Мартин Фьерро» или два варианта исследования древнегерманских литератур, продиктованные двум разным помощникам) курсы лекций или отдельные лекции Борхеса. В подобных случаях сотрудники Борхеса выполняют скорее секретарские обязанности.

В первой группе следует особо выделить почти восьмилетнее сотрудничество Борхеса с его переводчиком на английский язык Норманом Томасом ди Джованни. Последний не только помогал ему переводить некоторые уже напечатанные книги (например, «Всемирную историю бесславья»), но также оказал большую помощь в подготовке и даже основательном редактировании текстов, которые были начаты Борхесом с другими людьми («Книга вымышленных существ» в двух вариантах — с Маргаритой Герреро), хотя получили окончательный вид, только когда в работу включился ди Джованни. Также ди Джованни был инициатором создания «Автобиографических заметок», написанных сразу на английском языке и опубликованных в журнале «Нью-Йоркер» еще до введения их в изданный в США перевод сборника «Алеф». Как секретарь ди Джованни помогал ему составлять книги рассказов («Сообщение Броуди») и сборники стихов. И хотя его роль была весьма существенной — и в переводах, и в создании оригинальных текстов Борхеса, — роль эта оставалась все же не более чем вспомогательной.

Совершенно иным является сотрудничество с Бьой Касаресом. Когда в 1932 году они познакомились в доме Виктории Окампо, Борхес уже слыл известным писателем, автором сборников стихов и эссе, оказавших влияние на новое литературное поколение. Бьой же был еще совсем юн (он родился в 1914 году). Возникшая между ними симпатия, с годами все возраставшая, компенсировала разницу в возрасте. Под влиянием Борхеса Бьой отошел от того вялого сюрреализма, печатью которого отмечены его первые рассказы, и занялся сочинением романа «Изобретение Мореля» (1940). Книга стала одним из самых замечательных достижений в аргентинской литературе тех лет, и Борхес написал к ней полемическое программное предисловие. В этом романе — истории двух влюбленных, живущих в разных

© Е. Лысенко. Перевод, 1999

Х. Л. Борхес, А. Бьой Касарес и их общий портрет, составленный из двух фотографий

мирах, — влияние Борхеса чувствуется скорее в фантастическом замысле, нежели в теме или стиле. Когда Бьой опубликовал свой третий роман — «Сон героев» (1955), вдохновленный борхесовской темой человека, проживающего дважды один и тот же позорный эпизод своей жизни, роман, действие которого происходит в среде куманьков, столь характерной для некоторых рассказов Борхеса, последний откликнулся на него хвалебной рецензией в журнале «Сур». Но не надо думать, что Бьой ограничился использованием тем и приемов Борхеса. С того времени его творчество развивалось по пути все более оригинальному — важное место там заняли эротические мотивы, отнюдь не свойственные Борхесу.

В произведениях, написанных ими совместно, можно заметить любопытный симбиоз этих двух писателей, столь разных по возрасту, темпераменту и стилю. В одном своем интервью Борхес рассказал, сколь многим он обязан Бьой. Он признал, что из них двоих Бьой более благоразумен и точен. Себя самого Борхес считает немного сумасбродом, склонным к чудачеству; по его утверждению, Бьой помог ему избавиться от барочности и приблизиться к классицизму. Верно или нет такое объяснение, но очевидно, что в Бьой Борхес встретил соавтора себе под стать — тонкий и ироничный ум, широкую начитанность и неистощимую любознательность. Но также (и это важней всего) он нашел стимул для развития такого аспекта своего творчества, который мог бы остаться нераскрытым.

Хотя несомненно, что значительная часть наиболее оригинальных страниц Бьой отмечена влиянием фантазий Борхеса, куда менее очевидно влияние Бьой на некоторые рассказы Борхеса. Поэтому стоит на этом задержаться. Борхес не только из дружеских чувств упоминает Бьой и вводит его как действующее лицо в рассказ «Тлен, Укбар, Орбис Терциус». Разговора, которым начинается рассказ, вероятно, никогда не было. Но он отражает многие беседы, действительно имевшие место, в которых Борхес устно намечал схему этого рассказа и других — при активном уча-

стии Бьой. (Даже необычный «Пьер Менар, автор Дон Кихота» был задуман с помощью Бьой.) В беседах с Жаном де Мийере Борхес говорит об активной форме праздности, какой является беседа с друзьями. Для него общение с Бьой, непрестанный обмен идеями, суждениями, остротами и парадоксами, несомненно, были некой формой подготовки многих сочинений. Его отношения с Бьой в известном смысле напоминают (хотя и с обратным распределением ролей) отношения с Маседонио Фернандесом после возвращения Борхеса из Европы в 20-е годы.

Кроме того, произведения, опубликованные Борхесом совместно с Бьой и, как правило, выходившие под псевдонимами, настолько значительны, что знакомство с ними может изменить наш взгляд на все борхесовское творчество. Они составляют ту его часть, которая была не замечена критиками (хотя уже Альфонсо Рейес призывал обратить внимание на ее достоинства). Одна из причин относительной их неизвестности коренится в самом отношении обоих авторов к написанному совместно. Три первые книги были изданы потаенно, без раскрытия имен авторов, так что мало кто из критиков дал себе труд прочитать их. Из трех лишь первая — «Шесть задач для дона Исидро Пароди» (1942) — была опубликована на коммерческой основе издательством «Сур», две другие вышли в 1946 году на средства авторов, каждая тиражом триста экземпляров. Только через двадцать лет они были переизданы с настоящими фамилиями авторов на обложке. Два довольно длинных рассказа, вначале напечатанных в уругвайских журналах, которые я возглавлял («Сын его друга» в «Нумеро», 1952; «Праздник чудовища» в «Марче», 1955), в книжном издании появились лишь недавно. Можно предположить, что некая доля удовольствия от сочинения под псевдонимом таилась также и в почти подпольной публикации текстов.

Родились эти произведения в значительной мере из шутки. Прежде всего сам псевдоним Бустос Домек составлен из фамилий предков Борхеса и Бьой. Тот же прием соавторы использовали, когда придумывали Б. Суареса Линча — мнимого автора детективной повести «Образец для смерти», писателя, который к тому же, по его признанию, был учеником Бустоса Домека. Мистификация во втором случае (и в «Двух примечательных фантазиях», подписанных Бустосом Домеком) доходит до изобретения издательства, якобы их опубликовавшего, — «Опортет и Хересес», где обыграны названия двух известных сортов вин. Только при публикации рассказов в уругвайских журналах мне удалось убедить авторов отказаться от псевдонимов и подписаться настоящими своими именами. С тех пор на книгах, приписываемых Бустосу Домеку, ставились также фамилии действительных авторов.

Тексты Бустоса Домека и Суареса Линча создавались примерно так же, как и сами псевдонимы. Борхес и Бьой не только сочиняли апокрифы, они также придумали синтетический образ — писателя, которого можно было бы назвать Бьорхесом. Для этого писателя характерны карнавальное чувство юмора, склонность к социальной сатире и литературной пародии, а также к кощунству, доходящему порой до опасных пределов (в этом отношении Суарес Линч более дерзок, чем Бустос Домек). Однако больше всего оригинальность Бустоса Домека — Суареса Линча проявляется в чисто джойсовском удовольствии от игры слов, исследования их пародийных возможностей, воссоздания устных речевых структур и включения их в испанский язык области Рио-де-ла-Плата, который несет в себе лучшие местные традиции. Без эксперимента Бьорхеса было бы трудно объяснить «Адама Буэносайреса» Леопольдо Маречаля (1948) или «Выигрыши» (1961) и «Игру в классики» (1963) Кортасара. Бьорхес еще до них предложил модель литературного арго — барочного и пародийного, — которую никто не превзошел.

Для Борхеса изобретение Бьорхеса имело и другое значение. Он, развлекавшийся сочинением рассказов о несуществующих писателях — о Мире Бахадуре Али («Приближение к Альмутсиму»), Пьере Менаре, Герберте Куэйне, Яромире Хладике («Тайное чудо»), Нильсе Рунеберге («Три версии предательства Иуды»), Цюй Пэне («Сад расходящихся тропок»), — наконец с помощью Бьой Касареса создал и сумел удачно включить в действительность такого писателя: и в этом писателе он самым неожиданным образом осуществил идею отцовства, от которого столь упорно отказывался — и в жизни и в творчестве.

Перевод с испанского Е. ЛЫСЕНКО

ОРАСИО БУСТОС ДОМЕК

(Хорхе Луис Борхес и Адольфо Бьой Касарес)

Из книги
«Шесть задач для дона Исидро Пароди»

Двенадцать символов мира

Памяти Хосе С. Альвареса

I

Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец — повторял Акилес Молинари во сне. Потом вдруг запнулся. Ясно увидал Весы, Скорпиона. Понял, что ошибся, и в испуге открыл глаза.

Солнце било прямо в лицо. На туалетном столике лежали «Бристольский альманах», несколько номеров журнала «Фиха», а сверху стоял будильник, стрелки которого показывали без двадцати десять. Молинари поднялся, продолжая твердить как заклинание названия знаков зодиака. Глянул в окно. Неизвестный уже занял свой пост на углу.

Молинари хитро улыбнулся. Отправился в ванную и принес бритву, кисточку, маленький кусочек желтого мыла и чашку кипятка. Распахнул окно, с подчеркнутым равнодушием посмотрел на незнакомца и не спеша принялся бриться, насвистывая танго «Крапленая карта».

Десять минут спустя он уже выходил на улицу. На нем был новый коричневый костюм, за который оставалось выплатить еще два месячных взноса в «Английское ателье Рабуффи». Стоило Молинари поравняться с незнакомцем, как тот сделал вид, что целиком поглощен лотерейной таблицей. Молинари, уже привыкший к подобным примитивным приемчикам, зашагал в сторону улицы Умберто I. Автобус появился тотчас же. Чтобы облегчить задачу преследователю, Молинари занял одно из передних мест. Через два-три квартала он обернулся: незнакомец, которого легко было распознать по черным очкам, читал газету. По мере приближения к центру пассажиров становилось все больше; Молинари вполне мог бы покинуть автобус незаметно и уйти от слежки, но предпочел действовать иначе. Он доехал до пивного бара «Палермо» и там вышел, потом, не оглядываясь, двинулся в северную часть города, миновал стену исправительной тюрьмы и завернул в ворота; Молинари полагал, что ему вполне удается держать себя в руках, но, приближаясь к проходной, он нервным движением отшвырнул в сторону только что закуренную сигарету. Затем обменялся парой пустых фраз с дежурным, который сидел у входа в одной рубашке, и охранник проводил его до дверей камеры номер 273.

Четырнадцать лет назад некий мясник по имени Агустин Р. Бонорио, отправившись в костюме кокoличе[1] на парад автомобилей в Бельграно, получил там смертельный удар бутылкой в висок. Все знали, что бутылкой орудовал парень из банды Хромого. Но Хромой играл не последнюю скрипку в предвыборной кампании, и полиция сочла за лучшее свалить вину на Исидро Пáроди, о котором к тому же шла молва, будто он не то анархист, не то спирит. На самом деле Исидро Пароди не был ни тем ни другим: он владел парикмахерской в южной части города и совершил одну оплошность — взял в квартиранты писаря из 8-го полицейского участка, а тот задолжал ему плату за целый год. Такое

---

[1] Коколичe — так в Аргентине называют итальянцев, говорящих на испано-итальянском жаргоне. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

© Н. Богомолова. Перевод, 1999

неблагоприятное стечение обстоятельств и определило судьбу Пароди: свидетели (все из банды Хромого) единодушно показали против него, и судья вынес приговор: двадцать один год тюрьмы. Итак, со свободой Исидро Пароди распрощался в 1919-м, и время, проведенное в заключении, даром для него не прошло, теперь это был тучный сорокалетний мужчина с бритой головой и поразительно умными глазами. В данный момент эти глаза разглядывали молодого человека по фамилии Молинари.

— И что же вам от меня угодно, друг мой?

Голос не отличался особой любезностью, но Молинари знал, что хозяин этой тюремной камеры отнюдь не тяготился подобными визитами. К тому же гостю позарез нужно было побеседовать с Пароди и получить от него совет, поэтому он мог проглотить любую неучтивость.

Неторопливо и старательно Пароди заварил мате в кувшинчике небесно-голубого цвета и принялся угощать Молинари. Тот, хоть и жаждал поскорее рассказать о событиях, перевернувших всю его жизнь, знал, что торопить Исидро Пароди ни в коем случае не следует; так что с неожиданной для него самого беспечностью он завел речь о скачках, где все, абсолютно все подстроено заранее и просто никак невозможно угадать победителя. Дон Исидро, словно не слыша его, завел свою любимую пластинку — стал поносить итальянцев, от которых просто спасу нет, всюду поналезли, даже в эту вот тюрьму и то пробрались.

— Какие-то типы без роду и племени, невесть откуда к нам понаехавшие.

Молинари, к национальному вопросу неравнодушный, охотно поддержал разговор, заявив, что ему самому до смерти надоели все эти итальянцы, друзы, уж не говоря об английских толстосумах, которые натащили в страну холодильников и понастроили тут и там железные дороги. Вот, скажем, вчера, заглянул он в пиццерию «Наши ребята» и тотчас наткнулся на итальяшку.

— Так кто вам все-таки насолил — итальянец или итальянка?

— Не итальянец и не итальянка, — кротко ответил Молинари. — Дон Исидро, я убил человека.

— Говорят, что я тоже кого-то убил, хотите верьте, хотите нет... Да не терзайтесь так; вся эта история с друзами выглядит довольно запутанной, но если какой-нибудь писарь из 8-го полицейского участка не станет рыть вам яму, вы, даст Бог, шкуру свою спасете.

Молинари вытаращил глаза от изумления. Потом вспомнил, что одна грязная газетенка — разумеется, не чета той газете, где сам он публиковал заметки о модных видах спорта и о футболе, — уже связала его имя с таинственными событиями на вилле Абенджалдуна. Вспомнил, что Пароди не позволял своему уму пребывать в бездействии и, благодаря великодушным поблажкам помощника комиссара Грондоны, имел возможность тщательно изучать ежедневную прессу. Так что дон Исидро знал о недавней гибели Абенджалдуна — и тем не менее попросил Молинари рассказать все по порядку и не слишком торопиться, потому что он, дон Исидро, стал туговат на ухо. Молинари с деланым спокойствием изложил всю историю:

— Поверьте, я вполне современный молодой человек и стараюсь держаться новых идей; земных радостей я не бегу, но и пошевелить мозгами люблю. Я считаю, например, что этап материализма мы миновали; к тому же Евхаристический съезд оставил в моей душе неизгладимый след. Как вы говорили в прошлый раз — и, признаюсь, слова ваши даром для меня не пропали, — всегда надо стремиться постичь непонятное. Видите ли, факиры и йоги, со своими дыхательными упражнениями и прочими фокусами, все же сумели кое в чем разобраться. Или, скажем, спириты, но как католик я не мог позволить себе посещать их центр «Честь и Родина». И знаете, я все чаще стал подумывать о друзах: у меня сложилось впечатление, что их община исповедует весьма прогрессивные воззрения и они ближе подошли к разгадке тайны, нежели многие из тех, что не пропускают ни одной воскресной мессы. Доктор Абенджалдун устроил нечто вроде папской резиденции у себя на вилле «Мадзини» с ее богатейшей библиотекой. О чем я узнал по радио «Феникс» на Новый год. Выступление его было, надо сказать, очень витиеватым. Потом кто-то показал ему мою заметку по этому поводу, и она ему понравилась. Мы встрети-

лись у него дома, он надавал мне всяких умных книг и пригласил на праздник, который устраивался на вилле; на подобных действах, правда, не бывает женщин, но зато там разворачиваются настоящие интеллектуальные турниры, это уж вы мне поверьте. Говорят, что друзы поклоняются идолам; и действительно, в самом большом зале у них стоит металлический телец, и цены ему, видно, нет. Каждую пятницу вокруг тельца собираются акилы, иначе говоря посвященные. И вот какое-то время назад доктор Абенджалдун решил и меня ввести в их круг; отказаться я не мог, мне нужно было сохранить со стариком добрые отношения, да ведь и не хлебом единым жив человек. Друзы привыкли держаться особняком, и не все соглашались допустить в свое сообщество западного человека. К примеру, Абуль Хасан, хозяин колонны грузовиков, перевозящих мясо, напомнил, что число избранных должно оставаться постоянным и изменять его никто не властен; против был и казначей общины Изедин, но это сошка мелкая, сидит дни напролет и что-то пишет, доктор Абенджалдун вечно над ним подсмеивался. И все же эти ретрограды, не желавшие расстаться со своими предрассудками, продолжали строить козни и здорово тормозили дело. Смело скажу: на самом деле виноваты во всем они.

Одиннадцатого августа я получил письмо от Абенджалдуна; в нем сообщалось, что на четырнадцатое мне назначено некое испытание, к которому я должен тщательно подготовиться.

— И каким же образом? — поинтересовался Пароди.

— Очень просто: три дня пить один чай, ничего не есть и при этом выучить назубок названия знаков зодиака в том порядке, в каком они перечислены в «Бристольском альманахе». Я сказался больным и не ходил в Санитарное управление, где работаю первую половину дня. Сначала меня удивило, что церемония назначена на воскресенье, а не на пятницу, но в письме давалось и объяснение: для столь важного испытания больше подходил именно этот угодный Господу день. Я должен был явиться на виллу до полуночи. Признаюсь, что ни в пятницу, ни в субботу я особо не трепыхался, но в воскресенье проснулся уже в некотором смятении. Знаете, дон Исидро, теперь я уверен, что еще тогда у меня появились недобрые предчувствия. Но я пытался отмахнуться от них и весь день не выпускал из рук книгу. Смешно вспоминать: каждые пять минут я глядел на часы, чтобы проверить, не пора ли выпить еще стакан чаю; уж не знаю, к чему тут были часы, я и так пил бы этот проклятый чай — горло у меня совсем пересохло и требовало смазки. Я с нетерпением ждал вечера и все же умудрился опоздать на вокзал Ретиро и пропустил нужный поезд, пришлось ехать на следующем, который отбывал в двадцать три восемнадцать.

Разумеется, я выучил все безукоризненно, но и в поезде продолжал заглядывать в альманах. И меня просто из себя выводили какие-то болваны: громко обсуждали победу «Миллионеров», они же «Chacarita Yuniors», хотя ни черта не понимали в футболе. Я вышел в Бельграно. Станцию отделяло от виллы три куадры[1]. Сначала я подумал, что дорога освежит мне голову, но на деле устал смертельно. Выполняя инструкции Абенджалдуна, я позвонил ему по телефону из лавки на улице Росетти.

Перед виллой стояло множество машин; дом сиял огнями, и издалека был слышен гул людских голосов. Абенджалдун встречал меня у ворот. Он показался мне постаревшим. Я не раз видел его, но всегда днем; этой ночью я вдруг понял, что он слегка напоминает Репетто, только с бородой. Ирония судьбы, как говорится: именно в тот миг, когда я думал только о предстоящем испытании, мне пришло в голову такое вот глупейшее сравнение. Мы обогнули дом по выложенной кирпичом дорожке и вошли внутрь. В секретарской, расположенной рядом с архивом, сидел Изедин.

— Вот уж четырнадцать лет, как сам я надежно заархивирован, — вкрадчиво заметил дон Исидро, — но вот о том архиве я ничего не знаю. Опишите мне, что вы там увидели.

— Да ничего особенного. Секретарская находится на верхнем этаже: по лестнице оттуда можно спуститься прямо в зал. В зале вокруг металлического тельца собрались

[1] Куадра — мера длины (463 м).

друзы, человек сто пятьдесят, все в белых одеяниях, лица закрыты. Архив размещен в небольшой комнатке, смежной с секретарской, и окон там нет. Знаете, я готов спорить с кем угодно: если в комнате нет окон, это вредно для здоровья. Вы так не считаете?

— И не говорите! С тех пор как я засел здесь, на севере, я люто возненавидел замкнутые пространства. Опишите теперь секретарскую.

— Большая комната. Дубовый письменный стол, на нем — «Оливетти», рядом удобнейшие кресла, в таких тонешь чуть ли не по самую макушку. Еще на столе лежала старая-престарая турецкая трубка, из тех, что стоят целое состояние. Что там было еще? Люстра с подвесками, персидский ковер — какой-то, я бы сказал, футуристический, а также бюст Наполеона, полки со всякими умными книгами: «Всемирная история» Чезаре Канту, «Чудеса мира и человека», «Всемирная библиотека знаменитых произведений», ежегодник «Разум», «Иллюстрированный садовый справочник» Пелуффо, «Сокровище молодости», «Donna Delinquente»[1] Ломброзо и так далее.

Изедин явно был не в своей тарелке. И я быстро смекнул почему: он разбирал книги, а на столе перед ним их лежала целая пачка. Доктор же, занятый мыслями о предстоящем мне испытании, желал отделаться от казначея и сказал:

— Не беспокойтесь. Сегодня же ночью я просмотрю эти книги.

Не знаю, что уж там подумал Изедин. Он надел хитон и направился в зал, даже не взглянув на меня. Как только мы остались вдвоем, доктор Абенджалдун спросил:

— Скажи, ты строго постился и выучил имена двенадцати созвездий?

Я заверил его, что с четверга, с десяти часов пил один только чай (тем вечером я поужинал в занятной компании рыцарей модной ныне «новой чувствительности», мы съели бусеку и запеченую рыбу в «Меркадо де Абасто»).

Затем Абенджалдун попросил, чтобы я перечислил ему двенадцать знаков зодиака. Я сделал это без единой запинки; он заставил меня повторить их раз пять или шесть. И наконец сказал:

— Вижу, ты сделал все как велено и подготовился на совесть. Только это тебе не поможет, ежели теперь ты не сумеешь проявить должного упорства и мужества. Думаю, и того и другого тебе не занимать. Я решил не слушать тех, кто ставит под сомнение твои достоинства: ты будешь подвергнут лишь одному-единственному испытанию — но самому сложному и суровому. Тридцать лет назад в горах Ливана я выдержал его с честью; но прежде мастера дали мне задания попроще: я отыскал монетку на дне моря, воздушный лес, фиал в центре земли, ятаган в аду. Тебе не придется добывать четыре магических предмета; ты должен узнать четырех мастеров, которые составляют сокровенный тетрагон Божества. Теперь они заняты священными ритуалами и находятся рядом с металлическим тельцом; молятся вместе с братьями, акилами, при этом лица у всех закрыты. Так что невозможно отличить их от прочих. Я прикажу тебе привести ко мне Юсуфа; ты спустишься в зал, мысленно перечисляя в должном порядке созвездия; когда дойдешь до последнего знака, до Рыб, начнешь все сначала — Овен и так далее; три раза обойдешь вокруг акилов и ноги сами приведут тебя прямо к Юсуфу, если, конечно, ты не перепутаешь созвездий. Ты скажешь ему: «Абенджалдун призывает тебя», и доставишь его сюда. Потом я велю тебе привести второго мастера; потом — третьего; потом — четвертого.

К счастью, я столько раз перечитывал «Бристольский альманах», что имена двенадцати созвездий намертво засели у меня в голове; но ведь известно — достаточно предупредить человека, что ему никак нельзя ошибиться, и он потеряет всякую уверенность в себе. Нет, я не струсил, чего не было, того не было, но некое смутное предчувствие у меня зародилось. Абенджалдун пожал мне руку, заверил, что станет молиться за меня, и я по лестнице спустился в зал. Мое внимание было целиком поглощено знаками зодиака; тем не менее все вокруг — белые спины собравшихся, их низко опущенные головы, непроницаемые маски, священный бык, которого я никогда прежде не видел вблизи, — все это выбивало меня из колеи. Но я сумел выполнить указания Абенджалдуна: три раза обошел вокруг друзов и остановился за спиной одного из них, хотя он абсолютно ничем,

[1] «Женщина-преступница» (*итал.*).

на мой взгляд, не отличался от прочих; но я, боясь перепутать созвездия, не позволил себе отвлекаться на посторонние мысли; я просто сказал: «Абенджалдун призывает вас». Человек последовал за мной; я, все так же перечисляя знаки, поднялся по лестнице, мы вошли в секретарскую. Абенджалдун молился; он увел Юсуфа в архив и почти тотчас вернулся и сказал мне: «Теперь приведи Ибрагима». Я снова спустился в зал, сделал три круга, остановился за спиной какого-то человека и произнес: «Абенджалдун призывает вас». И вернулся с ним в секретарскую.

— Притормозите-ка, друг мой, — прервал его Пароди. — Вы уверены, что, пока ходили кругами по залу, никто не покидал секретарскую?

— Абсолютно уверен. Внимание мое, конечно, было занято созвездиями и прочими вещами, но провести себя я бы не позволил. Я не терял из виду дверь. Тут не сомневайтесь: никто не входил и не выходил.

Итак, Абенджалдун взял за руку Ибрагима и отвел в архив, потом сказал мне: «Теперь приведи Изедина». Странное дело, дон Исидро, два первых раза я действовал уверенно, а теперь слегка струхнул. И все-таки спустился вниз, сделал три круга и вернулся наверх с Изедином. Я смертельно устал: на лестнице у меня закружилась голова, наверно, от волнения; перед глазами вдруг поплыло, даже мой спутник виделся теперь как-то смутно. Даже Абенджалдун, который успел настолько поверить в меня, что уже не молился, а сидел и раскладывал пасьянс. Он тотчас увел Изедина в архив и, вернувшись, сказал мне отеческим тоном:

— Ты совсем выбился из сил. Четвертого посвященного — Джалила — я отыщу сам.

Усталость — враг внимания, и все же, как только Абенджалдун отправился вниз, я подошел к перилам и стал следить за ним. Он сделал три круга, схватил за руку Джалила и привел наверх. Я вам уже говорил, что в архиве только одна дверь — в секретарскую. Через эту дверь Абенджалдун и ввел туда Джалила и некоторое время спустя вернулся вместе с четырьмя друзами; перекрестил меня — это ведь люди очень набожные, — а потом на креольском наречии велел своим спутникам открыть лица. Хотите верьте, хотите нет: передо мной стояли Изедин со всегдашним непроницаемым выражением лица, Джалил — заместитель управляющего фирмы «Формаль», Юсуф — зять некоего гнусавого господина, и мертвенно-бледный, бородатый Ибрагим — компаньон Абенджалдуна, как вам известно. Из ста пятидесяти совершенно одинаковых друзов оказались выбраны четыре нужных!

Доктор Абенджалдун готов был меня расцеловать, но вот другие, словно не желая мириться с очевидным, начали цепляться за какие-то формальности и затеяли жаркий спор на своем языке. Бедный Абенджалдун пытался было их переубедить, но наконец сдался. Он сообщил мне, что я должен пройти еще одно испытание, труднейшее из трудных, но теперь на кон будет поставлена сама их жизнь, а может — и судьба целого мира. Он объяснил:

— Мы завяжем тебе глаза вот этой повязкой, в правую руку вложим длинный бамбуковый прут, и каждый из нас спрячется либо где-нибудь в доме, либо в саду. Ты дождешься здесь, пока часы пробьют полночь, а потом пойдешь искать нас — путь тебе будут указывать знаки зодиака. Эти созвездия управляют миром. На время испытания мы вверяем в твои руки руководство их движением: космос будет в твоей власти. Если ты не собьешься, ничего не перепутаешь, все и дальше пойдет по предначертанному пути; если же ошибешься и, скажем, после Весов назовешь Льва, а не Скорпиона, тот мастер, которого ты ищешь, погибнет, а на мир обрушится испытание воздухом, водой и огнем.

Остальные друзы подтвердили его слова, все, кроме Изедина, который съел столько салями, что с трудом превозмогал сон, у него буквально слипались глаза, и он был настолько не в себе, что каждому по очереди на прощание пожал руку, чего никогда прежде не делал. Мне дали бамбуковый прут, завязали глаза и оставили одного. На меня вдруг навалилась жуткая тоска. Делать столько дел сразу! Держать в уме список созвездий, ждать боя часов, которые никак не желали бить, и в то же время бояться этого мига — ведь тогда я должен буду отправляться в странствие по дому, который вдруг представился мне

огромным и совершенно незнакомым. Невольно я вообразил себе лестницу, балюстраду, мебель, на которую я непременно буду натыкаться, подвальные помещения, внутренний двор, слуховые окошки и прочее и прочее. Я начал чутко улавливать абсолютно все звуки: шелест листвы в саду, шаги наверху, я услыхал, как друзы покидали виллу, как тронулся с места автомобиль старого Абдаль-Малека, вы знаете, того, что выиграл в лотерею фирмы «Раджио», производящей масло. В конце концов гости разъехались, и в большом доме остались я и четверо друзов, невесть где спрятавшихся. Так вот, с первым же ударом часов меня накрыло волной страха. Я — еще совсем молодой человек, полный жизни, — я шел со своим прутом, словно слепец, надеюсь, вы понимаете мои тогдашние ощущения? Я сразу же повернул налево, потому что зять гнусавого явно был из породы людей самонадеянных, и я ждал, что сразу найду его под столом; и все это время перед мысленным взором моим чередой проходили Весы, Скорпион, Стрелец и так далее; я забыл, что тут на лестнице должна быть площадка, и сделал ложный шаг. Потом очутился в зимнем саду. И вдруг совершенно перестал ориентироваться. Не мог нащупать ни стен, ни дверей. Не забывайте еще вот какую вещь: три дня я сидел только на чае, а теперь испытывал сильнейшее психологическое напряжение. И все же я сумел совладать с собой. Обнаружив подъемник для посуды, я сообразил, где нахожусь. Потом мне пришла в голову предательская мысль, что кто-нибудь мог спрятаться, скажем, в угольном сарае. Хотя, подумал я, у этих друзов, при всей их образованности, нет, к счастью, нашей креольской живости ума, нашей изобретательности. Я снова вернулся в зал. Налетел на треножник, который используют друзы-спириты — совсем как в средние века. Мне представилось, что все люди, изображенные на висящих по стенам картинах, следили за мной взглядом — вы будете смеяться, но моя сестра не зря всегда называла меня сумасшедшим, сумасшедшим поэтом... Я не позволял себе расслабиться и вскоре обнаружил-таки Абенджалдуна: просто вытянул руку и тотчас наткнулся на него. Мы без малейшего труда нашли лестницу, которая оказалась гораздо ближе, чем я полагал, и поднялись в секретарскую. По дороге мы не обмолвились ни словом. Я думал о созвездиях. Оставив Абенджалдуна в секретарской, я отправился было на поиски следующего друза, но тут услыхал что-то вроде приглушенного смешка. И впервые у меня закралось сомнение: а не потешаются ли здесь надо мной? И тотчас раздался крик. Я готов был поклясться, что не перепутал знаков зодиака; но, кто знает, может, сначала злость, а потом удивление отвлекли меня. Я никогда не ставлю под сомнение очевидное. Я повернул назад, выставил вперед прут, шагнул в секретарскую и споткнулся обо что-то, лежащее на полу. Я нагнулся. Рука моя нащупала волосы. Потом нос, глаза. Машинально я сорвал с лица проклятую повязку.

Абенджалдун лежал на ковре, изо рта у него шла кровавая пена; тело на ощупь было еще теплым, но уже безжизненным. В комнате, кроме нас, не оказалось никого. Я глянул на прут, выпавший у меня из рук. Кончик его был окрашен кровью. И тут я понял, что совершил убийство. Конечно, в тот момент, когда мне послышались сначала смех, а потом крик, я сбился, перепутал порядок фигур; моя ошибка стоила жизни человеку. А может, и четырем людям... Я выглянул на галерею и стал кричать. Никто не откликнулся. В ужасе я бросился бежать в глубь дома, вполголоса твердя: Овен, Телец, Близнецы — чтобы мир не обрушился. Я в мгновение ока домчался до изгороди — и это при том, что вилла занимает три четверти квартала; не случайно Тульидо Ферраротти любил повторять, что мое будущее — бег на средние дистанции. Но в ту ночь я поставил рекорд по прыжкам в высоту. Я с ходу перемахнул через почти двухметровый забор; когда я выбирался из канавы и пытался избавиться от бутылочных осколков, не пощадивших меня, я почувствовал, как в горле у меня запершило от дыма. Над виллой клубилось черное облако — плотное, как матрасная шерсть. Я, конечно, долго не тренировался, но тут припустил так, как не бегал и в лучшие свои времена; добежав до улицы Росетти и оглянувшись, я увидел, что небо над виллой сделалось светлым, как 25 Мая[1], — дом ярко пылал.

---

[1] 25 Мая — национальный праздник аргентинцев (25 мая 1810 г. вспыхнуло антииспанское освободительное восстание).

Вот к чему может привести подмена одного знака зодиака другим! От этой мысли у меня пересохло во рту. Я заметил на углу полицейского и рванул в сторону; потом бродил по каким-то заброшенным местам — даже стыдно, что такие еще остались в столице, стыдно за нас, аргентинцев; к тому же меня совершенно извели собаки, ведь стоит одной залаять, как все вокруг подхватывают, и я чуть не оглох от них; иными словами, в западной части города пешеход не чувствует себя в безопасности, до него совершенно никому нет дела. И вдруг я успокоился — потому что понял, что вышел на улицу Чарлоне; какая-то шпана, толпившаяся у лавки, при виде меня стала выкрикивать: «Овен, Телец» — и издавать совершенно непристойные звуки; но я решил не обращать на них внимания и пошел своей дорогой. Представьте, только тут я сообразил, что не прекращаю в полный голос перечислять знаки зодиака. Я снова заблудился. Знаете, те, кто строил эти районы, не имел ни малейшего представления об элементарных законах градостроительства — улицы превращены здесь в лабиринты. Почему-то мне не пришло в голову воспользоваться каким-нибудь транспортным средством; пока я добрался до дома, ботинки мои, не выдержав долгих скитаний, стали разваливаться. Уже был час утренних мусорщиков. Я валился с ног от усталости. Кажется, у меня даже поднялась температура. Я юркнул в постель, но решил бороться со сном и продолжать перечислять знаки зодиака.

В полдень я сообщил, что заболел, — и в редакцию, и в Санитарное управление. Тут ко мне заглянул сосед, коммивояжер из Бранкато, и буквально силком потащил к себе — попробовать тальяринаду. Говорю вам положа руку на сердце: сначала мне даже полегчало. Мой друг — человек бывалый, увидев, в каком я состоянии, открыл бутылку местного муската. Но мне было не до разговоров, и, сославшись на усталость, я вернулся домой. Весь день я не выходил из квартиры. Но я не собирался прожить остаток жизни затворником. Случившееся накануне не выходило у меня из головы, и я попросил консьержку принести мне «Новости». Едва глянув на спортивную страницу, я отыскал криминальную хронику и там тотчас увидал фотографию места катастрофы: в ноль часов двадцать три минуты на вилле «Мадзини» у доктора Абенджалдуна возник большой пожар. Несмотря на безупречные действия пожарной команды, дом сгорел дотла, погиб и хозяин — весьма известный представитель сирийско-ливанской общины, один из заслуженных пионеров импорта линолеума в нашу страну. Я застыл от ужаса. Баудиццоне, который всегда весьма небрежно ведет свою рубрику, и на сей раз допустил кое-какие ошибки: например, ни словом не упомянул о происходившем на вилле религиозном действе и написал, что в ту ночь гости собрались, чтобы почитать некие записки и переизбрать руководство общины. Незадолго до несчастья виллу покинули сеньоры Джалил, Юсуф и Ибрагим. Они свидетельствуют, что до двадцати четырех часов вели дружескую беседу с хозяином: тот, как всегда, блистал умом, не предчувствуя скорой трагедии, которой суждено было поставить финальную точку в его жизни и обратить в пепел замечательный образец архитектуры, традиционной для западного района столицы. Причины грандиозного пожара расследуются.

С того дня я, никогда не бегавший от работы, больше не возвращался ни в редакцию газеты, ни в Санитарное управление и совсем пал духом. Два дня спустя меня навестил некий очень любезный господин — якобы для того, чтобы осведомиться о моем участии в покупке метел и швабр для уборки заведений на улице Букарелли; потом переменил тему и заговорил об иностранных общинах, особо коснувшись сирийско-ливанской. Напоследок он как-то не слишком уверенно пообещал зайти еще разок. Но не зашел. Зато на углу появился тот тип, который с величайшими предосторожностями следит за мной. Я знаю, что вас никто, никакая полиция с толку не собьет. Спасите меня, дон Исидро. Я в отчаянии!

— Я не ясновидящий и не соблюдаю постов, чтобы разгадывать загадки. Но тебе помочь попробую. Только при одном условии. Обещай, что будешь слушаться меня во всем.

— Все что скажете, дон Исидро.

— Отлично. Теперь же и начнем. Ну-ка, назови по порядку все знаки зодиака.

— Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

— Молодец. А теперь скажи их наоборот.

Молинари, побледнев, пробормотал:

— Нево, Целет...

— Ну-ну, что еще за фокусы! Я тебе велел поменять порядок и назвать знаки вразнобой.

— Поменять порядок? Вы не поняли меня, дон Исидро, это совершенно немыслимо...

— Разве? Давай-ка, называй: первый, последний, предпоследний...

Молинари, обмирая от ужаса, подчинился. Потом осторожно поглядел по сторонам.

— Ну вот, теперь, надеюсь, ты выкинешь из головы все эти глупости и снова отправишься к себе в газету. И не кипятись так.

Не проронив ни слова, успокоенный и ошеломленный, Молинари покинул тюрьму. Снаружи его поджидал незнакомец.

II

Через неделю Молинари понял, что больше не в силах откладывать второй визит в исправительную тюрьму. Правда, ему было неловко перед Пароди, ведь тот раскусил его, понял, насколько он доверчив при всей своей самонадеянности. Чтобы такой современный человек, как Молинари, дал себя провести фанатикам-чужеземцам! Но теперь визиты вежливого господина сделались более частыми и более зловещими: он говорил уже не только о сирийцах и ливанцах, но и о друзах из Ливана; его вопросы затрагивали и совсем новые темы: например, запрещение пыток в 1813 году, преимущества электрических стрекал, только что завезенных отделом расследований из Бремена, и т. д.

И вот в одно дождливое утро Молинари опять двинулся в сторону улицы Умберто I и сел на автобус. Когда он вышел у «Палермо», за ним последовал и незнакомец, который не носил больше черных очков, зато обзавелся светлой бородкой...

Пароди встретил его, как всегда, холодновато, и казалось, он всеми силами пытается уклониться от разговора о тайне виллы «Мадзини»; а заговорил он на излюбленную свою тему — чего может достичь человек, прилично играющий в карты. Он вспомнил Линсе Риваролу, которого огрели стулом по башке в тот самый миг, когда тот извлек из специального кармашка в рукаве второго туза пик. И чтобы проиллюстрировать поведанную только что историю, Пароди вытащил из ящика засаленную колоду, велел Молинари перетасовать карты и разложить на столе рубашками кверху. Потом сказал:

— Дружок, вы ведь у нас настоящий колдун, дайте-ка несчастному старику четверку червей.

Молинари пробормотал:

— Я никогда не говорил, что я колдун, сеньор... Вы ведь знаете, я навсегда порвал с этими фанатиками...

— И порвал, и колоду перетасовал... Вот и дай мне побыстрей четверку червей. Да не бойся ты, она сама придет тебе в руки.

Молинари нерешительно протянул руку, взял какую-то карту и отдал Пароди. Тот взглянул и сказал:

— Ну прямо черт, а не человек! Теперь давай мне валета пик. Молинари взял вторую карту и передал Пароди.

— Теперь семерку треф.

Молинари дал ему карту.

— Ты утомился. Я сам вытащу за тебя последнюю карту — короля червей.

Он небрежно схватил какую-то карту и положил рядом с тремя другими. Потом велел Молинари открыть их. Это были король червей, семерка треф, валет пик и четверка червей.

— Да не пяль глаза, нет тут никаких чудес! — сказал Пароди. — Среди всех этих карт есть одна крапленая; ее-то я первую у тебя и попросил, но ты, разумеется, вытащил и дал мне вовсе не ее. Я велел взять четверку червей, а ты вытянул валета пик; тогда я попросил валета пик, ты дал мне семерку треф; я попросил семерку треф, ты дал мне короля чер-

вей; я сказал, что ты устал и что я сам отыщу четвертую карту, короля червей. Тут я и выбрал четверку червей, которую легко могу узнать по крапинкам. Абенджалдун сделал то же самое. Он послал тебя искать друза номер 1, ты привел ему номер 2; он послал тебя за номером 2, ты привел ему номер 3; он послал тебя за номером 3, ты привел ему номер 4; он сказал тебе, что сам пойдет за номером 4, и привел номер 1. Первым номером был Ибрагим, его близкий друг. Абенджалдун не мог не узнать его... Вот что бывает с теми, кого тянет якшаться с чужаками. Ты же сам говорил, что друзы — люди очень замкнутые, недоверчивые. И был прав. А самым недоверчивым из них оказался Абенджалдун, глава общины. Любому из друзов было бы довольно указать креолу его место; он же захотел еще и посмеяться над тобой. Он пригласил тебя в воскресенье — но ты же сам говорил мне, что богослужения у них проходят по пятницам. Чтобы сбить тебя с толку, он придумал все эти дурацкие условия: три дня пить один только чай и учить «Бристольский альманах»; к тому же тебе пришлось прошагать несколько куадр; он разыграл настоящий спектакль с завернутыми в белые одежды друзами и, в довершение всего, измыслил задание со знаками зодиака. Он от души повеселился, ведь он еще не успел проверить (да никогда и не проверит) финансовые отчеты Изедина; об этих книгах они вели речь, когда ты вошел, а вовсе не о романах и стихах, как ты подумал. Кто знает, чего там накрутил казначей? Но рыльце у него, видно, было в пушку, поэтому он и убил Абенджалдуна, и поджег дом — чтобы грехи его не раскрылись. Он простился с вами, пожал каждому руку — чего никогда прежде не делал, — дабы остальные уверились, что он уходит. А сам спрятался поблизости, подождал, пока гости покинут дом, ведь всем уже наскучила эта шутка, и когда ты с завязанными глазами и с прутом в руке искал Абенджалдуна, Изедин вернулся в секретарскую. Когда ты привел туда старика, они не могли сдержать смеха, глядя, как ты мечешься с завязанными глазами. Ты собирался идти искать второго друза; Абенджалдун двинулся следом — во второй раз ты отыскал бы его же. Таким образом, ты ходил бы на поиски четырежды и всякий раз приводил бы одного и того же человека. И тут казначей нанес Абенджалдуну удар в спину — до тебя донесся крик. Но ты шел назад вслепую, на ощупь, и Изедин успел скрыться, прежде подпалив книги. Потом, чтобы окончательно замести следы, он поджег и дом.

Пухато, 27 сентября 1941 г.

Ночи господина Голядкина

Памяти Благородного Разбойника

I

С небрежной элегантностью Хервасио Монтенегро — высокий, осанистый, чуть потертый, с романтическим профилем, обвислыми и подкрашенными усами — сел в арестантскую машину и позволил себя voiturer[1] в исправительную тюрьму. Он попал в парадоксальную ситуацию: многочисленные читатели вечерних газет во всех четырнадцати провинциях страны возмущались тем, что такого известного актера обвиняют в краже и убийстве; в то же время многочисленные читатели вечерних газет узнали о том, что Хервасио Монтенегро — известный актер только потому, что его обвинили в краже и убийстве. Эта замечательная путаница была делом рук Акилеса Молинари, пронырливого журналиста, который обрел громкую славу, разгадав тайну гибели Абенджалдуна. И вот теперь исключительно благодаря стараниям Молинари полиция позволила Хервасио Монтенегро посетить с весьма необычной целью тюрьму, где в камере 273 содержался Исидро Пароди, детектив-заключенный, кому Молинари (с никого не обманувшим великодушием) и приписывал главную заслугу в раскрытии того дела. Монтенегро,

[1] Перевезти (*франц.*).

человек по натуре скептический, не слишком доверял детективу, который нынче сам отбывал тюремный срок, а прежде был парикмахером на улице Мехико; с другой стороны, сама мысль об этом посещении заставляла сердце его, чувствительное, как скрипка Страдивари, сжиматься от дурного предчувствия. И все же, он поддался на уговоры, отлично понимая, что не стоит портить отношения с Акилесом Молинари, который, по его собственному высокопарному выражению, представлял четвертую власть.

Пароди даже не взглянул на входившего в камеру популярного актера. Он неспешно и старательно заваривал мате в небесного цвета кувшинчике. Монтенегро уже приготовился было принять угощение, но Пароди — разумеется, по причине крайнего смущения — угощать гостя не стал. Монтенегро — чтобы ободрить — покровительственно похлопал его по плечу и закурил сигарету из пачки «Сублимес», лежащей на табуретке.

— Вы пришли раньше назначенного часа, дон Монтенегро; я уже знаю, что вас привело сюда. История с бриллиантом.

— Как видно, даже эти толстые стены не стали преградой для моей славы, — поспешно вставил Монтенегро.

— Да уж! Именно здесь, скорей всего, и узнаешь о том, что происходит в стране: от сомнительных подвигов какого-нибудь дивизионного генерала до подвигов на ниве культуры самой мелкой сошки с радио.

— Разделяю ваше отношение к радио. Недаром Маргарита — Маргарита Ксиргу[1], как вы понимаете, — часто повторяла мне, что нам, настоящим, прирожденным актерам, нужна энергия зрительного зала. Микрофон — холодная железка, в нем нет жизни. Даже я, оказываясь перед этим мерзким приспособлением, чувствовал, как теряю всякую связь с моей публикой.

— По мне, так лучше нам теперь оставить в покое и микрофоны, и энергию. Я читал статейки Молинари. Парень пишет лихо, но все эти описания да выверты только с толку сбивают. Расскажите-ка мне сами суть дела, без всякой литературы... Я люблю, когда говорят просто и ясно.

— Конечно, конечно. К тому же это — мой стиль. Ясность — чудесный дар латинской расы. Только позвольте мне накинуть вуаль умолчания на некое событие, которое может скомпрометировать одну даму, принадлежащую к лучшему обществу Ла-Киаки — а именно там, смею вас заверить, еще остались добропорядочные люди. Непреложная необходимость защитить имя этой дамы, которая в свете слывет непревзойденной хозяйкой салона, волшебницей — а для меня она не только волшебница, но и ангел, — вынудила меня прервать триумфальное турне по латиноамериканским республикам. Как истинный портеньо[2], я не без ностальгии ждал часа возвращения домой и даже вообразить не мог, что час этот будет омрачен событиями, которые можно отнести к разряду криминальных. Именно так, сразу по прибытии на вокзал Ретиро я был арестован; теперь меня обвиняют в краже и двух убийствах. В довершение всего проклятые полицейские отняли у меня старинную драгоценность, владельцем которой я стал за несколько часов до ареста при весьма живописных обстоятельствах — в тот самый миг, когда мы пересекали Рио-Терсеро. Bref, короче, так как я не выношу кружить вокруг да около, расскажу вам историю ab initio[3], не лишая себя права на сдержанную иронию, без которой просто невозможно говорить о современной жизни. Позволю себе также некие пейзажные зарисовки и яркие мазки.

Итак, седьмого января в четыре часа четырнадцать минут, в самый обычный боливийский день, я сел в Мококо в Панамериканский экспресс, ловко избавившись — savoir faire[4], друг мой — от надоедливых и слишком многочисленных поклонников. Я щедро раздарил обслуге экспресса свои портреты с автографами и таким образом чуть смягчил их настороженное отношение к моей персоне. Меня проводили в купе, которое я покорно согласился разделить с незнакомым человеком, и мое вторжение прервало сон

[1] Маргарита Ксиргу (1888—1969) — известная испанская актриса.
[2] Портеньо — житель Буэнос-Айреса.
[3] С начала (*лат.*).
[4] Умение (*франц.*).

некоего сеньора с ярко выраженной еврейской наружностью. Позже я узнал, что чужеземец носил фамилию Голядкин и вел торговлю бриллиантами.

Кто бы мог тогда подумать, что этот угрюмый сеньор, определенный мне в попутчики дорожной судьбой, втянет меня в столь таинственную и трагическую историю!

На другой день, всякий миг ожидая дивного сюрприза от какого-нибудь вождя племени кальчаки, я решил понаблюдать за человеческой фауной, что населяла наш тесный мирок — летящий на всех парах поезд. Исследование свое я начал — cherchez la femme — с весьма интересной фигуры, которая даже во Флориде в восемь вечера привлекла бы к себе восхищенные мужские взгляды. В таких вещах меня не обманешь: я сразу понял, что судьба свела меня с женщиной исключительной, совершенно необычной. Звалась она баронессой Пуффендорф-Дювернуа и была дамой молодой, но вполне зрелой, в ней не осталось и следа от пресной неуклюжести девочки-подростка — иными словами, любопытнейший современный экземпляр: стройное тело, сформированное игрой в lawn-tennis, черты лица слегка тяжеловатые, но искусно подправленные кремами и косметикой. Короче говоря, это была женщина, которой стройность добавляла благородства, а молчаливость — изысканности. Был в ней, однако, один недостаток, faible, непростительный для истинной Дювернуа, — она симпатизировала коммунистам. Сначала я даже заинтересовался ею, но скоро понял, что под внешним лоском скрывалась душа заурядная, и пришлось попросить несчастного господина Голядкина заменить меня на сем фронте; она же — вот типичное для женщины поведение — сделала вид, будто не заметила подмены. Однако я случайно услышал разговор баронессы с другим пассажиром — неким полковником Хэррапом из Техаса, — когда она назвала кого-то «болваном», и, скорее всего, речь шла о ce pauvre M. Goliadkin[1]. Итак, я снова возвращаюсь к Голядкину: был он русским евреем, но на фотопластинке моей памяти облик его запечатлелся весьма мутно. Был он, кажется, светловолос, крепкого телосложения, и в глазах его словно застыло изумление; он держался с достоинством, при этом всегда спешил проявить любезность и открыть мне дверь. Зато полковника Хэррапа при всем желании забыть трудно: бородатый, апоплексического сложения — типичный образец той агрессивной вульгарности, что воцарилась в его стране, страдающей гигантизмом и потерявшей способность различать оттенки, nuances, которые доступны последнему оборванцу из неаполитанской траттории и вообще являются фирменным знаком латинской расы.

— Про Неаполь ничего не скажу, но вот если кто-нибудь не вытянет вас за уши из этого дела, извержение Везувия покажется вам детской забавой, это уж точно.

— Я завидую вашей судьбе, вашему бенедиктинскому одиночеству, сеньор Пароди, ведь моя-то жизнь была жизнью скитальца. Я искал свет на Балеарах, яркие краски в Бриндизи, утонченную греховность в Париже. И, как Ренан, я возносил мольбы к небу в Акрополе. Да, везде, везде старался я выжать сок из роскошной кисти винограда под названием жизнь... Но возвращаюсь к нити повествования. В пульмановском вагоне, пока несчастный Голядкин — в конце концов, евреи самой судьбой обречены на невзгоды — терпеливо выслушивал неутомимые и утомительные словесные излияния баронессы, я сидел с молодым поэтом из Катамарки Бибилони и наслаждался, как истинный афинянин, беседой о поэзии и провинциальных городах. Теперь могу признаться, что поначалу темная, даже почти черная, кожа молодого человека несколько отталкивала меня. Велосипедные очки, галстук-бант на резинке, перчатки кремового цвета — все подводило меня к мысли, что я имею дело с одним из многочисленных последователей Сармьенто — гениального педагога, пророка, от коего было бы абсурдным требовать пошлого умения предвидеть будущее. Однако тот живой интерес, с которым молодой поэт выслушал венок триолет, сочиненных мною в товарно-пассажирском поезде, пока я ехал из Харами — современного сахарного чуда с циклопической статуей Бандеры, изваянной Фьораванти, убедил меня, что он является достойным представителем нашей молодой литературы. Не из числа тех несносных рифмоплетов, которые используют любую беседу, чтобы помучить нас уродцами, вышедшими из-под их пера: мой собеседник был юно-

[1] Этот бедный господин Голядкин *(франц)*.

шей образованным, скромным, он умел держаться в тени и почтительно внимать мэтру. Потом я осчастливил его первой из моих од, посвященных Хосе Марти; но, не дойдя до одиннадцатой, вынужден был прерваться; скука, которую неумолчная баронесса навеяла на господина Голядкина, заразила и молодого поэта — интересное явление психологической связи, не раз наблюдавшееся мной. Со свойственной мне простотой — а это ведь непременное свойство, apanage, светского человека — я решительно прибег к испытанному средству: взяв за плечи, встряхнул его с такой силой, что он тотчас открыл глаза. Правда, беседа после сего неприятного случая, mésaventure, угасла; чтобы помочь ей разгореться вновь, я завел речь о хорошем табаке. И попал в точку — Бибилони оживился. Порывшись во внутренних карманах куртки, он вытащил гамбургскую сигару и, не решаясь предложить ее мне, сообщил, что купил сигару, чтобы выкурить нынче вечером в салоне. Мне было легко разгадать эту нехитрую уловку. Я благосклонно принял сигару, буквально выхватив ее из рук молодого человека, и немедленно раскурил. Кажется, в этот миг юношу посетило какое-то горькое воспоминание, так, по крайней мере, я истолковал выражение его лица, ведь я еще и тонкий физиономист. Итак, развалившись в кресле и пуская клубы голубого дыма, я попросил его рассказать о своих поэтических достижениях. Смуглое лицо вспыхнуло от удовольствия. Я выслушал старую как мир историю о судьбе литератора, который борется против буржуазных вкусов и плывет по бурному жизненному морю, пристроив на спине свою волшебную мечту. Семья Бибилони, много лет отдав фармакопее и жизни в горах, сумела-таки преодолеть границы Катамарки и перебраться в Банкалари. Там и родился наш поэт. Его первой учительницей стала Природа: с одной стороны, отцовские сельскохозяйственные угодья, с другой — сопредельные курятники, которые ребенок любил посещать... в безлунные ночи, вооружившись удочкой... для ловли кур. После напряженной учебы в начальной школе, поэт вернулся к родным полям и просторам; он познал благотворные и тяжкие радости сельского труда, которые стоят куда больше любых бездумных оваций; но тут его талант открыли члены жюри литературного конкурса «Кухня Вулкана», отметившие премией книгу «Жительницы Катамарки (воспоминания о провинции)». Полученные деньги позволили юноше поездить по родным краям, которые он с такой любовью воспел. И вот теперь, собрав драгоценный урожай романсов и вильянсико, он возвращался в родной Банкалари.

Мы перешли в вагон-ресторан. Бедному Голядкину пришлось сесть рядом с баронессой, мы с отцом Брауном расположились за тем же столом, но напротив. Внешность у священника была невыразительная: темные волосы, плоское, круглое лицо. Но я смотрел на него с долей зависти. Мы, имевшие несчастье утратить наивную, детскую веру, не можем извлечь из холодного рассудка тот целебный бальзам, которым врачует свою паству церковь. Ну скажите, много ли пользы получил наш век — этот седовласый, пресыщенный ребенок — от глубинного скептицизма Анатоля Франса и Жулио Дантаса[1]? Всем нам, многоуважаемый Пароди, так не хватает хоть капли наивности и простодушия...

Я смутно помню, о чем шла тогда речь. Баронесса непрестанно оттягивала вырез платья — ссылаясь на нестерпимую жару — и все норовила прижаться к Голядкину, разумеется, чтобы возбудить мое внимание. Голядкин, не слишком привычный к подобному обхождению, безуспешно пытался отстраниться и, прекрасно сознавая, сколь неприглядная роль ему отведена, нервно заговаривал на темы абсолютно никому не интересные — скажем, о скором падении цен на бриллианты, о невозможности подменить настоящий бриллиант поддельным и о прочих деталях своего ремесла. Отец Браун, который вроде бы забыл, что находится в ресторане дорогого экспресса, а не в кругу кротких прихожан, все повторял и повторял парадоксальную истину, что, мол, нужно погубить душу, дабы спасти ее, — пошлые византийские фокусы теологов, сумевших затемнить ясный смысл Евангелия.

Noblesse oblige: продолжать игнорировать эротические призывы баронессы значи-

[1] Жулио Дантас (1876—1962) — португальский драматург, поэт, политический деятель.

ло бы выставить себя в смешном виде; той же ночью я на цыпочках скользнул к ее купе, присел на корточки, прислонив затуманенную грезами голову к двери, а глаз приблизив к замочной скважине, и тихонько замурлыкал «Mon ami Pierrot». Я позволил себе эту блаженную передышку — отдых воина посреди жизненной битвы, — но меня вернул к реальности полковник Хэррап, все еще пребывавший в плену ископаемого пуританизма. Да, тот самый бородатый старик — реликвия, сохранившаяся со времен пиратской войны на Кубе, он схватил меня за плечи, оторвал от пола, подняв довольно высоко, и поставил перед дверью мужского туалета. Моя реакция была мгновенной: я вошел туда и захлопнул за собой дверь — прямо у него перед носом. Я просидел там почти два часа, стараясь не слышать потока ругательств, которые он изрыгал на ломаном испанском. Я покинул свое убежище, только когда путь к отступлению освободился. Путь свободен! — мысленно воскликнул я и поспешил к себе в купе.

Но богиня Случайность, несомненно, не хотела расставаться со мной. В купе находилась баронесса, она дожидалась меня. И рванулась мне навстречу. В арьергарде я увидел натягивавшего пиджак господина Голядкина. Баронесса, со свойственной женщинам интуицией, поняла, что присутствие Голядкина нарушало атмосферу интимности, столь необходимую влюбленной паре. И она ушла, не сказав ему ни слова. Я хорошо себя знаю: встреться я теперь с полковником, дело кончилось бы дуэлью. Но в поезде такой исход слишком неудобен. Кроме того, хоть и горько это признавать, но время дуэлей миновало. И я предпочел лечь спать.

Меня всегда поражала податливость и услужливость иудейской натуры! Мое возвращение разрушило бог знает какие — разумеется, беспочвенные — планы Голядкина. И все же он тотчас начал осыпать меня знаками внимания и буквально навязал в подарок сигару «Аванти».

На следующее утро все пребывали в дурном расположении духа. Я всегда чутко реагирую на психологический климат и потому решил поднять настроение соседей по столу: рассказал несколько забавных случаев из жизни Роберто Пайро[1] и прочитал остроумную эпиграмму на Маркоса Састре[2]. Сеньора Пуффендорф-Дювернуа, раздосадованная вчерашними неудачами, с трудом скрывала раздражение; безусловно, слухи о ее злоключениях дошли до ушей отца Брауна; священник обращался к ней с суровостью, не подобающей церковному лицу.

После завтрака я все-таки утер нос полковнику Хэррапу. Чтобы продемонстрировать, что его faux pas[3] не испортил наших безусловно отличных отношений, я угостил его одной из сигар Голядкина и даже не отказал себе в удовольствии поднести ему огонь. Вот что называется пощечиной в белой перчатке!

Этим вечером, третьим нашим вечером в поезде, юный Бибилони разочаровал меня. Я собирался было поведать ему о некоторых своих галантных похождениях, рассказать историйки, кои обычно не доверяют первому встречному, но в купе его не оказалось. Меня посетило неприятное подозрение: не занесло ли молодого мулата в купе к баронессе Пуффендорф. Иногда я становлюсь похожим на Шерлока Холмса: вот и теперь я ловко отвлек внимание охранника, подсунув ему интересную парагвайскую монету, и постарался — прямо как собака Баскервилей — услышать и увидеть все, что происходило на территории нашего вагона. (Полковник рано удалился к себе.) Правда, убедился я лишь в одном — повсюду царили мертвая тишина и темнота. Но мне не пришлось долго томиться в ожидании. К полному моему изумлению, отворилась дверь купе отца Брауна и оттуда вышла баронесса. На краткий миг я потерял контроль над собой, что извинительно для человека, в чьих жилах течет пылкая кровь рода Монтенегро. К счастью, я быстро сообразил что к чему. Баронесса ходила исповедоваться. Прическа ее растрепалась, а наряд был более чем легким — алый пеньюар, расшитый серебряными балеринами и золотыми клоунами. На лице баронессы отсутствовал грим, и, оставаясь в любой

---

[1] Роберто Х. Пайро (1867—1928) — аргентинский романист, поэт и драматург.
[2] Маркос Састре (1809—1887) — аргентинский литератор и педагог.
[3] Промах, оплошность (*франц.*).

ситуации настоящей женщиной, она юркнула к себе, чтобы я не видел ее без привычной маски. Я раскурил дурную сигару молодого поэта Бибилони и принял философское решение отправиться спать.

Еще одна неожиданность ждала меня в купе: несмотря на поздний час, господин Голядкин и не думал укладываться. Я улыбнулся: мы провели вместе всего два дня, а сей невзрачный сеньор уже стал подражать моим артистическим и светским привычкам, ведь театры, клубы — это еще и бессонные ночи. Справлялся он с новой ролью, разумеется, дурно. Выглядел рассеянным, нервничал. И хотя я откровенно клевал носом и зевал, он принялся во всех подробностях излагать мне свою серую, а возможно и апокрифическую, биографию. По его словам, он был конюхом, а затем и любовником княгини Клавдии Федоровны. С цинизмом, напомнившим мне самые рискованные страницы «Жиля Блаза де Сантильяны», он признался, что, обманув доверие княгини и ее исповедника отца Абрамовича, украл у нее огромный бриллиант, равных которому нет на свете, — только некоторые дефекты огранки помешали ему считаться самым дорогим в мире. Двадцать лет отделяют Голядкина от той ночи любви, когда он совершил кражу и скрылся. За это время красной волной из царской империи выбросило и обворованную княгиню, и неверного конюха. Уже у самой границы началась тройная одиссея: княгиня искала средства к существованию, Голядкин искал княгиню, чтобы вернуть ей бриллиант, международная банда грабителей искала украденный бриллиант — и неумолимо шла по следам Голядкина. Последний побывал на южноафриканских шахтах, в бразильских лабораториях, на боливийских рынках — мыкал горе и попадал в опаснейшие переплеты, но ни разу не соблазнился мыслью продать бриллиант, который превратился для него в символ раскаяния и надежды. С годами княгиня Клавдия стала воплощать для Голядкина милую и обильную Россию, растоптанную конюхами и всякого рода утопистами. Отыскать княгиню ему не удавалось, и оттого он любил ее с каждым днем все сильнее. Недавно до него дошли сведения, что она живет в Аргентинской Республике и управляет — не теряя при этом аристократической спеси — неким весьма прибыльным заведением на улице Авельянеда. Голядкин тотчас извлек бриллиант из тайника, и теперь, когда цель его была совсем близка, главным для него было сохранить драгоценность — любой ценой. Даже ценой жизни.

Стоит ли говорить, что длинная исповедь этого человека — конюха и вора — не оставила меня равнодушным. Со свойственной мне прямотой я высказал сомнение, правда, в весьма вежливой форме: а существует ли вообще чудесный бриллиант? Замечание мое глубоко его задело. Он достал чемоданчик из поддельной крокодиловой кожи и извлек оттуда два одинаковых футляра; потом открыл один из них. Нет, прочь сомнения! Там, на бархатной подушечке покоился родной брат бриллианта Кохинора. Ничто человеческое мне не чуждо. Я искренне пожалел бедного Голядкина, которого когда-то судьба сделала мимолетным любовником княгини Федоровны, а теперь под стук вагонных колес он рассказывает о своих несчастьях незнакомому аргентинскому джентльмену, готовому отныне всеми силами помогать ему. Чтобы подбодрить его, я заметил, что преследование банды грабителей может оказаться не столь опасным, как столкновение с полицией; затем доверительно поведал ему тут же придуманную историю о том, как после полицейской облавы в «Salón Doré» мое имя — одно из самых древних в стране — попало в бесславную криминальную картотеку.

Но мне трудно было понять психологию моего новоявленного друга! Двадцать лет он не видал дорогого лица, а теперь, накануне счастливой встречи, пал духом и потерял уверенность в себе.

Несмотря на мою репутацию — вполне заслуженную — богемы, я придерживаюсь определенного режима; и в столь поздний час мне было уже трудно заснуть. Я перебирал в памяти историю о бриллианте, который находился совсем рядом, и о княгине, которая находилась далеко. Господин Голядкин (несомненно, под впечатлением моей благородной искренности) тоже всю ночь проворочался без сна на верхней полке.

Утро принесло мне две радости. Во-первых, появились первые признаки пампы — столь милой всякому аргентинцу, и особенно натуре творческой, художнику. Солнечные

лучи падали на долину. Под их благотворным светом даже телеграфные столбы, проволочное ограждение, репейник заплакали от счастья. Небо сделалось бескрайним, и потоки света обрушились на равнину. Казалось, что молодые бычки нарядились в новые шкуры... Вторая моя радость была психологического свойства. Прямо у гостеприимно накрытого к завтраку стола отец Браун доказал нам, что крест и шпага — отнюдь не враги: пользуясь властью и авторитетом, которые давал ему священнический сан, он отчитал полковника Хэррепа, назвав его (очень точно, на мой взгляд) ослом и грубым животным. И добавил, что тот бывает храбр только с людьми беззащитными, а с человеком решительным предпочитает не связываться.

Только некоторое время спустя я понял смысл этой отповеди — узнав, что минувшей ночью исчез Бибилони; на несчастного поэта, вот на кого поднял руку наш грубый солдафон.

— Минутку, друг мой, — сказал Пароди. — Этот ваш странный поезд, он что, нигде не останавливался?

— Дорогой Пароди, вы словно с луны свалились! Всем известно, что Панамериканский экспресс следует из Боливии в Буэнос-Айрес без остановок. Но позвольте мне продолжить. В тот вечер общая беседа не отличалась разнообразием тем. Все разговоры крутились вокруг исчезновения Бибилони. Кто-то из пассажиров заметил, что, сколько бы саксонские капиталисты ни расхваливали безопасность путешествия по железной дороге, нынешний случай доказывает обратное. Я возразил: Бибилони мог совершить какую-то оплошность исключительно из-за своей рассеянности, это так свойственно поэтам; я сам, например, нередко витаю в облаках. Но все наши гипотезы, естественно звучавшие днем — под пьянящими лучами солнца, потеряли смысл, стоило солнцу сделать прощальный пируэт. С наступлением темноты кругом воцарились печаль и тревога. Время от времени ночь разрывало зловещее уханье невидимого филина, который словно подражал дребезжащему кашлю недужного старика. И в такие мгновения каждый путешественник вспоминал что-то свое или испытывал смутный и непонятный страх перед сумрачной жизнью; казалось, будто колеса дружно отстукивали: Би-би-ло-ни-у-бит, Би-би-ло-ни-у-бит, Би-би-ло-ни-у-бит.

После ужина Голядкин (видно, чтобы рассеять тоскливое настроение, разлившееся по салону) сделал опрометчивый шаг, предложив мне сыграть с ним в покер один на один. Он был настолько одержим желанием померяться со мной силами, что с неожиданной в нем твердостью отверг предложения баронессы и полковника составить нам компанию. Натурально, господин Голядкин получил жестокий урок. Член клуба «Salón Doré» не посрамил своей славы. Сначала судьба не улыбалась мне, но вскоре, несмотря на мои прямо-таки отеческие увещевания, Голядкин проиграл все свои деньги: триста пятнадцать песо и сорок сентаво, которые полицейские ищейки потом у меня отняли без всяких на то законных оснований. Я никогда не забуду нашего с ним сражения: плебей против светского льва, скупой против мота, иудей против арийца. Ценнейшая картина для моей воображаемой галереи. Но вот что происходит дальше: Голядкин, который желает во что бы то ни стало отыграться, покидает салон. И тотчас возвращается со своим чемоданчиком из поддельной крокодиловой кожи. Достает один из футляров, кладет на стол и предлагает мне сыграть: триста проигранных им песо против бриллианта. Я не могу лишить его последнего шанса. Я сдаю карты; у меня на руках покер тузов; мы открываем карты; бриллиант княгини Федоровны переходит ко мне. Иудей покидает салон — navré, иначе говоря, сраженный наповал. Такие мгновения не забываются!

A tout seigneur, tout bonneur. Иначе говоря: каждому свое. Кульминация сцены: баронесса Пуффендорф аплодирует мне затянутыми в перчатки ручками, все это время она с откровенным интересом следила за тем, как шел к победе ее фаворит. Но как говорят в «Sálon Doré», я никогда не останавливаюсь на полпути. Я тотчас принял решение: позвал официанта и велел принести ipso facto[1] карту вин. Поколебавшись мгновение, я счел наиболее уместным шампанское «Эль Гаитеро», полбутылки. Мы с баронессой подняли бокалы.

---

[1] В силу самого факта *(лат.)*.

Светский человек всегда остается светским человеком. После таких событий любой другой на моем месте всю ночь не сомкнул бы глаз. Я же, почему-то потеряв всякий интерес к чарующим перспективам tête-à-tête с баронессой, мечтал только об одном — поскорее добраться до своего купе. Зевая, я выдавил из себя извинение и ретировался. Усталость буквально валила меня с ног. Я помню, как, засыпая на ходу, брел по нескончаемым коридорам, как, наплевав на правила, которые изобретают саксонские компании, чтобы стеснить свободу аргентинского пассажира, я ввалился наконец в первое попавшееся купе и, заботясь о сохранности бриллианта, запер дверь на задвижку.

Признаюсь вам без тени стыда, многоуважаемый Пароди, той ночью я спал не раздеваясь. Я просто рухнул на постель и забылся сном.

За любое умственное напряжение приходится расплачиваться. Всю ночь меня преследовал тягостный кошмар. Во сне я то и дело слышал насмешливый голос Голядкина, который повторял: «Я не скажу, где бриллиант!» Внезапно проснувшись, я тотчас сунул руку во внутренний карман — футляр лежал там, а в нем — несравненное сокровище, non pareil.

Я облегченно вздохнул и открыл окошко.

Сквозистый свет. Свежесть. Безумный птичий гомон. Туманный рассвет, какие случаются только в начале января. Еще сонное, еще закутанное в покровы белесого тумана утро.

От утренней поэзии я быстро вернулся к прозе жизни: в мою дверь постучали. Я открыл. Передо мной стоял помощник комиссара Грондона. Он спросил, что я делаю в этом купе, и, не дожидаясь ответа, предложил мне проследовать с ним в мое собственное. Я всегда и везде ориентировался как жаворонок. Вам это покажется невероятным, но мое купе оказалось по соседству. Там все было перевернуто вверх дном. Правда, Грондона не поверил в искренность моего изумления. Только позже я узнал о том, о чем вы прочитали в газетах. Господина Голядкина выбросили из поезда. Охранник, сопровождавший экспресс, услыхал его крик и поднял тревогу. В Сан-Мартине в поезд сели полицейские. Меня обвиняли все, даже баронесса — но она-то наверняка из мести. Но, скажу по ходу дела, наблюдательность и тут мне не изменила: пока шла вся эта полицейская возня, я успел заметить, что полковник ночью сбрил бороду.

II

Неделю спустя Монтенегро снова появился в исправительной тюрьме. По дороге, в мирном уединении арестантского автомобиля, он приготовил более дюжины забавных историй и вспомнил семь акростихов Гарсиа Лорки, чтобы просветить своего нового подопечного — habitué камеры номер 273 Исидро Пароди; но своенравный парикмахер не пожелал его слушать, а сразу достал из-под арестантской шапочки засаленную колоду карт и предложил ему, вернее заставил, сыграть с ним один на один.

— Играть я готов в любое время, — заметил Монтенегро. — В обиталище моих предков, в замке с зубчатыми башнями, которые, удваиваясь, любуются на свое отражение в водах Паранá, я позволял себе снизойти до бодрящего и грубого общества гаучо и любил проводить с ними часы досуга. Разумеется, мой закон — честная игра превыше всего — сделал меня грозой самых опытных картежников Дельты.

Очень скоро Монтенегро (который в обеих сыгранных партиях потерпел неудачу) признал, что игра, уже в силу самой свой простоты, не могла целиком захватить внимание такого человека, как он, — пылкого поклонника железнодорожных вояжей и bridge.

Пароди, не глядя на него, сказал:

— Послушайте, чтобы отплатить вам за тот урок игры, что вы преподали мне, старику, уже не способному сразиться даже с жалким неудачником, я расскажу вам историю. Историю одного очень храброго, но очень несчастного человека, которого я безмерно уважаю.

— Отдаю должное вашим чувствам, дорогой Пароди, — сказал Монтенегро, с не-

возмутимым видом закуривая сигарету из его пачки «Сублимес». — Они делают вам честь.

— Да, нет же, нет, друг мой, я имею в виду вовсе не вас. Я говорю о том незнакомом мне господине, выходце из России, который был не то кучером, не то слугой у знатной дамы и завладел бесценным бриллиантом; дама была княгиней, но у любви свои законы... У молодого человека от такой удачи закружилась голова, он поддался искушению — а кто не поддается искушениям? — он украл бриллиант и сбежал. А когда раскаялся в содеянном, было уже поздно. Невиданная по масштабам революция забросила ее на один край света, его на другой — сначала в Южную Африку, потом в Бразилию; и шайка грабителей преследовала несчастного, чтобы завладеть бриллиантом. Им это не удалось: человек тот измышлял всякие хитрости, пряча его; бриллиант теперь был нужен не ему самому, он хотел вернуть его даме.

После долгих лет скитаний он узнал, что дама живет в Буэнос-Айресе; ехать туда с бриллиантом было очень опасно, но он рискнул. Грабители сели в тот же поезд, в тот же вагон: один переоделся священником, другой военным, третий изображал провинциального поэта, четвертой была загримированная женщина. Среди пассажиров находился один наш соотечественник, человек сумасбродный, актер по профессии. Так вот, он, всю жизнь проведя среди загримированных людей, ничего странного в своих спутниках не заметил... Хотя комедия-то игралась весьма грубо. Да и компания подобралась слишком уж живописная. Священник, который позаимствовал себе имя в журналах Ника Картера, поэт — уроженец Катамарки, сеньора, которая вздумала назваться баронессой только потому, что в дело замешана некая княгиня, старик, который вдруг, ночью, сбривает себе бороду и который способен поднять вас, по вашим же словам, «довольно высоко» — а ведь вы весите килограммов восемьдесят, — а потом запихнуть в туалет... Это были люди решительные, провернуть дело им нужно было за четыре ночи. В первую ночь в купе Голядкина оказались вы и разрушили им все планы. Во вторую ночь вы невольно спасли его: баронесса проникла к нему якобы в порыве страсти, но ваш приход спугнул ее. В третью ночь, пока вы, словно приклеенный, торчали у двери баронессы, поэт набросился на Голядкина. И получил свое: Голядкин выкинул его из поезда. Потому-то ваш русский попутчик и нервничал, потому и крутился ночью в постели. Он размышлял о случившемся и о том, что еще могло его ждать; думал, должно быть, о четвертой ночи, самой опасной, последней. Он вспомнил слова священника о тех, кто губит душу ради ее же спасения. Он решил погибнуть и расстаться с бриллиантом, чтобы спасти его. Вы ему обмолвились о том, что занесены в полицейскую картотеку; и он понял: если его убьют, подозрения падут прежде всего на вас. В четвертую ночь он показал два футляра, чтобы воры решили, что существует два бриллианта — настоящий и фальшивый. На глазах у всех он проиграл бриллиант, проиграл человеку, который и в карты-то играть толком не умеет; воры решили, что он только хотел заставить их поверить, будто проиграл настоящий камень; вас усыпили, подсыпав чего-то в сидр. Потом они кинулись в купе к русскому и стали требовать бриллиант. Вы во сне слышали, как он повторял, что не знает, где драгоценность; возможно, он даже указал на вас, чтобы опять обмануть их. У этого отважного человека все вышло, как он и задумал: под утро негодяи его убили, но бриллиант был в надежном месте — у вас. Как только поезд дошел до Буэнос-Айреса, полиция схватила вас и передала драгоценность законной владелице.

Знаете, мне кажется, Голядкин просто разуверился и не понимал, стоит ли жить дальше, если двадцать жестоких лет не пощадили княгиню и теперь она заправляла борделем. Я на его месте, наверно, тоже боялся бы будущего.

Монтенегро потянулся за второй сигаретой.

— Старая история, — бросил он. — Ленивый ум не поспевает за гениальной интуицией художника. Я сразу с недоверим отнесся к ним ко всем: к госпоже Пуффендорф-Дювернуа, Бибилони, отцу Брауну и, особенно, к полковнику Хэррапу. Не беспокойтесь, дорогой Пароди: я немедленно изложу вашу версию властям.

Кекен, 5 февраля, 1942 г.

Перевод с испанского Н. БОГОМОЛОВОЙ

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Память Шекспира

НОВЕЛЛА

Кто-то поклоняется Гёте, Эддам или запоздалой «Песни о Нибелунгах»; моей судьбой был Шекспир. Был и остается по сей день, но в совсем особом смысле: о нем до этой минуты не подозревал никто, кроме единственного человека — Дэниэла Торпа, только что скончавшегося в Претории. Есть еще один посвященный, но его я никогда не видел в лицо.

Меня зовут Герман Зёргель. Любознательный читатель мог перелистывать мою «Хронологию Шекспира», которая в свое время считалась обязательным пособием для погружения в шекспировские тексты и была переведена на несколько языков, включая испанский. Возможно, припомнит он и длительную полемику вокруг некоей поправки, внесенной Теобальдом в подготовленное им критическое издание 1734 года и с тех пор неоспоримо входившей в канон. Сегодня я поражаюсь невежливому тону тогдашних своих, теперь уже почти не принадлежащих мне, страниц. Году в 1914-м я подготовил (но не отдал в печать) исследование сложных слов, изобретенных Джорджем Чапменом в переводах Гомера и повернувших английский язык — чего этот эллинист и драматург, понятно, не предполагал — к его англосаксонскому истоку (Ursprung). Никогда не думал, что чапменовский голос, который я сегодня не могу вспомнить, будет для меня таким привычным... Отдельный оттиск еще одной, подписанной лишь инициалами, статьи, кажется, завершает мою библиографию. Не знаю, вправе ли я добавить сюда неопубликованный перевод «Макбета», за который взялся, чтобы не думать о смерти брата, Отто Юлиуса, погибшего на Западном фронте в 1917 году. Он не закончен; я понял, что английский язык располагает двумя регистрами — германским и латинским, тогда как наш немецкий, более музыкальный, все-таки вынужден обходиться одним.

Я упомянул о Дэниэле Торпе. Нас познакомил майор Баркли на одной шекспировской конференции. Не буду называть ее места и времени, понимая всю приблизительность подобных уточнений.

Важней, чем лицо Торпа — слабое зрение помогло мне тут же стереть в памяти его черты, — был явно несчастный вид этого человека. С годами научаешься изображать многое, только не радость. Дэниэл Торп физически излучал тоску.

После долгого дня заседаний ночь застала нас в кабачке. Чтобы почувствовать себя в Англии (где все и происходило), мы потягивали из ритуальных оловянных кружек тепловатое темное пиво.

— Как-то раз в Пенджабе, — рассказывал майор, — мне показали одного попрошайку. По исламскому преданию, у царя Соломона был перстень, который помогал ему понимать язык птиц. Говорили, в конце концов перстень достался этому нищему. Сокровище было бесценным, так что владелец не мог его продать. Попрошайка умер во дворике мечети Вазил-хана, в Лахоре.

Я подумал, что у Чосера тоже есть история о чудесном перстне, но не хотел портить Баркли его рассказ.

— А перстень? — вместо этого спросил я.

— Как всякий волшебный предмет, его не нашли. Может быть, он теперь в каком-нибудь тайнике, там же в мечети, или на пальце у человека, живущего в краях, где нет птиц.

— Или их там столько, — вставил я, — что не поймешь, где чей голос. Ваша история, Баркли, похожа на притчу.

©Alianza Editorial, S. A., 1977
© Б. Дубин. Перевод, 1999

Тут и заговорил Дэниэл Торп. Казалось, он ни к кому не обращается, на нас он не смотрел. Было в его английском что-то особенное, я приписал это долгому пребыванию на Востоке.

— Это не притча, — сказал он, — а если притча, то она говорит правду. Есть бесценные вещи, которые невозможно продать.

Слова, которые я пытаюсь сейчас воскресить, подействовали на меня куда меньше, чем убежденность произнесшего их Торпа. Казалось, он хотел сказать еще очень много, но оборвал себя, пожалев о начатом. Баркли откланялся. Мы вернулись в гостиницу вдвоем. Час был поздний, но Дэниэл Торп предложил зайти к нему договорить. После нескольких избитых фраз он произнес:

— Я предлагаю Соломонов перстень вам. Конечно, это метафора, но то, что она подразумевает, — не меньшее чудо, чем царский перстень. Я предлагаю вам память Шекспира, всю — от первых детских лет до начала апреля 1616 года.

Я ничего не ответил. Представьте, что вам предлагают море.

Торп продолжал:

— Я не обманщик, не сумасшедший. Прошу, выслушайте меня, прежде чем принять решение. Майор рассказал бы вам, что по роду занятий я — военный врач, верней, был врачом. Сама история уместится в несколько слов. Все началось на Востоке, в лазарете, поутру. Когда — не важно. Рядовой Адам Клэй, в котором сидели две пули, перед смертью чуть слышным голосом предложил мне эту бесценную память. Агония и горячка убедят любого; я, хоть и без особой уверенности, принял предложение. Если сравнивать с войной, уже ничему не удивляешься. Клэй едва успел объяснить условия дара: даритель должен его вслух предложить, получатель — тоже вслух — принять. Первый навсегда теряет отданное.

Имя солдата и патетическая сцена передачи показались мне, в дурном смысле слова, литературой.

С некоторым страхом я спросил:

— Так что, вы владеете сейчас памятью Шекспира?

Торп ответил:

— Я владею двойной памятью. Одна — моя собственная, другая — Шекспира, которого я отчасти в себе несу. Но лучше сказать, эта двойная память владеет мной. Есть такая область, где они совпадают. Есть одно женское лицо, о котором я не знаю, к какому веку его отнести.

Тогда я спросил:

— А как вы распорядились памятью Шекспира?

Он помолчал. Потом ответил:

— Написал романизированную биографию, отмеченную единодушным презрением критиков и некоторым коммерческим успехом в Соединенных Штатах и в колониях. Кажется, все. Предупреждаю вас: мой подарок — не синекура. Теперь я жду вашего ответа.

Я задумался. Разве я не посвятил всю свою серую, чужую мне жизнь поискам Шекспира? И разве не будет справедливо, если я найду его в конце пути?

Отчетливо выговаривая каждое слово, я произнес:

— Я принимаю память Шекспира.

В эту минуту что-то явно произошло, но я ничего не почувствовал.

Может быть, легкую усталость, скорей всего — придуманную.

Ясно помню, как Торп сказал:

— Память уже вошла в ваше сознание, но ей нужно время проявиться. Это произойдет — во сне, среди бела дня, над страницами книги, на повороте за угол. Не подгоняйте себя, не выдумывайте воспоминаний. Случай вам поможет — или помешает, такова уж его таинственная природа. Чем больше я буду забывать, тем больше будете вспоминать вы. Точнее сказать не могу.

Остаток ночи мы посвятили спорам о характере Шейлока. Я удерживался от вопроса, знал ли Шекспир евреев в жизни. Не хотелось, чтобы Торп подумал, будто я требую от

него доказательств. То ли с облегчением, то ли с беспокойством я отметил, что он пользуется такими же условными, чисто академическими доводами, что и я.

Следующую ночь я тоже почти не спал. Уже в который раз я убедился в своем малодушии. Из боязни быть обманутым я не решался поверить щедрым обещаниям надежды. Говорил себе, что появление Торпа — галлюцинация. Но неотразимая надежда брала верх. Скоро Шекспир станет моим, каким — ни в любви, ни в дружбе, ни даже в ненависти — он не стал ни для кого другого. До какой-то степени я сам стану Шекспиром. Нет, я не буду писать трагедий и запутанных сонетов, но я сумею вспомнить ту минуту, когда мне привиделись ведьмы, они же — богини судьбы, и другую, подарившую мне неисчерпаемые строки:

And shake the yoke of inauspicious stars
From this worldweary flesh[1].

Я буду вспоминать Энн Хэтуэй, как теперь вспоминаю ту женщину, уже в годах, которая много лет назад впервые познакомила меня с любовью в одной из меблирашек Любека. (Пытаюсь вспомнить ее лицо, но вижу только пожелтевшие обои и сочащийся в окно свет. Скорей всего, тот первый провал предопределил потом все остальные.)

Я думал, образы моей необыкновенной памяти будут прежде всего зрительными. И не угадал. Несколько дней спустя, бреясь перед зеркалом, я вдруг произнес несколько слов, которым сам удивился и которые, как подсказал мне коллега, были из чосеровской «Азбуки». Однажды вечером, выходя из Британского музея, я поймал себя на том, что насвистываю какой-то нехитрый мотив, которого никогда не слышал.

Думаю, читатель уже по этим первым откровениям памяти уловил ее главную черту: при всем блеске отдельных метафор она была скорее слуховой, чем зрительной.

Де Куинси утверждает, что человеческий ум устроен как палимпсест. Каждая новая запись скрывает предыдущую, чтобы самой скрыться под последующей, но всемогущая память в силах извлечь из глубин любое, даже самое беглое впечатление, если дать ему необходимый стимул. Судя по шекспировскому завещанию, у него в доме не было книг, даже Библии. Но ведь хорошо известно, какие книги он читал. Чосер, Гауэр, Спенсер, Кристофер Марло. «Хроника» Холиншеда, Монтень в переводе Флорио, Плутарх в переводе Норта. Я владел, пусть еще скрытой, памятью Шекспира. Чтение, верней, перечитывание этих старинных томов — вот что послужит мне нужным стимулом. Кроме того, я перечитал сонеты — самое непосредственное в его поэзии. Несколько раз обращался к комментарию или к разным комментариям. Хорошие стихи надо читать вслух; за несколько дней я овладел жестким «р» и открытыми гласными шестнадцатого века.

В «Zeitschrift für germanische Philologie»[2] я написал, что 127-й сонет отсылает к памятному разгрому Непобедимой Армады. Я забыл, что этот тезис еще в 1899 году выдвинул Сэмюэл Батлер.

Поездка в Стратфорд-он-Эйвон оказалась, как и следовало ожидать, совершенно бесплодной.

Потом сны начали постепенно меняться. Меня не посещали ни великолепные кошмары, в отличие от Де Куинси, ни благочестивые аллегорические картины, в отличие от его наставника Жан-Поля. В мои ночи вошли незнакомые лица и дома. Первое узнанное мной лицо принадлежало Чапмену; потом появился Бен Джонсон и сосед поэта, который не фигурирует в биографиях, но которого Шекспир, скорей всего, видел каждый день.

Владея энциклопедией, вовсе не владеешь каждой ее строкой, каждым разделом, каждой страницей, каждым рисунком; просто владеешь возможностью все это при необходимости узнать. И если это верно для такой конкретной и сравнительно простой материи, к тому же расположенной в алфавитном порядке статей, то как может быть иначе

---

[1] Здесь отдохну навек, здесь сброшу с плеч
Томительное иго звезд зловещих.
(«Ромео и Джульетта», V, 3. *Перев. Б. Пастернака.) (Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] «Журнал германской филологии» (*нем.*).

с материей настолько абстрактной и неуловимой, ondoyant et divers[1], как чудесная память давно ушедшего человека?

Никому не под силу вместить в один миг всю полноту прошлого. Подобным даром не наделены ни известный мне как-никак Шекспир, ни я, его скромный наследник. Человеческая память — не сумма пережитого, а хаос неведомых возможностей. Если не ошибаюсь, Августин говорит о чертогах и подземельях памяти. Вторая метафора абсолютно точна. В эти подземелья я и спустился.

В памяти Шекспира, как любого из нас, есть темные области, обширные области намеренно забытого. Не без некоторого потрясения я вспомнил, как Бен Джонсон декламировал латинские и греческие гекзаметры, а слух, несравненный шекспировский слух то и дело путал долгие и краткие слоги на потеху коллегам.

Я узнал радость и тоску, от которых зависит каждый. Долгое и усидчивое одиночество исподволь учило меня тем острей воспринимать чудо.

Через месяц память умершего меня уже окрыляла. Неделю мне было даровано неслыханное счастье: я считал себя почти Шекспиром. Его строки повернулись новой, неожиданной стороной. Я понял, что луна для Шекспира — не столько луна, сколько богиня Диана, и не столько Диана, сколько это темное, никак не приходящее в голову слово «moon». И еще одно открытие ждало меня. Явные погрешности Шекспира, те случаи «absence dans l'infini»[2] , которыми восторгался Гюго, были не случайными. Шекспир не исправлял и даже вставлял их, чтобы речь, предназначенная для сцены, звучала непринужденно и не казалась слишком отшлифованной, искусственной (nicht allzu glatt und gekunstelt). Поэтому же он наслаивал метафоры одну на другую.

my way of life
Is fall'n into the sear, the yellow leaf[3].

Однажды я почувствовал какую-то затаенную в памяти вину. Я не стал ее определять; это раз и навсегда сделал Шекспир. Скажу только, что та вина не имела ничего общего с извращением.

Я понял, что разграничение трех способностей человеческой души — памяти, разума и воли — не выдумка схоластиков. Память Шекспира могла только одно: раскрыть мне обстоятельства его жизни. А неповторимым поэта делали, конечно, не они; главным было то, во что он сумел превратить этот хрупкий материал, — стихи.

Вслед за Торпом, я в простоте душевной принялся сочинять биографию. Но скоро убедился, что этот литературный жанр требует писательских умений, которых у меня нет. Я не умел рассказывать. Я не мог рассказать даже собственную историю, а уж она была куда необычней шекспировской. Кроме того, подобная книга оказалась бы ни к чему. Случай или судьба вдоволь отмерили Шекспиру всего расхожего и чудовищного, что знает по себе каждый. Он сумел создать из этого сюжеты, героев, в которых было куда больше жизни, чем в придумавшем их седовласом человечке, — стихи, оставшиеся в памяти поколений, музыку слова. Так зачем распутывать эту сеть, зачем вести под башню подкоп, зачем сводить к скромным масштабам документированной биографии или реалистического романа макбетовские шум и ярость?

Как известно, Гёте у нас в Германии — предмет официального культа; куда задушевней наш культ Шекспира, к которому мы примешиваем толику ностальгии. (В Англии предмет официального культа — Шекспир, бесконечно далекий от англичан; но главная книга Англии — конечно, Библия.)

На первом этапе судьба Шекспира была для меня беспредельным счастьем, потом — воплощенным гнетом и ужасом. Вначале память каждого текла по своему руслу. Со временем могучая шекспировская река нагнала и почти захлестнула мой скромный ру-

---

[1] Изменчивый и разнообразный (*франц.*).
[2] Опьянение бесконечностью (*франц.*).
[3] Я пожил на своем веку. Я дожил
До осени, до желтого листа.
(«Макбет», V, 3. *Перев. Б. Пастернака.*)

чеек. Я с ужасом понял, что забываю родной язык. Память — основа личности; я стал опасаться за свой разум.

Друзья заходили по-прежнему; я поражался, как это ни один из них не видит, что я в аду.

Понемногу я переставал понимать самые обычные вещи (die alltägliche Umwelt). Как-то утром я растерялся перед странными громадами из железа, дерева и стекла. Меня оглушили свистки, крики. Прошла секунда — мне она показалась бесконечной, — прежде чем я узнал паровоз и вагоны Бременского вокзала.

С годами каждому из нас приходится нести на себе растущий груз памяти. А у меня за плечами их было два (порою они срастались в один): мой собственный и недоступного мне другого.

Каждая вещь на свете хочет оставаться собой, написал Спиноза. Камень хочет быть камнем, тигр — тигром. Я хотел снова стать Германом Зёргелем.

Не помню точно, когда я задумал вернуть себе свободу. Способ я выбрал самый простой. Позвонил по нескольким случайным номерам. Трубку снимали дети, женщины. Их я решил не беспокоить. Наконец послышался голос человека, явно образованного, мужчины. Я сказал:

— Хотите владеть памятью Шекспира? Говорю совершенно серьезно. Подумайте.

Голос с сомнением ответил:

— Что ж, я готов рискнуть. Принимаю память Шекспира.

Я рассказал условия. Как ни странно, я чувствовал тоску по книге, которую должен был, но не дал себе написать, и вместе с тем страх, что призрак не покинет меня никогда.

Потом я повесил трубку и с надеждой повторил смиренные слова:

Simply the thing I am shall make me live[1].

Когда-то я изобретал способы оживить в себе прежнюю память, теперь я искал способов ее стереть. Одним из них стало исследование мифологии Уильяма Блейка, взбунтовавшегося ученика Сведенборга. Я убедился, что она не столько сложна, сколько переусложнена.

Этот и другие пути ни к чему не привели; все возвращало меня к Шекспиру.

Единственное, что еще внушает надежду, — это строгая и неисчерпаемая музыка. Иначе говоря, Бах.

Постскриптум 1924 года. Я — самый обычный человек. Днем я — профессор в отставке Герман Зёргель, который ведет свою картотеку и пишет избитые вещи, сдобренные эрудицией. Но иногда по утрам я понимаю, что сны минуту назад видел кто-то другой. Из вечера в вечер меня преследуют беглые проблески памяти. Кажется, не придуманные.

Перевод с испанского БОРИСА ДУБИНА

■

[1] Я и такой как есть не пропаду.
(«Конец — делу венец», IV, 3. *Перев. Мих. Донского.*)

РИКАРДО ПИЛЬЯ

Чужая память

Последний рассказ Борхеса — тот, который мы (сраженные совершенством такого финала) считаем сегодня его последним рассказом, — порождение сна. Восьмидесятилетнему Борхесу приснился человек без лица, предлагающий ему в гостиничном номере память Шекспира. «Счастье было даровано мне в Мичигане, — поясняет Борхес. — Речь шла о памяти Шекспира не в смысле его известности — вещь слишком тривиальная — и не о его славе, а о памяти самого Шекспира. Из этого и сложился рассказ». Герой новеллы, скромный литератор, посвятивший жизнь чтению и одиночеству, с помощью явной и нехитрой уловки (такими Борхес обычно и пользовался, создавая ощущение фантастичности происходящего) завладевает воспоминаниями Шекспира. И вот он вспоминает вечер, когда писал второй акт «Гамлета», и видит забытый луч в углу окна, и ему чудится простой мотив, которого он никогда прежде не слышал и который переполняет его счастьем. «С годами каждому из нас приходится нести на себе растущий груз памяти. А у меня за плечами их два (порою они срастаются в один): мой собственный и недоступного мне другого... В начале память каждого текла по своему руслу. Со временем могучая шекспировская река нагнала и почти захлестнула мой скромный ручеек. Я с ужасом понял, что забываю родной язык. Память — основа личности; я стал опасаться за свой разум».

Борхесовская метафора чужой памяти, при подчеркнутой ясности подобных искусственных воспоминаний, — главный нерв современной прозы. В книгах Берроуза, Пинчона, Гибсона, Филиппа Дика мы видим, как собственная память индивида разрушается. Или, лучше сказать, замещается цепочкой чуждых ему происшествий и воспоминаний. Применительно к прозе сегодня можно говорить о смерти Пруста — я имею в виду смерть памяти как того условия, без которого нет ни индивидуального времени, ни подлинной личности. Современные прозаики минуют мир Пруста, как стендалевский Фабрицио — поле Ватерлоо: вокруг земля в обломках, пейзаж после битвы. Ни собственной памяти, ни настоящего воспоминания, любое прошлое ненадежно и безлично. Достаточно подумать о Йозефе К. у Кафки, персонаже, который не в силах вспомнить — по всей видимости, не в силах вспомнить, — в чем его преступление. О герое, чье прошлое и сама личность — предмет дознания. Трагедия К. (а я бы сказал, и суть кафкианского) — в попытке вспомнить, кто он такой. «Процесс» — это процесс над памятью.

Лучшие рассказы Борхеса кружат вокруг этих тем: ненадежности личного воспоминания, поддельной жизни, подмененного опыта. Ключ к его параноидальной вселенной — не амнезия и забвение, а манипулирование памятью и личностью. У читателя такое чувство, будто он заблудился и его снова и снова возвращают к тому же центру хитроумного лабиринта, вся архитектура которого — коварная уловка. Так в борхесовской прозе представлена политика. Достаточно прочесть «Лотерею в Вавилоне», чтобы понять: роль Государства как аппарата всеобщего надзора, роль того, что можно назвать разумом Государства, — выдумывать и порождать неверную память и безличный опыт. («Как все мужчины в Вавилоне, я побывал проконсулом; как все — рабом; изведал я и всемогущество, и позор, и темницу»[1].) Фигура тщеславного и мстительного Шарлаха Денди из новеллы «Смерть и буссоль» (в чьем зеркале отразится потом Джек Николсон из тимбартоновского «Бэтмена») — барочный образчик этого нового типа сознания. Герой здесь живет в области чисто внешнего, в нем нет ничего своего, ничего личного. Герой — это тот, кто превращается в шаблон, кто множит поддельную память и подмененную жизнь.

Подобное растворение индивидуальности — тема замечательного борхесовского рассказа о нацизме «Deutsches Requiem». Исповедь удивительного (отвратительного) Отто Дитриха цур Линде — это действительно пророчество, я хочу сказать — опережающее описание мира, в котором мы существуем сегодня. «Тот, кто сумеет меня услышать, постигнет историю Германии и будущее всего мира. Убежден: такие судьбы, как моя, непривычные и порази-

---

[1] Перевод Е. Лысенко.

© R. Piglia, 1993
© Б. Дубин. Перевод, 1999

тельные сегодня, завтра превратятся в общее место. Утром я умру, но останусь символом грядущих поколений».

Борхес с полной ясностью видит в массовой культуре (лучше сказать, массовой политике) устройство для производства поддельной памяти и безличного опыта. Все чувствуют одно, все помнят одно, и все чувствуют и помнят то, чего сами не пережили.

Архаичное и одинокое занятие литературой — это, безусловно, копия (или, лучше сказать, параллельная вселенная), которую выстраивает Борхес, чтобы забыть о чудовищной реальности. Литература тоже воспроизводит формы и дилеммы шаблонного мира, но в ином регистре, на ином уровне, как бы во сне. В этом смысле образ чужой памяти для Борхеса ключевой: это метафора поэтической традиции и культурного наследия. Переживание чужих воспоминаний — не только вариация на старую тему двойника, но и лучшая метафора литературного опыта. А чтение есть искусство возводить собственную память из чужих поступков и воспоминаний. Эпизоды прочитанных книг становятся нашими личными воспоминаниями. (Робинзон Крузо столбенеет перед следами на песке; младшая из семейства Компсонов на рассвете ускользает через окно верхнего этажа; Иоганнес Дальман сжимает рукоять ножа, с которым, вероятно, не умеет обращаться, и выходит в долину.) Они примешиваются теперь к потоку жизни — незабываемые события, приходящие на память, как музыка.

По своему устройству литературная традиция — это сон, где перед нами проходят воспоминания давно умершего поэта. Вполне можно представить себе человека, которого в будущем (скажем, в номере лондонской гостиницы) начинают вдруг посещать воспоминания скромного южноамериканского писателя, едва ему знакомого. И вот перед ним проходит образ дворика с мозаичным полом и фонтанная чаша в двухэтажном особняке на углу улиц Серрано и Гватемалы; тонкое лицо Маседонио Фернандеса в полумраке пустой комнаты[1]; черный и белый узор игральной карты, прибитой тесаком к стволу сосны над трупом шулера Джона Оукхерста; он видит трамвай, пересекающий тихие закоулки буэнос-айресских окраин, и человека в нем, который, близоруко поднося томик к самому лицу, впервые читает дантовскую «Комедию»; индейскую девушку с рыжими косами и голубыми глазами, не спеша пересекающую площадь военного городка на северной границе провинции Буэнос-Айрес; поржавелый ключ, открывающий дверь огромной библиотеки на улице Мехико; бронзовую гирьку, хрёнир и экземпляр «Саги о Греттире»; прекрасное и недостижимое лицо Матильды Урбах, которое улыбается за желтыми ромбами наборного окна.

Может быть, в чьем-то будущем еще не родившаяся на свет женщина уже мечтает о том, что ей достанется память Борхеса, как Борхес мечтал о доставшейся ему памяти Шекспира.

Перевод с испанского БОРИСА ДУБИНА

■

[1] Из таких присвоенных воспоминаний борхесовского наставника, аргентинского писателя-экспериментатора Маседонио Фернандеса (1874—1952), выстроен роман самого Рикардо Пильи «Город, которого нет на карте».

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Из книги «РАССЛЕДОВАНИЯ»

Сэр Томас Браун

Всякая красота — это празднество, и отличительная черта ее — щедрость. Без сомнения, любезности и комплименты изначально были формой выражения благодарности и признания — лицезрение прекрасной женщины честь для нас. Стихи — это тоже выражение благодарности.

Восхвалять четкими, пригнанными одно к другому словами то поток листвы, которому весна открывает путь на бульвары, то поток ветра, омывающий сентябрьские дворики, — значит чувствовать, что получил подарок, и отвечать с преклонением и любовью. Благодарность и жалоба — в плачах, благодарность и надежда — в мадригале, псалме, оде. Благодарностью является даже история в первоначальном значении слова — романсеро, воспевающие благородные подвиги...

Я ощущаю красоту в трудах Брауна как подарок и в ответ хочу воздать хвалу его перу.

Но прежде следует рассказать о его жизни. Браун был сыном торговца сукном, он родился в Лондоне в 1605 году, осенью. Получив степень лиценциата в Оксфордском университете (1629), отправился изучать медицину сначала на юг Франции, потом в Италию и Фландрию: в Монпелье, Падую и Лейден. Известно, что в Монпелье он подолгу дискутировал о бессмертии души со своим другом, теологом, «*человеком исключительных достоинств, но настолько сбитым с толку в этом вопросе тремя правилами Сенеки, что всех наших противоядий, извлеченных из Священного писания и философских трудов, недостало, чтобы защитить его от яда заблуждений*». Браун также рассказывает, что, несмотря на свою принадлежность к англиканской вере, однажды плакал, наблюдая крестный ход, «*в то время как мои товарищи, ослепленные предубеждением, насмешничали и хохотали*». Всю жизнь Брауна смущали детали и невнятные места догмата, но он никогда не сомневался в главном: в самосущности Бога, в божественности духа, в противостоянии добродетели пороку. По собственному его выражению, он сумел сыграть в шахматы с дьяволом, не потеряв ни одной важной фигуры. В 1633-м, уже получив докторскую степень, Браун вернулся на родину. Он занимался медициной, и эти исследования, как и литература, были светом его очей. В 1642-м гражданская война заставила содрогнуться сердца англичан. Брауна она воодушевила на парадоксальный героизм — не замечая ее дерзкого вторжения, предаваться раздумьям, погрузившись в чистое созерцание красоты. Жизнь его текла счастливо и мирно. Дом в Норвике, даривший его двумя наслаждениями — научной библиотекой и обширным садом, стоял рядом с церковью, чье сумрачное великолепие, рожденное тенями и отблесками витражей, являет собой архетип трудов Брауна. Он умер в 1682-м, и день его кончины совпал с днем рождения. Подобно дону Родриго Манрике, он умер в окружении жены, сыновей, родственников и слуг, отдав душу тому, кто дал ее ему. Он прожил жизнь со вкусом, держась в тени щедрого времени и повинуясь лишь возвышенным голосам.

В сэре Томасе Брауне соединились литератор и мистик: vates и gramaticus[1], если выразить это с латинской точностью. В нем проявился тип литератора, предтечей которого был Бен Джонсон, литератора, в котором впервые явлены все родовые признаки: погруженность в работу с наслаждением, с благоговением, с бережным отношением к языку, со скрупулезной разработкой теории, дабы придать законную силу трудам; ощущение себя человеком своей эпохи с присущими ей стремлениями; изучение чужих язы-

---

[1] Провидец и филолог *(лат.). (Здесь и далее — прим. перев.)*

© В. Кулагина-Ярцева. Перевод, 1999

ков и так далее — вплоть до роли председателя в литературном кружке и создания фракций. Его прекрасную прозу отличают ученость и совершенство. Браун превосходно писал на латыни, и в этом смысле деятельность его, современника Мильтона, сопоставима с деятельностью Диего де Сааведры в Испании. Браун знал испанский, и в его трудах встречается наше выражение *beso las manos*[1] (у него превращенное в существительное и с заменой буквой z первого s) и слова *dorado, armada, noctambulos* и *crucero*[2]. Он упоминает «Замыслы» Коваррубиаса и «Церковное единовластие» иезуита Хуана де Пинеды, которого порицает за то, что тот цитирует в одной этой книге больше авторов (тысячу сорок!), чем их потребно на целый свет. Он также владел итальянским, французским, греческим и латынью и часто прибегал к ним в своих речах. Он был новатором, но не из тех, кто стремится потрясти и поразить читателя; он был классиком, но без напыщенности и без строгого следования закостенелым правилам. Необъятная лексика Шекспира пришлась ему впору, и за этим изобилием видно, насколько легки и благородны его жесты.

Он был праведным человеком. Известное определение оратора, данное Квинтилианом: *vir bonus dicendi peritus* — добрый муж, владеющий искусством речи, — полностью соответствует Брауну. Обилие сект и народов, которое так многих раздражает, нашло слова сочувствия в его трудах. Вокруг него не затихали распри: между католиками и англиканцами, христианами и иудеями, мотилонами[3] и конкистадорами. Добросердечное спокойствие Брауна выше этих распрей. Он пишет следующее (*Religio Medici, 2*[4]):

Меня не ужасает присутствие скорпиона, саламандры, змеи. Вид жабы или гадюки не вызывает у меня желания взять камень и убить их. Я не ощущаю в себе неприязни, которую часто замечаю у других: меня не затрагивает национальная рознь, я не смотрю с предубеждением на итальянца, испанца или француза. Я рожден в восьмом климате, но, мне кажется, создан и приспособлен для любого. Я не растение, которое может погибнуть за пределами сада. Каждый край, каждое окружение обещает мне родину; я остаюсь в Англии, будучи в любом месте и на любой широте. Я терпел кораблекрушение, но не чувствую враждебности к течению и ветрам: я могу заниматься, развлекаться или спать во время бури. В целом я не чувствую неприязни ни к кому, и, если бы я стал утверждать, что ненавижу кого-либо, кроме дьявола, моя совесть изобличила бы меня. Если среди всеобщих объектов ненависти существует нечто, что я осуждаю и презираю, то это враг разума, веры и добродетели — Чернь: чудовищная толпа, в которой каждый по отдельности представляется человеком и разумным созданием Божиим, а смешавшись вместе, они превращаются в единого огромного зверя, более чудовищного, чем Гидра. К черни я отношу не только людей низких и незначительных: среди дворян есть и подлецы и люди с плебейским умом, хотя их богатство золотит порок, а кошелек расплачивается за безрассудства.

Фрагмент, который я только что перевел, значим для повседневного образа жизни Брауна: вещь важная в писателе. Он, а не отдельные успехи или недостатки предрешает славу. Вот во многих отношениях замечательный фрагмент, более поэтичный, чем многие известные мне стихи:

Но несправедливость забвения вслепую рассыпает свой мак и управляет людской памятью, не применяясь к добродетели постоянства. Чего, как не жалости, заслуживает строитель египетских пирамид? Жив Герострат, который некогда сжег храм Артемиды, и почти позабыт тот, кто его построил; столетия пощадили эпитафию коню Адриана и стерли его собственную. Напрасно мы связываем удачу со своим добрым именем, поскольку дурное имя служит столь же долго. Кто скажет, о лучших ли сохранилась память? Кто — если забыты самые славные мужи, что когда-то были в центре событий? Без благоволения книги вечности первый человек был бы так

---

[1] Целую руки *(исп.)*.
[2] Золотистый, эскадра, лунатики и средокрестие *(исп.)*.
[3] Мотилоны — индейцы в Венесуэле и Колумбии.
[4] Вероисповедание врачевателя *(лат.)*.

же забыт, как и последний, и долгая жизнь Мафусаила оказалась бы только его летописью. Забвение неподкупно. Большинство людей должны примириться с тем, что словно никогда не существовали, и с тем, что будут фигурировать в реестре Бога, а не в человеческом представлении... Напрасно некоторые надеются на бессмертие или на какие-то гарантии остаться в памяти, сохраниться в подлунном мире: их надежда призрачна, хотя они тешат себя иллюзиями подняться выше Солнца и в самомнении своем увековечить на небосводе собственные имена. Различные космографии уже изменили названия сложных созвездий: Нимврод затерялся в Орионе, Осирис превратился в Каникулу. В небесах мы ищем нетленности, но они подобны Земле. Я не знаю ничего действительно бессмертного, кроме собственно бессмертия: то, что не знает начала, может быть в неведении о конце; любое другое бытие зависимо, и его постигнет уничтожение... Но человек благородное животное, величественное во прахе и достойное уважения в могиле, он празднует рождения и кончины с равным блеском и подготовляет роскошные церемонии ради бесчестия своего тела. (Urne buriall[1], 1658)

Рассказывает Лопе де Вега, что когда он настоятельно рекомендовал одному из поседователей Гонгоры ясность, поскольку стихи должны услаждать, тот ответил: «*И шахматы услаждают*». Реплика, если не считать того, что она достигает двух целей: запутывает спор и дает возможность обернуть упрек в свою пользу (ведь чем труднее игра, тем она больше ценится), — не что иное, как софизм. Я не хочу убеждать себя в том, что неясность когда-либо могла быть задачей искусства. Невероятно, чтобы целые поколения задавались бы целью говорить загадками... К этой мысли меня привела классическая латынь сэра Томаса Брауна и мое собственное стремление доказать ее правомерность.

Есть критика идолопоклонническая, тупая, которая, не осознавая того, персонифицирует эпохи в отдельных личностях и рисует воображаемые распри между тем, кого она считает полубогом, и его современниками или наставниками, вечно опаздывающими признать это чудо. Таким образом испанская критика представляет нам Луиса де Гонгору, который словно бы не был ни продолжателем Фернандо де Эрреры, ни современником Ортенсио Феликса Парависино, и не получил опровержения своего метода в произведениях Грасиана. Я не верю в подобные чудеса и полагаю, что истинное величие человека заключено в том, чтобы соответствовать своему времени и характерным для него стремлениям. Браун достиг исключительных успехов в латинизации культуры, но тяга к латинскому языку была общей у писателей его эпохи.

Я предполагаю, что частое использование латыни в ту эпоху не просто ласкало слух и было не ухищрением, способствующим расширению границ языка, а стремлением к универсальности и ясности. Есть два значения слов в романских языках: первое расхожее, соответствующее местным особенностям, превратностям времени; второе — этимологическое, абсолютное, отвечающее их латинскому или греческому происхождению. (Для меня очевидно, что английский в том, что относится к духовной сфере, — романский язык.) Латинисты XVII века придерживались второго — основного — значения. Их деятельность была противоположна занятиям сегодняшних академиков, которые поглощены частностями: поговорками, идиомами, фразеологизмами. Против такого пристрастия к вульгаризмам три века назад поднял перо Кеведо в выспренней «Басне басен» и предшествующем ей послании.

Мне хочется также вспомнить соображения, высказанные по этому поводу доном Диего де Сааведра Фахарадо в филигранном предисловии к своему «Готскому королевству»:

В слоге я стремлюсь подражать умевшим кратко и блистательно изъяснять свои мысли латинянам и презираю тщетные старания тех, кто, желая придать испанскому языку чистоту и целомудрие, делают его вялым и лишенным красот.

Перевод с испанского В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ

---

[1] Погребальная урна (*англ.*).

Из книги «ЗЕМЛЯ МОЕЙ НАДЕЖДЫ»

Порядок и Новизна

В одном из своих псалмов, чей доверительный и патетический тон восходит, без сомнения, к Уитмену, Гийом Аполлинер разделил писателей на питомцев Порядка и первопроходцев Новизны, причем себя причислил к последним, призвав быть милосердными к их грехам и промахам[1]. Впечатляющий шаг — он привел мне на память прямо противоположный ход Гонгоры, который в такой же критический момент решился на последнюю разведку владений мрака и создал сонет, где сказано:

Друг-Одиночество, священный след
Впечатан в ужас твоего молчанья.

Оба, разумеется, понимали, о чем говорят, и называли то, что выше всего ценили. Культ изощренного искусства — дело для XVII века настолько же привычное и притягательное, как для нашей эпохи мятежей и потрясений — культ отваги.

Порядок и Новизна... В конечном счете любое индивидуальное новшество обогащает общий порядок: время узаконивает новинки, награждая их оправдательным достоинством. Увы, на неизбежные формальности уходят, как правило, годы. Знаменитый испанский спор петраркистов и приверженцев традиционного восьмисложника еще не кончен, и, вопреки историкам, подлинным победителем в нем пока что оказывается не Гарсиласо, а Кастильехо[2]. Я имею в виду лирику народного типа, в чьи затерянные просторы до нынешнего дня не проник ни единый отзвук боскановской метрики. Ни Эстанислао дель Кампо[3], ни Эрнандес, ни шарманка, уступающая перекресток самозабвенным жалобам «Без любви» или самовлюбленной лихости «Сутенера из предместья»[4], не почерпнули у итальянцев решительно ничего.

Любая новизна станет завтра нормой; любое новшество рано или поздно войдет в привычку. Мельчайшие подробности нашего повседневного обихода — словарь, выбранный для разговора с тем или иным собеседником, особое сцепление идей, по законам родства неминуемо влекущее за одной другую, — подчиняются этой судьбе и бегут по невидимым руслам, прорытым их собственным потоком. Эта общая истина тем более распространяется на стихи с их слуховой привычкой к рифме и круговоротом строф, сменяющихся весело и неумолимо, как времена года. Искусство — неукоснительное соблюдение правил и в самых, казалось бы, раскованных формах не теряет твердости. Ультраизм, все поставивший на метафору, отвергающий внешнее сходство и беззаботное рифмачество, которое грозит сегодняшнему поэту судьбой еще одного из подголосков Лугонеса, — не покушение на порядок, а поиск иного закона.

Понять, что возможности обновления в искусстве достаточно скромны, — наш удел, неприятный, но неизбежный. У каждого времени — свой склад, и творческая смелость состоит в том, чтобы подчеркнуть это. Мы в самозабвении и неосведомленности толкуем о повсеместном рубенианстве, забывая, что, не будь Дарио, таким же орудием того же процесса (кавалерийский наскок девятисложного стиха, расшатывание цезуры, злоупотребление роскошью и орнаментикой) сделался бы кто-то другой — скажем, Хаймес Фрейре[5] либо Лугонес. Невежество и обожествление объединяются, превознося безусловность прекрасного. Не мы ли последние полтора десятилетия присутствовали при

---

[1] Отсылка к стихотворению Аполлинера «Рыжекудрая красавица» (сб. «Каллиграммы»), где поэт говорит о «давнем споре традиции и изобретения, Порядка и Новизны».

[2] Кристобаль дель Кастильехо (ок.1490—1550) — испанский поэт-традиционалист, противник итальянских веяний, сторонниками которых выступали Гарсиласо де ла Вега и Хуан Боскан.

[3] Эстанислао дель Кампо (1834—1880) — аргентинский поэт, автор поэмы «Фауст» (1866).

[4] Танго на слова, соответственно, Роберто Эмилио Гойенере и Альфонсо де Рейеса.

[5] Рикардо Хаймес Фрейре (1868—1933) — боливийский поэт, сподвижник Рубена Дарио в обновлении латиноамериканской поэзии на рубеже веков.

© Б. Дубин. Перевод, 1999

выделке поразительного рукотворного двойника, когда «Мартина Фьерро» — книгу, вобравшую в себя все богатство риторики и не существующую без остальных гаучистских поэм, — превращали в нечто беспримерное, основополагающее? Ни одного по-настоящему вдохновенного труда мы за это время не встретили, а потому хорошо знаем, сколько благородных лесов пришлось опустошить, чтобы поднялось это высокое пламя и ароматная поленница — благоухание и блеск жертвенного костра.

То, что новизна недостижима и за самыми непосредственными нашими шагами таится предначертанная судьба шахматных фигур, очевидно всякому, кто преодолел запутанные окраины искусства и с залитых солнцем террас окидывает взглядом непоколебимую прямизну центральных улиц. Славить подобное самообуздание, исповедовать его с благочестивым смирением — отличительная черта классицизма. Есть авторы, которые не избегают тривиального эпитета или откровенно расхожего образа, с почтением или с иронией следуя предопределению всякого классициста. Их прообраз — Бен Джонсон, по словам Драйдена[1] , «подчинявший себе авторов, как сопредельные государства» и вдохновленный этим символом веры до того, что создал итоговую книгу своей мысли и жизни из переводов, выражая суть собственных идей с помощью чужих фраз.

Порядок и Новизна... Мне дороги оба пути, если по ним идут герои. Если оба они не повторяют друг друга. Если нынешняя дерзость — не простая расплата за вчерашнее благоприличие. Если они — не двойная западня для отправившегося в дорогу. Прекрасно приветственное движение руки, раскалывающее толщу невыносимого одиночества. Прекрасен вчерашний голос, говорящий о нашем братстве, благодаря которому (как и благодаря дружбе) мы чувствуем, что похожи и способны прощать, любить, выносить жизнь. Глубочайшая тривиальность любви, пути и смерти безысходна и вечна.

Из книги «АТЛАС»

Тотем

Александриец Плотин, по рассказу Порфирия, не хотел, чтобы с него писали портрет, и ссылался на то, что он — не более чем тень своего платоновского первообраза, а портрет и вовсе будет лишь тенью тени. Через несколько веков Паскаль снова прибегнет к этому доводу, обратив его против живописи как таковой. Изображение, которое видит читатель, отпечатано с фотографии канадского идола, иными словами, это тень тени от тени. Подлинник — назовем его так — высится за последним из трех корпусов буэнос-айресского вокзала Ретиро, огромный и одинокий. Я говорю об официальном даре правительства Канады. Эту страну не смутило, что ее будет представлять подобное варварское изваяние. Латиноамериканцы не рискнули воспользоваться случаем и в ответ тоже подарить Канаде изображение безымянного, грубо сработанного божества.

[1] Джон Драйден (1631—1700) — английский поэт, драматург, теоретик классицизма.

Все это знаешь. И тем не менее ум тешится мыслью о тотеме, сосланном на чужбину, — тотеме, втайне ждущем мифов, племен, заклятий, а может быть и жертвоприношений. Как его чтить, неизвестно; тем больше причин мечтать об этом в смутных сумерках.

Памятник

Принято думать, что скульптор рыщет в поисках темы, но такая мысленная охота — занятие не столько для художника, сколько для фокусника. Правдоподобней предположить, что художник — это человек, который неожиданно прозревает. Ведь для того, чтобы не видеть, не обязательно быть слепым или закрывать глаза: многое видишь по памя-

ти, так же как думаешь по памяти, повторяя привычные образы или привычные мысли. Я уверен, что художник, имени которого я не запомнил, вдруг увидел то, чего с начала мира не видел ни один живущий. Он увидел пуговицу. Увидел это повседневное приспособление, доставляющее столько трудов пальцам, и понял: чтобы передать откровение, явившееся ему в образе этой простейшей мелочи, нужно увеличить ее до невероятных размеров и создать огромный, светлый круг, который мы теперь видим на этой странице и в центре одной из площадей Филадельфии[1].

О собственноручном спасении

Как-то осенью, в одну из многих осеней времени, синтоистские боги, уже не в первый раз, собрались в Идзумо. Говорят, их было восемь миллионов, но я — человек стеснительный и среди подобного множества чувствовал бы себя неуютно. Кроме того, мне с такими невообразимыми величинами просто не справиться. Скажем, божеств было восемь, тем более что восемь на здешних островах — счастливое число.

Боги были печальны, но не показывали этого, ведь лица богов — канси, они непроницаемы. Собравшиеся расселись кружком на вершине зеленого холма. И посмотрели со своих небес, или камней, или снежных облаков на людской род. Один из богов сказал:

«Много дней или веков назад мы собрались здесь, чтобы создать Японию и мир. Воды, рыбы, семь цветов радуги, растения и животные вышли неплохо. Чтобы не отягощать людей всем этим многообразием, мы дали им потомство, подарили многоликий день и единую ночь. Еще мы наделили их способностью вносить перемены. Пчела повторяет ячейки того же улья; человек изобрел орудия: плуг, ключ, калейдоскоп. Выдумал меч и военное искусство. В конце концов он создал невидимое оружие, которое может положить конец миру. Чтобы этого безумия не случилось, давайте уничтожим людей».

---

[1] Имеется в виду работа американского скульптора Класа Олденбурга (род. в 1929 г.).

Все задумались. Другой бог не спеша сказал:

«Это правда. Они выдумали это чудовищное оружие, но создали и совсем другое — вот эту вещь величиной в семнадцать слогов».

И произнес их. Я не знаю того языка и не смог понять сказанного.

Старший бог подытожил:

«Пусть остаются».

Так с помощью хайку был спасен человеческий род.

Идзумо, 27 апреля 1984 г.

Из книги «ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Роберт Грейвз. «Греческие мифы»

Замечательный во всех своих разнородных проявлениях поэта, исследователя поэзии, восприимчивого и просвещенного гуманитария, романиста, рассказчика, мифолога, Роберт Грейвз — один из самых оригинальных писателей нашего века. Он родился в Лондоне в 1895 году. Среди его предков был немецкий историк Леопольд фон Ранке, чью всеохватывающую любознательность он, вероятно, унаследовал. Ребенком он получил в усадебном парке благословение Суинберна, получившего благословение Лэндора, получившего благословение доктора Сэмюэла Джонсона. В годы первой мировой войны Грейвз сражался в рядах знаменитого полка королевских уэльских стрелков. Данный период его биографии отражен в книге «Goodbye to All That» («Прощание со всем этим»), вышедшей в 1929 году. Он одним из первых увидел в написанном Джерардом Мэнли Хопкинсом уникальную ценность, но не соблазнился ни его метрикой, ни аллитерационным стихом. Грейвз никогда не старался быть современным и заявлял, что поэт должен писать как отдельный поэт, а не как целая эпоха. Он наделял сакральными чертами каждого, кто посвятил себя искусству, которое было для него единым и вечным. Не верил в литературные школы и манифесты. В «Обыкновенном асфоделе» покусился на авторитет Вергилия, Суинберна, Киплинга, Элиота и — что уже гораздо понятней — Эзры Паунда. Его главная книга «Белая Богиня», претендующая на роль первой грамматики поэтического языка, на самом деле — великолепный миф, то ли отысканный Грейвзом, то ли Грейвзом придуманный. Белая богиня его мифа — это Луна; по Грейвзу, западная поэзия представляет собой лишь разветвления и вариации этого сложного лунного мифа, ныне восстановленного им в целостности. Он хотел вернуть поэзию к ее магическим истокам.

Сейчас, когда я пишу это предисловие, Роберт Грейвз, окруженный любовью близких и почти свободный от своего как бы уже забытого смертью тела, угасает на Мальорке в спокойном упоении жизнью, граничащем с восторгом.

Для всех эллинистов, включая Грималя, мифы, которыми они занимаются, — попросту музейные экспонаты либо забавные старые сказки. Грейвз исследует их в хронологии, ища за различием форм постепенное видоизменение живых истин, которые не стерло христианство. Это не словарь, это книга, охватывающая века и соединяющая в себе воображение и природу.

© Alianza Editorial, S.A. 1988

Федор Достоевский. «Бесы»

Как первая встреча с любовью, как первая встреча с морем, первая встреча с Достоевским — памятная дата в жизни каждого. Обычно она относится к юношеским годам: зрелость ищет и находит авторов более уравновешенных. В 1915 году, в Женеве, я с жадностью проглотил «Преступление и наказание» в легко читаемом переводе Констанс Гарнетт. Роман, в центре которого — убийца и проститутка, навел на меня не меньший ужас, чем обступавшая со всех сторон война. Сын военного хирурга, погибшего от руки убийц, Достоевский (1821—1881) узнал в своей жизни бедность, болезнь, тюрьму, ссылку, безоглядную преданность литературе, путешествия, страсть к азартным играм и, в самом конце, славу. Исповедовал культ Бальзака. Как члена тайного общества его приговорили к смертной казни. Перед расстрелом ему был изменен приговор, и Достоевский провел на каторге в Сибири четыре года, о которых не забывал потом никогда.

Он изучал и пересказывал утопии Фурье, Оуэна и Сен-Симона. Был социалистом и разделял идеи панславизма. Достоевский представлялся мне своего рода неисчерпаемым божеством, способным понять и простить все живое. Странно, что порой он опускался до обычной политики, чье дело — лишать прав и клеймить позором.

Взяться за книгу Достоевского — значит очутиться в огромном неизвестном городе или в гуще битвы. «Преступление и наказание» открыло мне совершенно неведомый мир. Я начал читать «Бесов», и тут произошло что-то странное. Я почувствовал, что вернулся на родину. Степь в этом романе была вроде нашей пампы, только увеличенной в размерах. Варвара Петровна и Степан Трофимович ничем, кроме непроизносимых имен, не отличались от двух безалаберных аргентинских стариков. Книга начиналась так оживленно, как будто рассказчик не знал о ее страшном конце.

Во вступительной статье к антологии русской литературы Владимир Набоков пишет, что не нашел у Достоевского ни одной страницы, которую мог бы отобрать. Это только значит, что о Достоевском следует судить не по отдельным страницам, а по их совокупности, составляющей книгу.

Аривара Нарихира. «Исэ-моногатари»

Япония, подобно Франции, — страна, среди прочего, литературная, страна, жители которой владеют словом и исповедуют любовь к слову. Свидетельством тому — эти рассказы, относящиеся к X веку нашей эры. Перед нами один из древнейших образцов японской прозы, и центральная его тема — лирическая поэзия. История Японии была эпической, но, в отличие от других стран, главный предмет ее поэзии — вовсе не меч. С самого начала сквозной темой здесь была природа, краски сменяющихся дней и времен года, радости и горести любви. В эту книгу входят около двух сотен коротких стихотворений вместе с подлинными или мнимыми историями их создания. Герой книги — принц Аривара Нарихира, кое-где называемый по имени. Като в своей «Истории японской литературы» (1979) сравнивает его с Дон Жуаном. Несмотря на бесчисленные любовные подвиги, пересказанные на этих страницах, сравнение грешит неточностью. Дон Жуан — предавшийся разврату католик, который соблазняет многих женщин и дерзко нарушает закон, предписанный, как ему известно, Богом. Нарихира — гедонист в безгрешном мире язычества, еще не потрясенном учением о Дао и требованием неукоснительно следовать восьмеричным путем Будды. По ту они или по эту сторону добра и зла, но раскрытые перед читателем классические страницы японской словесности не ведают ни морали, ни аморальности.

По мнению уже упоминавшегося доктора Като, эта книга предвещает знаменитую «Повесть о Гэндзи».

Подобно критянам, обитатели Исэ пользуются славой лжецов. Заглавие тома подразумевает, что входящие в него истории — выдумка. Вполне вероятно, что безымянный автор написал многие из приведенных стихов сам, а потом попросту присочинил объясняющие их драматические обстоятельства.

Фрай Луис де Леон. «Песнь песней. Переложение «Книги Иова»

Слово «Библия» — по-гречески это множественное число — означает «книги». Это и вправду библиотека основополагающих книг еврейского народа, составленная без особого хронологического порядка и приписанная Духу, Руах. Она включает в себя космогонию, историю, поэзию, притчи, размышления и пророческую ярость. Разные авторы относятся к разным эпохам и обитают в разных местах. Для благочестивого читателя все они — лишь писцы на службе Духа, которым проникнуто здесь каждое слово, а если верить каббалистам, то и каждая буква, ее числовое значение и все ее сочетания, как возможные, так и предопределенные. Самый поразительный из этих текстов — «Книга Иова».

Фрауд в 1853 году предсказывал, что когда-нибудь эту книгу назовут вершиной всего написанного человеком. Ее тема, вечная тема — несчастья праведника. Иов посреди гноища жалуется и клянет свою судьбу, а друзья пытаются его утешить. Мы ждем доводов, но доводы, дорогие разуму греков, совершенно чужды еврейской душе, и книга ограничивается великолепными метафорами. Спор высок и неукротим. В заключительных главах раздается глас Бога, говорящего из бури и предающего проклятию как тех, кто его винил, так и тех, кто оправдывал. Он говорит, что непостижим, и, пользуясь косвенными средствами, уподобляет себя самым диковинным существам: слону (Бегемоту, чье имя, как и в случае с Библией, отсылает ко множественному числу и означает животных, до того он огромен) и киту, или Левиафану. Макс Брод разобрал этот пассаж в «Иудаизме и христианстве». В основе мира — загадка.

Точное время написания «Книги Иова» неизвестно. Герберт Уэллс видел в ней великий отклик еврейства на платоновские диалоги.

Ниже публикуется дословный перевод фрая Луиса, его толкование каждого стиха и переложение книги рифмованным восьмисложником в тогдашней итальянской манере. По большей части проза Луиса де Леона отличается образцовой чистотой; еврейскому оригиналу он придает могучую музыку: «При гласе трубы он восклицает: «гу-гу» и уже издали чует битву, крики военачальников и рев солдат» (39, 25).

В настоящий том включена также «Песнь песней» или, как переводит фрай Луис, «Песнь из песней». Он считает ее пастушеской эклогой и придает ей аллегорический смысл. Жених здесь — пророческий образ Христа, невеста — аллегория Церкви. Земная любовь — эмблема любви небесной. Думаю, не стоит напоминать, что самые пылкие страницы испанской словесности — а они принадлежат Сан-Хуану де ла Крус — берут свое начало в этой книге.

Дэниэл Дефо. «Счастье и несчастья известной Молль Флендерс»

Если не ошибаюсь, главной находкой Дэниэла Дефо (1660—1731) было изобретение деталей обстановки, о которых практически не ведала прежняя литература. Запоздалость этого открытия нельзя не отметить: насколько помню, во всем «Дон Кихоте» ни разу не идет дождь. Кроме этой искусности, как сказал бы Унамуно, труды Дефо отличаются постоянным вниманием к привлекательным и отнюдь не безгрешным героям, а также редкой благожелательностью стиля, лишенного самомалейшей спеси. По мнению Сентсбери, творчество Дефо — переходный этап между приключенческим и так называемым психологическим романом; в нем и вправду смешаны тот и другой. «Дон Кихот» — это не только характер главного героя, но и испытания, которые тот переносит; «Робинзон Крузо» (1719) — не только простой моряк немецкого происхождения, строящий себе дом на необитаемом острове, но и цепенящий холод при виде отпечатка босой ступни́ на прибрежном песке. Кстати говоря, в бристольском порту у Дефо был долгий разговор с Александром Селкирком, который четыре года и четыре месяца прожил на острове Хуана Фернандеса, к западу от Чили, и стал прототипом Крузо. Еще он беседовал на ступенях виселицы с разбойником Джеком Шеппардом, повешенным в возрасте двадцати двух лет, и написал его биографию.

Племянник помещика и сын мясника, Дэниэл Дефо родился в Лондоне. Его отец подписывался просто Фо; Дэниэл предусмотрительно добавил себе аристократическую частицу. Он получил безупречное воспитание в протестантском колледже. По торговым делам посетил Португалию, Испанию, Францию, Германию и Италию. Ему приписывался памфлет против турок. Он основал галантерейную лавку. Узнал разорение, тюрьму и позорный столб, которому посвятил «Гимн». Не чурался шпионажа, работая на объединение королевств Англии и Шотландии. Защищал идею регулярной армии. Не подчиняясь никакой партийной дисциплине, не ладил ни с консерваторами, ни с либералами. На трон взошел Вильгельм III Оранский; его обвиняли в том, что он не чистокровный англичанин. В написанной энергичным десятисложником листовке Дефо выдвинул довод, что разговоры о чистокровных англичанах — чистейшее contradictio in adjecto[1], поскольку в Англии, сточной канаве Европы, перемешаны все народы континента. В этом любопытном стихотворении есть строки:

The roving Scot and bucaneering Dane,
whos red hair offspring everywhere remain.

(Мародер-шотландец и пират-датчанин,
чье рыжеволосое потомство рассеяно по всему миру.)

Выходка стоила ему пенсии. В 1706 году он опубликовал памфлет под титулом «Подлинная картина явления Телячьей богоматери».

Африканские «Приключения капитана Синглтона» при всех различиях в стиле предвосхищают будущие романы Райдера Хаггарда.

Среди занятий Дефо была и демонология; его «Политическая история дьявола» вышла в свет в 1726 году.

Нас не может не поразить, что осторожничающий испанский плутовской роман, избегавший всего телесного, оказался среди далеких предков «Счастья и несчастий известной Молль Флендерс» (1722) с ее пятью мужьями, кровосмесительством и многими годами тюремного заключения.

На французский эту книгу перевел Марсель Швоб; ее хвалил и анализировал Форстер.

«Бхагавадгита. Сказание о Гильгамеше»

Перед нами две прославленные поэмы азиатских литератур. Одна — «Бхагавадгита», ее название можно перевести как «Песнь Бога» или «Песнь Благословенного». Она создана во II или III веке до нашей эры. Имя автора неизвестно; индусы обычно приписывают произведения своей словесности богам, сектам, героям сказаний или попросту Времени — гипотеза, достойная внимания, но пугающая эрудитов. Поэма насчитывает семьсот строк и входит в «Махабхарату», насчитывающую двести двенадцать тысяч. В ней сражаются две армии; герой Арджуна колеблется, вступать ли ему в бой, поскольку боится принести смерть своим родителям, друзьям и наставникам, которые выступают за армию врагов. Возничий побуждает его следовать долгу, предписанному кастой. Заявляет, что мироздание призрачно, а значит, призрачна и война. Душа бессмертна, со смертью плоти она переселится в другие существа. Ни крах ни триумф значения не имеют; главное — исполнить долг и достигнуть нирваны. Потом раскрывается, что в его облике был Кришна, чье имя — одно из тысячи имен бога Вишну. Одному из пассажей, где утверждается единство противоположностей, поздней подражали Эмерсон и Шарль Бодлер. Забавно, что хвала войне доходит до нас из Индии. В «Бхагавадгите» сталкиваются шесть школ индуистской философии.

Вторая включенная в этот том поэма — эпопея о Гильгамеше. Перед нами — первая из эпопей мира и, может быть, не только в хронологическом смысле. Она была создана или составлена четыре тысячи лет назад. Ее текст записан на двенадцати табличках,

[1] Внутреннее противоречие *(лат.)*.

сохранившихся в прославленной библиотеке царя Ашшурбанипала. Число табличек не случайно, а соответствует астрологическому порядку повествования. Героев поэмы двое: царь Гильгамеш и дикий, невинный человек по имени Энкиду, вместе с газелями бродящий по лугу. Он был создан богиней Аруру для того, чтобы убить Гильгамеша, но они стали друзьями и пережили приключения, напоминающие двенадцать подвигов Геракла. Кроме того, в поэме предвосхищается спуск в подземную обитель Аида из будущей «Одиссеи», спуск Энея и Сивиллы и даже «Комедия» Данте. Гибель великана Хумбабы, который сторожит кедровый лес и чье тело покрыто шершавыми пластинами бронзы, — одно из множества чудес в этой многоликой поэме. Ее главные темы — печальная участь ушедших и поиски личного бессмертия. Я бы сказал, что в этой вавилонской книге есть уже все. Ее страницы внушают ужас перед тем, что древнее всего на свете, и дают почувствовать неуследимый бег Времени.

Вольтер. «Философские повести»

Не проходит и дня, чтобы мы не произнесли слово «оптимизм», отчеканенное Вольтером в борьбе против Лейбница, который (вопреки Екклесиасту и с одобрения Церкви) утверждал, будто мы живем в лучшем из миров. Вольтер вполне резонно опроверг это слишком лестное умозаключение (для чего хватило бы и одного ночного кошмара или раковой опухоли.) Лейбниц, правда, мог бы возразить, что мир, подаривший Вольтера, все же имеет некоторое право именоваться лучшим.

Сын скромного парижского нотариуса Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694—1778) изведал в своей жизни опеку иезуитов, занятия театром, груз разнообразных познаний, беглое изучение права, деизм, любовь множества женщин, опасности сочинения памфлетов, тюрьму, ссылку, писание трагедий, непостоянство покровителей, фехтовальное искусство беспрерывной полемики, удачу, гнет известности и, наконец, славу. Его прозвали «король Вольтер». Он был одним из первых французов, посетивших Англию. Написал панегирик этому острову, ставший к тому же сатирой на Францию. Открыл и отверг Шекспира. Почувствовал беспредельность империй Востока и пространств мироздания. Сотрудничал в энциклопедии Дидро. Написал, что о ловкости итальянцев достаточно свидетельствует единственный факт: самая малая из территорий Европы, Ватикан, обладает самым большим могуществом. Среди прочего оставил нам «Историю Карла XII», своеобразную эпопею. Счастье письма не оставляло его нигде; собрание увлекательнейших вольтеровских сочинений насчитывает девяносто семь томов. Кеведо насмехался над безобидной мифологией греков, Вольтер — над мифами своих современников-христиан. Заметив, сколько храмов воздвигнуто в честь богородиц и святых, он построил часовню в честь Бога, может быть, единственную во всем мире. На ее фронтоне можно прочесть двусмысленные слова: «Deo erexit Voltaire». Она находится в нескольких лигах от Женевы, в Ферне. Не предполагая того, Вольтер подготовил Французскую революцию, которую, будь он жив, осыпал бы проклятьями.

Одна из химер, которым подвержены и толпа, и Академия, — обременительное владение богатым словарем. В XVI веке Рабле чуть было не навязал литературе эту статистическую аберрацию; французское чувство меры ее отвергло и предпочло словесному изобилию неукоснительную точность. Стиль Вольтера — сама высота и ясность французского наречия; простые слова стоят у него на своих местах.

Проза, вошедшая в этот том, навеяна двумя книгами, совершенно не похожими друг на друга. Одна — «Сказки тысячи и одной ночи», открытые Западу ориенталистом Галланом[1]; другая — «Путешествия Гулливера» несчастного Свифта. Еще поразительнее то, что следующие ниже рассказы и повести не напоминают ни один из указанных источников.

---

[1] Антуан Галлан (1646—1715) — французский ориенталист, переводчик Корана и «Сказок тысячи и одной ночи».

Снорри Стурлусон. «Сага об Эгиле»

Эта книга несет на себе бремя великого духа, простого, как огонь, и безжалостного, как огонь. Эгиль Скаллагримссон был воином, поэтом, заговорщиком, вождем, пиратом и чародеем. Его жизнь вобрала в себя весь север Европы: Исландию, где он в начале X века родился, Норвегию, Англию, Балтийское море и Атлантический океан. Он был искусен во владении мечом, которым убил множество людей, а также во владении стихотворным размером и запутанной метафорой. В семилетнем возрасте он сочинил свое первое стихотворение, где просит мать подарить ему большой корабль и красивые весла, чтобы он мог бороздить море, не давать покоя берегам и нести смерть каждому, кто встанет у него на дороге. В антологии обычно включают его «Выкуп головы», спасший ему жизнь в Йорке, и оду в честь победы саксов под Брунанбургом, куда он вплел элегию, оплакивая смерть своего брата Торольфа, который пал в бою и которого он предал земле. Изгнанный из Норвегии, он вырезал на конском черепе проклятье из двух строф в семьдесят две руны каждая, вложив в эту тайнопись всю свою чудодейственную мощь, так что проклятье немедленно исполнилось. Он был вспыльчивым, подобно Ахиллу, и неутолимым. Воспел хвалу своему верному другу Аринбьёрну. Родил сыновей, омрачивших и обездоливших его старость. Все эти события вошли в следующую ниже книгу, которая рассказывает о них с беспристрастностью судьбы, не обличая и не возвеличивая.

Ее относят к XIII веку. Имя автора неизвестно, но ряд германистов приписывают ее выдающемуся историку и ритору Снорри Стурлусону. По жанру это сага. Иначе говоря, прежде чем оказаться записанной, она исполнялась устно. Ее наследовали, повторяли и отделывали многие поколения сказителей. Несомненно, события не происходили точно так, как они здесь описаны; столь же несомненно, что — за вычетом некоторого драматизма и поучительности — они, по сути, происходили именно так.

Эта средневековая хроника читается как роман.

Перевод с испанского БОРИСА ДУБИНА

■

Современники о Борхесе

ЭРНЕСТО САБАТО

Когда я был юношей, его стихи помогли мне открыть печальную красоту Буэнос-Айреса в старых улочках, в решетках и колодцах старинных двориков, увидеть прелесть даже в лужицах воды, розовеющих от рассветных лучей.

Впоследствии, когда я познакомился с ним в журнале «Сур», наши беседы от буэнос-айресских событий часто переходили к Платону или Гераклиту Эфесскому. Годы спустя нас резко развела политика. Как говорил Аристотель, вещи различаются в том, чем походят одна на другую, вот так и людей иногда разделяет именно то общее, что они любят. Как жаль, что так случилось! Его смерть лишила нас великого поэта.

БЕАТРИС САРЛО

Мы знаем, что Борхес не стремился стать национальным писателем. Он не хотел восхвалений, не хотел прослыть святым.

В действительности Борхес был Борхесом, поскольку писал вопреки всем главным канонам литературы. Уже в 20-е годы, когда ему, как и веку, было немногим больше двадцати лет, он осознавал опасности, которые подстерегают любую национальную литературу отдаленной страны: живописный местный колорит, воодушевление, с которым утверждается собственный голос, при том, что его еще нет, ностальгические этнографические описания либо ангажированная литература, объясняющая миру наше своеобразие. Одним словом, Борхес осознавал опасности модернизма, который до сих пор еще не совсем изжит, и латиноамериканизма, который тогда витал в воздухе.

Борхес писал вопреки всему этому. В том, что он делал, была некая ирония: так как мы, аргентинцы, это малая версия больших народов, так как мы говорим на «малом» варианте испанского, так как мы с опозданием в несколько веков попали в библиотеки Западного мира, превратим эти вынужденные особенности в наш собственный выбор. То есть удвоим ставку, обратив маргинальность происхождения в маргинальность по выбору.

Для Борхеса самым высокопарным (и, соответственно, самым смешным) в позиции аргентинского писателя было именно нежелание признавать это. Сам он благожелательно принимает то, чего нельзя отвергнуть. Да, если формулировать более драматично, принимает свою судьбу. Это позволяет ему в 40-е годы написать две или три книги рассказов, которые стали вершиной его творчества и которым поэтическая справедливость определила место среди великих текстов нашего века. Он сумел написать «Алеф» и «Вымышленные истории», потому что до этого многого достиг в маргинальных формах и темах.

Борхес был Борхесом, поскольку он решился писать об одном «малом» поэте — Эваристо Карриего, поскольку опубликовал в «Критике» (популярной газете, известной своими сенсационными и скандальными материалами) «малые» тексты «Всемирной истории бесславья». Борхес был Борхесом, поскольку он отказался от главных литературных канонов конца века и от авангарда (отказался от модернизма, символизма, сюрреализма) и искал свою мелодию в коротких строках и в литературе гаучо. Несомненно, он читал все. Но писатель — это не все то, что он читает. Большой писатель — это скорее все, что он отвергает из прочитанного. Все, что он отрицает.

© В. Кулагина-Ярцева. Перевод, 1999

ЭРНЕСТО САБАТО (ERNESTO SÁBATO; род. в 1911 г.) — аргентинский писатель и художник.

БЕАТРИС САРЛО (BEATRIZ SARLO; род. в 1942 г.) — аргентинская писательница, литературный и кинокритик, социолог культуры, главный редактор журнала «Пунто де виста» (издается с 1978 г.).

Поэтому тон Борхеса смягчен. Эти двойные и тройные отказы, которые прочитываются в его текстах, дают смягчение, косвенное утверждение — то, что англичане называют understatement[1], слово, как ни одно другое, характеризующее Борхеса: сказать меньше, чем хочется сказать, поведать меньше, чем кто-либо другой мог бы поведать. Когда Борхес с восхищением говорит о скромности стихов Энрике Банчса, мы можем верить ему, потому что скромность, отказ от откровений — это своеобразный знак его собственного письма.

Борхес выбирал «меньшие» среди главных литературных жанров: детектив, книжную рецензию, вариации на темы других текстов, перевод. Ему удавался маскарад (стратегия, которую избирают малые, дабы превзойти больших), и потому он создал эссе, которые в действительности были рассказами, и рассказы, имевшие форму эссе. Поэтому же Борхес так владел искусством цитаты. Никто не пользовался цитатами так хитро, так обманчиво: в них никогда нельзя поверить целиком, они никогда не стоят на совершенно нужном месте и зачастую кажутся случайными, приведенными с какой-то иной целью. Цитаты в текстах Борхеса не для доказательств и не для страховки. Напротив, цитаты — это место, где текст сламывается, подвергается опасности. Только академическая проза полагает, что продолжать после цитаты несложно.

Борхес цитировал, чтобы не писать, и писал, чтобы цитировать. Это только на первый взгляд жест смирения. Его неоднократные хвалы чтению — это хвала цитате. Употребление цитат было программой взаимосвязи с мировой литературой, в которой аргентинская составляет лишь малую часть. Возможно, именно Борхес понял это прежде всех других.

ДЖУЛИАН БАРНС

В 1971 году Борхес приехал в Оксфорд, очевидно, для получения какого-то почетного титула. В то время я работал в «Оксфордском английском словаре», и в один из вечеров Борхес устроил то, что вряд ли можно считать в строгом смысле конференцией, или лекцией, или семинаром, — что-то вроде неформальной беседы. Я уже встречал других писателей, иногда довольно известных, но по большей части они не производили на меня впечатления. Более того, они походили на актеров, изображавших, будто это они написали слова, которые теперь произносили, но не были и не казались теми, за кого себя выдавали. Борхес был совершенно другим. К концу встречи я подумал: если это значит быть писателем, им стоит быть.

Мне тогда исполнилось двадцать пять лет, и после встречи я записал в дневнике, что у Борхеса «самый благородный облик, какой мне когда-либо доводилось видеть». Сейчас мне пятьдесят, и тень этого облика до сих пор живет во мне. Еще я тогда написал: «Он кажется старым флюгером, флюгером, который истончили ветры времен». Переводчик Борхеса читал прозу и стихи, а сам он, слегка склонив голову набок, все время шевелил губами, слушая написанные им слова, словно монах, повторяющий про себя слова молитвы. «Его спокойная, ясная и полная одержимость сутью личности и времени, — записал я, — заставила меня почувствовать, что это и есть на самом деле нормальное состояние человека».

Он говорил по-английски мягко и приятно, и казалось, он просто купается в нашей литературе, но здесь меня удивило то, что его пристрастия были совершенно иными, чем те, к которым я привык и которым верно следовал. Он говорил о Стивенсоне, Колридже, Эндрю Лэнге, докторе Джонсоне и лорде Честерфилде. Ненароком он сделал простое, но глубокое замечание: литература какой-либо нации это не только то, что эта нация объявляет своей литературой, но и то, что таковой считают другие народы. Когда Борхес процитировал слова лорда Честерфилда: «Что есть жизнь? Одно несчастье за другим», в зале заулыбались и зааплодирова-

[1] Преуменьшение, сдержанное высказывание *(англ.).(Здесь и далее — прим. перев.)*

ДЖУЛИАН БАРНС (JULIAN BARNES; род. в 1946 г.) — английский писатель.

ли. (Спустя двадцать пять лет я решил проверить цитату и обнаружил, что мой Оксфордский словарь цитат приписывает ее подозрительному Элберту Хаббарду. Что ж, я предпочитаю верить Борхесу, а не простому словарю.)

Он также говорил о том единственном слове, которого ни один писатель не употребил и не употребит, поскольку это слово затмило бы все соседствующие с ним. Это то слово, которое искал и не находил По в «Вороне»: слово «neverness» (никогда больше). Теперь Борхес уже десять лет как отошел в это Никогда Больше, куда мы все неизбежно направляемся. Но отголосок его живет во всех тех, к кому он приходил «многократно, не подозревая об этом». Вот уже двадцать пять лет, как он показал мне «еще раз, не подозревая об этом», что подлинно духовная роль писателя, которая столько лет оставалась для нас скрытой, неразрывно связана с серьезным отношением к жизни, с «нормальным состоянием человека». Позже, во время войны на Мальвинах, Борхес напомнил нам, что обязанность писателя говорить правду стоит выше популярности. Именно так он поступил, прозорливо и блистательно заметив, что эта война — не более чем драка «двух лысых, отнимающих друг у друга расческу». Он никогда не знал меня, но я знал его и почтительно склоняюсь перед ним.

ХАРОЛЬД БЛУМ

Спустя десять лет после смерти Борхес оказывается единственным писателем XX века, символизирующим эстетические ценности, по сей день существенные для выживания канонической всемирной литературы. Он занимает это положение не только по отношению к латиноамериканской словесности, но и ко всей литературе западного мира и, возможно даже, мировой. Без преувеличения можно сказать, что Борхес сознательно и успешно воплощал саму идею традиционной литературы. Как творец он занимает место Данте и Шекспира, Сервантеса и Джойса нашей эпохи, которая на последнем перегоне века обращается к прошлому в поисках своего знамени. Писатель стал синонимом литературного испанского языка: сегодня Борхес — его Рыцарь печального образа. И подобно Дон Кихоту, он не может потерпеть поражения, во всяком случае, в своем собственном мире.

Даже если Борхес и отвергал менталитет эпохи, что проявлялось в бесконечном презрении к Фрейду, он нашел способ превратить свою оборонительную позицию в литературу — так же, впрочем, как и Набоков. Борхес сторонился Фрейда, объединяясь с Шекспиром, возвращаясь к собственным истокам, тогда как Набоков избегал Фрейда, ища союза со всеми большими мастерами европейского романа. Борхес утверждает власть литературы, превосходство Данте и Шекспира над любыми другими претендентами на духовное лидерство, будь их соперниками религия, политика или психоанализ.

В то же время истинный триумф Борхеса, триумф, который ставит знак равенства между ним и Уолтом Уитменом, в том, что Борхес тоже был гением Evening Land[1] — Южной Америки, равно как Центральной и Северной. Подобно Уитмену, Борхес утверждает, что наше отставание есть, по сути дела, новое предвосхищение. В Борхесе сплавлены сам Борхес и Уитмен, что придает фигуре писателя Западного полушария новое значение: он становится неким «Адамом на заре бытия». Борхес не обладает природной мощью Уитмена, однако он дал новую жизнь «идее Уолта Уитмена», которая остается отправной точкой нашей литературы. Вот краткая формулировка непреходящего величия Борхеса: слившись с литературой, он объединил каноническое и борхесовское в одну категорию, так что слова «эстетическая ценность литературы» и «Борхес» стали синонимами.

Перевод В. КУЛАГИНОЙ-ЯРЦЕВОЙ

[1] Западные земли (*англ.*).

ХАРОЛЬД БЛУМ (HAROLD BLOOM; род. в 1930 г.) — американский теоретик и историк литературы.

ХОСЕ АНХЕЛЬ ВАЛЕНТЕ

Другой Борхес

Кто такой Борхес? Выдумка Борхеса, неведомого бога или Роже Каюа[1], на что намекал сам Борхес? Кто кого выдумал? Бог — Каюа, чтобы тому, в свою очередь, однажды приснился Борхес, или Борхес — всех троих, чтобы вместе с очередным сном вдруг развеялись и другой Борхес, и Роже Каюа, и неведомый бог? Кто здесь кто, в этой бесконечной игре возможных образов?

Мне тоже довелось встретиться с Борхесом еще раз («How strange it seems, and new!»[2]), в библиотеке на улице Мехико, в Южном квартале Буэнос-Айреса, после того как мы однажды виделись в 1963 году в Берлине. Два моих Борхеса заметно отличались друг от друга: в сравнении с тогдашним, нынешний выглядел заметно бодрее. Еще бы, ведь теперь он двигался среди книг и привычных вещей, где ничто ни на секунду не отрывало его от того же непрерывного придумывания себя или сна о себе. И все-таки я не смог бы сказать, с каким из Борхесов сейчас говорю, и не был уверен в том, что буэнос-айресский и берлинский Борхесы — до того похожие друг на друга — это один человек и что настоящий (в каком смысле?) Борхес давным-давно не пал жертвой того, другого.

Итак, мне тоже довелось еще раз встретить Борхеса в его кабинете директора Национальной библиотеки на улице Мехико в первые дни осени (для южного полушария — весны) 1968 года. Беседа длилась, хотя я знал, что ему в это утро нужно продиктовать предисловие к книге. По телефону он приветливо сказал: «Заходи, продолжим», как бы удостоверяя этими скупыми словами единство или связь двух Борхесов почти через пять лет после нашей призрачной встречи в прошлом. Я добирался из гостиницы в Кальяо, не доверяя своему знанию Буэнос-Айреса и надеясь только на такси, которое безнадежно застревало на обезумевших трассах этого города, к тому же загроможденного стройками вплоть до самого Южного квартала. Беседа длилась, несмотря на неотложное предисловие и гравюры с фигурами гаучо, которые Борхес время от времени перебирал (гаучо на них выглядели фальшиво, словно переодетые и загримированные актеры средней руки), так что в конце концов мы условились встретиться еще раз до моего отъезда.

Он рассказывал о Борхесе-ребенке: как тот вдруг кинулся бежать из просторного кабинета, услышав за спиной эфемерный рык тигра, которого только что сам нарисовал. Рассказывал о Женеве, где я сейчас пишу эти строки, Женеве между 1914 и 1920 годами, о доме Фердинанда Ходлера, номер 17, и том времени, которое перекрывают, сжалившись, стихи Борхеса: «Несет вода неудержимой Роны // Мой новый день, вчерашнего взамен» — или, как знать, другая строка, может быть, написанная Борхесом еще раньше: «By the waters of Leman I sat down and wept...»[3]

Кем был Борхес (непочтительно спрашиваю я)? Александрийским библиотекарем с Фолклендских островов — как, с кисло-сладкой или неприязненной миной, утверждают экзегеты — или заокеанским служащим Ллойдовского банка? В ответ он рассказывает мне об оскорбительной должности инспектора торговых рядов (дичь и птица) на городских рынках, которую ему пытались навязать во времена известного зубоскала Перона, и я вдруг невольно представляю себе эдакого англофила в окружении «hen-party»[4]. (В Буэнос-Айресе до сих пор водятся дамы тонкого вкуса, до знакомства с Ортегой-и-Гассетом не прочитавшие по-испански ни строки.)

---

[1] Роже Каюа (1913—1978) — французский писатель, исследователь архаической и современной культуры, в 30-е годы. был близок к сюрреализму. В годы второй мировой войны — в эмиграции в Аргентине — сблизился с Х. Л. Борхесом, сестрами Окампо и кругом их журнала «Сур», по возвращении в Европу — активный пропагандист борхесовского творчества и переводчик латиноамериканской словесности.

[2] Как странен оказался он и нов! (*англ.*)

[3] У Леманских вод я сидел и рыдал... (*англ.*).

[4] Девичник (*англ.*). Игра слов: «hen» — курица.

© Б. Дубин. Перевод, 1999

ХОСЕ АНХЕЛЬ ВАЛЕНТЕ (JOSÉ ÁNGEL VALENTE; род. в 1929 г.) — испанский поэт.

Какой — думаю я — была скромнейшая районная библиотека (на углу улиц Ла Платы и Карлоса Кальво), куда Борхес был принят в 1938 году на место младшего библиотекаря? Как-то раз туда поступила книга издательства «Эспаса», где фигурировал аргентинский писатель по имени Хорхе Луис и по фамилии Борхес. Коллеги указали Борхесу на известного однофамильца, но ни они, ни он сам не увидели в случившемся ничего, кроме любопытного совпадения. Ни о чем другом они и подумать не могли, больше того — он первый удивился такому стечению обстоятельств. На самом деле тут-то и было начало бесконечных козней, жестоких капризов лица и личины, непрестанных жертв другому Борхесу. Здесь же начала сказываться и круговая природа времени, множащего мистификации, нагромождающего анахронизмы и приписывающего все книги на свете одному вневременному и безымянному автору.

Человек, рассказывающий мне теперь о том приключении мелкого служащего районной библиотеки, который оказался борхесовским однофамильцем, сидел в своем кабинете директора Национальной библиотеки на улице Мехико. Ее здание было построено для Национальной лотереи в 1902 году и с достоинством нового Колизея — отчасти чудом, отчасти настойчивостью Борхеса — дожило между наносами времени и мастерком каменщика до наших дней. А когда-нибудь время унесет и его, с этим гостеприимным круглым залом, этими «кропотливыми лампами»[1] (да, Борхес, прежде такую фигуру называли гипалагом, хотя теперь в моде, и еще в какой моде, слово «метонимия»), этими стеллажами, где и в самом деле всегда есть книга, которую никто не прочтет (унесет оно, Борхес, и нас обоих, сидящих, как сидим мы теперь здесь, чтобы поставить потом ту же сцену с новыми исполнителями в другом круге возможного). <...>

СЬЮЗЕН СОНТАГ

12 июня 1996 г.

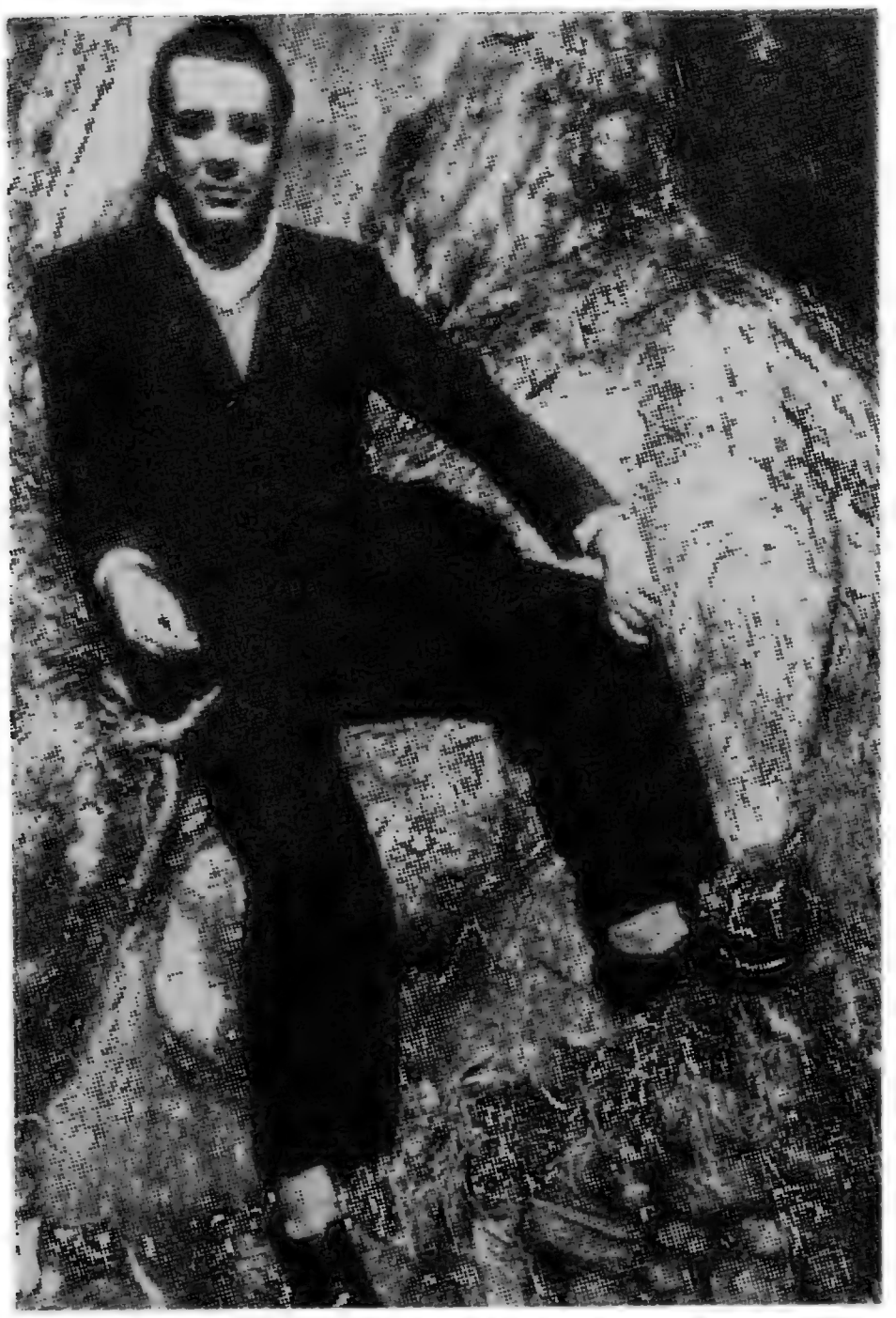
Дорогой Борхес,

поскольку написанное Вами мы привыкли помещать под знаком вечности, я не вижу ничего странного в том, чтобы написать Вам письмо. (Ведь уже десять лет, Борхес!) Если кому из наших современников и было предназначено литературное бессмертие, то, конечно же, Вам. Многим обязанный своему времени, своей культуре, Вы вместе с тем всегда умели неким чудесным образом выйти за рамки своего времени, своей культуры. Это было как-то связано с Вашей открытостью, Вашей благородной предупредительностью. Вы были наименее самопоглощенным, наиболее отзывчивым... равно как и наиболее артистичным из писателей. И еще это было связано с естественной незамутненностью Вашего ума. Вы жили среди нас достаточно долго, и тем не менее безукоризненность, неудовлетворенность и беспристрастие делали Вас образцовым мысленным странником по иным эпохам. Вы жили чувством другого, не нынешнего времени. Расхожие понятия о прошлом, настоящем и будущем представлялись Вам банальными. Каждый миг, любили Вы говорить, содержит в себе прошлое и будущее, и цитировали (насколько помню) Браунинга, который писал примерно так, что «настоящее это секунда, где будущее обрывается в прошлое». В этом, конечно, выражалась Ваша скромность: Вы любили находить свои мысли в мыслях других.

Эта скромность, среди прочего, давала Вам силу. Вы умели открывать новые радости. Такой глубокий, такой выношенный пессимизм, как Ваш, исключал всякий выплеск. Больше того, он требовал собранности... и Вы были прежде всего олицетворенной собранностью. Других образцов подобной выдержки и проницательности я не знаю. Вы показали, что необязательно быть несчастным, даже если остро и ясно сознаешь весь ужас существования. Где-то у Вас сказано: писателю — и, позволю

[1] Цитата из предисловия к книге «Создатель», посвященной Борхесом памяти Леопольдо Лугонеса.

СЬЮЗЕН СОНТАГ (SUSAN SONTAG; род. в 1933 г.) — американская писательница, литературный, художественный и театральный критик.



себе добавить, каждому человеку — стоит воспринимать все, что с ним происходит, как новую возможность (Вы тогда говорили о своей слепоте[1]).

Вы сами стали такой возможностью для других писателей. В 1982-м, за четыре года до Вашей смерти (ведь уже десять лет, Борхес!), я в одном интервью говорила: «Среди живущих сегодня писателей нет ни одного, кто был бы важней сейчас для любого пишущего, чем Борхес... Многие называют его крупнейшим из современных писателей. Мало найдется тех, кто в своих вещах у него не учился или ему не подражал». Это верно и сегодня. Мы по-прежнему у Вас учимся. По-прежнему Вам подражаем. Вы обогатили людей новыми способностями воображения, в то же время не уставая подчеркивать наш долг перед прошлым — и прежде всего перед литературой. Напоминая, что мы обязаны литературе практически всем, что из себя представляем и представляли. Если исчезнут книги, исчезнет история, а вместе с ней и человечество. Я убеждена, что Вы правы. Книги — не просто прихотливый свод наших снов и воспоминаний. Они дают нам образцы выхода за наши собственные границы. Кто-то считает, будто чтение — всего лишь способ бегства: бегства от так называемого реального мира в воображаемый, книжный. Но смысл книг куда шире.

Жаль, что приходится говорить Вам, до какой степени пало сегодня предназначение книги. С каждым днем у новейшего проекта, задавшегося целью разрушить самую суть чтения, отделить друг от друга книгу и ее воздействие, все больше сторонников. Они уже не хотят лежать в постели или сидеть в тихом углу библиотеки, неторопливо перелистывая страницы при свете ламп. Скоро, говорят нам, мы сможем вызывать на специальном «экране» любой нужный «текст», изменять его вид, ставить перед ним вопросы, «взаимодействовать» с текстом. Когда книги превратятся в «тексты» для «взаимодействия» с ними и получения полезной информации, печатное слово станет просто еще одним видом телереальности, которой правит реклама. Подобное сияющее будущее нам готовят — и предрекают — как воплощенную «демократию». Но, конечно, Вы и я понимаем, что это значит ни больше ни меньше как конец самоуглубления... и конец книги.

Тем временам будет не нужен гигантский пожар. Варварам нет необходимости жечь книги. Тигр — уже в библиотеке. Дорогой Борхес, я не вижу никакого удовольствия в том, чтобы жаловаться, поверьте. Но к кому еще я могу обратить эти жалобы на судьбу книг и чтения, если не к Вам? (Ведь уже десять лет, Борхес!) Я хочу сказать лишь то, что все это — за пределами нашего понимания. За пределами моего понимания. Вы провели разделительную черту. Мы вступаем в странную эпоху, в третье тысячелетие. Никто не знает, какие испытания предстоят человеческой душе. Но, обещаю, ни один из нас не забудет Всемирную библиотеку. И Вы останетесь нашим образцом и нашим героем.

Перевод БОРИСА ДУБИНА

[1] Отсылка к устному выступлению Борхеса «Слепота» (текст вошел в книгу «Семь вечеров», 1982).

ЛЮДМИЛА БУРМИСТРОВА, БОРИС ДУБИН

Неистощимые строки

Как всей жизнью Борхес был привязан к латиноамериканскому (и еще точней — буэнос-айресскому) югу, так, кажется, лучшей частью своего сердца он влекся к европейскому северу. По крайней мере, аргентинский мастер настойчиво искал и придумывал для себя разные «пути на Север»: то географические (он не раз приезжал в Шотландию, Швецию, Данию, Исландию), то генеалогические, через своих английских предков, то литературные (исландский контекст в новелле «Ундр», героини-норвежки в «Ульрике» и «Конгрессе», скандинавские реалии в «Медали» и «Книге песка»). Так или иначе, одним из самых незабываемых городов для Борхеса стал Копенгаген, а в беседе с Антонио Каррисо он, опять возвращаясь к своим английским «корням», с удовольствием процитировал Теннисона: «Кто мы такие, англичане? // Норманны, саксы и датчане».

Do ut des (даю, чтобы ты мне дал) — отчеканили римляне. С 1994 года в университете датского города Орхус, расположенного на Ютландском полуострове, существует Центр исследований и документации «Хорхе Луис Борхес». Его цель — не только сбор, изучение, обобщение материалов, связанных с биографией, творчеством и литературными отношениями Борхеса в масштабах всего мира (ученые и писатели пяти континентов постоянно присылают в Библиотеку свои «борхесовские» публикации, рукописные материалы), но и всемерное содействие развитию междисциплинарных исследований в сфере философии, словесности, религии и культуры с упором на семиотический подход. Центр организует обмен информацией, оказывает поддержку специалистам разных стран: здесь работают и выступают гости из Южной и Северной Америки, Западной и Восточной Европы, сопредельных северных стран. Налажено деловое сотрудничество с университетами Бонна, Фрайбурга, Парижа, Международным центром семиотики в Урбино. Проводятся встречи и конференции, посвященные творчеству Борхеса, восприятию его книг в национальных культурах мира (в нынешний юбилейный год эта деятельность развивалась особенно активно). Для студентов работает постоянный учебный семинар, включая занятия по мастерству перевода. С лекциями сюда приглашались Мишель Лафон (Университет Стендаля в Гренобле), Беатрис Сарло (Буэнос-Айресский университет), американский профессор Дэниэл Боулдерстоун, составивший фундаментальный и полезнейший указатель отсылок «Литературный универсум Хорхе Луиса Борхеса» (1986), другие специалисты. В перспективе — издание книг. Пока же Центр начал (с 1996 года) выпускать журнал «Variaciones Borges», которым руководят преподаватели университета Иван Альмейда и Кристина Пароди.

Журнал объемом 16—18 листов выходит дважды в год и публикует материалы на испанском, английском и французском языках (часть их — прежде всего многочисленные рецензии и обзоры новинок — дублируется on line). Название, отсылающее к «Гольдберг-вариациям» Баха и «Диабелли-вариациям» Бетховена, можно перевести как «Борхесовские вариации» или «Вариации на темы Борхеса». Имея в виду бесконечное перечитывание и переписывание исходного материала — борхесовского творчества, редакторы предполагали, что на страницах их многосоставного издания найдет себе место не только классическая полифония с контрапунктным переплетением и сплавлением тем в обогащенном одноголосии, но и импровизация в манере джазовых «jam session». «Фантастические онтологии, пересекающиеся генеалогии, утопические грамматики, воображаемые путешествия по странам и эпохам, логические бестиарии, орнитологические силлогизмы, несуществующие математики, теологические триллеры, ностальгические геометрии и выдуманные мемуары» — все это лишь часть того необозримого ландшафта, который открывается в книгах Борхеса для неутолимой любознательности читателя-гедониста, каким был и сам автор.

Большинство выпусков (на нынешний день их восемь) — тематические. Скажем, тема номера второго — «Риторика познания» (редакционная врезка называется «Ремесло чудотворства»). Здесь разбираются метафоры постижения в борхе-

совской прозе и поэзии: например, отозвавшиеся в его книгах особенности формульной поэзии исландских скальдов или, напротив, мистических прозрений исламских суфиев. В третьем номере рассматриваются отношения Борхеса с литературной критикой: критические «привычки» самого Борхеса (эссе Рикардо Пильи), неприступность борхесовского письма для шаблонных литературно-критических подходов, сложившихся в «национальной», «реалистической», «классической» словесности (Беатрис Сарло), влияние традиций письменной культуры — и самой европейской цивилизации письма — на поэтику борхесовской прозы (статья видного французского историка книги Роже Шартье, работы которого в России публиковались). Герой пятого номера — придуманный Борхесом и Бьой Касаресом писатель Бустос Домек, под именем которого они выпустили книгу мнимых рецензий (их «интеллектуальный универсум» и воображаемую биографию автора реконструирует Кристина Пароди) и сборник детективных новелл (приемам «литературного сказа» в них посвящена отдельная статья).

Заметим попутно, что детективное творчество самого Борхеса (а он не раз занимался «оправданием» этого «скромного жанра, который пытается сохранить классические достоинства... во времена хаоса», составил вместе с Бьой Касаресом не раз потом переизданную антологию «Лучшие детективные рассказы» и в 1945—1955 гг. выпустил вместе с ним же популярную серию детективных романов «Седьмой круг» в буэнос-айресском издательстве «Эмесе») — предмет внимания в журнале с первого же номера. Здесь внимательно рецензируются книги о детективных мотивах у Борхеса (а их только за последние годы во Франции, США, Англии и Латинской Америке вышло полдюжины).

Повторение и неисчерпаемость — сквозные мотивы борхесовской поэзии и прозы. В номере пятом Иван Альмейда на материале новелл «Смерть и буссоль», «Абенхакан эль Бохари», «Бессмертный» исследует лабиринтоподобные маршруты борхесовского воображения, топологию мысли писателя (в страсти к топологическим построениям и географическим атласам он не раз признавался). Повторяющийся у Борхеса символ придуманной карты размером с саму картографируемую территорию разбирает в своей заметке известный французский культуролог Луи Марен. Повторяющимся пространственным метафорам у Борхеса и Джойса посвящено эссе Умберто Эко (входящего, кстати, в международный редакционный совет журнала) «Между Ла-Манчей и Вавилоном» (№ 4). К теме, редко занимавшей исследователей Борхеса, обращается в своей статье «Борхес и нацизм» (№ 4) Анник Луи: она, в частности, опирается на разыскания Виктора Фариаса, исследовавшего «нацистский эпизод» в биографии Хайдеггера (этот эпизод Борхес упоминает в новелле «Гуякиль»). Армянскому культурологу Вардану Айрапетяну («историческая география» борхесовских читателей и исследователей — тема особая и обширная) опыт языковеда помогает более пристально и точно прочесть уже, кажется, хрестоматийно известную микроновеллу «Борхес и я» (№ 6).

Юбилейный седьмой номер отведен теме «Борхес и философия». Сам юбиляр шутливо числил философию по ведомству фантастической литературы. Не потому ли «серьезные» статьи о вариациях на декартовскую тему призрака и сна в «Поисках Аверроэса» (И. Альмейда), символах бесконечности у Борхеса (Лоран Николя), представлении и переживании тела в новелле «Эмма Цунц» (Б.Сарло) здесь на равных правах соседствуют с мистифицирующей беседой Марии Эстер Масьель о Борхесе и Кьеркегоре с неким, будто бы по случаю оказавшимся в буэнос-айресской книжной лавке, «датским профессором» Ларсом Р. Ольсеном (невесту Кьеркегора звали, как помним, Региной Ольсен)? Впрочем, дух розыгрыша, провокации сопровождает рецензируемый журнал с самого начала. Так, в первом номере Аллен Раш публиковал выдуманные рецензии на упомянутые, но не написанные (скажем деликатней, кажется, не написанные) Борхесом книги «Первая энциклопедия Тлёна» и «Разговор с человеком по имени Альмутасим», «Оправдание вечности» и «Общая история лабиринтов». Исследователь из США Флойд Меррел в номере четвертом выстраивает забавную драматическую сцену между борхесовскими персонажами Тлёни, Фуни, Цюи, Хладди и... модным нынче Рорти, аргентинский писатель Хулио Воскобойник выступает там же с пародийной новеллой о фанатичном борхесианце, задумавшем перечитать своего кумира (как Пьер Менар думал переписать

своего). Итальянец Винченцо Дель'Оро дебютирует в шестом номере шуточным апокрифом «Моим отцом был Борхес», а в номере восьмом, вышедшем в июне и посвященном теме города и образу фланера у Борхеса, предлагает вымышленную историю «Невозможная смерть Реда Шарлаха по кличке Денди», разыгрывающую мотивы борхесовской «Смерти и буссоли».

Ставивший счастье чтения куда выше радостей письма и с горделивой скромностью называвший себя прежде всего читателем, Борхес как-то заметил: «Невозможно исчерпать даже одну-единственную книгу. Ведь книга — не замкнутая сущность, а отношение или, точнее, ось бесчисленных отношений». На страницах журнала «Variaciones Borges» перед нами снова проходят и нередко наново открываются, кажется, давно памятные фразы, детали, герои «Эвариcто Карриего» и «Книги песка», «В кругу развалин» и «Нового опровержения времени». Тем больше поводов еще раз их перечитать, а кому-то, быть может, и написать о них (российских материалов в «Вариациях» пока не было). Новый адрес Центра и редакции журнала в Интернете: http://www.hum.au.dk/romansk/borges[1]

[1] Сердечно благодарим Ивана Альмейду, Вардана Айрапетяна и Сергея Лёзова за особенно драгоценную в наших нынешних условиях возможность познакомиться с рецензируемым журналом, как и полагается библиографам, de visu.

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС: краткая летопись жизни и творчества

1899. 24 августа родился в Буэнос-Айресе, неподалеку от центра города, в доме деда по отцу. Отец, Хорхе Гильермо Борхес (по материнской линии — англичанин), преподает философию и психологию на английском языке, переводит на испанский Омара Хайяма с английских переложений Фицджеральда, близко знаком со многими литераторами столицы. Мать, Леонор Асеведо Аэдо, родом из Уругвая, куда ее предки приехали из Португалии.

1901. Семья перебирается в более скромный район Палермо — пригород поножовщиков и танго.

4 марта. Рождение сестры Норы, подруги по детским играм и фантазиям, будущей художницы.

В дом взята английская гувернантка. Борхес учится читать по-английски раньше, чем по-испански; читает «Тысячу и одну ночь», Диккенса, Твена, Эдгара По, Стивенсона, Киплинга, Уэллса. В семь лет пишет первый рассказ (по мотивам «Дон Кихота»), в девять — переводит сказку О. Уайльда «Счастливый принц» (опубликована в июньском номере столичной газеты «Паис» за 1910 г., перевод приписали отцу).

1914. Почти ослепший отец (потеря зрения — наследственный недуг в семье Борхесов) выходит в отставку, едет с семьей лечиться в Европу. Война застает семейство в Женеве.

Борхес поступает в коллеж, основанный в свое время еще Кальвином (преподавание ведется по-французски), открывает для себя французскую литературу, читает Гюго и Рембо.

1918. Семья проводит год в Лугано. Борхес пишет сонеты на английском и французском, учит немецкий. Читает Гейне, Шопенгауэра, Ницше, экспрессионистов, Кафку, «Голем» Майринка. Составляет книгу стихов о русской революции «Красные ритмы», сборник рассказов в манере Пио Барохи «Карты шулера», иначе — «Крапленая колода» (при жизни не опубликованы).

1919. *Август.* Первая публикация: обзор новых испанских книг во франкоязычной женевской газете «Фёй» (замечена Мартином Бубером).

Борхесы переезжают в Испанию (Барселона, Пальма-де-Мальорка, Севилья). В Мадриде Хорхе Луис знакомится с писателями Рамоном Гомесом де ла Серной, Рафаэлем Кансиносом-Ассенсом, Гильермо де Торре (последний вскоре переедет в Аргентину и в 1928 г. женится на Норе Борхес), печатает стихи в авангардистских журналах «Греция», «Космополис» и др.

1920. В мадридском журнале «Сервантес» публикуется «Экспрессионистская антология» — стихи современных немецких и австрийских поэтов в переводах и с заметками Борхеса.

1921. *Январь.* Выходит первый номер авангардистского журнала «Ультра», где среди прочего напечатаны стихи и рецензия Борхеса.

Март. Возвращение в Буэнос-Айрес. Борхес выпускает журнал «Призма», входит в столичный кружок, группирующийся вокруг писателя Маседонио Фернандеса. В октябре Борхес публикует в буэнос-айресской газете статью-манифест «Ультраизм».

1922. Кружок М. Фернандеса начинает издавать журнал «Форштевень».

1923. Выходит первая книга Борхеса — сборник стихов «Страсть к Буэнос-Айресу» (выпущена тиражом в 300 экземпляров на средства отца, с гравюрами Норы Борхес).

Снова на год уезжает вместе с семьей в Европу.

1924. Статья Борхеса о Кеведо публикуется в мадридском журнале Хосе Ортеги-и-Гассета «Ревиста де Оксиденте» («Западное обозрение»).

1925. Книга эссе «Расследования» (при жизни не переиздавалась, во Франции ее сочувственно отрецензировал Дриё ла Рошель), сборник стихов «Луна напротив», перевод фрагмента из джойсовского «Улисса» — романа, сопровождавшего Борхеса много лет.

Через писателя Рикардо Гуиральдеса Борхес знакомится с сестрами Окампо — писательницами Викторией и Сильвиной.

1926. Сборник эссе «Земля моей надежды» (при жизни не переиздавался).

Борхес начинает сотрудничество с газетой «Пренса» (до 1929 г. публикует в ней более 20 различных материалов).

1928. Книга «Язык аргентинцев» (ее оформляет друг Борхеса-отца, художник Алехандро Шуль-Солар).

Знакомство с мексиканским писателем, педагогом, дипломатом Альфонсо Рейесом.

1929. Третья — и на долгие годы последняя — книга стихов «Сан-Мартинская тетрадка».

1930. «Эваристо Карриего» — биография друга семьи Борхесов, поэта буэнос-айресских предместий, и вместе с тем очерк мифологии столичных окраин, подступ к будущим темам танго, схватки, ножа; первая прозаическая книга, которую автор включал в собрания своих сочинений.

Знакомство — через сестер Окампо — с юным Адольфо Бьой Касаресом, в дальнейшем — другом, советчиком и соавтором.

1931. Борхес входит в редакционную коллегию основанного Викторией Окампо журнала «Сур» («Юг») — на протяжении многих лет крупнейшего и наиболее авторитетного издания в Латинской Америке. Печатает в журнале статьи о литературе и кино, переводы.

1932. Книга эссе «Обсуждения».

1933. Брошюра о поэтических метафорах скандинавских скальдов «Кёнинги».

Сотрудничает с журналом «Критика», где с августовского номера начинает публиковать очерковые новеллы из цикла «Всемирная история бесславья».

1934. Вместе с уругвайским писателем Энрике Аморимом (женатым на двоюродной сестре Борхеса) путешествует по глухим северным районам Уругвая, наблюдает жизнь гаучо (увиденное откликнется поздней в новеллах «Фунес, чудо памяти», «Юг», «Конгресс»).

В ответ на антисемитские выпады националистов публикует в столичном журнале «Мегафон» заметку «Я — еврей».

1935. Сборник пародийных остросюжетных новелл-эссе «Всемирная история бесславья».

1936. Книга эссе «История вечности».

Начинает вести в буэнос-айресском семейном двухнедельнике «Огар» («Очаг») рубрику «Зарубежные книги и их авторы: Путеводитель читателя» (до 1940 г.).

1937. Вместе с доминиканским историком культуры Педро Энрикесом Уреньей выпускает «Классическую антологию аргентинской литературы».

Переводит роман Вирджинии Вулф «Орландо».

Работает в муниципальной библиотеке на окраине столицы. Изучает итальянский язык, по дороге на работу и домой читая в трамвае Данте и Ариосто.

1938. Вступительная статья к сборнику новелл Кафки «Превращение» (переводы в ней, вопреки устойчивому предрассудку, не принадлежат Борхесу).

Смерть отца.

Под Рождество Борхес после несчастного случая попадает в больницу с тяжелым заражением крови и временной потерей зрения (детали болезни и выздоровления войдут потом в новеллу «Юг»). В больнице задумывает новеллу «Пьер Менар, автор «Дон Кихота»».

1939. «Пьер Менар» публикуется в майском номере журнала «Сур». В парижском журнале «Мезюр» печатается «Приближение к Альмутасиму».

1940. Предисловие к первому фантастическому роману в Латинской Америке — «Изобретение Мореля» А. Бьой Касареса.

Вместе с только что поженившимися Бьой и Сильвиной Окампо выпускает «Антологию фантастической литературы» (многократно переиздается вплоть до нынешнего дня, на ней формируются лидеры будущего «магического реализма»).

После долгого перерыва публикует новые стихи — стансы «В кругу ночи»; навязчивая метафора замкнутого круга повторяется в опубликованной тогда же новелле «В кругу развалин».

1941. С Бьой Касаресом и Сильвиной Окампо выпускает антологию аргентинской поэзии XX в.

Издает сборник своих новелл «Сад расходящихся тропок». Переводит роман Фолкнера «Дикие пальмы», книгу эссе Анри Мишо «Варвар в Азии».

1942. «Шесть задач для дона Исидро Пароди» — сборник пародийно-детективных новелл в соавторстве с Бьой Касаресом под общим псевдонимом Бустос Домек.

1943. Книга избранной лирики «Стихи 1922—1943 годов» (ряд прежних стихотворений дан в новых редакциях: переиначивание — устойчивая и характерная черта авторского письма Борхеса и его писательского облика).

Вместе с Бьой Касаресом выпускает сборник «Лучшие детективные рассказы» (впоследствии многократно переиздается).

1944. Книга рассказов «Вымышленные истории».

1945. Вместе с писательницей Сильвиной Бульрич выпускает книгу о буэнос-айресских окраинах и их героях «Куманек, его судьба, его улицы, его музыка» (кроме борхесовского предисловия, сюда входит его новелла «Человек из Розового кафе»).

1946. После военного переворота и прихода к власти полковника Перона Борхес за антифашистские взгляды и антиправительственные высказывания уволен из библиотеки: ему издевательски предложено место инспектора торговых рядов (птица и дичь) на городском рынке, от которого он отказывается.

Читает лекции по литературе в аргентинском Обществе английской культуры, ездит с лекциями по Аргентине и Уругваю (в неизменном сопровождении жандармов).

Выпускает журнал «Анналы Буэнос-Айреса» (за два года выходит 23 номера), где среди других авторов открывает читателям Хулио Кортасара и уругвайского прозаика Фелисберто Эрнандеса.

Повесть «Образчик смерти» (в соавторстве с А. Бьой Касаресом, под общим псевдонимом Б. Суарес Линч).

1947. Брошюра «Новое опровержение времени».

Пишет вместе с А. Бьой Касаресом антиперонистский рассказ «Праздник чудовища», который распространяется в рукописных копиях.

1948. За антиперонистские выступления арестованы мать и сестра Борхеса. Публикует в журнале «Сур» эссе о «Божественной Комедии», которые через много лет сложатся в книгу «Девять очерков о Данте».

1949. Сборник новелл «Алеф».

1950. На три года избирается президентом Общества аргентинских писателей, стоящего в оппозиции к официальной власти.

Получает место преподавателя англоязычной словесности в Буэнос-Айресском университете.

1951. Вместе с Делией Инхеньерос выпускает книгу очерков «Древние германские литературы».

Сборник новелл «Смерть и буссоль».

«Вымышленные истории» выходят во Франции.

1952. Сборник эссе «Новые расследования».

1953. Начинает выходить первое собрание сочинений (очень жестко отобранное автором).

Во Франции издан сборник новелл и эссе разных лет «Лабиринты».

1955. Падение диктатуры, Перон эмигрирует из страны. Борхес назначен директором Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе (к этому времени он уже практически теряет зрение).

Вместе с Бьой Касаресом издает сборник мировой фантастической новеллы «Краткие и необычайные истории» (ряд текстов — мистификация составителей), двухтомную антологию поэзии гаучо, два киносценария («Жители окраин» и «Рай для праведников»).

Монография о Леопольдо Лугонесе (в соавторстве с Беттиной Эдельберг).

1957. Антология «Пособие по фантастической зоологии» (в соавторстве с Маргаритой Герреро).

1960. Антология «Книга Рая и Ада» (в соавторстве с А. Бьой Касаресом).

Сборник стихотворений и микроновелл «Создатель».

1961. Делит с Сэмюэлом Беккетом международную премию книгоиздателей «Форментор».

На протяжении семестра читает лекции в университете штата Техас.

1962. Аргентинская премия Национального фонда искусств.

Получает от французского правительства орден Искусства и Литературы.

1963. Выступает с лекциями в странах Европы.

1964. Вместе с Джузеппе Унгаретти по приглашению ЮНЕСКО выступает в Париже на праздновании 400-летия Шекспира.

Во Франции выходит специальный номер журнала «Эрн» со статьями писателей и литературных критиков разных стран, посвященными Борхесу (открывается заметкой его матери).

1965. Получает в Перу орден Солнца.

«Введение в английскую литературу» (в соавторстве с Марией Эстер Васкес).

Книга песен-милонг «Для шести струн» (музыку к ним пишет Астор Пьяццола).

1966. «Средневековые германские литературы» (в соавторстве с Марией Эстер Васкес).

1967. Книга пародийных рецензий «Хроники Бустоса Домека» (в соавторстве с Бьой Касаресом).

«Введение в литературу США» (в соавторстве с Эстер Семборайн де Торрес).

Читает курс лекций о поэзии в Гарвардском университете.

1969. Книга стихов и прозаических миниатюр «Хвала тьме».

Поездка в Израиль, выступает с лекциями в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Французское телевидение показывает документальный фильм о Борхесе.

Перевод «Листьев травы» Уитмена.

В университете штата Оклахома проходит международный симпозиум, посвященный творчеству Борхеса.

1970. Литературная премия Латинской Америки (Бразилия).

Книга новелл «Сообщение Броуди».
Фильм Б. Бертолуччи «Стратегия паука» (по новелле «Тема предателя и героя»).
Выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию по литературе.

1971. Почетный доктор Колумбийского и Оксфордского университетов.
Получает премию города Иерусалим.
Театр в Турине ставит пьесу «Евангелие от Борхеса».

1972. Книга стихов и прозаических миниатюр «Золото тигров».
Почетный доктор Мичиганского университета.

1973. Почетный гражданин Буэнос-Айреса.
Выступает с лекциями в Мадриде.
После победы на выборах и прихода к власти перонистской партии покидает пост директора Национальной библиотеки.
Награжден мексиканской премией Альфонсо Рейеса.

1975. Сборник новелл «Книга песка».
Смерть матери в возрасте 99 лет.
Книга стихов «Сокровенная роза».
Поездка в Мичиган с Марией Кодамой.

1976. Получает чилийский орден Большой Крест Бернардо О'Хиггинса.
Сборник стихов «Железная монета».
Книга «Что такое буддизм?» (в соавторстве с Алисией Хурадо).

1977. Выступает в Сорбонне на конференции в честь друга своей юности писателя Рикардо Гуиральдеса, автора романа о гаучо «Дон Сегундо Сомбра».
Торжественно открывает в Париже выставку живописи А. Шуль-Солара.
Книга стихов «История ночи».
Сборник «Предисловия» — избранные образцы жанра за полвека работы.

1978. Участвует в парижской конференции, организованной ЮНЕСКО в честь Виктории Окампо.
«Краткая антология англосаксонской словесности» (в соавторстве с Марией Кодамой).
Почетный доктор Сорбонны.
Поездка с Марией Кодамой в Швейцарию и Египет.

1980. Тысячестраничный том «Полное собрание написанного в соавторстве».
Сборник устных выступлений «Семь вечеров». Получает высшую испанскую литературную премию «Мигель де Сервантес» (делит ее с испанским поэтом Херардо Диего).

1981. Получает из рук президента Италии премию Итальянской республики. Премия «Ольин Йолицли» (Мексика). Книга стихов «Тайнопись».

1982. Выходит сборник эссе «Девять очерков о Данте».

1983. Кавалер ордена Почетного легиона (Франция). 27 марта публикует в буэнос-айресской газете «Насьон» новеллу о своем воображаемом самоубийстве «25 августа 1983 года».

1984. Участвует во Всемирном конгрессе поэтов в Марракеше.
Поездки с Марией Кодамой в Италию, Грецию, Испанию и Португалию, на их основе написана книга миниатюр «Атлас».

Борхес с Марией Кодамой

1985. Сборник стихов «Порука».

В декабре приезжает в Женеву с мыслью, что уже никогда не вернется в Аргентину.

1986. Вступает в брак с Марией Кодамой.

14 июля 1986 года Хорхе Луис Борхес скончался.

Выходит книга «Оставленное под спудом» (рецензии и обзоры 1930-х гг. в журнале «Огар»).

В октябре на вечере памяти Борхеса в Парижской национальной библиотеке с большой речью выступает Ив Бонфуа.

БОРИС ДУБИН

ЛИЛЛИАН ХЕЛЛМАН

Сырой материал

Мемуары

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с английского М. КАН

X

Из дневника

Москва, 1944 г.

<...> Русские озадачивают нас, мы озадачиваем их. Их гордость — это гордость бедных, такой утонченности манер, какой они требуют от других, не знал и сам Версаль. И в очень уж многих отношениях правила, принятые у них сегодня, вступают в противоречие с нашими — так, например, их взгляды на секс романтичны, окутаны розовым флером, а рассуждения о любви и верности — слишком возвышенны для человека моих вкусов и с моей биографией.

Мне, впрочем, по сравнению с большинством иностранцев все же легче. Готовятся к постановке две мои пьесы: «Лисички» и «Стража на Рейне». (Репетиции идут уже полгода.) Есть, конечно, и другие иностранцы, у которых хорошие отношения с русскими, но большей частью журналисты, дипломаты, члены военных и торговых миссий живут в островной изоляции среди себе подобных, отрезанные от русских, не считая официантов, поваров, переводчиков да разного рода стяжательниц, от проституток до телефонисток.

Самый крупный из этих островов — гостиница «Метрополь», в дразнящей близости от кремлевских стен. Построенная в XIX веке, она нередко слывет образчиком обветшалой элегантности, хотя едва ли могла когда-либо похвастать чем-либо, кроме своих размеров и претенциозной пышности, обилия резьбы и мрамора, столь милых в прошлом сердцу русских богачей. (Здесь, в «Метрополе», спасалась во время революции последняя уцелевшая горстка московского дворянства, но история эта обросла таким количеством разных версий, что не знаешь, какой верить.) Ныне гостиница пришла в упадок, провоняла капустой, — правда, в ее просторных коридорах бурлит искрометная международная веселость, которая должна бы, по идее, представлять интерес для литератора; беда лишь, что искрометность эта тускловата, а веселость — всегда бездумна и пуста.

Иностранные журналисты живут по преимуществу в «Метрополе», и у каждого — длинный перечень вполне понятных претензий: подозрительность, непредсказуемость и произвол цензуры; разрешения побывать на фронте не добьешься, да и вообще почти никуда не разрешается ездить; мало с кем из видных представителей власти удается встретиться лично, и информацию приходится черпать из русских газет или перебиваться де-

---

© М. Кан. Перевод, 1999

журными слухами; потратить деньги при всем желании не на что; погода в Москве зимой жуткая, темнота наступает рано, нагоняя тоску, и долго тянутся одинокие вечера.

Все это не дает журналистам нормально выполнять свою работу, и жизнь у них — хуже некуда, однако все они, за исключением Александра Уэрта[1], Джона Херси[2] и немногих других, привыкли, мотаясь по белу свету, не мытьем так катаньем добиваться своего; из-за ежедневных поражений их обед превращается в бесконечное пережевывание одних и тех же набивших оскомину жалоб — остается отвлечься и не слушать, судача о том, кто это сидит за соседним столиком или в дальнем углу.

Недавно этими «кто это» оказались: торговая делегация из Исландии, двое монголов неустановленного статуса, русский тенор-репатриант из Шанхая со своим семейством, американец, который приехал продавать сельскохозяйственную технику и превосходно играет на рояле, члены английской военной миссии, глава которой во время первой мировой войны был шпионом и написал о своих похождениях в качестве тайного агента знаменитую книгу, но обижается — притворно, может быть, — что русские до сих пор подозревают его в шпионаже, и, наконец, четыре молоденькие и одна не очень проститутки в сопровождении малюсенького русского. К нам в тот вечер подсел журналист, который всего неделю как приехал и не вполне еще опомнился после первых столкновений с русской цензурой. Порядком хлебнув за столом, он начал громогласно утверждать, что все русские — дикари, на что я, тоже порядком хлебнув, возразила, что так не считаю, а он сказал, что считает, а я ему — подумаешь, «он считает», — большое дело; на что он тоже не смолчал, и я заметила, что многие, едва лишь научившись стаскивать на ночь нижнее белье, тут же всех других объявляют дикарями, в каковом изысканном тоне обмен мнениями и продолжался, покуда сельхозтехнический американец, выйдя из-за стола, не заглушил нас игрой на рояле.

Неодолимо влечет меня «Метрополь» как колоритный полустанок в сумрачном мире посольства, где я живу, как лазейка из горестного мира моих русских друзей. Запущенное, но оживленное заведение — я пристрастилась заглядывать туда чуть ли не каждый день, послушать, что было вчера вечером, что расскажет Алекс Уэрт про первый год войны, а Генри Шапиро[3] — про то, что было еще раньше. А после побродить по коридорам, ища, с кем бы еще поболтать.

Интересней всего на третьем этаже: из лифта выходишь к номерам двух турецких дипломатов, которых вечно нет дома; в том же холле напротив — два японских военных атташе, а в примыкающей каморке — их шофер-японец. За соседней дверью — журналист из нейтрального государства, чрезвычайно гордый тем, что его любовница некогда состояла в том же самом качестве при группе узбеков. Упомянутая дама имеет обыкновение слишком много и слишком громко смеяться, чем понуждает русского тенора-репатрианта, живущего со своим семейством по соседству, проводить утренние часы, требуя, чтобы ему дали другой номер. Рядом с тенором — вновь прибывший пожилой американец, который служит в нашем консульстве. Его покой почти каждый вечер нарушает своим появлением крупная русская деваха — вламывается к нему в номер, озирается вокруг и скандалит. Американец не говорит ни слова по-русски, деваха — по-английски, и никто его не просветит, что деваха прозвана Демпси, так как однажды, дав затрещину какому-то мужчине, напомнила очевидцам этой сцены Джека Демпси[4]. Теперь она страдает по бывшему обитателю этой комнаты, уехавшему из Москвы, ничего ей не сказав, и думает, что пожилой американец неким образом причастен к исчезновению ее кавалера.

---

[1] Александр Уэрт — американский журналист. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Джон Херси — американский писатель и журналист, во время второй мировой войны — военный корреспондент журнала «Тайм».

[3] Генри Шапиро — американский журналист.

[4] Джек Демпси — боксер, чемпион мира в тяжелом весе с 1919 по 1925 г.

На другом конце холла живет некая иностранка по прозванию Золотая Ручка, горячая сторонница Советского Союза, что не помешало ей однажды, задолго до моего приезда, стянуть икону при посещении подмосковного монастыря, разоренного немцами. Коллеги-журналисты возмутились и заставили ее вернуть свой трофей, пригрозив устроить ей в противном случае товарищеский суд в гостиничном вестибюле. С тех пор она редко показывается в столовой.

Вчера ко мне обратился русский тенор. В Шанхае он слегка нахватался английского, я же слегка знаю французский, но только под конец, через полчаса, дошло до меня, отчего он так сердечно меня встретил: принял за австралийку, присланную посольством Великобритании помочь ему получить более поместительный и тихий номер с приличным инструментом — или, как он выразился, *un piano propre.* Почему он решил, что англичане станут ввязываться в нечто подобное, — для меня загадка, но к тому времени как я собралась спросить об этом, тенор понял, что я — не та, и потерял ко мне интерес. Успев сообщить, что «любит родного края от всей души и хочет снова петь для свой родной народ, но как прикажете заниматься, не имея *un piano propre* и имея четырех детей?». Я порывалась пару раз вставить слово и узнать, зачем и каким образом он вернулся в Москву, но тут появилась его красивая жена, и он познакомил нас, прибавив доверительно, что это — его первая, а также четвертая жена и одновременно кузина.

Дальше по коридору два номера-люкс занимают скупщики мехов. Скупщики — это трое мужчин неопределенного возраста, но где-то ближе к среднему, неотличимые друг от друга по масти и габаритам. Они, как никто другой в гостинице, возбуждают во мне любопытство, и я попробовала провести в их отношении небольшое расследование. Но продвинулась в этом недалеко, так как они поселились в гостинице настолько раньше всех, что никто о них ничего толком не знает, помимо «той истории».

Гражданство у скупщиков, как установило наше посольство, американское. Соответственно они в числе всех прочих московских американцев были приглашены на рождественский вечер к мистеру Гарриману[1]. Я там старалась как могла: заговорила с ними, приносила им закуски и питье, одного спросила даже, не потанцует ли он со мной. И мы действительно потанцевали, но, кроме кивков и отдаленного подобия улыбок, ничего я не добилась, а в ответ на попытки завязать беседу получала отдельные неразборчивые звуки на английском плюс мычанье на каком-то другом, не поддающемся определению языке. (По-русски скупщики мехов, если верить самим русским, почти не говорят, но понимать его, кажется, понимают.)

Кое-кто из их соседей по гостинице утверждает, что они латыши, другие настаивают, что бессарабы, — как бы то ни было, по сведениям консульства, оптовики в Соединенных Штатах нанимали их в качестве экспертов по пушнине, которая продавалась до войны на грандиозных аукционах. Шесть-семь месяцев в году они колесили по Советскому Союзу и были, очевидно, застигнуты в Москве началом войны. Все это, впрочем, не объясняет, почему они до сих пор находятся здесь: как американские граждане, они могли давным-давно уехать домой. Когда я задала этот вопрос Алексу Уэрту, он сказал:

— А где он, их дом?

В чем, по-видимому, и заключается ответ, хотя другой мой знакомый полагает, что их удерживает здесь надежда, что война вот-вот кончится и они будут первыми на месте, чтобы скупать ценную дикую норку и шиншиллу, которые должны, в отличие от охотников, нагулять за время войны жирок и стать еще краше.

Что же касается «той истории», то она связана с транспортировкой за границу русской проститутки. (У каждого скупщика мехов есть девица, но есть и вера в классовые различия — во всяком случае, девицы никогда не появляются за их обеденным столом и ни один из них не был замечен с девицей в вестибюле или коридоре.) О «той истории» я впервые услышала от третьего секретаря английского посольства, который, однако, при

---

[1] Аверелл Гарриман (1891—1986) — посол США в СССР с 1943 по 1946 г.

упоминании о ней стал поминутно давиться смехом, и за этим хихиканьем я мало что разобрала из его рассказа. А на той неделе я была на большом официальном приеме у русских и провела почти весь вечер, болтая с Максимом Литвиновым, который возвратился на днях в Москву. (1968 год. Впервые я познакомилась с Литвиновым, когда он был послом в Вашингтоне, и он ужасно мне понравился. Госпожа Литвинова по рождению — чистокровная англичанка Айви Лоу. Я находила, что Айви — сочетание Блумсбери[1] с русской революцией — просто прелесть; Хэммет[2] так не считал. Однажды на выходные она приехала к нам на ферму в Плезантвилл. На другой день Дэш не вышел к обеду. Я поднялась наверх и увидела, что он лежит и читает. Он покачал головой. Я кивнула. Он снова покачал головой, и я поняла, что никакими уговорами его не вытащишь к столу.

— Почему? — спросила я сердито.

Он сказал:

— Потому что, кроме домино, зряшней траты времени, чем быть с нею, свет не видывал.)

Мы с Литвиновым сидели за столом, глядя на танцующих. Максим невысокого мнения о дипломатах, называет их занятие ловлей рыбки в мутной воде. Об одном из танцующих он отозвался как о «самом высокопоставленном из московских педерастов», а когда мимо нас проплыл другой, такого роста и такой красоты, каких не бывает, Литвинов заметил со смехом:

— В его время на дипломатическую службу было принято отбирать по принципу кто выше ростом и у кого прямее нос — как дворецких. Можете представить себе их оторопь, когда они впервые увидели низенького, толстого меня... — И, показав пальцем на молодого, очень светлого блондина, прибавил резко: — А вот этот позволяет себе слишком много фокусов. Мы полагаем, это он организовал скупщику мехов девицу в чемодане. Интересно знать — зачем?

Только я собралась расспросить Литвинова о девице в чемодане, как его позвали к телефону, и больше он в тот вечер уже не появлялся.

Назавтра я прижала к стенке смешливого третьего секретаря английского посольства. Итак, в вестибюле «Метрополя» замечен был ящик с надписью по-русски: «ДЕТСКИЙ ГРОБ. ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ». Ящик сопровождали бумаги, какие требуются для отправки покойника в гробу, а также адрес получателя в Стокгольме. Он прошел уже таможенный досмотр в Ленинграде, когда кто-то из поездной бригады обратил внимание на непонятные отверстия, проделанные в ящике. Потыкал в них неким пригодным для этой цели инструментом, и оказалось неожиданно, что инструмент проходит вглубь через еще один ряд отверстий. Послышались странные звуки, гроб взломали, и внутри обнаружился дорожный сундук, а в нем — русская девица в той стадии истерики, какая естественна, когда сидишь в сундуке, упрятанном в гробу. В ходе расследования выяснилось, что сундук принадлежит одному из скупщиков мехов, девица — тоже. Девушку отпустили, вернули в Москву, и никаких дальнейших действий не последовало. Что вызывает недоумение, поскольку у русских крайне суровые порядки в отношении выездных виз, но на вопрос: почему? — мой знакомец из английского посольства, пожав плечами, отвечал:

— Возможно, решили, пусть каждый сам роет себе могилу. Посольских шведов здесь не любят, но ничего конкретного на них нет.

— А как же скупщик мехов, который хотел ее переправить?

— Не знаю. Говорит, что это не он. Что будто бы сундук она у него украла, а гроб сколотила себе сама.

---

[1] Имеется в виду Блумсберийская группа, в которую с 1920-х годов входили видные представители английских интеллектуалов с критическим отношением к принципам буржуазной морали.

[2] Дэшил Хэммет (1894—1961) — американский писатель-либерал, киносценарист, автор детективных романов, близкий друг Лиллиан Хеллман.

В прошлом месяце пришла хорошая весть — о нашей победе в сражении на Филиппинах. Однако на третьем этаже «Метрополя» с этим известием произошла путаница: японское радио объявило, что победу одержал *их* флот, и японские военные атташе сочли нужным отметить это скромным, но изысканным торжеством, на котором, по свидетельству русского тенора, угощали разными яствами, ставили пластинки с классической музыкой, и гости довольно рано ушли спать. Зато японец шофер в своей каморке разошелся в полную силу лишь часам к трем — и ночь огласилась звоном разбитого стекла и заглушенными звуками женских голосов. Первые полчаса его соседи по коридору не волновались, но когда звуки женских голосов переросли в испуганные крики, те, кто был поотзывчивее, поднялись с постели. Сонные, недовольные фигуры начали собираться в холле. Вышли турки, монголы, вышла бывшая узбекская любовница, вышел тенор со своим потомством, вышли даже, держась немного поодаль, скупщики мехов. Страдальческие вопли не утихали, но сторонние наблюдатели не торопились действовать. Обнаружилась причина, каких прежде не возникало в разноплеменной, чуждой нетерпимости гостиничной жизни: никому не хотелось вмешиваться в дела страны, воюющей с Соединенными Штатами, тем более что к этому времени окончательно подтвердилось, что победу на море одержали все-таки не японцы, а мы. Но наконец решение было найдено: один из турок — представитель нейтральной стороны, — тоже предпочитая не заходить прямо к шоферу, согласился тем не менее постучаться к почему-то отсутствующим в холле японским атташе и обратить их внимание на эти вопли. Сказано — сделано, и японские атташе, которые явно не спали, готовые к тому, что их призовут на помощь, мягкой поступью вышли в холл в щегольских английских халатах, вооруженные длинной палкой, какими в номерах открывают фрамуги, и кой-какими орудиями помельче. Дверь взломали. На полу, забившись в угол, жались к стене две женщины, у одной вытянутая вперед нога согнулась под неправильным углом. (Позже выяснилось, что нога была сломана. Стражам порядка пострадавшая объяснила, что налетела случайно на свою подругу во время затеянной спьяну игры в прятки.) Несколько стекол в окнах были выбиты, все зеркала разбиты вдребезги, обивка стула изрезана в клочья. В эту минуту сквозь толпу пробился администратор гостиницы, ступил в комнату, поднял руку, призывая к тишине, и произнес по-английски:

— Нехорошо, вот что я скажу!

Разумеется, часто дни в «Метрополе» проходят тихо. Небогатой событиями, например, оказалась прошлая неделя. Один журналист, возвратившись из Лондона, привез своей знакомой три пары нейлоновых чулок. Девушка сочла, что это жалкий, обидный подарок, изложила вкратце на бумаге подробности их совместной жизни и послала один экземпляр в его газету, а копию — его жене... Шифровальщик второстепенного посольства отшлепал старшего отпрыска русского тенора, и тенор твердит, что зря приехал из Шанхая к этому сборищу варваров. А кто-то из скупщиков мехов получил упаковку яиц, которые взорвались в главном вестибюле с такой силой, что администратор велел обыскать скупщика на предмет хранения оружия. <...>

XI

Через несколько недель после приезда в Москву я получила приглашение явиться в Министерство иностранных дел. Встретили меня два учтивых господина, оба — слово в слово одним и тем же официальным приветствием. Я — гостья в Советском Союзе, а гостю у них по традиции — почет и доверие. (Здесь сквозил намек, что народы более мелкого калибра не всегда способны на такое обхождение.) Так вот, не скажу ли я, что́ хотела бы повидать и где побывать? Они на данный момент не обещают ничего определенного, но могут мне обеспечить свободу передвижения, какая только возможна в условиях военного времени, ибо помимо того, что я прíехала как «представитель культуры своей страны», у русского народа вызывают горячее восхищение мои пьесы. (Это было поистине странно, если учесть, что и «Стража на Рейне», и «Лисички» находились

все еще на стадии репетиций и на означенной стадии оставались столь долго, что ни одного представления для публики я так и не увидела.)

Официальные встречи на высоком уровне — удовольствие не для меня. Я чувствую себя не в своей тарелке, лесть предпочитаю слышать иного сорта и вообще быстро перестаю воспринимать, что мне говорят. Это справедливо во всякое время, а в тот день я, после воспаления легких, сидела без сил, плохо соображала и далеко не сразу догадалась, что это в ответ на мое «большое спасибо, я никуда не хочу, я и Москвы-то еще толком не видела» старший из двух вздыхает, ерзает на стуле и нетерпеливо барабанит пальцами по столу. Наконец он сказал:

— И вам большое спасибо. Перейдем теперь непосредственно к вашим пожеланиям.

Не хотела бы я совершить поездку в Ленинград? А в Киев? Есть вероятность — хотя, разумеется, и очень малая, — что мне разрешат побывать на фронте, в действующей армии. Далее. С кем я хотела бы повидаться? Я ответила, что никогда заранее не планирую свои встречи, а впрочем, может быть, еще зайду как-нибудь в другой раз. Тот, что постарше, опять забарабанил по столу.

— Мадам Хеллман, вам хотят сделать приятное, предлагая в виде исключения такой выбор. Вы же на это заявляете, что в Советском Союзе нет никого, с кем было бы интересно встретиться.

Я попыталась объяснить, что хотела сказать не то и сожалею, если меня так поняли, но тот, что помоложе, встал и, не дав мне договорить, резко бросил:

— Товарищ Сталин не дает интервью, но мы, конечно, сообщим его секретарю о вашей просьбе с ним встретиться.

В тот же вечер и в ближайшие дни я рассказала о своем походе в министерство мистеру Гарриману и кой-кому из знакомых, но все в один голос отвечали, что я могу не волноваться, никуда мне поехать не разрешат и все это одни пустые разговоры для проформы. Я успокоилась и больше об этом случае не вспоминала, пока в конце ноября ко мне не явилась Рая[1] с известием, что нам дали разрешение ехать завтра в Ленинград. Я в этом не увидела ничего особенного, но иностранная колония приняла новость с большим интересом. Я оказалась не то четвертой, не то четырнадцатой — уж не помню, — кому после снятия блокады позволили побывать в Ленинграде, но все же поездки туда оставались такой редкостью, что внимание ко мне со стороны иностранных посольств по возвращении в Москву заметно возросло. Посыпались приглашения на обеды: одно вложили в роскошное издание «Крейцеровой сонаты», другое пряталось в большом букете цветов — а их в Москве достать трудно, третье было прикреплено к электрообогревателю, более вожделенному той зимой, чем любой эликсир молодости. Господин, приславший обогреватель, возглавлял военную миссию своего государства, а во время русской революции состоял советником у белогвардейцев. Вскоре после того он в соавторстве с кем-то еще выпустил книгу о своих шпионских похождениях. Прислав подарок, постаревший шпион — ныне бригадный генерал — пожаловал назавтра сам с бутылкой отличной довоенной водки и банкой свежей икры. Помню, исчерпав тему водки и икры, мы обсудили цвет моих волос — странный цвет, надо бы высветлить, коснулись костюма, который был на мне, — костюм заслужил похвалу, и отсюда естественным образом перешли на то, как шикарно в его время одевались дамы в Ленинграде. С этого момента разговор принял крайне своеобразный характер: невинные вопросы сменялись провокационными с такой методичностью, словно он был метроном, а я — малолетка за роялем. Когда малолетка отвернулась к окну и умолкла, он стиснул зубы, скорчил гримасу, словно досадуя на собственную застарелую шпионскую привычку, и надолго закашлялся, прикрыв рот рукой. Малолетка заметила, что она не большая любительница расспросов, что ей тягостно и неловко. Он сказал — понятно, на всех нас отражается нехватка сахара, он сходит к себе и принесет мне конфет. Может, он и вернулся, не знаю, — я, во всяком

---

[1] Раиса Давыдовна Орлова (1918—1989) — литератор, специалист по американской литературе.

случае, как только за ним закрылась дверь, ушла и долго сидела на скамейке в метро на улице Горького, размышляя о том, не от малопочтенной ли работы развивается в человеке нечуткость и самонадеянность и не приводит ли самонадеянность обычно к тому, что человек глупеет. На другой день я вернула электрообогреватель назад, и генерал никогда больше со мной не разговаривал.

20 декабря я получила второе подтверждение тому, что господа из Министерства иностранных дел не швыряются словами попусту. Пришла Рая с радостной улыбкой на милом молодом лице, с которого исчезла без следа обычная усталость, и принесла, как она выразилась, «невероятную, потрясающую новость». Потомив меня немножко и уверясь, что мне не угадать, она расцеловала меня и объявила, что нам разрешена поездка на фронт и на днях, как только нам дадут знать когда, мы в тот же час выезжаем. Для меня это была не «потрясающая» новость. Я не видела смысла в такой поездке. Я — не журналистка и не рвалась писать репортажи с передовой, сомневалась, смогу ли достойно переносить трудности, мне было страшно, и я сказала ей, что не поеду, но она затрясла головой и, напомнив, что утро вечера мудренее, умолила меня не решать сгоряча, дело слишком серьезное. Ночевать я осталась в гостинице, не горя особым желанием общаться с обитателями посольства. К утру лишь укрепилась в уверенности, что нечего пыжиться, устраивать себе проверку, когда ты знаешь, что проверка кончится крахом и оставит по себе шрам.

Не помню, почему я передумала. Вероятно, потому, что все кругом ужасались, как это можно отказаться от такого поразительного, беспрецедентного предложения. Никто на меня, сколько помню, не давил, но через несколько дней я уже складывала, вытряхивала и снова набивала небольшой чемодан, одолжила у генерала Дина армейскую шинель на теплой подкладке, штопала шерстяное белье, вязала себе носки — словом, как и всю жизнь, занимала себя пустяками, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок.

Днем 27 декабря нас с Раей встретил на вокзале высокий белобрысый майор. Раскланялся, произнес положенные любезности, слишком часто прикладывая руку к козырьку, и, покончив со всем этим, отдал Рае распоряжение перевести: я не должна спрашивать, каким маршрутом следует поезд, не должна спрашивать, каков конечный пункт маршрута, и никаких вопросов «по прибытии в расположение», никаких вопросов «при отбытии»; устраивать, решать, возить — исключительно его прерогатива, дело Раи — лишь выступать в роли переводчика. Рая сказала — чем мерзнуть, стоя на вокзале, не лучше ли ему помочь нам с вещами, а дальнейшие приказания можно отдавать и в поезде.

Поезд тронулся. В первом вагоне ехали только я, Рая и майор. Позади были еще два вагона, но майор опустил шторки, чтобы мы не видели, кто садится в поезд. С этой нехитрой мерой по соблюдению секретности не посчиталась симпатичная проводница, которая поведала нам, раздувая в конце вагона самовар, что направляемся мы в Киев, что в соседнем вагоне «полно поляков», а за ними едут «еще какие-то чудны́е иностранцы». Под вечер поезд остановился на станции, от которой остались одни развалины, и мы вышли купить еды у двух старушек. «Иностранцы» оказались московскими журналистами, многих из них я знала и обрадовалась встрече. Со мной, однако, держались довольно прохладно, а почему — я узнала годы спустя после войны, когда Джон Херси объяснил: как им было не злиться, если их, после бесчисленных просьб о поездке на фронт к русским, отправляли к полякам, а то, чего они так добивались, разрешили мне, которой это не нужно... Вагон, в котором было «полно поляков», вез, как выяснилось, членов польского правительства в изгнании, они возвращались на родину с тем, чтобы объявить себя действующим правительством в Люблине, так как Варшаву все еще занимали немцы.

Ехали долго, кружным путем. Я, понятно, раскаивалась, что поехала, и теперь сидела в вагоне, нелепо выряженная, немытая, иззябшая, но избавившаяся от прежнего страха, так как больше собой не распоряжалась. (У других умственные способности в крайних обстоятельствах обостряются — я же, наоборот, тупею и совею, словно зверь на цепи.)

Были бессчетные чаепития, долгие вечера, когда я не давала Рае спать, читая ей выдержки из очерков Манна о Вагнере и Фрейде; была беспросветная глупость московского майора, была остановка в Киеве, прогулка по разрушенному Крещатику — нам оставалось лишь догадываться, как он прежде был красив, — и ночь, когда мы с Раей долго бродили по городу, забыв о комендантском часе, а после по безлюдным, черным улицам бежали в гостиницу, спотыкаясь о кирпичи, балки, деревянные обломки, не разбирая от усталости, куда ступает нога.

Приехали в Люблин. У поезда нас встречал майор Казакевич, молодой и обаятельный. (Через много лет мне сказали, что после войны он написал хороший роман, а умер в 50-х[1], от рака.) Мне он понравился с первой минуты, когда осадил московского майора, бросив ему:

— Своих штабистов столичных учите, что можно, что нельзя!

Гостиница, куда нас поместили в тот вечер, выглядела необычно: пустая, но под усиленной охраной, в номерах натоплено, окна забраны решеткой. (Недели две прошло, и я узнала, что в ней располагался маршал Жуков. Всю ночь в отдалении слышалась пальба, а дважды — тяжелый топот многих ног, пробегающих мимо. (Там и сям в городе и его окрестностях засели немцы, не сумевшие выбраться из окружения.) В семь утра я распахнула окна в нашей комнате. День занимался лучезарный, чистый снег сверкал на солнце. По ту сторону улицы я увидела девочку в нарядной беличьей шубке и шапочке, в серых замшевых перчатках под цвет ботиков. С нею была женщина в полном, включая головной убор, облачении английской няни. Странная пара тихонько пробиралась мимо развалин жилого дома, и я смотрела, как они входят в церковь за два квартала от гостиницы.

То утро, тот день, то время вне времени не подлежало и до сих пор не подлежит известным мне измерениям в категориях времени и пространства. Мы ездили в концлагерь Майданек, только-только отбитый у немцев. Из записи, сделанной в дневнике через полгода, следует, что нас водила по территории немолодая польская пара. Там же написано, что меня преследовал тошнотворный запах йодоформа; что я стояла в огромном прямоугольном помещении с цементными стенами, уставленном контейнерами с обувью, подобранной по размеру и цвету, и потрогала рукой красные туфельки; что, обходя эти кошмарные просторы, мы дошли до печей смерти, больших — для мужчин и женщин и маленьких — для детей; что еще клубился дымок над большим кирпичным строением в центре, предназначенным в разных вариантах перевода то ли для «сжигания костей», то ли «для мусора», то ли «чтобы поддерживать жар в печах», — я по сей день так и не знаю для чего, — потом мы двинулись дальше, и были рвы, заполненные человеческими костями, и, повернув назад, мы очутились перед зданием, по стене которого полз длинный червяк, и я не понимала, как может червяк выжить на таком морозе, и сунула в рот жевательную резинку, чтобы меня не вырвало, и меня все-таки вырвало, но не съеденной пищей, а чем-то желто-красным, и я все повторяла: «Не верю, быть не может», имея в виду червяка, поскольку все прочее в тот день было за гранью веры или неверия, — покуда старая полька не сказала раздраженно переводчице: «Хеллман — это ведь немецкая фамилия, да?», а по дороге обратно в Люблин я уснула в машине, и дальше в моей памяти пробел до завтра или послезавтра, — короче, до того неведомого дня, когда та же машина привезла нас к какой-то речке.

— Почти доехали, — сказал майор Казакевич.

Московский майор в десятый раз завел свое:

— Просьба не спрашивать, где вы находитесь, и никаких вопросов, пожалуйста, о численности личного состава, орудий, самолетов, о боевых действиях на данное время, о расположении населенных пунктов, лесных массивов...

Я сказала:

— Сколько можно твердить одно и то же? И сколько я должна объяснять, что мне это ни к чему, я взвода не отличу от корпуса, а возможно даже — орудия от самолета.

---

[1] На самом деле Э. Г. Казакевич умер в 1962 г.

— В это верится с трудом, — сказал московский майор, и Казакевич сквозь смех заметил мне по-английски:

— Дождаться не могу, когда он встретится с генералом!

Встреча произошла через несколько часов, когда нас пригласили пообедать с генералом и двумя его офицерами. (Таких великанов, как генерал, я, пожалуй, не видывала, хотя допускаю, что роста ему прибавляла высокая, красивая меховая шапка.) Едва мы успели поздороваться, как московский майор заговорил:

— Для меня большая честь находиться рядом с прославленным героем Союза Советских Социалистических Республик! Разрешите доложить, что́, мне было приказано в Москве. Данная иностранная гражданка удостоилась от нашего правительства почетного разрешения посетить ваш участок фронта. Одновременно получен приказ, что ей запрещается задавать вопросы о расположении воинских частей и населенных пунктов, численности личного состава, а также самолетов, орудий...

На этом его перебили, и Казакевич с довольной усмешкой перевел мне слова генерала: «Я полагаю, когда и если вы еще понадобитесь, вам дадут знать».

Обед был замечательный — лучший обед, на каком мне довелось побывать в России. Мясо, хлеб, огурцы с помидорами, грузинское вино, доброе пиво, и все это — под разбитый патефон, водруженный на стул. Рядом сидели крепкие мужчины в отличном настроении и с отличными манерами. Мы обменивались среднего качества остротами, которые еще больше теряли при переводе; один из полковников отколол нечто вроде джиги, мы с генералом кружились в вальсе под музыку, не похожую на вальс, и каждый спел песню своего родного края, только у меня почти все слова «Дикси»[1] вылетели из головы, а может, я их и вовсе не знала.

Из дневника

3 января 1945 г.

Сижу, прислонясь к стволу дерева в сосновом бору. Не слышно ни единого звука, хотя лес укрывает тысячи три солдат и тысячу лошадей, которых пустили отдохнуть и подкрепиться. Не то эпизод из войны былых времен, не то декорация некой оперы. Откладываю блокнот и тянусь потрепать морду коня, который роется носом в снегу, возвращая меня в Плезантвилл, где я в такой же зимний день сижу на снегу, жарко искрящемся на солнце, и глажу по голове пони и пуделя. Не уходить бы отсюда никуда. Остаться бы в этом лесу...

Позже в тот же день

Примерно через час нас привезли в штаб дивизии, усадили в добротной двухкомнатной землянке генерала Чернова, и он спросил, что бы мне такое показать. Я сказала, что у меня одно-единственное желание — вернуться опять в сосновый бор и пожить там какое-то время. Он рассмеялся и сказал, что не возражает, — мне срубят сосновую избушку и заберут меня оттуда после войны. За чаем разговор зашел о его прошлом: он служил поручиком в царской армии, потом в составе Красной Армии три года воевал в Сибири, брал Владивосток.

— На этой войне, — говорил он, — мне выпало сдавать Ковель и отступать до Сталинграда. Но Бог милостив. Я дожил до того дня, когда взял назад Ковель, и пригожусь еще, когда будут брать Варшаву. Не хотите ли посмотреть, где окопались немцы?

Он поднес бинокль к стеклянному глазку в стене землянки, настроил его и уступил мне свое место, приладив мою руку козырьком поверх стекол. Немцы были, я думаю, футах в пятистах от нас, и от неожиданности, что они так близко, я невольно отняла руку.

---

[1] Написанная в 1859 г. песенка, которая стала гимном Конфедерации южных штатов Америки.

В то же мгновение начался шквальный обстрел, грохнули тяжелые орудия, и Чернов толкнул меня на пол. Лежа, я видела, что майор стоит, прижимаясь к одной стенке, Чернов — к другой.

— Не двигайтесь с места, — сказал майор. — Вы убрали руку от стекол, и они поймали зайчик.

— Извините. Так оскандалиться...

Генерал Чернов усмехнулся:

— Скоро перестанут. Все равно это без толку. Хотя в первую минуту я уж подумал, что могу и не дойти до Варшавы.

7 января

Просидела всю ночь на почтительном расстоянии от оконных стекол, наблюдая, как плотный снег вспахивают снаряды и река озаряется вспышками сигнальных ракет. Один раз дом так тряхнуло, что я отлетела к столу, — должно быть, от этого снаряда начался пожар, по крайней мере, я видела, как от какого-то здания поднимаются языки пламени, и слышала, как перекрикиваются, сбегаясь туда, люди. В четыре утра в дверь просунул голову Казакевич, велел не волноваться, ничего страшного, он пришлет нам горячего чая. Тогда, и только тогда, до меня дошло, что я ничуть не испугалась. Где же рассталась я со страхом — в поезде или в Майданеке? Достаю свой дневник и решаю написать о Майданеке, но уже на втором предложении застреваю, а первое написано словно бы не моим почерком — и я понимаю, что не могу сейчас писать об этом и неизвестно, смогу ли вообще когда-нибудь.

А ночь, оказывается, прошла еще более бурно, чем я думала. За завтраком мы узнали, что по всей линии Вислы не стихал плотный огонь, русский патруль доставил большое число задержанных, в плен добровольно сдались девять эсэсовцев и сейчас ждут допроса. Не хочу ли я при этом присутствовать? Я не поняла, почему девять перебежчиков — такое событие, и кто-то объяснил, что СС составляет элиту немецкой армии и это первый случай дезертирства из их рядов.

Генерал Кузьмин возразил:

— На войне нет такого понятия, как первый случай. Мы лишь знаем, что у нас такого сорта перебежчики впервые. Рискну предположить, что сейчас в СС набирают сопляков, и тогда этот факт еще ни о чем не говорит.

Он кивнул полковникам и Казакевичу и вышел, едва не столкнувшись в дверях с долговязым, худым, болезненного вида немцем, который шарахнулся в сторону, пропуская его.

Немец назвался: Техлер, шестьдесят первый полк пятой танковой дивизии, бывший рабочий авиационного завода, который в августе 44-го разбомбили американцы. После этого был сразу же призван в армию и пять дней назад переброшен сюда, на передовую.

Полковник Зайднер спросил:

— Почему дезертировали?

Техлер вежливым, усталым голосом отозвался:

— Мы пытались сбежать в первый же день. Прошел слух, что вот-вот ожидается ваше наступление, а нам охота уцелеть.

Второй полковник проговорил, не поднимая головы:

— Генерал был прав. Напрасная трата времени. Выставили на опасные передовые позиции таких, как этот, чтобы уберечь от первых ударов ценные части СС. Все, идите.

Техлер медленно, будто нехотя, направился к двери. Проходя мимо горячей печки, провел по ней протянутой рукой. Провожая его взглядом, я не заметила, как в комнату вошел другой. Послышался его голос:

— Макс Макош, седьмой взвод семидесятой роты семьдесят третьей пехотной дивизии. Не верю в идеалы нацистской партии...

— Идеалы оставьте при себе. Где родились и так далее?

— Слушаю. Родом из Польши, город Руда, шахтер, жена ждет ребенка. Мы с русскими не враждуем, это немцы пришли, забрали...

Майор сказал мне:

— Верхняя Силезия. Из тех немцев, что переселились в Польшу, — сплошь нацисты. Этот, конечно, худо-бедно понимает русский и потому чувствует себя уверенно. Чересчур уверенно.

Зайднер спросил:

— Сколько в Руде или под Рудой угольных шахт, какого качества уголь, кто на шахтах начальство — немцы?

Макош надолго задумался.

— Ну да. То есть это там, где я работал; как на других шахтах, не скажу. Немцы сидят в конторе, а кто работает под землей вроде меня, тот особо с ними не якшается, так откуда же ему знать...

Зайднер перегнулся через стол и хлопнул Макоша по правой руке.

— Никакой вы не шахтер. Хватит врать.

Макош прикрыл свои руки фуражкой и кашлянул.

— Почему, бывал и шахтером.

— В Руде есть лагерь для военнопленных, — сказал Зайднер. — Опишите его.

— Мне о нем ничего не известно.

— Когда будет известно, поговорим. А пока...

— С чужих слов что-то знаешь, конечно. Пленные в большинстве поляки, также есть и французы, русские...

— С русскими военнопленными обращение такое же, как с другими?

Макош понизил голос почти до шепота:

— Я слыхал, с ними плохо обращаются. У матери там работает дядя, он рассказывал, русским есть дают вдвое меньше и спят они в жуткой грязи. Мрут, говорил, как мухи, у многих ноги синюшные. Рассказал нам все это, и мы за них помолились.

Второй полковник сидел, скребя по столешнице перочинным ножом. При последних словах он метнул нож в дверной косяк поверх Макошевой головы, подошел, выдернул ножик, что-то зло проговорил по-русски и вышел из комнаты.

Зайднер покосился в мою сторону.

— Не хотите об этом написать? Может быть, у вас есть вопросы?

Я сказала:

— Спросите, как там, в Руде, с евреями?

— У меня, пани, в детстве два дружка были евреи, — сказал Макош. — Хорошие ребята. Но поляки, они — сами знаете. Они евреев не любят, пани...

— Не надо называть меня пани. Я не полька.

Вкрадчивый голос продолжал:

— Я человек верующий. Поэтому врать не стану. Евреев погнали на убой. И от меня евреям помощи не было.

Он опустил голову. Никто не проронил ни слова, и он подвинулся ко мне.

— Да, не было. Я человек маленький, почем мне знать, что там творится за околицей? Я даже не знаю, сколько солдат в полку, а сколько — в бригаде.

Зайднер подался вперед и оттолкнул его от стола. Потом перевел взгляд на бумагу, лежащую перед ним.

— Вы — член нацистской партии с 1931 года. Рассказывали своему приятелю Техлеру, что убили трех русских пленных. — Зайднер встал из-за стола и крикнул: — И сапоги на тебе русские, с тех убитых, с их синюшных ног! Вон отсюда, пока тебя здесь не шлепнули!

Мы пошли к генералу обедать. Полковник уже был там, сидел, ссутулясь, на стуле. Когда ординарец принес еду, он сказал, что генерал занят и присоединиться к нам не сможет. (Впервые за столом был вместе с нами московский майор.) Разговор шел туго, не клеился.

Зайднер сказал мне:

— Первый нацист всегда тяжело достается. Вам надо выпить.

— Как ни печально, мисс Хеллман, — сказал полковник, — мы с вами вынуждены проститься. Знайте, что мы по достоинству оценили ваш приезд. Завтра утром вас доставят на самолете в Москву.

Я сказала:

— Вот как. Я сделала что-то не то?

Московский майор погрозил мне пальцем:

— Никаких вопросов, мадам.

Полковник повернул голову, посмотрел на него и опять отвернулся.

— Мы идем на Варшаву.

Майор всхрапнул, поперхнулся, и полковник, смеясь, продолжал:

— Наступление начинаем через несколько дней и числа шестнадцатого-семнадцатого берем Варшаву, а нет — окружаем и идем дальше. Генерал Жуков говорит, он многому научился на примере вашей Гражданской войны. — Полковник вновь оглянулся на московского майора. — Та гражданская война была в Соединенных Штатах Америки. Не забудьте упомянуть в своем донесении, что я выдал эту тайну мадам Хеллман.

После обеда нам с Раей — думаю, в виде прощального подарка — дали попариться в бане. Внезапно раздался громкий стук в дверь. Старичок банщик, который скромно укрылся в закутке, выглянул оттуда и крикнул, что офицерам придется обождать, пока домоются две женщины. Но Зайднер вызвал Раю на выход. Потом они, не слушая друг друга, объяснялись — Рая доказывала, что не может, потому что голая и мокрая, а он требовал ее сию минуту к себе одетой и сухой, так как должен сделать важное сообщение.

Хороший вид был у нас, когда мы, в первый раз не слыша канонады, поднимались в тесную комнатку генеральского дома, куда каждый вечер приходили обедать, — дрожащие от ночной стужи после жаркой бани, с тюрбаном из полотенца поверх непросохших волос, причем одна — в подпоясанной шарфом американской шинели, обвисшей больше обычного, так как под ней ничего не было. Рая сказала:

— Прямо несчастная вдова при царском режиме — пришла за пенсией в мужниной шинели, чтобы все видели, как она бедствует.

Полковник с перочинным ножом был там, Зайднер тоже, а через несколько минут к ним присоединился и Казакевич. Полковник начал без предисловий: хотя на завтра к восьми утра заказан самолет, генерал хочет поставить меня в известность, что мне не обязательно возвращаться в Москву, а можно вместе с армией идти на Варшаву и проделать с нею весь путь до Берлина, который, скорее всего, даже наверняка, займет месяцев шесть, а то и больше, но итог его предрешен.

Казакевич вставил:

— Так, значит, предрешен?

— Да, безусловно. Будь то пять месяцев или семь, но предрешен. Приходит время, когда армию уже не остановить. И немцам из генерального штаба это известно не хуже нашего.

Рая сказала, возбужденно блестя глазами, но и с тенью некой озабоченности на лице:

— Но нам ведь велено назад в Москву...

— Москва тут ни при чем. Решают генерал и мисс Хеллман.

Казакевич, видя, что я молчу, сказал:

— Вы озябли, сидите с мокрой головой. Идите-ка сейчас ложитесь, а утром, в семь часов, я зайду.

Ложиться не хотелось. Я думала — что бы я ни решила, мне сегодня не заснуть, и завтра тоже, и после — до тех пор, покуда не свалюсь еле живая, а потом буду, как всегда, ненавидеть себя за эту свою способность либо решаться не рассуждая на какие-то действия, либо так же бездумно и бесцельно их избегать; то уступая чьей-то воле или обсто-

ятельствам, то хлопая со злости или со страха дверью, что, в общем-то, один черт. Но в этот раз вышло иначе.

Я мгновенно уснула, проснулась в шесть утра и, вырвав из блокнота листок, написала, что благодарю генерала, буду помнить о его предложении всю жизнь, но не могу набраться духу для такого путешествия — не потому, что опасаюсь за свою жизнь, а потому, что опасаюсь собственной натуры; надеюсь только, что мы с ним дождемся дня, когда я разберусь в самой себе и мне позволено будет в этом случае все объяснить ему.

В семь пришел Казакевич, и я дала ему прочесть свою записку. Он усмехнулся и ушел, а мы стали собираться к отлету. В полдевятого он вновь явился в сопровождении московского майора и принес мне какую-то коробочку. Этот подарок хранится у меня до сих пор — зажигалка, сделанная из пистолетного ствола. На ней корявыми буквами выгравировано по-английски: *«От 1-го Белорусского фронта на добрую память о Вашей поездке, январь 1945 года»*.

Под вечер 17 января мне позвонил русский телефонист с коммутатора в Спасо-Хаусе, буркнул что-то, дал отбой, позвонил еще раз, снова что-то буркнул и наконец объявил:

— Его честь на линии, говорите.

Его честь оказался приятным голосом, который назвался секретарем премьера Сталина[1] и сказал, что из Министерства иностранных дел сообщили о моем желании взять у него интервью. (Министерство, так и не установив, чего хочу я, определенно не забывало, чего хочет оно само.) Я возразила — нет, я ничего подобного не говорила, конечно нет, что вы, ни в коем случае, это было бы слишком...

Голос продолжал:

— В связи с нынешними важными событиями принять вас в названный вами день товарищ Сталин не имеет возможности. Однако, если это вас устроит, мы готовы назначить встречу на 2 или 3 февраля.

Я отвечала, что не могу передать, как благодарна за это лестное, любезное и прочее в том же духе приглашение, но, к сожалению, великому сожалению, буквально на днях уезжаю в Англию работать над документальным фильмом о войне. Голос был, кажется, обрадован известием о моем отъезде, и мы в прочувствованных выражениях обменялись самыми добрыми пожеланиями в адрес наших стран, его и моей.

Мы с русским телефонистом невзлюбили друг друга с самого начала. (Он подслушивал все разговоры, даже на тех языках, которых, по его утверждению, не понимал, не забывая время от времени покашливать в трубку, чтобы напомнить о своем присутствии.) Я вышла в коридор, стараясь угадать, как он поступит. Он одолел уже пол-лестничного марша, спеша доложить о звонке мистеру Гарриману.

Другим его утверждением, столь же лживым, было, что он туг на ухо, и потому я прокричала:

— Знаете, что сказано у Чехова? Сказано — к чертям сильных мира сего!

Я повернула назад к себе, и в этот миг грянул первый орудийный залп, потом второй, десятый, пятидесятый — такого громкого салюта победы я еще не слышала. Я кинулась вниз по лестнице узнать, по какому это поводу, и наткнулась на генерала Дина, который воскликнул:

— Вам сказали правду! Сегодня взяли Варшаву.

Я постояла в коридоре, думая, что тоже могла быть там, и тут же одернула себя — нет, не могла, и нечего себя обманывать, предаваясь подобным сожалениям.

Но мысли о генерале не покидали меня, и, когда русские взяли Берлин, я хотела послать ему телеграмму, но поленилась узнать, каким образом это делается. Хотя он все равно не получил бы ее. Много лет спустя, когда я вновь вернулась в Москву, я попыталась разыскать его. Он был убит на второй день после взятия Варшавы.

---

[1] В 1944 г. Сталин занимал пост Председателя Совета Народных Комиссаров.

XII

Через двадцать два года, на той же неделе октября, что и в первый мой приезд во время войны, самолет пошел на посадку в московском аэропорту. Я погасила сигарету, сняла очки, закрыла книжку и неожиданно для себя обнаружила, что плачу. Все женщины говорят, что редко плачут, я — нет, так как давно убедилась, что слезы настигают меня в самое неподходящее время и при неподходящих свидетелях. Два молодых английских коммивояжера напротив меня глянули и тотчас отвернулись, зато немец, сидящий рядом, уставился на меня с откровенным интересом, а русский по другую сторону прохода покачал головой. Я закрыла глаза, выключая их всех из поля зрения. Что за кусочек такой поддела ложка со дна котелка, казалось бы вычерпанного дочиста?..

Я сказала себе, что, может быть, взволнована предстоящей встречей с Раей, — не так-то просто увидеть старого друга после стольких лет, тем более что женщин время меняет больше, чем мужчин. Но знала, что оплакиваю не Раю, а себя — ту, что могла двадцать два года тому назад лететь четырнадцать дней по Сибири в нетопленом самолете, валяться в спальном мешке на ящиках, зная, что самолет даже по тем временам плохо оснащен; ту, что занемогла в Якутске, не умея объяснить это на незнакомом языке, и решила — будь что будет, поездка стоит того, хотя, когда дело кончилось воспалением легких, я стала считать иначе. Наверное, я плакала об ушедших годах, о женщине, которая была тогда способна переносить тяготы и знает, что больше не способна. Я пожалела, что приехала в Москву.

Хорошенькая толстушка стюардесса завела речитативом, сперва по-русски, потом по-английски:

— А теперь, дамы и господа, наш путь подошел к концу и настала пора проститься. Пожелаю вам всего доброго.

Я засмеялась, и слезы высохли — так я, по крайней мере, думала, покуда, сойдя по длинному наклонному коридору, не увидела у выхода Раю, которая еще не углядела меня. Я прислонилась к стене, обессилев, дожидаясь, когда это пройдет.

Толстушка стюардесса прошла мимо, остановилась и обернулась ко мне со словами:

— Мадам, наш путь подошел к концу, настала пора проститься.

Я сказала:

— Спасибо, но по-английски в таких словах выражают скорбь, вам следует подыскать другие.

Она обиделась:

— Меня учил английскому настоящий англичанин.

У русских это излюбленная фраза — была, во всяком случае, — и я покачала головой, глядя, как ее лицо принимает то же выражение, что и у толстой девочки по имени Марта Джадж, которая лупила меня, бывало, шестилетнюю, в Новом Орлеане, а впрочем — вздор, ну их на фиг, эти воспоминания, сказала я себе и двинулась дальше по коридору.

Напрасно я беспокоилась насчет встречи с Раей. Ей было года двадцать четыре, когда мы виделись в последний раз, — маленькая, как девочка, с милым, добрым лицом, она стала маленькой зрелой женщиной, а в остальном почти не изменилась. Первый муж ее, еще до того, как мы встретились, погиб в рядах знаменитого студенческого ополчения, защищая Москву, когда необученные ребята с одним ружьем на несколько человек вышли преградить немцам путь возле аэропорта. К тому времени как я познакомилась с Раей, ее дочке от этого брака исполнилось четыре годика. (Теперь ей двадцать шесть, и у нее самой уже есть ребенок.) Но о прошлом ни Рая, ни я не заговаривали целых пять дней — разве что вскользь, ненароком, — зато когда уж заговорили, воспоминания обрушились на нас лавиной.

По окончании войны, после того как я в 1945 году уехала из Москвы, мы несколько лет активно переписывались, но потом известия от Раи перестали приходить, и я отчасти относила это за счет присущего славянам обыкновения откладывать все на завтра, отча-

сти же сама ощущала, что между нами встала некая преграда. Сейчас, порываясь объяснить, она запиналась и мялась в нерешительности и наконец сказала, что не знала, как написать о том, что происходит с нею и ее страной в послевоенные сталинские годы, и потому все медлила, а там уж показалось, что возобновлять переписку поздно. Мне, в свою очередь, тоже непросто было подытожить то, что случилось за минувшие годы, я тоже запиналась и мялась, решаясь поведать о временах Маккарти[1], перевернувших мою жизнь вверх дном; непросто было, в ответ на Раин вопрос о ферме в Плезантвилле, рассказывать, как в 1952 году я продала ее, догадываясь, что предстоит нам с Хэмметом в будущем. Я силилась объяснить, почему Хэммет попал в тюрьму, а я — готовая давать показания, но о себе, не о других, — не попала, однако попробуй объясни стороннему человеку все сложности, юридические и личные, — ибо мы с Хэмметом не сходились в убеждениях, — и, видя, что мои усилия тщетны, я сдалась, прибавив лишь, что при желании все это, вероятно, можно было пережить, но поняла я это, только все пережив.

Разговор о тех годах происходил у нас с Раей в ресторане. Ни ей, ни мне не хотелось сказать лишнее, и вскоре обе мы умолкли. Вернувшись под холодным ноябрьским дождем в гостиницу, я заснула, и мне, первый раз за много лет, приснилась ферма в Плезантвилле, орешник снился и плакучий бук, заготовка свинины в ноябре, подснежники по весне, и лютики, и скунсова капустка, когда у нее лиловеют листья, и трогательный ералаш, имя которому весна. Проснулась я к началу увертюры в Большом и отказалась по телефону от билета, так как никуда не хотела трогаться из номера. Сновиденья вернули мне отрезок моего времени, и я должна была провести этот вечер с ним, зная, что, если буду и дальше хоронить тот кусок моей жизни, мне век не избавиться от внезапных слез, как те, в самолете. Будь моя воля, я предпочла бы ворошить прошлое не здесь, в мрачной московской гостинице «Националь», но делать было нечего.

Ночь оставила по себе путаные впечатления. По ощущению у меня поднялась температура, и не исключено, что я слегка опьянела в ту ночь, поскольку вечером официантка принесла мне хлеба, икры и графинчик водки, а к утру графинчик опустел. Периоды тихого, сладостного раздумья не всегда проходили в тишине — то у меня под дверью женщина и мужчина препирались по-французски из-за талонов на питание, выданных «Интуристом», то где-то внизу пели по-немецки, аккомпанируя себе на рояле; у меня в ванной, остывая, громыхали трубы; кроме того, я ухитрилась глубокой ночью опрокинуть большую фарфоровую фигуру греческого Дискобола и ползала по всему полу, ища его отколотую руку, после чего пошла мыть себе голову, поскользнулась и стукнулась плечом о ванну, заработав синяк.

От выкуренных сигарет, а также, полагаю, от выпитой водки воспоминания множились. Неплохие большей частью воспоминания, которые, сколько я могла судить, не слишком растравляли мне душу, — просто я знала, что однажды взяла и выкинула куда-то целый пласт своей жизни, с твердым намерением когда-нибудь за ним наведаться, и вот, когда пришло это время, не могу вспомнить, где он остался лежать. Интересно, другие тоже так поступают — бросают свое прошлое где-нибудь на автомобильной свалке так надолго, что не припомнят даже, какая туда ведет дорога?

В моем случае это, по-видимому, была дорога, ведущая на озеро в Плезантвилле. Сначала, правда, мне только вспомнился тот день, когда я шла по ней в последний раз. Когда уехали фургоны по перевозке мебели, я пошла к озеру, вспомнив, что у нас там привязаны к дереву два силка для ловли черепах. Сняла силки, потом задумалась, как объяснить на складе, что их надо сохранить в целости на будущее. От силков ниточка памяти потянулась к первым каймановым черепахам, которые попались нам с Хэмметом, к вечерам, проведенным за чтением литературы о том, как изготовить силок, как убивать и разделывать черепах, как варить из них суп, а суп напомнил, как мы делали домашнюю колбасу, коптили окорока, как высаживали тысячу двенадцатидюймовых

---

[1] Джозеф Маккарти (1908—1957) — сенатор, в 1952 г. возглавлял комиссию по расследованию антиамериканской деятельности.

сосенок — наверное, на этом месте поднялась теперь рощица, как обнаружили бобровую плотину, как, в подражание американским индейцам, задумали сварить на обед лютиков и скунсовой капусты, от которых все, кроме меня, маялись после животами; как я засиживалась допоздна за работой — четыре пьесы написала на ферме и не то четыре, не то пять киносценариев, — а на ранней летней зорьке, неизменно в сопровождении собаки (бывало, что и четырех), уже бежала на озеро купаться, воображая, что я — кто-то иной, в ином краю, ином столетии. И снова память возвращала меня к тому последнему дню — я понесла силки обратно в дом, забыв, пока не поравнялась с придорожным питомником деревьев, что дом мне больше не принадлежит. Тут я остановилась поглядеть на сотню саженцев французской сирени, на розовые кусты, ожидающие места для пересадки, которого им теперь не дождаться, на целых два акра декоративного аспарагуса — и, стоя у дороги в этот майский день 1952 года, наконец-то поняла, что худородной и прекрасной этой земле никогда уже не бывать моей. Сейчас, сидя в московском гостиничном номере, я не жалела, что она потеряна, — жалела только, что причиной потери стали времена Джозефа Маккарти, гонения на Хэммета, вызов меня на комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, голливудский черный список. Другого такого места нет и быть не может, потому что ведь и я не могу стать снова той женщиной, что способна была работать с семи утра до двух-трех часов ночи и вставать наутро свежей, с жадной готовностью встретить новый день.

Из дневника

1966 г.

Сегодня, проделав долгий путь из-за города, ко мне приезжала Таня. Резкие черты молодого хмурого лица ее теперь прелестно округлились, незабываемый смех остался таким же заразительным. В молодости у Тани был знакомый — славный, но ничего особенного, как ей казалось, пока судьба не свела их вновь в 1955 году, когда он только что вернулся из Сибири, отсидев десять лет в лагере. Со своим вечно пьяным первым мужем она развелась, зато жизнью с Алексом не может нахвалиться. И так как ей он ужасно нравится, то хорошо бы понравился и мне. Мы решили, что вместе пообедаем. Оказалось, он возглавляет у себя в провинции художественное училище и, по отзывам, серьезный ученый, мне он пришелся по душе с первого взгляда. (Всегда приятно встретить интеллигента, который смахивает внешне на деревенского мужика, а не привычного красивенького хлюпика или же, что еще привычнее, — тошнотворного тихоню.) За несколько дней я обнаружила, что в кругу московских знакомых Алекс известен как святая душа, человек, который снимет и отдаст первому встречному рубашку и которому, как выразился один его приятель, «слишком противно бояться». Мы с Алексом отлично ладили, хотя и поспорили в последний вечер — из-за немцев. Я не понимала, как может вступаться за немцев еврей, который воевал, прошел с русской армией весь путь до Берлина, — я вполне могла бы зайти слишком далеко в этом споре, но мимо нашего столика в ресторане как раз проходил его знакомый, и Алекс поднялся с ним поговорить. Сосед по столику скороговоркой объяснил мне в это время, что Алекса пожизненно упекли в сибирские лагеря за то, что он осуждал поведение русских войск в Германии. Когда Алекс сел на место, он уже знал, по-моему, что кто-то мне рассказал его историю. Он мягко заметил, что мои предки, насколько ему известно, — выходцы из Германии и, возможно, поэтому я так непримиримо настроена по отношению к немцам. Не знаю, сказала я, возможно, но Гарриман, в бытность свою послом, рассказывал, что Рузвельт обратился через него к Сталину с призывом, чтобы всем союзным войскам по вступлении на немецкую землю было приказано вести себя сдержанно и пристойно. Сталин в ответ рассмеялся и сказал, что приказать-то он своим прикажет, но сомнительно, чтобы солдат, которые столько лет воевали, можно было удержать от насилия и грабежа. Однако Ста-

лин — не тот человек, на которого принято нынче ссылаться, и Таня с Алексом и их друзья отозвались на эти слова молчанием. <...>

Сегодня мы с Фридой Лурье, должностной дамой из Союза писателей, были в обшарпанном, старом здании, долго карабкались по лестнице и очутились в комнате, где сидели и работали за столами десятка два женщин, и в их числе — сухонькая особа, которой мы сказали, что явились получить мой авторский гонорар. (Не за постановку пьес в театре, хотя почему — не знаю, а за издание пьес.) Когда мы придем и зачем, особа знала за неделю, но первые минуты делала вид, что ни мое имя, ни название книжки ей ничего не говорят. Потом выдала мне десять пачек рублей, и я засунула их в бумажный пакет, где у меня лежали какие-то игрушки и баночка икры. Особа сердито ткнула пальцем в пакет и заявила Фриде, что это непорядок — до того, как расписаться в ведомости, рубли полагается пересчитать. Я сказала, что пересчитывать не собираюсь, я не люблю считать деньги, у меня это плохо получается. На что сухонькая особа возразила, что это правило, обязательное для всех. А я ей — для всех, но не для меня, и гроза уже казалась неминуемой, когда я попросила:

— Передайте ей, я люблю то, что можно купить на деньги, а держать их в руках не люблю и не буду, и это весь мой сказ.

Она, как видно, понимала английский, потому что вдруг улыбнулась, кивнула и протянула мне для подписи нужные бумаги. По пути обратно я спрашивала себя, чего ради я так уперлась и откуда пошла эта нелюбовь считать деньги, не с воскресных ли обедов у бабушки, где обо всем говорилось в точном пересчете на доллары: ковер куплен за две тысячи четыреста три доллара семьдесят пять центов, у шофера за поездку в двести две мили ушло на четыре доллара тридцать два цента бензина, — или, может, она возникла гораздо позже, на премьере «Там, за лесами», когда мой отец все время, пока шел спектакль, пересчитывал хрустящие купюры, сбивая актеров и вызывая у сидящих рядом сердитое шиканье. Никогда раньше отец, которого мало занимали деньги, не делал ничего подобного, хотя уже не первый месяц вел себя странно, заговаривался. На вечере после премьеры я не могла скрыть своего возмущения, и тогда психоаналитик Грегори Зильбург сказал мне:

— У вашего отца старческое слабоумие. Знайте это и не откладывая примите меры.

Потрясение, вызванное этой фразой, не рассеялось по сей день, хотя с тех пор прошло двадцать лет, — но все-таки я еще целых полгода ничего не предпринимала, вплоть до того ужасающего срыва, когда отец попал в больницу. За то, что его держат в больнице, он винил меня, и таким образом я потеряла отца, который за два года до смерти потерял рассудок.

Через несколько дней, обедая снова с Таней в обществе ее знакомых, я услыхала от одной из них, что сухонькую даму, которая доводится ей родственницей, позабавил мой отказ пересчитать выданный мне гонорар. Она сказала, что с моей стороны очень по-русски не придавать значения деньгам. Я возразила, что как раз придаю деньгам значение, и еще какое, потому и притворяюсь, будто не придаю, — потому-то, быть может, меня всегда так привлекали русские, небережливые, нерасчетливые, готовые все отдать и всем поделиться без мелкобуржуазной оглядки на то, кому кто сколько должен. Меня выслушали с удовольствием, но убеждали, что щедрость русской души никоим образом не связана с теорией социализма, что русские такие искони — возможно, оттого, что Россия перешагнула через ступень буржуазной революции, а возможно, оттого, что так велика была бедность, и даже религия, пожалуй, сыграла тут свою роль, — все это мы обсуждали на разные лады и добрались наконец до «Бесов» Достоевского, из-за которых разгорелся спор, так как мне книга очень нравится, а им, как выяснилось, — меньше. К этому времени каждым из нас было порядком выпито, и вечер, естественно, завершился тем, что кто-то долго, долго, долго читал вслух Пушкина. Этим же запомнились мне и

многие вечера времен войны — кто-нибудь обязательно читал вслух Пушкина, долго, долго, долго.

В 1945 году я познакомилась с молодым капитаном, который вернулся с фронта после тяжелого ранения в ногу и только что выписался из госпиталя. Было тогда капитану К. лет двадцать пять, война помешала ему получить ученую степень. Он писал диссертацию о современном американском романе и собирался поработать над ней во время отпуска по ранению. Мы много говорили в те дни: Хемингуэй был представлен в советских изданиях не лучшим образом, тем не менее капитан жаждал узнать о нем как можно больше. Я изо всех сил старалась заинтересовать его Фолкнером и Фицджеральдом, о которых он слышал, но знать ничего не знал. А о том, чего русские не знают, они склонны судить категорически, и капитан так и не расстался с убеждением, что этим двум до Хемингуэя далеко.

Теперь, во время нынешней поездки, я многих спрашивала о капитане К., но никому о его судьбе ничего не было известно. В конце первой недели он сам позвонил мне из вестибюля гостиницы. Я отворила дверь человеку, которого никогда бы не узнала: лицо его раздалось и провалилось в складки, ржаные волосы стали темно-рыжими, изменилась и манера держаться — прежде живой, открытый, он сделался так замкнут и молчалив, что, ничего не ответив на мое приветствие, прошел мимо меня прямо к столу и сел. Десять минут я была вынуждена заполнять время болтовней — я ненавижу себя за этим занятием и начинаю в конце концов тихо ненавидеть того, кто меня к нему вынуждает, — пока он не заговорил:

— Я рад вас видеть, Лилечка. Дождя больше нет. Не пойти ли нам прогуляться?

Мы шли в молчании, прошли старое здание университета. Вдруг он остановился, повернулся, пошел назад к университету и стал во дворике, глядя на здание.

— Столько лет не видел его, — сказал он. — Я больше не бываю в этом районе. Последний раз спускался по этой лестнице с большой сумкой, нес в ней диссертацию. Я уезжал в тот вечер на фронт. Думал, что там, на фронте, у меня будет время долгими вечерами дописать мою работу.

Я сказала:

— Это та диссертация об американском романе, о которой вы тогда рассказывали?

— Да, — сказал он, — только, когда мы с вами познакомились, я давно ее потерял. Не хотелось вам это говорить. В тот раз, у заминированного ограждения, меня не ранило, только отбросило далеко, но диссертация погибла. Меня в армии так и звали: «товарищ Диссертация», а после — «капитан Диссертация». Нет, я не стал ее восстанавливать.

— Он надолго замолчал. — А вы были совершенно правы. Фолкнер и правда замечательный писатель, один из лучших. У вас какие-нибудь его книги есть с собой?

Я отвечала, что нет, но я пришлю ему книги Фолкнера.

Он сказал:

— Расскажите мне про его книгу «Святилище».

Я не умею рассказывать содержание романов, я думала, ему просто нужна оценка — хорошая книга, плохая,— но нет, он имел в виду персонажей, фабулу. А «Святилище» — книга сложная, и нелепо как-то, казалось, рисовать образ Лупоглазого в промозглый московский денек, когда для меня Лупоглазый — это сам Юг, каким я его знаю, с лианами и листьями бегонии, с тяжким дыханием болот и бородатым мхом, родной и страшноватый край, поэтому я предпочла рассказать о том, что было, когда мы с Хэмметом в начале 30-х годов впервые вместе приехали в Нью-Йорк. По-моему, мы тогда только что познакомились с Фолкнером, и все то время, пока он оставался в Нью-Йорке, ежедневно встречались втроем, иногда под вечер, иногда ближе к ночи, обычно на квартире у Дэша, и за бутылкой спорили о книгах до утра, когда я засыпала или отключалась, а они либо завтракали, либо приступали к новой бутылке. Я говорила капитану, что Фолкнер, переживая тогда период недовольства «Святилищем», — говорят, этот период затянулся у него

на всю жизнь, — утверждал, будто эта вещь — халтура и писал он ее только ради денег. Хэммет на это раздражался и отвечал, что умышленно никто халтуру не пишет, ты просто работаешь, как умеешь, а наутро глядишь, что получилось — путное что-нибудь или брак. Споры на эту тему завязывались обычно к тому моменту, когда оба уже так напивались, что не слушали друг друга и говорили в два голоса или же обращаясь ко мне или в пространство. Капитан сказал, что он не ахти какой дока по части выпивки, так как молодости по-настоящему не знал, — а что, я до сих пор много пью? Нет, сказала я, уже меньше, силы не те, хотя как раз сейчас не отказалась бы выпить, поскольку заморосил холодный дождь. Мы побрели, ища куда бы зайти посидеть, и, когда отыскалось такое место, я сообразила, что мы находимся где-то возле Арбата. Район сильно изменился со времен войны, когда я жила здесь в Спасо-Хаусе. Спасо, принадлежавший прежде миллионеру-сахарозаводчику, никогда не отличался благолепием и для посольских хором выглядел довольно-таки запущенным, но сейчас, добротно отделанный, прифрантился и повеселел. Здесь, рядом с ним, мне вспомнились все эти обеды, порой в приятной, почти домашней обстановке: Гарриман с дочерью, кто-нибудь из иностранных дипломатов, живущих в том же доме; порой — в беспричинно тягостной, когда сидящие за столом истомились от здешней жизни и ждут любого повода встряхнуться, пусть это всего-навсего известие, что мною обнаружен на кухне свежий лук. Вспомнилась вздорная собачонка из соседней комнаты и знаменитая балерина, которая бывала в этом доме и, куда бы ни садилась, непременно оказывалась сидящей лицом к зеркалу и не сводила с него глаз; вспомнилось, как я сливала из посольской машины бензин, чтобы протирать себе голову, как без конца шлепалась наземь во дворе, пытаясь научиться ходить в высоких плоскостопных валенках, и как Прокофьев уговаривал меня уйти с камерного концерта, потому что не любил, когда музыку «исполняют», — и сто других лиц и голосов из уже далекого прошлого. <...>

Через несколько дней капитан К. постучался утром ко мне в дверь. Опять прошел прямо к столу, взял какой-то журнал и, не заговаривая со мной, углубился в него на некоторое время. (Мне нравятся люди, которые не начинают разговор, покуда не готовы к нему.) Я вновь взялась за прерванное чтение «Мастерового» Маламуда.

Примерно через час я сказала, что должна пойти пообедать. Он тут же схватил «Мастерового» и спросил, нельзя ли ему посидеть и почитать здесь в мое отсутствие. Когда я пришла назад, уже под вечер, он успел прочесть книгу и лежал на диване, подложив под правую ногу две подушки. Предполагалось, что я этого не увижу, так как он сразу вскочил и торопливо положил подушки на место.

— Я сегодня пришел, — заговорил он, — сказать вам кое-что об Эйзенштейне. После его кончины мы обнаружили шкатулочку с дарственной надписью от него к вам. Я все хотел послать ее вам по почте. Но как-то не собрался, а теперь не могу ее найти.

— Эх вы, — сказала я.

— Кто это — «эх вы»?

— Славяне, — сказала я. — Я бы хотела иметь что-нибудь на память от Эйзенштейна. Наверняка вы это знали.

В 1944 году, когда я прилетела сюда, Эйзенштейн встречал меня в аэропорту, и после, в те месяцы, которые я провела в Москве, мы с ним виделись три-четыре раза в неделю. Часто гуляли в предвечерних сумерках, и поначалу я приглашала его зайти в Спасо-Хаус выпить чашку чая, но он лишь улыбался, и мы прощались. Наконец, возможно, оттого, что я не задавала вопросов, он признался, что для него небезопасно заходить к нам в посольство. (В конце концов он пришел все-таки — на мой прощальный вечер, но это был единственный раз, и потом, кроме него, пришло еще столько русских, что он решил, вероятно, что риск невелик.) В ту пору, зимой 1944-го, Эйзенштейн монтировал первую часть «Ивана Грозного», рассказывал мне о картине, о других своих фильмах, о годах юности в Прибалтике, о том, как занимался изучением человеческого глаза, о не-

мецкой литературе и английской поэзии, о музыке. Иногда мы с ним ходили на репетиции «Лисичек» или «Стражи на Рейне». Он забавлялся, слушая мои ворчливые замечания, и делал только хуже, переводя их актерам и режиссеру. Был случай, когда актриса, занятая в «Страже на Рейне», расплакалась в ответ на мое возражение против красивостей, которыми она уснащает свою роль. Эйзенштейн спросил:

— Что ей сказать? Я с ней работал много раз — либо вы зарыдаете с ней на пару, либо скажете какую-нибудь лестную глупость ей в утешение, иначе эти слезы — на весь вечер.

Я сказала:

— Рыдать с ней на пару у меня нет охоты, так что скажите, что она великолепна, и скорей уходим отсюда.

Он перевел:

— Мисс Хеллман просит передать, что вы великолепны, в надежде, что мы поскорей уйдем отсюда.

Эйзенштейн — едва ли не самая выдающаяся и блестящая личность из всех, с кем мне приводилось встречаться, и едва ли не лучший собеседник. Ни он, ни я никогда не заговаривали о себе — он, правда, как-то раз спросил, женаты ли мы с Хэмметом, и затем прибавил несколько общих слов о своей жене. (От других я слышала, что она ему вовсе не жена и женой никогда не была, а была и есть его верный друг и домоправительница, хотя иные из его знакомых отказывали ей даже в этом.) Публиковать в печати сведения о чьей-либо личной жизни считается в России политическим и общественным прегрешением. Каково происхождение этого табу — не знаю, но оно сохраняло свою силу и применительно к жизни Сталина — стоит вспомнить, что, пока взорам западного мира не явилась Светлана Аллилуева, никто не знал, сколько раз он был женат, какой ребенок от которой из его дам и что с дамами сталось, — как сохраняет ее и поныне, идет ли речь об обитателях Кремля, о поэте или ученом. Что, в общем-то, странно, поскольку между собой русские судачат точно так же, как люди по всему свету, с той только разницей, что знают друг про друга больше, чем, скажем, мои немногочисленные соседи на островке Мартас-Виньярд. Эйзенштейн был в те дни, когда мы познакомились, одновременно и в милости, и в опале у правительства; в милости — настолько, чтобы снимать большую, дорогостоящую картину, в опале — чтобы волноваться о том, с кем ему видеться, где бывать и какая судьба ждет его работу. Впрочем, для интеллигенции, даже принадлежащей к более молодому поколению, он оставался грандиозной фигурой — и стал еще более грандиозной теперь, после недавнего выхода в свет собрания его сочинений, — но пересудов о его частной жизни я не слышала нигде, хоть и всегда ощущала, как осторожно люди выбирают выражения, когда о нем заходит разговор.

Однажды в 1945 году, за несколько недель до моего отъезда из Москвы, Эйзенштейн позвонил сказать, что завершил работу над черновым вариантом «Ивана» и устраивает для немногих приглашенных просмотр картины на квартире у одного своего друга. Назавтра мы с Авереллом и Кэти Гарриманами пришли в единственную квартиру-люкс, какую я видела в Москве. Будуарная обстановка, масса антикварных безделушек, цветные шали, резная мебель. У рояля, словно позируя для картины «Пикник зимой», расположились, томно жуя бутерброды, шесть или семь молодых людей. Четверо мужчин постарше, с подобострастием слуг в присутствии принцев крови, оказывали им знаки внимания, то угощая конфетами, то поднося зажигалку к сигарете. «Иван» оказался помпезной, скучной лентой — я думаю, Эйзенштейн уже это знал, — и от вечера остался неприятный осадок.

Я сказала капитану:

— Он произвел на меня грустное впечатление, тот вечер. Великий человек — и этот неудачный фильм, смазливые мальчики... — совсем забыв, что капитан понятия не имеет, о каком вечере идет речь. — Я написала Эйзенштейну, когда приехала домой. Писала несколько раз, но ответа не было. Потом получила телеграмму: «Я болен. Пришлите авиа-

почтой тринадцать детективных романов на счастье». Я поняла, что это шутка, но тринадцать романов все-таки послала. Задолго до того, как Сергей мог их получить, я узнала из газет, что он скончался. Своеобразная шуточка для больного человека, вам не кажется?

Капитан поднял на меня глаза.

— Это не шутка. Просьба была вполне серьезной.

— Вы смеетесь. Как такое возможно?

— Эйзенштейн был крайне суеверен — до такой степени, что до конца жизни не разговаривал со старым другом, который счел забавным, что он способен сокрушаться из-за соли, просыпанной за столом. От вас он, может быть, это скрывал, так как вы — человек западный. А теперь расскажите о писателе Нормане Мейлере.

Я собиралась возразить, что рассказывать о книгах и их авторах — это не по моей части, но капитан внезапно изменился в лице, нагнулся, потер себе правое колено и, отвернувшись от меня, быстро сделал несколько приседаний. И я сказала, что знаю Мейлера много лет, очень высокого мнения о книге «Нагие и мертвые», но о других его романах — не очень, а вот сейчас восхищена его сборником «Людоеды и христиане». Невозможно было, да и не время, пускаться в исследование наших с Норманом отношений, этих качаний от приязни до злых издевок, но я постаралась объяснить — самой себе, как выяснилось, тоже, — что «Людоеды и христиане» показывают, насколько Норман вырос как человек. Если я не сумела прежде оценить это должным образом, в том не только моя вина: росту Мейлера сопутствовало столько сумасбродства, точным попаданиям — столько бесцельных блужданий, все доброе в нем так глубоко запрятано под личиной самого отпетого типа с нехорошей улицы в дурном квартале, Гарвард, выпуск 1943 года... Но внятно изложить все это было слишком трудно.

И я сказала другое:

— Мейлер — замечательный писатель, прирожденный, первостатейный, который транжирил время на роль знаменитости, но впредь, возможно, не станет. Как знать. Актеры — народ непредсказуемый, а Норман — актер.

— Мне Мейлер очень нравится, — сказал капитан, — отважный человек, я считаю. А имя писателя Смирнова вам знакомо?

Я покачала головой.

— Вы слышали об осаде Бреста?

Я кивнула.

— Русский гарнизон держался против немцев, пока его почти весь не перебили. Тех, кто остался в живых, тяжело раненных, взяли в плен. Потом — годы в немецком концлагере, ад. Не многие дожили до окончания войны. Двинулись домой. И ни один из них до дома не дошел. Никто! Смирнов, писатель и историк Смирнов, задумал написать о Брестской крепости, он начинает собирать материал. Куда девались солдаты, которые держали оборону? Никто не знает. И Смирнов ставит себе задачу — выяснить. Выясняет: из немецкого лагеря они попали прямым сообщением за Урал, в советские лагеря. Этот Смирнов — он герой, но не такой, как на войне, когда у вас нет другого выбора. Он начинает бороться в одиночку. Доходит до Кремля, стучится в одну дверь, стучится в другую, изо дня в день, из месяца в месяц, утром, вечером... И побеждает. Я возвращаюсь назад. Другие тоже. — Он засмеялся. — Теперь бедняга Смирнов — знаменитость, нечто вроде верховного судьи или жреца в старину, и ему не дают покоя. Народ пишет отовсюду: у кого пала корова, у кого учитель пьяница — замолвите словечко в Кремле.

Я спросила:

— Но за что? Какова была официальная причина?

— Сталин, старый псих, рассуждал так: раз попал в плен, значит, мог перейти к ним добровольно, выдать им военную тайну... Ну, как вам история о Смирнове — хороша?

Я сказала:

— Вы все еще пишете?

— Нет, я теперь работаю фармацевтом. В лагере выучился.

— Женаты?

— Был, шесть лет. Потом жена ушла к администратору из ялтинской гостиницы. В прошлом году прислала открытку с видом чеховского дома, звала приехать посмотреть.

— Вы еще женитесь.

Он покачал головой:

— Нет. Я изверился. Один раз так обжегся, что другой уже не рискну. — Он встал. Теперь было заметно, как сильно он хромает. — Я тут принес список поэтов. Рад был бы, если бы вы могли прислать мне их книги. Не тринадцать, как Эйзенштейну. Всего четыре.

В списке значились: Уоллес Стивенс, Оден, Уильям Карлос Уильямс[1] и некто Джеймс Сенит. Через несколько недель, в Лондоне, я шла покупать капитану книги и вдруг спохватилась, что не знаю, какой у него адрес, и узнать это неоткуда.

■

[1] Уоллес Стивенс (1879—1955) — американский поэт и теоретик поэзии; Уистен Оден (1907—1973) — знаменитый английский поэт, с 1939 г. жил в США; Уильям Карлос Уильямс (1883—1963) — американский прозаик и поэт.

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

БЕЗ ЯЗЫКА

Эзра Паунд

1

С конца XIX века Запад бредил Ренессансом. Западная мысль металась в поисках нового религиозного основания для цивилизации. В это полное трагических предчувствий время родился культ Возрождения. Его понимали как эпоху, сумевшую — впервые! — объединить рациональный расчет со сверхчувственным порывом, перспективу с мистикой, икону с картиной, науку с верой, Афины с Иерусалимом. Художник Возрождения пробивался к Богу не в обход разума, а вместе с ним. Ренессанс вместил цветущее разнообразие своей жизни в христианский миф, дававший всякой частности универсальное, космическое содержание. Оградив мир одной рамой, Ренессанс создал ту органическую целостность, по которой тосковал XX век. Найти новый миф, способный одухотворить прогресс (по Бердяеву, трагедия нашего времени — судьба человека, победившего природу лишь для того, чтобы стать рабом машины) и срастить распавшийся мир в новое единство, — генеральный проект модернистов, ради реализации которого они были готовы на многое.

Эзру Паунда ренессансный мираж завел в сумасшедший дом, спасший его от электрического стула. Паунд поверил Муссолини, который любил повторять, что «в Италии мы практикуем рождение трагедии». Американский поэт увидел в фашистском диктаторе того просвещенного тирана, о котором писал кумир модернистской эпохи, учитель Ницше и герой Гессе Якоб Буркхардт. В прославленной книге «Культура Италии в эпоху Возрождения» Буркхардт писал: «Монументально настроенный, жаждущий славы итальянский тиран нуждался в таланте как таковом». Государство у Буркхардта называлось «произведением искусства», и судить его следовало по законам эстетики, а не международного права. Так критерий истины отбирался у толпы и становился достоянием элиты, экспертов, знатоков, ценителей.

Для художника искушение всякого тоталитаризма в том, что, обещая синтез политической жизни с духовной, режим удовлетворяет тягу искусства к целостной картине мира. Не понятые и не принятые демократией модернисты тянулись либо к фашизму, либо к коммунизму в надежде, что сильная власть позволит им осуществить их собственную эстетическую программу.

Во время войны Паунд выступал по вещавшему на Америку римскому радио. В передачах он часто читал свои «Cantos». В этих случаях и итальянские цензоры, и американские контрразведчики подозревали в непонятных текстах шифрованные сообщения. Когда в 1978 году американцы наконец выпустили записи всех программ Паунда, то среди них нашлись и выступления на более актуальные темы. Паунд объяснял войну происками еврейских ростовщиков, которыми руководил главный «жидоянки» Франклин Делано Рузвельт. Судя по скриптам, эти передачи были невразумительными. Патологический антисемитизм, который Паунд согласился в старости признать своей главной ошибкой, делал его аргументацию невнятной.

В мае 1945 года Паунда арестовали и обвинили в предательстве. Врачи признали его невменяемым, и Паунда поместили в вашингтонскую психиатрическую клинику св. Елизаветы, где он провел тринадцать лет. Это не помешало ему в 1948 году получить высшую в англоязычным мире Болингенскую премию[1] (в

[1] «Держать поэта, каких бы убеждений он ни был, в сумасшедшем доме — это ни в какие ворота не лезет. Оден говорил, что, если великий поэт совершил преступление, поступать, видимо, следует так: сначала дать ему премию, потом — повесить». *С. Волков*. Разговоры с Иосифом Бродским. Нью-Йорк, 1997, с. 210.

© А. Генис, 1999

жюри входили У. Оден, Т. С. Элиот, Р. Лоуэлл, Р. П. Уоррен и другие). Приз достался Паунду за «Пизанские cantos», написанные летом и осенью 1945 года в лагере для преступников возле Пизы, где соотечественники держали Паунда в клетке без крыши. В 1958 году благодаря усилиям известных американских поэтов и писателей Паунда вызволили из больницы. После чего он немедленно и навсегда уехал в Венецию. Прощаясь с родиной, Паунд отдал ей на глазах фотографа из «Нью-Йорк таймс» фашистский салют.

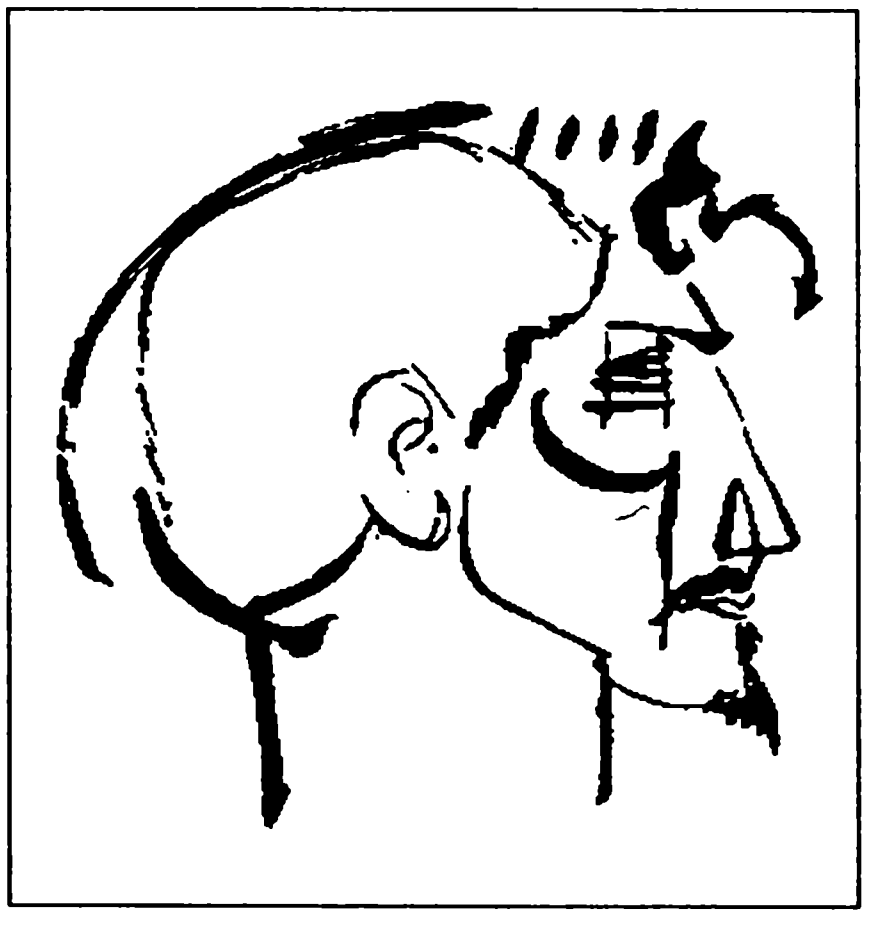


Рисунок Анри Годье-Бжеска

2

Эзра Паунд, оставивший 300 тысяч писем, был самым энергичным из апостолов Нового Ренессанса. Он верил, что в нашем веке Афины вновь встретятся с Иерусалимом, если в эту реакцию вступит катализатор — Восток. Сохранивший архаическую ментальность, он служил источником метафизических представлений. Здесь добывались образцы для реконструкции искусства и жизни. В походе на Восток поэзии выпадала задача исторического масштаба. Стихи — рычаг утопии. В них ключ к шифру, отмыкающему врата «земного рая», в который истово верил Паунд и который он стремился не описать, а воплотить в эпосе нового человечества — в «Cantos». По Паунду, поэт — «антенна расы». Он первым принимает энергетические импульсы грядущего и передает их всем. Чтобы мы смогли принять судьбоносные послания, поэты должны «очистить диалект племени» (Т. С. Элиот). Выполнение теургического и потому созвучного XX веку плана следовало начать с перестройки «дома человека» (Хайдеггер) — с языка.

В этом Паунду помог труд его предшественника, американского востоковеда Эрнеста Фенеллозы, чей архив вдова ученого в 1913 году передала молодому поэту. Страстный любитель восточного искусства, Фенеллоза сформулировал поэтическую и геополитическую концепцию единого мира, рожденного от «брака Запада с Востоком». Пафос этой по-американски прагматической и оптимистической идеи заключался в объединении западной научно-технической мощи с восточным «эстетическим инстинктом и опытом духовного созерцания». Этот союз обещал синтез прогресса и религии, тела и духа, богатства и красоты, агрессивного мужского и восприимчивого женского начал. Фенеллоза мечтал о Ренессансе, способном спасти Запад от упадка культуры, а Восток — от упадка цивилизации. Япония и Китай были для него новыми Римом и Грецией. Он верил, что Запад сумеет, как это было в эпоху Возрождения, включить в себя забытые и неизвестные дары иной культуры, что приведет мир к новому Ренессансу[1].

Паунд до смерти не расставался с бумагами Фенеллозы. Из них он извлек сборник пьес театра Но, собрание изречений Конфуция, сборник переложений китайской классической поэзии «Катай», а главное — трактат «Китайские иероглифы как поэтический источник», который Принстонская энциклопедия поэзии назвала «важнейшей Ars poetica XX века». В нем Фенеллоза утверждал, что китайский язык бессознательно делает то, к чему сознательно стремится всякий поэт: возвращает вещам их эстетическую природу — живую свежесть и красоту. Иероглифы делают китайский языком видимой этимологии. Облаченное в прозрачную графическую форму слово хранит наглядную память о своем происхождении. Каждый иероглиф — застывшая в веках метафора[2].

Китайская легенда приписывает изобретение иероглифов ученому министру Желтого императора. Мудрец придумал их, глядя на следы зверей и отпечатки птичьих лапок. Предание подчеркивает: иероглиф — не знак вещи, а ее след; условность его не безгранична — ведь след нельзя изобрести. Иероглиф — отпечаток природы в культуре, а значит — нечто принад-

---

[1] Вторя Фенеллозе, Паунд пишет в статье «Ренессанс»: «Наш век найдет себе новую Грецию в старом Китае». *E. Pound.* The Renassance. In — «Literary Essays of Ezra Pound». N.Y., 1968, p. 215.

[2] «Структуры языка и мышления созданы нашими предками из собрания метафор. Но сегодня ради быстроты и точности мы определили каждому слову максимально узкое значение. Вот почему природа все меньше напоминает рай и все больше фабрику. [...] Язык, достигший последней стадии упадка, забальзамирован в словаре». *Э. Фенеллоза.* Китайские иероглифы как поэтический источник (*Fenellosa*, E. The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. San Francisco, 1991, p. 24).

лежащее им обеим. Сохраняя связь с породившей его вещью, он стоит ближе не к рисунку, а к фотоснимку.

Иероглиф — место встречи говорящего с немым, одушевленного с неодушевленным, сознательного с бессознательным. Соединяя нас с бессловесным окружающим, он дает высказаться тому, что лишено голоса[1].

Составленные из иероглифов стихи лишены лирического произвола, который нагружает вещь нашим к ней отношением. Они могут показать вещь такой, какая она есть, в том числе и тогда, когда мы ее не видим. Не смешанная с нашим сознанием, вещь остается сама собой.

Стихотворение по-китайски — это череда непереведенных на наш язык «вещей в себе». Идя по оставленному ими следу, читатель становится следопытом. Узор отпечатков — сюжет стихотворения, который автор нам не рассказывает, а показывает, вернее — указывает на вехи, которые помогут его сложить. Чтобы понять, куда шел поэт, читатели должны следовать за ним, делая остановки там же, где и он. Каждая вещь, у которой задержался автор, требует к себе углубленного, созерцательного, медитативного внимания. Ведь мы должны понять, о чем она говорила автору, помня при этом, что он услышал лишь часть сказанного.

Стихи-иероглифы — ребус без отгадки. Ключ к шифру не у автора, а там, где он взял вещи для своего стихотворения: в мире, окружающем и нас и его. Искусство поэта — в отборе, в умении так вычесть лишнее, чтобы вещи не заглушали друг друга. Предельная краткость, максимальная конденсация текста здесь не стилистический, а конструктивный прием. Это не лаконизм западного афоризма, сводящий к немногим словам то, что можно было бы сказать многими. Это самодостаточность японских танка и хокку, которые не представляют мир, а составляют его заново. Максимально сужая перспективу, они делают реальность доступной обозрению и мгновенному вневербальному постижению. В сущности, это стихи, научившиеся обходиться без языка.

3

В 1910-е годы в Англии сложился кружок молодых поэтов, назвавших себя имажистами. Решающее влияние на них оказали японские трехстишия. Интерпретируя на западный лад поэтику хокку, они сформулировали собственные принципы: бескомпромиссная, исключающая необязательные слова краткость, свободный, не связанный традиционной метрикой стих, кристальная точность образа. Главным в новой поэзии стало отношение к вещам. Примкнувший к имажистам Паунд требовал, чтобы современная поэзия перешла с концепций на предметные аналогии, сделала метафору вещью, чтобы поэт «не смешивал абстрактное с конкретным, ибо природный объект — всегда адекватный символ»[1].

Стихи имажистов напоминали «вертикальный монтаж» Эйзенштейна, разработанный под тем же восточным влиянием. (Знавший около трехсот иероглифов Эйзенштейн часто обращался к их примеру в своих теоретических работах.) Паунд называл такой метод «super-pository», «сверхпозиционным»: точное, мгновенно схватывающее и раскрывающее ситуацию описание плюс автономный, внешне независимый образ, соединенный с темой стихотворения непрямой, ассоциативной связью[2]:

Веер белого шелка,
чистого, как на травинке иней, —
тебя тоже забыли.

●

Холодна, как бледного ландыша
влажные листья, —
возле меня на рассвете лежала.

Хрестоматийный пример этой восточно-западной техники — стихотворение о парижском метро 1913 года. Над ним Паунд работал много месяцев, последовательно вычеркивая все, без чего оно могло обойтись.

The apparition of these faces in the crowd:
Petals on a wet bough.

Указывая редактору на правильное размещение стихов на странице, Паунд особо подчеркнул лишние пробелы между группами слов. Они отмечают пять фаз восприятия. В сущности, это стихотворение имитирует строку китайского классического стиха ши, состоящую из пяти иероглифов.

---

[1] М. Фуко замечает, что на Западе письмо относится не к вещи, а к речи, поэтому язык путается в бесконечной череде собственных отражений. Иероглиф же определяет саму вещь в ее видимой форме. Описывая мир без посредства речи, он сокращает дистанцию, устраняя среднее звено в цепочке «вещь — слово — письменный знак».

[1] Примером «природного символа» можно считать бабочку. В начале XX века она почти автоматически вызывала в западном воображении искусство японских гравюр. В самой Японии, однако, бабочка часто украшала шлемы самураев — быстротечность жизни бабочки связывала красоту со смертью. Любопытно, что такую роль «природного символа» бабочка играет в романе Ремарка «На Западном фронте без перемен»: «Однажды перед нашим окопом все утро резвились две бабочки. Это капустницы — на их желтых крылышках сидят красные точечки. [...] Бабочки отдыхают на зубах черепа».

[2] Все переводы Э. Паунда в тексте выполнены автором.

The apparition	Явление
of these faces	этих лиц
in the crowd:	в толпе:
Petals	лепестки
on a wet bough	на мокрой ветви.

Первая фраза описывает появление девушек, выходящих из метро, — то, что бросилось в глаза, перейдя из невидимого (темноты подземки) в видимое (на парижскую улицу). Затем мы видим девичьи лица (остальное скрадывает одежда), которые белизной и свежестью резко выделяются в потоке людей, одетых в темную и мокрую (плащи?) одежду. Как и в китайском ши, третий элемент — «толпа» — служит цезурой, отделяющей и соединяющей две симметрические части стихотворения: «явление этих лиц» противостоит безликой массе, вытягивающейся из станции метро почерневшей от дождя веткой. Но эта же ветвь-толпа расцветает нежными лепестками юных лиц.

Через два года, углубившись в архив Фенеллозы, Паунд выпустил книгу переводов «Катай», которая, по выражению Т. С. Элиота, изобрела «китайскую поэзию нашего времени»:

Не слышно шороха шелка,
Пыль кружит на дворе.
Не слышно шагов, и листья,
Снесенные в кучу, лежат себе тихо.
Она, радость сердца, под ними.
Влажный листок, прилипший к порогу.

Паунд быстро исчерпал имажизм, в котором ему не хватало энергии движения. На смену пришел вортизм. Vortex, метафору, давшую название этому направлению, следует переводить и как водоворот и как вихрь. Vortex — образ, насыщенный динамикой. Не имажистская картинка, а сила, втягивающая чувства и мысли в психологическую воронку. Образующееся при этом вихревое движение перемещает образы стихотворения не только поступательно — вдоль сюжета, но и вращает их вокруг собственной оси. Такими образами у Паунда стали слова-вещи. Он называл их «светящимися деталями, излучающими семантическую энергию во все стороны». Из них создавалась та новая поэзия, что опиралась и на практику восточного стихосложения, и на его эстетику.

В китайской поэзии одни вещи не сравниваются с другими, а стоят рядом — как в натюрморте. Их объединяет не причинно-следственная, а ассоциативная связь, позволяющая стихотворению «раскрыться веером» (Мандельштам). Слова вновь становятся вещами, из которых стихотворение составлялось как декорация. Тут нет аллегорических предметов, указывающих на иную реальность. Материальность естественной, взятой из окружающего вещи не растворяется в иносказании.

Отбирая нужные стиху предметы, поэт использует опыт повседневной жизни, в которой мы создаем целостный образ прожитого дня из сознательно и бессознательно выбранных впечатлений. В этом смысле китайская поэзия подражает восприятию как таковому. При этом она останавливается как раз перед тем, ради чего, казалось бы, существует, — перед процессом анализа, классификации и организации своего материала в завершенную картину мира.

На Западе поэт придает миру смысл и дарит хаосу форму. Его главное орудие — метафора, переводящая вещь в слово, а слово — в символ: одно значит другое. В восточной поэзии вещь остается «непереведенной». Она служит и идеей, и метафорой, и символом, НЕ переставая быть собой.

Такие стихи меняют отношения читателя с автором. Поэзия метафор связывает мир воедино в воображении поэта. Поэзия вещей предлагает читателю набор предметов, из которых он сам должен составить целое. Только читатель может установить не выразимую словами связь между вещами и чувствами, которые они вызывают. На Востоке поэт не говорит о несказáнном, а указывает на него, оставляя несказанным то, что не поддается речи. Такая поэзия позволяет нам услышать непроизносимое. Она стремится не обогатить сознание читателя, а изменить его.

Поэт строит мизансцену просветления, оставляя вакантным место главного героя. Эта роль отдана читателю. Поэтому китайские стихи кажутся безличными. Тут надо говорить не о «смерти автора», а о растворении поэта в им же созданном, точнее все-таки — составленном пейзаже. Стихи создают условия для прыжка вглубь — и замолкают, доведя нас до входа туда, куда можно проникнуть лишь в одиночку. Каждая вещь стихотворения подталкивает нас в нужном направлении, но она лишена одномерности дорожного знака. Указывая путь, вещь не перестает существовать во всей полноте своего неисчерпаемого и непереводимого бытия. Именно этот метафизический остаток позволяет поэту высказать мудрость мира не на своем, а на ЕГО, непонятном самому поэту, языке.

4

Чтобы понять, что может дать Западу Восток, достаточно одного китайского стихотворения. Конечно, если читать его с тем созерцательным вниманием, на которое оно было рассчитано. Механизм сочинения и чтения китайской поэзии станет наглядным, если разобрать текст

на составные части, используя возможно точный перевод каждого иероглифа.

Вот короткое стихотворение «Размышляя о прошлых странствиях». Оно написано Ду Му в 830 году. Хотя поэт принадлежит к той же таньской эпохе, что дала миру самых знаменитых китайских поэтов, Ду Му жил на век позже великого Ли Бо, о котором он пишет.

1 Ли Бо — написал — стихи — вода — запад — храм
2 древние — деревья — окружают — горные пики — высокие дома — крытые галереи — ветер
3 наполовину — трезвый — наполовину — пьяный — странствовал — три — дня
4 красные — белые — цветы — открылись — горы — дождь — посередине

В китайской поэзии автор выстраивает иероглифы параллельными рядами: каждому слову в первой строке соответствует слово из второй. Это значит, что стихотворение читается сразу и по горизонтали и по вертикали. Чтобы стоящие рядом слова сложились в стихотворение, нам придется вставить союзы, соединив ими верхние и нижние строки:

Ли Бо [как] старые деревья. Он написал стихи, которые окружают храм, [как] деревья окружают горные пики. Стихи о западной стороне Водяного храма [проникают как] ветер сквозь крытые галереи. Полутрезвый-полупьяный, [как] красные и белые цветы, три дня странствовал, [пока] не открылись посреди дождя горы.

Поэт создал в читательском воображении мизансцену, обставил ее декорациями, задал ситуацию и отошел в сторону. Китайские стихи — как детектив: читателю предлагают улики, из которых он выстраивает версию. (Правда, верного ответа тут быть не может, ибо одно прочтение не отменяет других).

Распутывать этот ребус-коан можно с любого места, например с цветов. Красные и белые цветы представляют все цветы в мире. Упомянув разные цвета, поэт подчеркивает их тождественность: цветы и есть цветы, какой бы раскраски они ни были. Суть цветка, его эссенция — в цвете. Поэтому в монохромной живописи Китая только цветы и писали цветной тушью. В поисках параллельного цветам образа мы находим полупьяного автора. Пьянство и трезвость — две эссенции человеческого духа, как «красное» и «белое» — две «души» одного цветка. Дополняя друг друга, эти пары полностью описывают пейзаж и души и ландшафта. Он состоит из цветов и людей в противоположных, но равно необходимых состояниях. Так обиняком автор дает свое определение поэта: тот, кто исчерпал душу.

Мы знаем, что автор бродил три дня, пока не увидел горы, открывшиеся посреди дождя. Это поразительное признание вынуждает задуматься. Ведь горы всегда стояли на своем месте, да и поэт знал о них. Однако дождь мешал ему увидеть и убедиться в том, что не нуждается в проверке. Поэт увидел то, что всегда было — до нас, и после нас, и вместо нас. Горы стоят на своих местах, мы — нет. Дождь может идти или нет, но горы от этого не меняются — меняемся мы, единственная переменная величина в пейзаже.

Именно этим и воспользовался сто лет назад Ли Бо. Он изменил пейзаж, вписав свои стихи о нем в сам пейзаж. Цепь ассоциаций удлиняется и обогащается: сперва был построен храм, который так органично вписался в ландшафт, что ветер принял его за своего. Потом пришел описавший храм Ли Бо. За ним явился Ду Му, вспоминающий стихи своего предшественника в том месте, где они были созданы, и тем равняющий их с природными феноменами[1]. Пространство, насыщенное временем, превращает природу в культуру, делая стихи вещью и природы и культуры.

Размышляя об этом парадоксе, поэт сталкивает в одной строфе мимолетные явления: ветер, цветы и дождь — с постоянными элементами ландшафта: горами, деревьями и храмом. К какой категории отнести стихи Ли Бо? К обеим. Они укоренились в пейзаже, как деревья, но летучи, как ветер, ибо существуют только тогда, когда их вспоминают. Правда, их вспоминают всегда, когда попадают в эти места.

Ду Му отделяет от Ли Бо целый век, но эти годы исчезают в перспективе природы. Для цветов и ветра нет времени. Поэтому сто лет сопоставимы с тремя днями, ушедшими у поэта, чтобы понять то, о чем он рассказал. Сколько нужно цветку, чтобы распуститься, столько поэту, чтобы прийти к просветлению. Срок этот, однако, условный. Будут другие цветы, и другие поэты, и даже другой Ли Бо, потому что открывшаяся ему (как горы посреди дождя) истина не меняется от того, кто на нее смотрит.

Так в этом маленьком стихотворении последовательно исчезают — растворяются в природе — привычные нам категории пространства, времени, идентичности. Присутствие поэта в пейзаже не связано с местом, оно условно: горы есть всюду — мы не видим ничего специально указывающего нам на это место: цветы, дождь, горы. Место было отправной, а не конечной точкой и пути и стихотворения. Время тоже стало бессмысленным: три дня как сто лет. Хронология отсутствует в вечности постоянно уми-

[1] В Японии до сих пор ставят камни с вырезанными на них знаменитыми хокку в тех местах, где они были написаны.

рающего и рождающегося мира, как ее нет для распускающихся и отцветающих цветов. Размылась и самоидентичность поэта. Ли Бо и Ду Му — не авторы, а соавторы, которые открыли то, что нельзя не открыть, — горы.

Так в своих стихах Ду Му снял противоречия между автором и читателем: Ду Му читает Ли Бо, а мы читаем обоих — удвоение авторства упраздняет вопрос о нем; между подвижным и неподвижным: стихи, как деревья, окружают храм; между искусственным и естественным: стихи — часть пейзажа; между долгим и кратким: что живет дольше — ветер или горы, человек или дерево, стихи или цветы?

Чтобы восточная эстетика прижилась на Западе, ее следовало врастить в европейскую традицию. Философские леса, которые модернизм подводил под свое понимание искусства, опирались, как все на Западе, на платоновские идеи. Поскольку эти идеальные образы мира располагались в недоступном искусству метафизическом пространстве, художники Ренессанса вынуждены были исправить Платона. Оправдывая свое искусство, они утверждали, что красота позволяет человеку проникнуть в царство идей. Она как солнечный луч: луч — не Солнце, но он передает нам представление о совершенстве солнечного света. Так и искусство изображает видимый мир лишь для того, чтобы привести нас к невидимому. Философия Просвещения вновь вывела зону идей за границу познания. Дорогу к «вещам в себе» преграждали кантианские категории, делающие невозможным увидеть мир таким, каков он на самом деле. Зато у Шопенгауэра, заложившего фундамент модернистской эстетики, искусство вновь проникает к идеям. Художник, и только он, способен отмежеваться от своей субъективности, чтобы смотреть на мир прямо — так, как будто его, художника, не было вовсе[1].

На Востоке не было Платона и Аристотеля. Китайцы не знали ни концепции идей, располагавшихся в потустороннем метафизическом пространстве, ни мимезиса, теории подражания природе. Видимое и невидимое для них было двумя сторонами страницы, свернутой в ленту Мебиуса. Не зная западной пропасти между Богом и человеком, не веря в сотворение мира из ничего, китайцы доверили поэту иную, чем на Западе, роль. Платон называл творчеством все, что вызывает переход из небытия в бытие. Отсюда следует, что художник своим произведением создает вторую природу по образу и подобию Того, Кто создал первую. На Востоке художник участвует в природе, выявляя разлитую в ней гармонию, непременной частью которой он является.

Произведение искусства на Востоке обнаруживает резонанс внутренней природы художника с той, что его окружает. Это опыт взаимодействия с миром, в котором царит дружественная солидарность субъекта с объектом. Очищая (прямо по Шопенгауэру) душу от воли, от страстей, от своей личности наконец, поэт упраздняет преграду, мешающую ему слиться с природой, а ей отразиться в нем. Природа лечит нас своим несудящим, всеприемлющим и всему потворствующим безразличием.

Китайские стихи не создают новой реальности и не проникают в другую реальность. Они извлекают «впрыснутый» в мир смысл. Тем самым они не отвергают, не конкурируют, а завершают природу. Связывая ее с нами, они делают мир единым. Каждое произведение искусства — манифестация целостности бытия.

Для того чтобы увидеть восточные черты модернистской эстетики, совершенно не обязательно подыскивать восточные корни каждому шедевру XX века. Даже не следуя за Востоком, современный художник искал того же, что восточные мудрецы. Суть модернистского мироощущения — в осознании исчерпанности западного пути. Кризис «объективной реальности», оказавшейся лишь артефактом, сконструированным языком и культурой, соединился с исчезновением самого субъекта познания — нашей личности. После Маркса и Фрейда человек стал игрой классовых сил или подсознательных вожделений. У заглянувшего в эту гносеологическую бездну художника остался один выход — начать все сначала, вернуться к исходному, еще не расчлененному концепциями и категориями состоянию мира. Модернизм был не развалом, а «свалкой» — опытом синтеза первой планетарной культуры.

5

Грандиозный по замыслу эпос Эзры Паунда — его поражающие своим размахом и раздражающие своей сложностью «Cantos» — самый амбициозный памятник Востока на Западе.

Эта поэма должна была разрешить центральную проблему времени. Модернизм сформулировал ее так: беда Запада — отсутствие универсального мифа, без которого миру не избежать душевного одиночества и духовного одичания. Миф — это карта бытия, дающая

---

[1] «Когда, возвышенные силой духа, мы покидаем обычный способ познания вещей, [...] мы рассматриваем в вещах уже не где, когда, почему и для чего, а только что. [...] Мы полностью теряемся в этом предмете, то есть забываем о своей индивидуальности, о своей воле, остаемся лишь в качестве чистого субъекта, прозрачного зеркала объекта». *А. Шопенгауэр*. Мир как воля и представление. III, 34.

каждому ответы на все вопросы. Мир, истолкованный мифом, можно охватить мысленным взглядом, его можно понять, в нем можно жить. Заменившая миф наука лишила Вселенную общего знаменателя. Она дала нам фрагмент вместо целого, превратив человека в специалиста, утешающего себя лишь тем, что невежество его не всесторонне.

Лишить культуру мифа означает оставить людей без общего языка и обречь на рознь и войны. Паунд считал, что спасение — в искусстве, которое он понимал как средство связи. «Коммуникация, — писал он, — цель всех искусств». Главное из них — эпос. Это словарь языка, на котором говорит культура. Эпос — ее коллективный голос. Он создает скрепляющие человеческую расу ритуалы. Эпос защищает нас от страха перед неведомой судьбой. Превращая будущее в прошлое, он изживает время, заменяя темное грядущее светлой вечностью настоящего.

Непосредственной причиной возникновения «Cantos» послужила первая мировая война. Не только Паунд, но и его друзья, прежде всего Т. С. Элиот, считали войну симптомом еще более страшной болезни — распада единого культурного образования, которым на протяжении веков был Запад. Новое время родило новые народы. Лишенные общего языка, культуры и веры, они обречены воевать. Исторические катаклизмы вызваны не политическими причинами, а утратой внутренних ценностей: мир, забывший о красоте и благодати, становится жертвой лишенного духовного измерения технического прогресса.

Окончательный замысел «Cantos» сформировался у Паунда под влиянием «Улисса», оказавшего огромное воздействие на друзей Джойса. Вдохновленный им Т. С. Элиот писал, что, заменив нарративный метод мифологическим, Джойс сделал современный мир вновь пригодным для искусства. Для Паунда «Улисс» стал толчком к созданию произведения, которое заняло всю его долгою и мучительною жизнь.

Написав новую «Одиссею», Джойс создал демократический эпос повседневности, эпос заурядного обывателя — он рассказал историю Улисса, вернувшегося домой[1]. Джойс перенес эпос из героического прошлого в будничное настоящее. Паунд мечтал об эпосе, который упразднит пространство и время: он должен был соединить Восток с Западом («элевсинские мистерии с Конфуцием») и сделать прошедшее настоящим. С выдающей мегаломанию сдержанностью Паунд называл свои «Cantos» «песней племени», «поэмой, включающей историю».

История — главная героиня «Cantos». Но прежде чем отразиться в зеркале поэзии, ее следовало воскресить. Новаторство Паунда заключалось не в изобретении нового (характерно, что футуризм он считал поверхностным), а в оживлении старого, в реанимации омертвевшей под холодными реками филологов поэтической традиции. Орудием Паунда был перевод. За что бы ни брался Паунд: аллитерационную англосаксонскую поэзию, звукопись провансальских трубадуров, иероглифику китайской лирики, он преследовал одну цель — сделать старое новым и, как он мечтал, вечным.

Острая оригинальность Паунда была связана не столько с материалом его стихов, сколько с позицией их автора. Квазипереводы Паунда выявляли ментальность нашей «археологической цивилизации», пытающейся по «шелковым лохмотьям прошлого» восстановить историю как целое. Паунд работал над «разумом Запада». Он пытался отредактировать этот бесконечно запутанный палимпсест, в котором эпохи и культуры просвечивали друг сквозь друга. Паунд не стремился к еще большему накоплению знаний. Его переводы должны были перестроить, упорядочить и соединить бесчисленные фрагменты в общую нервную систему, паутиной окутывающую всю человеческую культуру. Это напоминало скорее нейрохирур-

---

[1] Трудно удержаться от соблазна процитировать то место из платоновской «Республики», которое могло подсказать Джойсу замысел «Улисса»: «Стоило взглянуть, — рассказывал Эр, — как разные души выбирали себе ту или иную жизнь... Последней из всех выпал жребий идти выбирать душе Одиссея. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека, далекого от дел; наконец она насилу нашла ее, где-то валявшуюся, все ею пренебрегали, но душа Одиссея, чуть увидела ее, с радостью взяла себе». *Платон*. Республика. Собр. соч. в 4-х т., т. 3. М., 1994, с. 419.

гическую операцию, чем литературное ремесло. Переводы Паунда были так необычны, что после публикации посвященной Проперцию поэмы, заново открывшей римского классика, профессор-латинист предложил переводчику покончить с собой.

Дело в том, что Паунд не верил языку. Его волновало не что говорил автор, а то, о чем он умалчивал или проговаривался. Слова были для него не истиной, а указанием. Выслеживая автора по его стихам, Паунд переселялся в чужие строчки, надевая маску другого поэта. Один из его лучших сборников так и называется «Personae» — «Личины». Такие маски обладали сглаженной индивидуальностью, как в театре Но, они позволяли актеру забыть о себе ради того универсального, что выражала маска.

Переводя, Паунд вживлял прошлое в настоящее. Далекие и забытые строки, как черенки, прививались к общему древу мировой поэзии. Переводы Паунда напоминали не гербарий, а сад. Паунд мечтал собрать свои «Cantos» из живых ростков истории[1].

Несмотря на необъятно огромный и разнообразный материал, вошедший в «Cantos», все они устроены одинаково. Их сложную динамику образует вихревое движение стихов вокруг сюжетных стержней, связывающих ряд песен в циклы. Пронизывая пространство и время, эти архетипические оси рифмуются друг с другом, образуя и разворачивая тему «Cantos». В тексте каждой песни кружатся отдельные строчки, цитаты, имена, фрагменты подлинных документов, намеки на старинные легенды — все те «светящиеся детали», которые Паунд черпал из «воздуха живой традиции». Каждое слово тут обладает своей исторической памятью, которую оно не утрачивает, становясь частью целого. Архетипические герои и понятия — Одиссей, Дионис, Данте, Солнце, Кристалл — служат иероглифическими знаками особого поэтического языка Паунда, важным элементом которого являются и настоящие китайские иероглифы, вставленные в текст в самых многозначительных и многозначащих местах.

Этот грандиозный по сложности механизм отдаленно напоминает приведенный в движение многомерный кубистический коллаж или сюрреалистический фильм. Паунд, однако, обращался не столько к подсознанию, сколько к сверхсознанию читателя, которое, собственно, и должно родиться при восприятии поэмы.

Лучше всего проект Паунда описывается не менее фантастическим вымыслом другого великого модерниста, также страстно увлеченного Востоком, — Германа Гессе. «Cantos» — не что иное, как знаменитая игра в бисер, цель которой «магическое проникновение в отдаленные времена и состояния культуры». «Умелец Игры, — объяснял Гессе, — играет, как органист на органе, его клавиши и педали охватывают весь духовный космос, его регистры почти бесчисленны, теоретически на этом инструменте можно воспроизвести все духовное содержание мира». Паунд был виртуозом этой игры. Соединяя максимально далекое в безусловно близкое, он создавал целое из несопоставимого. При этом Паунд, как китайские поэты, оставлял синтез читателям. Стихи «Cantos» состоят «из несвязанных, плавающих в пустоте строк» (Т. С. Элиот). Чтобы вернуть языку первозданную аморфность иероглифической поэзии, Паунд убрал из разреженной атмосферы своей поэмы синтаксис. Здесь нет авторитарной грамматики — поэт оставляет нас с тем миром, что нам предстоит заново собрать.

«Cantos» — стихи о прошлом, но существуют они в будущем. Они должны инициировать процесс, результатом которого и станет «песня племени». Поэма Паунда — не законченный продукт, а утопический проект, осуществление которого возможно лишь в коллективном труде, объединившем усилия человечества. Этот труд — рождение мифа.

6

Метод «Cantos», в сущности, отрицает потребность в комментарии. Исторические и философские аллюзии должны не расшифровываться, а восприниматься напрямую, в обход анализирующего сознания. Ценность каждой детали зависит от ее способности участвовать в строительстве мифа. Паунд для того и писал стихи, чтобы они заменили комментатора поэтом. Неудача «Cantos» в том, что часто они совершенно непонятны без комментария. И все же «Cantos» нуждаются не столько в сносках, сколько в вольной трактовке, проясняющей рисунок авторской мысли. Комментарий к «Cantos» неизбежно превращается в медитацию на предложенную поэтом тему.

«Конфуцианское» Canto XIII — квинтэссенция восточной темы у Паунда. С текстами «учителя Куна» Паунд никогда не расставался. Они были с ним даже в пизанском заключении, где он продолжал заниматься переводами. Canto XIII — свободная контаминация мотивов, взятых по преимуществу из главного конфуцианского источника — «Аналекты». Разорванные

[1] «Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и сохранить свою целость, остаться тем же «сейчас». Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней — иначе оно завянет». *О. Мандельштам.* Франсуа Виллон. Собр. соч. в 2-х т., т. 2. М., 1990, с. 150.

строки стихотворения соединены, как в Библии, лишь сочинительным союзом «и». Образы, цитаты, мысли и описания нанизываются друг на друга в видимом беспорядке.

В XIII Canto Паунд изображает Конфуция среди его учеников. Все эти бегло, но выпукло описанные характеры объединяет стремление к нравственному совершенству. К этой цели каждый идет своей дорогой. Ученики, как собеседники Сократа в платоновских диалогах, представляют определенный человеческий тип, особую модель поведения, свой способ отношения к обществу. Паунд специально заостряет различия между ними. Каждый ученик получает от учителя поучение — «по его природе». Конфуций не боится противоречий — он видит в них истину. Слово Конфуция соответствует человеку. Оно не давит, а указует. Зная ограниченность речи, мудрец не пытается сказать главное. Его духовный урок — в примере, в терпимости, в доброжелательности. Совет учителя лишь помогает ученику вслушаться в себя, приблизиться к себе, стать тем, кем ты не можешь не быть.

Мудрость Конфуция не в заповедях, запретах и наставлениях, а в гибкой реакции на ситуацию и личность. Мир подвержен постоянным изменениям, и человеку надлежит быть свободным от тяжелой узды неменяющегося закона. Антитеза закона — ритуал. Участие в нем исключает насилие. Это — добровольная ноша. Она радует, а не тяготит. Прообраз связанного не законом, а ритуалом мира — семья. Поэтому Конфуций на стороне отца, спрятавшего от наказания сына-убийцу. Естественный закон человечности для него выше искусственного закона государства.

Архетипической осью XIII Canto служит высшее выражение ритуала — порядок. Так Паунд переводит бесконечно богатое смыслами слово, обозначаемое китайским иероглифом «ли». В отличие от аристотелевской традиции, ищущей порядка в ментальных конструкциях, китайский порядок связан с внутренней структурой самих вещей. Он не привносится извне божественной волей или человеческим произволом, а изначально присутствует в мире. Наша задача — дать ему самораскрыться, не мешать порядку проявиться в нас. Упорядоченная жизнь естественна. Она не требует государственного насилия. Порядок вообще ничего не требует, он только дает — дает жизни сложиться так, как ей свойственно, позволяя каждому занять свое, предназначенное ему собственным естеством место.

Естественная жизнь не нуждается в сверхъестественном. Поэтому Конфуций у Паунда отвергает метафизику своим молчанием о «жизни после». В Китае не было той пропасти между Богом и человеком, что постоянно рождала бурю в западной душе. На Востоке, где всё парно, Небо существует только вместе с Землей. Они происходят из живородящей пустоты — Дао, к которому ведет познание любых вещей. Природа вещей так же необъяснима, таинственна и бесхитростна, как и природа Бога. Поэтому Конфуций учит не богословию, а религии — умению вместить свою малую жизнь в большую жизнь космоса. Следовать этому идеалу трудно, но лишь потому, что никто, кроме нас, не может проложить к нему дорогу. Только методом проб и ошибок мы учимся не отклоняться в сторону от пути: «Всякий может достичь излишка, легко стрелять мимо».

В отличие от традиционного Конфуция, Кун Паунда не спорит с другими течениями китайской мысли, а синтезирует их. Знаком примирения с даосами служат заключительные строки, в которых Конфуцию приписывается изречение о тщетности всякого поучения. На самом деле оно принадлежит Чжуан-цзы, в чьих притчах высмеивался Конфуций. Объединяя учителей Востока, Паунд воплощает мудрость не исторического Китая, а того утопического Востока, который он предлагал Западу в образцы.

7

CANTO XIII

Кун шел
мимо династического храма
в кедровую рощу
и спустился к реке.
И с ним были Жань Цю
и Дянь, говорящий тихо.
И «Все мы незнатны», — сказал Кун.
«Может, вам заняться колесницами?
Тогда вас узнают,
или, может, мне заняться колесницами,
а может, стрельбой из лука?
Или произнесением публичных речей?»
И Цзылу сказал: «Я бы оборону привел
в порядок».
И Жань сказал: «Если б провинцией правил,
то получше б навел в ней порядок».
И Чи сказал: «Я бы маленький храм
предпочел в горах,
с благочинным порядком,
и уместным ритуала свершением».
И Дянь сказал (пальцы на струнах люни —
низкий звук всё звучал,
хоть рука и покинула струны —
и, как под листьями — дым, таял звук,
и он провожал его взглядом):
«Старая купальня,
и мальчики плюхаются с настила
или сидят на траве, играя на мандолине».
И Кун на всех разделил улыбку.
И Гунси Хуа пожелал узнать:
«Кто ж верно ответил?»

И Кун сказал: «Все, все ответили верно,
каждому по его природе».

И Кун указал тростью на Жун Янга.
(Жун Янг был его старшим.)
Жун Янг сидел на обочине, притворясь
собирателем мудрости.
И Кун сказал:
«Ты, старый дурень, ну-ка вставай,
поднимись и найди себе дело».
И Кун сказал:
«Нужно уважать дар младенца
как только вдохнет он чистый воздух,
но кто и в пятьдесят ничего не постиг,
уважения не стоит».
И еще: «Когда князь соберет вкруг себя
всех мудрецов и художников, не найти его
сокровищам применения достойней».

И Кун сказал и даже написал на листьях дерева бо:
«Если внутри человека нет порядка,
порядку не выплеснуться наружу;
и если внутри человека нет порядка,
не будет порядка в семействе его;
и если у князя нет порядка внутри,
не навести порядка ему во владениях».

И Кун дал миру слова «порядок»
и «братство»,
и ничего не сказал о «жизни после».

И он сказал:
«Всякий может достичь излишка,
легко стрелять мимо.
Трудно устоять посредине».

И они сказали: «Если кто совершит убийство,
должен отец его защитить и спрятать?»
И Кун сказал:
«Должен».
И Кун отдал дочь Гунье Чану,
хоть в тюрьме бывал Гунье Чан.
И он отдал племянницу Нань Жуну,
хоть от дел отставили Нань Жуна.

И Кун сказал: «Ван правил с умеренностью,
и в его дни содержалась в порядке держава.
И даже я помню
день, что оставил пробел летописцам,
потому, говорю, что не знали, о чем писать.
Но прошло, боюсь, это время —
день, что оставил пробел летописцам,
но прошло, боюсь, это время».

И Кун сказал: «Без характера вам
не сыграть на инструменте этом,
не исполнить музыки, годной для од.
Ветер сдувает цветы абрикоса
с востока на запад,
и устал я удерживать их от паденья».

8

«Cantos» — провал, который Фолкнер назвал бы «блестящим». Трагедия Паунда в том, что мощные по мысли фрагменты, редкие по красоте отрывки, пронзительные по глубине чувства строки, незабываемые по яркости детали не сложились в целое. Эпос не получился. Текст «Cantos» остался в истории литературы, а не просто в истории.

Паунд мечтал создать универсальный язык символов-иероглифов, на котором можно выразить любую ситуацию или явление. Как Библия, «Одиссея» или конфуцианский канон, «Cantos» предлагали систему образов, вмещающую весь человеческий опыт. Способность «Cantos» описывать вечное и всеобщее должна была сделать поэму «песней племени».

Не вышло. Паунд не смог дать миру новый язык, а культуре — новый инструмент. Его Игра в бисер не состоялась. С ним произошло примерно то же, что с героем Гессе. Ханс Кнехт, решив проверить ценность Игры, потратил несколько лет на расшифровку каждого знака одной из ее партий. Переведя обобщающие «алгебраические» символы обратно — в конкретный «арифметический» мир, он распустил сотканное полотно на отдельные нити, уничтожив сокровенный смысл Игры.

Паунд верил, что мировая культура прозвучит в его поэме одним аккордом. Обращенная к интуитивному восприятию, поэма будет доступна каждому. Паунд рассчитывал, что его поймут все, — его поняли немногие. Разница сокрушительна, ибо она отменяет главное — идею эпоса.

В «Пизанских cantos», подводя итог труду своей жизни, Паунд назвал себя «одиноким муравьем из разрушенного муравейника»[1]. Речь тут не только о лежащей в руинах послевоенной Европе. Муравейник — образ самоотверженной целеустремленности, безусловного взаимопонимания и всеобъемлющей солидарности, ставших инстинктом. Не превратившись в «муравейник», «Cantos» утратили предназначавшийся им высокий смысл.

Культура XX века, как это всегда бывает, распорядилась наследством Паунда не так, как мечтал автор, — она взяла у него не цель, а метод. Маршалл Маклюэн, который навещал Паунда в сумасшедшем доме[2], видел в нем первого поэта «всемирной деревни»: объединяя

---

[1] As a lone ant from a broken ant-hill / from the wreckage of Europe, ego scriptor. /Canto LXXVI/.

[2] Идея Маклюэна о поэзии Паунда как одном бесконечном предложении предвосхищает те изменения в структуре восприятия и моделях познания, которые вызывает в нашем обществе развитие электронных масс-медиа. [...] «Cantos» с их открытой композицией и асимметрическим ритмом выводят поэтику Паунда за пределы литературы, сближая ее [...] с кинематографом, новой музыкой и другими дионисийскими тенденциями сегодняшней культуры». *Ch. Froula*. A Guide to Ezra Pound's Selected Poems. N. Y., 1983, p. 16.

Венеция, кладбище Сан-Микеле

мир сетью своих «Cantos», Паунд пытался создавать грибницу человечества.

Даже беглый взгляд, брошенный вслед уходящему веку, откроет то, чего нельзя не заметить: Востоку удалось остранить Запад, сделать его, как мечтал Паунд, новым. Препарированный Фенеллозой и Паундом миф Востока унаследовали битники. Трактат Фенеллозы стал их манифестом (он до сих пор выходит в издательстве сан-францисского книжного магазина «City Lights», где родилось это движение). «Cantos» помогли битникам срастить Уитмена с китайцами, чтобы создать не только новую поэзию, но и новую культуру — контркультуру. Когда Аллен Гинзберг приехал к престарелому Паунду в Венецию, он привез с собой пластинки «Битлз».

Опыт «Cantos» не прошел бесследно для нашего времени. Брак Запада с Востоком все же состоялся, и плодом его стало современное искусство, которое, чередуя напор с отчаянием, ищет новый способ коммуникации. Художник стремится сократить расстояние между умами. Он пытается вывести искусство на тот универсальный онтологический уровень, где нас объединяет не культура, а природа. Прорываясь сквозь язык, он общается с нами не словами, а с породившими слова импульсами. Поэтому в современном искусстве, как в набоковской формуле поэзии, «мало смысла и много значения».

Сегодняшнее искусство мечтает о внесловесном, внепонятийном контакте, который позволит одному сознанию перетекать в другое. Художник не говорит, а указывает на несказáнное, он пытается передать то, что нельзя понять, он рассказывает о вещах на их языке, он учится не изображать мир, а сливаться с ним, забыв о себе. Ибо лишь отказавшись от «сверхприродного статуса», дарованного ему западной традицией, человек вновь сможет стать не «господином сущего, а пастухом бытия» (Хайдеггер).

Когда великое искусство Запада, утончаясь и углубляясь, дошло до предела познания, оно остановилось в трагической немоте перед тем, чего сказать нельзя. Обходя эту преграду, все по-настоящему новое в искусстве либо осознанно обращается к опыту Востока, либо неосознанно идет по его следам.

1999

ПАМЯТНИК НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ДРУЖБЕ

Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt Briefwechsel / Hrsg. von Peter Rüedi. Zürich, Diogenes, 1998

Эта книга, безусловно, разочарует того, кто надеется погрузиться в чтение настоящего эпистолярного наследия двух замечательных швейцарских писателей, раскрывающего их творческие поиски или личные переживания. Такого наследия попросту не существует: и без того небольшая по размеру книга — лишь на четверть собственно переписка, которая почти за четыре десятилетия (1947—1986) составила всего 33 документа, включая небольшие записки и курортные открытки.

Значение переписки Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта, если можно позволить себе такой парадокс, — в том, что она не состоялась ни как человеческое, ни как литературное явление. И подготовленное с необычайной тщательностью и знанием дела журналистом и драматургом Петером Рюди (в свое время он немало общался с обоими героями книги) издание представляет собой исследование, которое пытается дать ответ на вопрос, почему так получилось.

Дело, разумеется, не в количестве посланий. Точно так же как недостаточно ссылок на то, что в век всеобщей телефонизации письмо как средство общения явно сдало свои позиции. Конечно, это так, но интерес переписки, как и ее внутренняя интенсивность определяются совсем иным: отношениями между адресатами, их стремлением выразить свои мысли и чувства. В некоторых случаях переписка состоит всего из нескольких писем (или только они и сохранились), но в них присутствует та внутренняя энергия, которая и делает их явлением литературы и истории.

Данная переписка начинается вместе с вхождением Фридриха Дюрренматта в литературу; собственно говоря, ее появление было частью литературного дебюта писателя. Макс Фриш прочитал первую пьесу Дюрренматта «Писание гласит» и написал молодому коллеге ободряющее письмо. Ситуация довольно банальная, как и банальны ее атрибуты: несмотря на призыв Фриша не воспринимать его послание как отеческое «похлопывание по плечу», все обстоит именно так, как это обычно и бывает. Старший хвалит и указывает на отдельные недостатки, младший выражает свою признательность и т. п.

Так продолжалось несколько лет, пока разница в возрасте, первоначально ощутимая — Фриш был старше на десять лет, — становилась все менее значимой. Но еще важнее — стремительный переход Дюрренматта из разряда начинающих в разряд признанных авторов. К 1950 году в переписке отмечается переломный момент: Дюрренматт пишет коллеге подробное и чуть сбивчивое письмо (без указания даты и места), в котором пытается выстроить достаточно прихотливую интерпретацию только что законченного Фришем фарса «Граф Эдерланд». Это была очевидная попытка Дюрренматта завязать новый, гораздо более глубокий и откровенный диалог с коллегой. Попытка явно не удалась. Вместо того чтобы подхватить предложенное ему открытое обсуждение творческих проблем, Фриш демонстративно сворачивает переписку, все больше сводя ее к еще большим банальностям вроде проблем летнего отдыха или практической стороны писательской работы. Дальнейшее письменное общение проходит в основном на этом уровне — уровне необязательных высказываний, дежурных фраз и общепринятых жестов.

Была ли причиной охлаждения критика Дюрренматта в адрес новой пьесы Фриша, выраженная к тому же и публично в рецензии, опубликованной в еженедельнике «Вельтвохе» (словно спохватившись, Дюрренматт посылает, извиняясь, письмо, в котором объясняет: наверное, он совершил ошибку, когда писал статью без оглядки на читателя, это «критика, какая бывает в наших разговорах между собой»)? Может быть, но, скорее всего, Фриш просто внутренне не смог признать в Дюрренматте равного себе. И хотя именно с этого времени в их письмах появляется «ты» и обращение по именам, настоящая творческая и человеческая дружба между ними так и не состоялась.

Конечно, и эта переписка позволяет увидеть отдельные детали жизни каждого из авторов, так что считать ее совершенно бесполезной никак нельзя. Но она может дать кое-что лишь как приложение, как один из камешков биографической мозаики. Отсюда — мощный справочный аппарат книги, позволяющий охватить в слове и зрительном образе (биографические таблицы, фотографии, факсимиле, пояснения и справки) весь контекст отношений Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта. Без этого контекста читать письма невозможно.

Написанное Петером Рюди введение, озаглавленное «Почти что дружба», представляет собой попытку охарактеризовать отношения двух писателей, не столько раскрывающиеся в письмах, сколько скрывающиеся за ними.

Петер Рюди иронически характеризует шаблонное сведéние Дюрренматта и Фриша в пару писателей, связанных «великой дружбой». В особенности при взгляде извне, из-за рубежа, они кажутся этаким невнятным сочетанием «Фришидюрренматт», представляющим послевоенную швейцарскую литературу. Что ж, между ними действительно немало общего: поняв, что после трагедии мировой войны мир стал иным, они стремились по-новому определить меру ответственности писателя, оба они наполнили новым смыслом старое понятие социальной критики в литературе, оба были успешными драматургами. Общение их было неизбежно: литературное и театральное пространство Швейцарии столь мало, что не сталкиваться на нем практически невозможно (Фриш как-то сказал, что Швейцария вообще может позволить себе только одного действительно значительного автора). В то же время они не были ни «единомышленниками» в хрестоматийном смысле слова, ни неразлучными друзьями. Как раз это узкое литературно-театральное пространство Швейцарии и позволяет выявить расхождения в писательском почерке и образе мыслей Фриша и Дюрренматта.

Рюди стремится объяснить различия между авторами их происхождением, биографией: Фриш — светский городской человек, Дюрренматт — провинциал, выходец из пасторской семьи, что наложило на него неизгладимый отпечаток. Сам Фриш, характеризуя отношения между ними, указал, что Дюрренматтом движут христианские побуждения. Вообще же Рюди выстраивает целый ряд противоположностей, позволяющих определить отношения между Фришем и Дюрренматтом: «импрессионист» и «экспрессионист», светский человек и отшельник, интеллектуал и человек «от земли», человек, погруженный в настоящее время, и человек, всегда стоящий вне времени, эгоцентрист и коперниканец, моралист и фарсовый автор, «государственный враг № 1» и придворный шут. Список можно продолжать, и, как ни парадоксально, он показывает не только все новые и новые различия, но и стоящее за этими различиями единство, то новое, соответствующее изменившейся реальности измерение социальной ответственности автора, которое вошло в швейцарскую (да и не только) литературу вместе с произведениями Фриша и Дюрренматта.

Книга переписки Фриша и Дюрренматта вполне может быть признана одной из самых парадоксальных (возможно, даже курьезных) книг эпистолярного жанра. Что, впрочем, вполне соответствует духу обоих авторов и тому напряженному отношению близости и противостояния, в котором они провели свою творческую жизнь. Она наглядно демонстрирует бессмысленность попыток навязать стереотипы реальному движению литературы, которая всегда сложнее и увлекательнее банальных образов и умозаключений. А еще книга интересна тем, что доказывает возможность — и важность — серьезного филологического издания (с мощным и дотошным аппаратом) не только для произведений далекого прошлого, не только покрывшейся патиной классики, но и литературы, по сути дела еще не вышедшей за пределы современности.

СЕРГЕЙ РОМАШКО

ИМЯ ПРОТИВ ЛЮБВИ

Ингеборг Бахман. Ма́лина. Роман. Перевод с немецкого и вступление С. Шлапоберской. М., Аграф, 1998

Роман замечательной австрийской писательницы Ингеборг Бахман (1926—1973), представленный ею публике в 1971 году после десятилетнего молчания, — о любви и смерти, насилии и свободе, чувстве и разуме. Сюжет его — зарождение, развитие и крах любовных отношений безымянной героини («я») с неким Иваном на фоне все более напряженного ее конфликта с реальностью. Финал — окончательное и беспросветное торжество разума над чувством. Форма повествования — внутренний монолог «я».

Задуманный как часть масштабной эпопеи

наподобие «Человеческой комедии» под общим названием «Виды смерти», этот роман, единственный, предстал перед читателем в завершенном виде. Трагическая и вместе с тем символическая гибель писательницы[1] от огня четверть века тому назад оборвала работу над грандиозным проектом. Другие произведения цикла дошли до нас лишь в набросках[2]. В 1998 году роман «Малина» вышел наконец и по-русски в замечательном переводе С. Шлапоберской.

Три главных персонажа: писательница «я», молодой венгр Иван и сорокалетний австрийский государственный служащий со странным именем Малина — на первый взгляд образуют классический любовный треугольник: «я» живет вместе с Малиной, при этом любит Ивана. Однако по мере погружения в художественную реальность текста закрадывается подозрение, что «я» и Малина не муж и жена, не сожители и не друзья, — это две стороны одной личности: рациональное мужское и чувственное женское ее начала. Разговоры этих двоих — по сути, внутренние монологи некоей незаурядной женщины, непримиримые споры ее ранимой любящей «женской» души («я») с ее же собственным холодным разумом (Малина), вполне приспособленным к жизни в окружающем героиню насквозь «мужском» мире, важнейшая составляющая которого — рациональность.

Другая его составляющая — насилие — представлена в романе Отцом. Эта дьявольская фигура: диктатор, садист, убийца — становится основным действующим лицом кошмарных снов героини во второй главе. Фрейдистская идея доводится автором до абсурда, превращаясь тем самым чуть ли не в пародию на психоанализ и странным образом обретая при этом поразительную масштабность и глубину. Образ становится символом. Символом века, тысячелетия, человеческой истории. Обобщенное Зло, которому без всякой надежды на успех противостоит душа, любовью своей обреченная на одиночество и способная лишь вновь и вновь — в конце каждого кошмара — безропотно принимать мученическую смерть. Меняется лик Отца, меняется «вид смерти». Итог противостояния неизменен.

Кто же такой Иван, возлюбленный героини? Обыкновенный обитатель «мужского» мира. Насквозь пропитанный его духом. Но разве не должен этот венгр — так, по крайней мере, кажется героине — быть хоть немного чужим, иным в наделенной всеми чертами «плохого» мира австрийской столице: в глубине его существа, конечно же, теплится потребность любить. Наивная («*naiv*» по-немецки) — словно бы предостерегает ее имя избранника, — твое чувство обречено, Иван (*Ivan*) разобьет тебе сердце! Ведь «...Иван совершенно сливается со своим именем... оно для него нечто само собой разумеющееся, и он знает, что имя устанавливает его личность».

При всем многообразии мотивов и тем, составляющих содержание этого сложного и многопланового произведения, «Малина» — не в последнюю очередь роман о языке. О соотношении в мире выразимого и несказа́нного[1]. С каждым из главных персонажей романа жестко связан определенный язык. Так, для Малины родным является *язык разума*, для Отца — *язык насилия*, Иван же говорит на *обычном языке*, представляющем собой смесь первого и второго с добавлением толики пустословия, лицемерия и лжи. В то время как «я» мучительно постигает *язык любви*.

Вообще, язык — и как средство выражения, и как предмет повествования — один из ключей ко всему творчеству Ингеборг Бахман. Слово (хоть и не реальное, а идеальное) в ее понимании сохранило свой изначальный, библейский смысл: это и есть Творение и, следовательно, Бытие. Значит, на действительность можно и нужно воздействовать языковыми средствами — ведь, будучи *названа*, «хорошая реальность» получает шанс обрести существование. И тогда для удовлетворения извечного человеческого стремления изменить мир необходимо просто-напросто создать *новый язык*, свободный от затасканных, злых, бессмысленных слов и фраз, язык, который был бы способен *высказать* нечто лучшее, чем то, что нас окружает.

В ранней своей прозе и во многих стихотворениях середины 50-х годов Бахман неоднократно пробует на роль такого «реформатора» *язык любви*. В тексте «Малины» мы вновь находим прямое отождествление зарождения и развития чувства с формированием *нового*

---

[1] В октябре 1973 года Ингеборг Бахман скончалась от ожогов, полученных во время пожара в ее римской квартире.

[2] Фрагменты еще одного романа этого цикла, «Реквием по Фанни Гольдман», в русском переводе Л. Лунгиной опубликованы в книге «Повести австрийских писателей». М., 1988.

[1] «Выразимое и несказа́нное» (1953) — так называется одно из самых известных радиоэссе Ингеборг Бахман, посвященное философии Людвига Витгенштейна.

языка. Вот как описывает «я» первые шаги своей с Иваном любви: «Так или иначе, мы отвоевали себе первые немногие группы фраз, дурацкие зачины фраз, полуфразы...». Чуть позже: «Головных» фраз у нас полно, выше головы, так же как телефонных фраз, как шахматных фраз, как фраз касательно всей жизни. Многих фраз нам еще недостает, не было еще ни одной фразы о чувствах, потому что Иван такой фразы не произносит, потому что я не решаюсь построить первую фразу такого рода, хоть и думаю об этой далекой недостающей нам группе фраз, несмотря на все хорошие фразы, какие мы уже способны построить». Но чувства Ивана остывают, и особый язык двоих, едва возникнув, постепенно сходит на нет. А с середины третьей главы (разрыв уже неминуем) его окончательно и бесповоротно вытесняет молчание, как будто «я» теряет способность к словесному самовыражению, — чтобы подчеркнуть это, автор сопровождает все ее последующие реплики итальянскими терминами, принятыми в музыке для характеристики требуемого звучания.

«Одного имени уже достаточно, чтобы быть в мире», — пишет Бахман в своих «Франкфуртских лекциях». Это звучит тем символичнее, что героиня, ей самой наиболее близкая (по мнению многих критиков), имени не имеет. А так как *слово* для Бахман тождественно *бытию*, писательнице «я», повествующей со страниц романа о своей любви и растерянности, нет места в реальном мире.

Малина же действительно существует. Холодный аналитик, умеющий разложить все по полочкам, не способный на глубокие чувства, медленно, но верно вытесняет живущую чувством «я» в область ирреального (невыразимого, безъязыкого?). Уж Малина-то не сомневается: «Мое имя? Малина».

Странное, прямо скажем, имя, совершенно нехарактерное для немецкого языка и, конечно же, неслучайное: случайных имен у персонажей Ингеборг Бахман быть не может. Да это же анаграмма латинского animal — животное — существо, наделенное душой, но лишенное разума. Причем анаграмма-противопоставление: *animal* — почти что *Малина* наоборот (с одной лишь перестановкой, обусловленной, скорее всего, фонетически). Значит, сущность этого персонажа, выраженная в имени, — бездушие при чрезмерном развитии разума.

Нельзя забывать, что «я» и Малина едины: «*Я*: То, что ты (Малина) и я можем сложить вместе, и есть жизнь»; «Малину я никогда не потеряю, даже если потеряю себя»; «*Я*: ... до меня тебя (Малины) не могло быть, тебя вообще можно себе представить только после меня». Но «Малина и я, поскольку мы едины, — расходящиеся миры», и противостояние неизбежно. Белые начинают и проигрывают. Малина постепенно поглощает «я», занимает ее место в реальности. «*Малина*: То, что ты хочешь, больше не имеет значения. На твоем настоящем месте хотеть тебе будет уже нечего. Там ты станешь настолько собой, что сможешь отказаться от своего «я». Это будет первое место, где кому-то удастся исцелить мир».

А ведь раньше, до описанного в романе затянувшегося «сегодня», у «я» тоже *было* имя: «Малина и я, несмотря на все наши различия, одинаково робеем перед нашими именами...»

Но вот все кончено. «Это было убийство»[1]. Последний телефонный звонок Ивана. Малина медлит и все же снимает трубку: «...здесь никогда не было женщины с таким именем...»

Теперь имя ее поглощено именем одержавшего верх двойника-антипода, зашифровано в нем. Может быть, ее-то и звали Anima-Animal? И со страниц романа с нами говорила Душа?

Конечно, роман гораздо богаче, чем любая его трактовка.

Его «вечная» главная тема — любовь — несет в себе невероятное богатство созвучий и вариаций, что допускает и даже предполагает различные отступления и уклонения, вставные письма, интервью, сны, кошмары, легенды, провоцирует столкновение реального и фантастического без выделения грани между ними и позволяет автору как бы невзначай затрагивать глубокие философские проблемы современного человечества, вскрывать социальные и психологические конфликты.

Композиция «Малины» наводит на мысль о сонатной форме. Три большие главы: экспозиция, выводящая несколько конфликтующих партий, разработка, в которой материал первой главы интенсивно развивается, и реприза, где снова звучат все партии первой части, но уже в основной (безнадежно минорной) тональности... Музыка как продолжение языка. Значимое молчание. Еще одна очень важная для литературы XX века тема.

В пронзительном, фрагментарном, порой до косноязычия путаном трехсотстраничном монологе, где каждое слово по отдельности или ничего не значит, или несет в себе зло (что поделаешь, таков наш обычный язык), все слова в

---

[1] Так звучит последняя фраза романа «Малина».

совокупности странным образом формируют невероятно глубокий и трагический образ реальности, ее отпечаток в тонкой нежной душе, очень особенной и потому близкой каждому.

ЕЛИЗАВЕТА СОКОЛОВА

НАБОКОВ НА КАФЕДРЕ

Владимир Владимирович Набоков. Лекции по русской литературе: Перев. с англ. Предисловие Ив. Толстого. — М., Независимая газета, 1996. Лекции по зарубежной литературе: Перев. с англ. Под редакцией В. А. Харитонова. Предисловие А. Г. Битова. — М., Независимая газета, 1998.

Помпезность и всеми ощущаемая (хотя — из деликатности — не обсуждаемая) бессмыслица больших юбилеев компенсируется главным образом приуроченными к ним публикациями. В этом смысле набоковская круглая дата пришлась очень кстати. Два сборника его лекций по литературе («Лекции по русской литературе», правда, уже выходили три года назад, но теперь переизданы), два (петербургское и московское) издания комментариев к «Евгению Онегину», подготовленные разными коллективами переводчиков и редакторов, — не будь столетия, о такой роскоши нечего было бы и мечтать. Сделано что-то реальное. По крайней мере, что-то более существенное, чем бесконечные разговоры про бабочек и нимфеток да перепевы навязшего в зубах тезиса «Набоков — наше всё».

К каждой из четырех книг[1] можно придираться, и не только формально, но многое извиняется тем, что ими в наш обиход введен последний большой пласт наследия мастера: впервые мы знакомимся с Набоковым на кафедре. Прежде одни лишь набоковеды знали о его профессорской деятельности, продолжавшейся без малого восемнадцать лет, с 1941-го по февраль 1959-го, когда его в Корнеллском университете сменил известный романист Герберт Голд.

Сам Набоков был в ту пору известен намного больше, чем Голд: триумф «Лолиты» стал очевидным, потекли деньги, явилась возможность безраздельно посвятить себя творчеству и энтомологии. И еще — вернуться в Европу. Испытывая к Америке чувство самой теплой признательности, Набоков все же ощущал свое пребывание там как вынужденное. Не как свободный выбор, а как результат стечения обстоятельств, над которыми он был невластен.

С преподаванием дело обстояло примерно так же. Преподавать ему приходилось еще в юности, в Берлине: он обучал то языкам, то искусству игры в теннис и всегда относился к этому занятию просто как к заработку. В Америке, куда ему (в последние недели перед падением Парижа) помогли перебраться Марк Алданов и редактор «Нового журнала» историк Михаил Карпович, единственным надежным заработком была штатная должность в каком-нибудь колледже. Набоков принялся составлять подробные планы-конспекты будущих лекций, целых курсов, которые могли бы заинтересовать потенциальных работодателей. Всего было написано почти две тысячи страниц, материал на сто лекционных часов. Посмертно изданные лекции по русской литературе — лишь часть этого материала, чуть больше половины.

Он думал о Калифорнии, о Станфорде, одном из самых престижных американских университетов. Пришлось довольствоваться скромным Уэлсли-колледжем в Массачусетсе. Набоков проработал там семь лет.

Предполагалось, что в Уэлсли года через два появится русское отделение. Этого не произошло: время было неподходящее — «холодная война». Даже статуса постоянного лектора Набоков не получил, потому что до администрации колледжа дошли его нелестные отзывы о Шолохове. Дама, занимавшая директорский кабинет, оказалась почитательницей «Тихого Дона».

О том, что Уэлсли лишь временное пристанище, Набоков не забывал никогда, и в 1949-м, стараниями Морриса Бишопа, одного из первых, кто оценил его рассказы, появлявшиеся в «Атлантик мансли», он перешел в Корнелл, солидный университет, который находится в небольшом городке штата Нью-Йорк, носящем пышное название — Итака. Бишоп, баловавшийся и весьма легковесными стихами, занимал в этом университете кафедру романских языков. А профессором русской литературы до Набокова был сам Эрнест Симмонс, патриарх американской славистики, крупный специалист по Толстому. Он принадлежал к старой академической школе со всеми ее особенностями: владел огромным фактическим материалом, никогда не допускал фактологических неточностей, к литературе относился трепетно, считая ее чрезвычайно серьезным, ответственным де-

[1] Фрагменты из книги «Лекции по зарубежной литературе» печатались в «ИЛ», 1997, № 11.

лом, как и подобало наследнику либерально-гуманистической традиции.

Набоков был с ним шапочно знаком — когда-то они вместе предваряли радиопостановку по «Ревизору» — и теперь становился преемником: Симмонс уходил на пенсию. Выяснилось, впрочем, что новому преподавателю предстоит читать не только русский курс, а еще и обзорный цикл лекций по европейскому роману последних полутора столетий. В нашем издании этот цикл именуется «Лекциями по зарубежной литературе»: в точности как учебное пособие, подготовленное провинциальным пединститутом.

На обзорный цикл приходило до четырехсот студентов. Непохоже, чтобы пребывание в местах, именующихся Итакой, позитивно сказывалось на культурном менталитете его учеников. Во всяком случае, курс Набокова у них фигурировал под кодовым названием «Похаблит.»: еще бы, ведь он включал такие непристойности, как «Анна Каренина» и «Госпожа Бовари».

Джон Апдайк со слов своей жены, слушавшей этот курс в последний набоковский семестр, свидетельствует, что лектор начинал требованием «не разговаривать, не курить, не вязать, не читать газет, не спать» — вряд ли только шутливым. Сам Набоков впоследствии жаловался, что на экзамене студенты «отрыгивали кусочки моего мозга», и это еще лучшие, одаренные студенты (среди них, кстати, был Томас Пинчон, будущая литературная знаменитость, автор «Радуги земного притяжения», считающейся программным произведением американского постмодернизма).

Когда вышла в свет «Лолита» и разразился скандал, подогреваемый истериками ханжей, в Корнелле серьезно обеспокоились будущим своего профессора сравнительного литературоведения — его имя могло прозвучать (понятно, в нежелательном контексте) на ежегодном заседании попечительского совета, ведавшего финансированием. Но все обошлось. Много лет спустя, копаясь в университетском архиве, набоковский биограф Брайан Бойд обнаружил только одно родительское письмо с возмущениями, зато такое красноречивое, что стоит привести заключительные строки: «Мы запретили своим детям записываться на все курсы, которые ведет этот Нобков (sic!). Ужас подумать, а вдруг какой-нибудь юной студентке придется идти к нему на консультацию, когда он один в своем офисе, или повстречать его вечером на кампусе, когда нет никого рядом».

Однако как лектор «Нобков» после «Лолиты» стал даже популярнее в студенческой среде. Об этом мне рассказывал один из его слушателей, впоследствии ставший юристом , — он занимает административную должность в Беркли. У него в доме я видел подписанный Набоковым экземпляр первого, полулегального издания знаменитого романа. Эта книжка в темно-зеленой бумажной обложке ходила по рукам, ее (мы такое хорошо помним по советским временам) одалживали на ночь, а корешок склеивали скотчем, чтобы не вывалились листы. Кстати, юных студенток всегда было на набоковских семинарах намного больше, чем студентов.

Их даже не отпугивала всем известная придирчивость профессора, не принимавшего никаких оправданий, если оказывалось, что отвечающий на экзамене слабовато знает стоящий в программе текст. Всегда не выносивший разговоров вокруг литературы, вместо постижения самой литературы, которая, как он твердо верил, не допускала никаких идеологических предумышлений и никакого общественно полезного рвения в ущерб художественности, — Набоков перенес эти свои верования и на преподавание. Он оставался в лучшем случае глубоко равнодушен к таким понятиям, как литературный процесс, историческая почва, идейный и философский контекст, в котором возникает произведение. Его нисколько не интересовали обстоятельства, сопутствующие рождению шедевра. А интересовал только сам шедевр, сам текст — его отличительные черты и особенности, имманентные законы, которым подчинена его композиция, новизна стилистического решения, нюансы интонации. Профессор Набоков и на кафедре оставался писателем.

Поэтому от своих студентов он ожидал не рассуждений о модернизме и не описания австро-венгерской социальной ситуации в канун первой мировой войны, а попытки вразумительно сказать, к какому классу насекомых можно было бы отнести ту покрытую жестким панцирем многоножку, какой вдруг стал Грегор Замза из «Превращения» Кафки. Желающих потолковать о пореформенной России он останавливал вопросом, в каком именно месте вагона из тех, что курсировали по Николаевской дороге, происходило объяснение Анны с Вронским. Знание карты Дублина начала века, а также тогдашних названий улиц и пивных выручило бы сдающих зачет Набокову скорее, чем проштудированные ими тома о мифологизме и о потоке сознания.

Его методика была ясной и целенаправленной: самое главное — чтобы научились читать. И твердо усвоили, что литература, если это слово уместно по отношению к читаемому тексту, никогда не представляет собой буквалистски понятое «изображение жизни», «образ реальности», радующий своей узнаваемостью, и т. п. Что это вторичная, претворенная, авторская реальность и что цель писателя вовсе не в «правдивости», не в сходстве созданной им картины с эмпирическими «буднями», а как раз наоборот, в обретении как можно большей свободы от этой эмпирики. Что «Россия Толстого или Чехова — это не усредненная Россия, но особый мир, созданный воображением гения».

Своим слушателям он на первой же лекции говорил, что «великие романы — это великие сказки, а романы в нашем курсе — величайшие сказки», как ни велик соблазн довериться иной раз внушаемой ими иллюзии правдоподобия. Доверяться ей нельзя хотя бы по той причине, что великий роман сам же и разрушит эту иллюзию, причем именно в тот момент, когда она грозит стать полной. По критериям Набокова, действительно правдоподобной была «Хижина дяди Тома» и прочая беллетристика того же разбора, но уж никак не «Герой нашего времени» (правда, Лермонтов у него присутствовал лишь в обзорном курсе, а не на семинарах, где произведения разбирались эпизод за эпизодом), не «Смерть Ивана Ильича» или «Мертвые души». Лишь очень простодушные люди (или вконец испорченные чтением Белинского и прочих поборников прогресса, которые с таким апломбом писали о литературе, не смысля в ней ровным счетом ничего) могли пресерьезно рассуждать об озарениях и пророчествах, заполняющих финал первого тома гоголевской поэмы. На самом же деле знаменитая птица-тройка не более чем «скороговорка фокусника, отвлекающего внимание зрителей, чтобы дать исчезнуть предмету, а предмет в данном случае Чичиков».

Впрочем, сам Набоков, кажется, чувствует, что хватил через край, представив Гоголя иллюзионистом, и не больше. В следующем абзаце кое-что уточнено: «превращение кругленького Чичикова в крутящийся волчок» все-таки не то же самое, что появление девицы в трико из-под полотенца, которое цирковой маг секунду назад набросил на прозрачную вазу с золотыми рыбками. Нет, в данном случае «кружение помогло автору погрузить себя и своих героев в калейдоскопический кошмар», создав по меньшей мере сильный эмоциональный эффект (это литературе не возбраняется). Однако же раз и навсегда оставьте смехотворные разговоры про «панораму русской жизни» , «пламенное обличение рабства» и пр. Не столь важно, что Гоголь страстно желал обличать, проповедовать и указывать на моральную подоплеку своего произведения. Он обольщался насчет магнетической мощи своего ораторского дара, и, всем известно, под конец впал в экзальтированную религиозность, но эта метаморфоза лишь «снабдила его тональностью и методом» — по набоковским понятиям, разумеется, ложными. Потому что истинный мир Гоголя составляли мнимости, «хаос мнимостей». И из этого хаоса им иррационально выводится «суть человечества» — так, как никем не делалось ни до него, ни после. Вот что такое Гоголь, если смотреть на него в правильной перспективе, ясно отдавая себе отчет в том, что «его произведения, как и всякая великая литература, — это феномен языка, а не идей».

Теперь приведенный пассаж, которым кончается самое пространное из набоковских эссе о литературе, зацитирован до полной стертости (часто его приводят без кавычек и без отсылок, как всем известную аксиому, которой можно пользоваться по любому случаю — идет ли речь о Бродском, кстати нигде его не повторившем, об Одене или хоть о «Воскресении»). Подобное усердие, пожалуй, лучший способ скомпрометировать сам подход Набокова к литературе. И без пояснений понятно, что эффектно звучащая формула «феномен языка» совсем неприложима ко многим выдающимся произведениям, которые, как романы Достоевского или Камю, есть прежде всего именно феномены идей, впрямую определяющих характер языка, то есть изобразительный ряд, композицию, стилистику и все остальное. Набоков об этом знал не хуже своих оппонентов, как знал, что парировать такого рода возражения можно единственным способом, к которому он и прибег, — доказывая, что Достоевский (и Камю, и Томас Манн, и то же «Воскресение» высоко им чтимого Толстого, и «Выбранные места» почти боготворимого Гоголя) — просто не литература, что это продукт иной, не творческой деятельности.

Попыткам это доказать отданы в его лекциях многие страницы. Результат известен наперед: читатель лишний раз убеждается, что лично Набокову роман «с тенденцией» был органически чужд, ни в чем больше. Дискредитировать Достоевского не удается ни намеренно парадоксальными ходами мысли, обнаружива-

ющей один лишь набор банальностей там, где привыкли видеть великую прозу, ни желчным высокомерием эстета, ни наигранным непониманием законов, по которым строится действие в «Преступлении и наказании» (только откровенной тенденциозностью можно объяснить, каким образом Набоков с его прославленно безупречным вкусом написал, что в этом романе герои и под конец остаются теми же, что в начальных главах, «сложившимися характерами... без особых перемен, как бы ни менялись обстоятельства»). Потратив столько сил на обличения, Набоков завершает свою баталию с Достоевским примерно так же, как библейский Иаков, который боролся с противником, именуемым Некто. Иаков вышел из этой схватки с порванной жилой на бедре: не одолев Бога, но, впрочем, и не уступив.

Восторженным набоковским последователям и апологетам хочется видеть своего кумира, затеявшего подобный неравный бой, полным триумфатором. Но тогда приходится закрыть глаза на абсурдность конечного вывода, сводящегося к тому, что Достоевский неплох как автор детективных романов, кое-где расцвеченных блестками «непревзойденного юмора», но совершенно дутая фигура, подразумевая «явление мирового искусства и проявление личного таланта», то есть реальные критерии оценки. Те, которые сам Набоков назвал единственно приемлемыми.

Однако не забыв уточнить: приемлемыми для него. Другая система критериев сразу выявит, что значение Достоевского — именно как «явления мирового искусства» — огромно. Однако Набоков смотрит на литературу как писатель, и оттого ему не приходится оправдываться, если другого писателя, пусть занимающего законное место в мировом пантеоне, он воспринял как олицетворение безвкусицы, закамуфлированной претенциозным глубокомыслием, за которым нет ничего, кроме «бесконечного копания в душах людей с префрейдовскими комплексами». В писательских размышлениях неприятие чужого творческого опыта всегда — прямо или косвенно — говорит о ценностях, приоритетных для данного автора. Чем субъективнее высказывание, чем труднее его подкрепить состоятельными аргументами, тем оно в определенном смысле интереснее.

Даже высказывая суждения, абсолютно некорректные на взгляд любого добросовестного историка литературы, Набоков остается хотя бы частично прав в том отношении, что защищает творческие установки, обладающие обязательностью для него самого и для всей литературы, придерживающейся примерно той же самой творческой ориентации. Самозваные продолжатели из тех, что считают себя критиками, пробовали канонизировать эти установки, и получалась такая же глупость, как требования опознаваемо «отражать жизнь» и хлопотать о «тенденции», нормативные для другой эстетики. Набоков эту эстетику не принимал со всей решительностью — вот единственный бесспорный вывод, вытекающий из его нередко очень спорных разборов и комментариев. И он существен — главным образом для того, чтобы читать Набокова, не пытаясь, как все еще водится, втиснуть его в прокрустово ложе представлений о литературе, критериев и норм, полностью ему чуждых

Ополчаясь против Достоевского (или осыпая Диккенса, которого он любил с детства, упреками за творчески бесплодное стремление превратить свои книги в обвинительные акты против тогдашнего английского общества), Набоков, в сущности, сражался не с этими гигантами, а как раз с утилитарными принципами, распространенными на литературу и, как ему казалось (по большей части — напрасно), нанесшими ущерб даже произведениям гениев. «Совершенно ясно, — пишет он, приступая к анализу «Холодного дома», — что меня больше интересует чародей, нежели рассказчик историй либо учитель». И тут же следует упрек за упреком Диккенсу за его приверженность реформам, откровенное морализаторство, пристрастие к «сентиментальной чуши»... Несложно возразить, что без таких особенностей, сколь бы старомодными они ни выглядели, Диккенс был бы просто другим писателем — возможно, более совершенным, однако другим — и что тогда исчезло бы или ослабло все восхищающее Набокова в его книгах: туман, безумие, канцлерский суд, «дети, их тревоги, незащищенность, их скромные радости». Но это реакция литературоведа, который изучает викторианский роман. А для осваивающих мир Набокова существенно, что, медленно читая Диккенса, он говорит о конструкции повествования и о концепции повествователя, нашедшей отзвук в его собственной прозе. Что, полемизируя с твердо установившимся мнением, он защищает трактовку Диккенса, согласно которой произведения этого романиста дают «урок стиля, а не сопереживания». И кстати, еще вот это: начав с выпадов против «сентиментальной чуши», к середине своей лекции Набоков превращается в страстного защитника «чувстви-

тельного» в литературе — не сюсюканья, а «настоящего... направленного сочувствия, с переливами текучих нюансов, с безмерной жалостью выговоренных слов». Лишь профессионалы-нарратологи, упоенные стройностью своих теорий, смертельно боятся хотя бы оттенка внутреннего противоречия. А Набоков был писателем, и у него художественное чутье оказывалось сильнее даже самых упорных предрассудков излюбленной мысли.

К самой же этой мысли он возвращается все снова и снова — литература обязана быть литературой, и только. Надо «отложить вовсе... социологические, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя». Никаких «зеркал жизни»: созданное настоящим художником есть плод его воображения, ничего больше, какие бы общественные и моральные полезности ни пыталась извлечь из его творчества скудоумная критика. Повести Гоголя — отзвук его «ночных кошмаров, населенных выдуманными им, ни на что не похожими существами», и забудьте о Белинском. «Флобер занят тонким дифференцированием человеческой судьбы, а не арифметикой социальной обусловленности».

Придирчивый читатель тут же заметит: пусть так, но, поскольку признается, что «Госпожа Бовари» не нарратологический экзерсис, а повествование о судьбе, позволительно ли, вслед Набокову, рассматривать этот роман главным образом «с точки зрения структур... тематических линий, стиля, поэзии»? Дальше, правда, добавлено — «персонажей», но разбор ведется так, что и персонажи представляют интерес лишь в границах «структур» (по-флоберовски говоря — «mouvements»). Набокову они вовсе не любопытны как люди, которых зовут Эмма, Шарль, Родольф, Леон и которым, при всей бьющей в глаза тривиальности их мыслей, побуждений, чувств, суждено прикоснуться к экзистенциальной драме, именуемой пустотой существования.

Словно предвидя подобный упрек, Набоков предваряет свою концептуальную установку указанием, что именно так — с точки зрения структур — желал бы осмыслять свое произведение сам Флобер. Доказательность заявлений в таком духе всегда проблематична, как бы усиленно ни подкреплять их цитатами из писем к Луизе Коле или из флоберовских эстетических манифестов. Набоков, заметим, ничего и не цитирует, он просто говорит о вещах, для него как для прозаика настолько очевидных, что они должны подразумеваться сами собой. Или по меньшей мере быть такими же бесспорными для собратьев по перу.

В действительности они отнюдь не так уж аксиоматичны и для Флобера, прекрасно знавшего, что вожделенной «книги ни о чем», которая держалась бы без всякой «внешней привязи», словно земной шар в атмосфере, он не напишет никогда, поскольку это невозможно. И уж не приходится объяснять, насколько рискованно, обособив структурные компоненты от философской и этической проблематики, рассматривать «Смерть Ивана Ильича» или такую чеховскую повесть, как «В овраге». Да и «Превращение» Кафки.

Занятно, что, анализируя эту притчу с обычным для него вниманием преимущественно (если не исключительно) к композиции и приемам построения гротескных ситуаций, Набоков вдруг прервал описание внутреннего устройства кафкианского повествования, чтобы рассказать своим студентам случай из уголовной хроники (девица вместе с кавалером укокошила собственную мать). И назидательно заключил, что «в так называемой реальной жизни мы иногда находим большое сходство с ситуацией из рассказа Кафки». Похоже, мэтр и не заметил, что косвенно им самим была обозначена та самая «внешняя привязь», которую он отрицал с предельной категоричностью.

Но ловить Набокова на противоречиях — пустое дело, он ведь и не притворялся ни теоретиком, ни историком, который располагает стройной, аргументированной доктриной. Обязанности лектора, читающего общий курс истории русской литературы XIX века, вынуждали его скрепя сердце говорить о Достоевском, даже о Горьком, которому Набоков дал ожидаемо уничижительную характеристику. Зато, когда требовалось, не заботясь о полноте исторической картины, говорить о европейских шедеврах, созданных за последние полтора столетия, Набоков мог подбирать материал только по собственному усмотрению. И выбрал, конечно, то, что более остального отвечало его представлениям об искусстве прозы. Или просто было, как Диккенс, по-человечески близким.

Незачем искать объяснений тому странному факту, что среди создателей шедевров присутствует Джейн Остин, но нет Стендаля, что к выдающимся прозаикам причислен Стивенсон с «Доктором Джекилом и мистером Хайдом», но отсутствует Уайльд с «Портретом Дориана Грея», что XX век представлен лишь вечной троицей Джойс — Кафка — Пруст и более ни-

кем. Набоков имел право на собственные предпочтения. И он это право осуществил.

Объективный выигрыш был тот, что, объясняя второкурсникам, как работает настоящий прозаик, Набоков многое объяснил в собственных книгах. Этого бы не случилось, если, принужденный рассуждать о вещах, которые ему чужды и далеки, он — почти неизбежно — увлекся бы разоблачениями и полемикой, как в лекции о Достоевском. Но Флобер, Диккенс, а уж особенно Пруст, с годами становившийся ему особенно нужным (ведь они оба, говоря набоковскими словами, превыше всего ценили в искусстве способность «показать нам ту реальность, вдали от которой мы живем и от которой все дальше отходим по мере того, как плотнее и непроницаемее становится то привычное сознание, которым мы заменяем реальность»), — со всеми ними Набоков чувствовал родственность. Поэтому разбор написанного ими был для него и размышлением о сделанном им самим.

Пишущим о Набокове, да и просто читающим его — не по диагонали, а вдумчиво и аналитично — как раз по этой причине два тома лекций дадут очень много, гораздо больше, чем они дадут изучающим тех же Диккенса и Флобера, оставив в покое тень Достоевского. И прочитав в лекции о Диккенсе: «Форма (структура и стиль) = содержание, почему и как = что», мы воспримем этот пассаж не просто как изложение азбучной истины, тем более — не в качестве точной характеристики писательского кредо, реализованного в «Холодном доме» (Диккенс, уж во всяком случае, не формулировал бы так резко), но как ясно и твердо выраженное убеждение Набокова. А о нем надо знать хотя бы для понимания законов, самим Набоковым над собой признанных.

Такое понимание вправду абсолютно необходимо — и крайне редко встречается — в суждениях о литературе. Но если оно отсутствует, то как же будет осознано «развитие некой истории, ее перипетии; выбор героев и то, как автор их использует; их взаимосвязь, различные темы, тематические линии и их пересечения; разные сюжетные пертурбации с целью произвести то или иное прямое или косвенное действие»? Для Набокова все это («рассчитанная схема произведения искусства») и составляло феномен художественной прозы. Может быть, теперь мы станем читать предложенную им схему более корректно.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

■

АНИТА БРУКНЕР

Медленное падение

Anita Brookner. Falling Slowly

Viking, 1998

Восемнадцатая книга английской писательницы Аниты Брукнер вновь подтверждает ее репутацию тонкого психолога, проникающего в самые сокровенные тайники опустошенной, одинокой и усталой души. На этот раз героинями романа стали две сестры: старшая — музыкант и младшая — переводчица. Повествование построено как воспоминания младшей сестры об умершей старшей. Сестер объединяла общая драма: обе получили от жизни меньше, чем ожидали, потому что не рискнули или не знали, как активнее вмешаться в ход событий. Казалось бы, сестры достойны порицания за бездействие. Но, умело посвящая читателя в обстоятельства их жизни, писательница добивается сочувственного отношения к женщинам. В конечном итоге они нашли в себе силы принять свой удел — расплату за нежелание рисковать ради шанса на счастье.

ЭЛЕЙН ФАЙНСТАЙН

Пушкин

Elaine Feinstein. Pushkin

Weidenfeld & Nicolson, 1999

Новая биография «русского Шекспира», вышедшая в Великобритании, вовсе не похожа на солидный научный труд. Ее отличие в другом — в особой проницательности, с которой автор взглянула на мелочи великой жизни с редким для современных биографов уважением к своему герою. Ее Пушкин монументален, но не как памятник, а как гений с человеческими слабостями: они не затушеваны, достоинства же не приукрашены. Особая заслуга автора — в раскрытии подробностей последнего года жизни поэта на материалах недавно найденных писем Дантеса к своему покровителю. Едва ли не впервые западные читатели получили возможность увидеть оборотную сторону блестящей придворной эпохи. Судьба поэта рассматривается в тесной связи с историческим фоном, воссозданным с большой достоверностью, что специалисты считают еще одним достоинством этой книги.

ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС

Собиратель сердец

Joyce Carol Oates. Collector of Hearts

Dutton, 1999

Сборник рассказов известной американской писательницы Дж. К. Оутс имеет подзаголовок «Новые гротескные истории». Их главные персонажи – странные, потерянные чудаки, порой не совсем здоровые душевно. Они могут нанести себе увечье по религиозным мотивам, совершить преступление и не помнить о нем, преследовать и терзать своих близких. Вместе с тем автор изображает их как достаточно обычных людей, которых можно встретить в бедных кварталах и которых окружающие стараются не замечать из-за их малосимпатичного вида или поведения. В книге есть и заявленный в подзаголовке гротеск: призраки зародышей губят феминистку, сторонницу абортов; некий художник создает произведения, используя вещества, вырабатываемые его кожей; герой одного из рассказов – зрелый человек размером с младенца. Но главная тема писательницы — это жестокость взрослых к детям, причем автор поразительно вживается в роль беспомощного, наивного ребенка.

НИКОЛЬ БРОССАР

Она была бы первой фразой моего следующего романа

Nicole Brossard. Elle serait la premiere phrase de mon prochain roman / She Would Be the First Sentence of My Next Novel

Mercury Press, 1999

Видная франкоязычная писательница Канады Николь Броссар – автор более двух десятков книг; она имеет репутацию опытно-

го мастера слова и одной из крупнейших феминисток современности. Именно эти стороны ее личности отражены в новой своеобразной книге, которую можно назвать художественной автобиографией или же документальным романом о женщине, которая пишет роман. Размышляя о процессе создания книги, Н. Броссар вскрывает глубинные пласты творчества, показывая, как желание писать становится призванием, необходимостью, долгом. Особое внимание она уделяет необходимости для женщин-писательниц искать свои пути и темы, бросая вызов мнимой универсальности «мужской» прозы. Книга опубликована в двуязычном варианте (английский текст помогала создавать Сюзанна де Лобиньер-Харвуд), что позволяет читателю непосредственно наблюдать трансформацию прозы посредством перевода.

ДЭНИЭЛ СТЭШОУВЕР,
ДЭВИД СТЭШОУВЕР

Рассказчик историй: Жизнь Артура Конан Дойла

Daniel Stashower, David Stashower. Teller of Tales: The Life of Arthur Conan Doyle

Henry Holt & Company, 1999

Самые теплые отзывы получила новая биография автора вечно популярных историй о Шерлоке Холмсе, написанная с большим сочувствием и любовью и создающая живой портрет писателя, историка и человека, не затуманенный легендами Бейкер-стрит. Американские литературоведы Дэниэл и Дэвид Стэшоуверы с энтузиазмом горячих поклонников воссоздают всю историю жизни Конан Дойла, с детства в Эдинбурге до последних лет, проведенных в Лондоне, рассказывая между делом о малоизвестных событиях и аспектах жизни писателя — о том, как дважды Конан Дойл добивался освобождения несправедливо осужденных людей, как защищал Роджера Кейсмента — ирландского националиста, как безуспешно боролся за парламентское кресло, как участвовал в Бурской войне, за что и удостоился рыцарского звания, как увлекался спиритизмом, и еще многое другое. Кроме того, достаточно места в книге уделено Викторианской эпохе, верным сыном которой, по мнению авторов, и являлся сэр Артур Конан Дойл.

ДЖЕРОМ ЛАВИНГ

Уолт Уитмен: Песнь о себе

Jerome Loving. Walt Whitman: The Song of Himself

University of California Press, 1999

В первой за последние двадцать лет полной критической биографии Уолт Уитмен предстает наполовину нью-йоркским журналистом, наполовину — новоанглийским трансценденталистом, прогрессивным в отношении политики и консервативным в отношении культуры. Несмотря на то что Джером Лавинг активно использовал в своей книге новейшие архивные находки и последние научные теории, как в жизни, так и в творчестве крупнейшего американского поэта осталось много темных мест. Биограф, описывая с увлечением личную и общественную жизнь своего великого соотечественника, подверг тщательному анализу только программный сборник «Листья травы», за что и получил нарекания критиков. Впрочем, это не умаляет достоинств всей книги, дающей столь разносторонний портрет «отца современной американской поэзии».

ЛЕСЛИ СТЕЙНТОН

Лорка: Заветные мечты

Leslie Stainton. Lorca: A Dream of Life

Farrar, Straus & Giroux, 1999

Четырнадцать лет изысканий, эксклюзивные интервью с друзьями, знакомыми и членами семьи величайшего из современных испанских поэтов, более сотни его не публиковавшихся ранее писем и работа в архивах привели Лесли Стейнтона к созданию этой книги, увидевшей свет в Нью-Йорке. Стейнтон рассказывает о беззаботном детстве, которое Лорка провел в Андалусии, о годах, прожитых в Мадриде, Париже, а затем в Нью-Йорке, Гаване и Буэнос-Айресе, о его плодотворных взаимоотношениях с Сальвадором Дали, Луисом Бунюэлем, Пабло Нерудой и Мануэлем де Фальей и, наконец, об участии Лорки в испанской гражданской войне, стоившем ему жизни. Несмотря на некоторый переизбыток информации о первоначальной борьбе поэта со своей сексуальностью и позднейшим ее прославлением, книга Лесли Стейнтона превращает жизнь Федерико Гарсиа Лорки в захватывающую драматическую историю.

ГОВАРД САУНС

Чарльз Буковски: В крепких объятиях безумной жизни

Howard Sounes. Charles Bukowski: Locked in the Arms of a Crazy Life

Grove/Atlantic, 1999

Создавая свою версию жизни Чарльза Буковски, знаменитого «старого похабника» американской литературы, английский журналист Говард Саунс опирался и на доступные широкому кругу полуавтобиографические произведения писателя, и на впервые в этой книге опубликованные интервью с его друзьями, возлюбленными и членами семьи, а также на его частную переписку. Книга проиллюстрирована более чем шестьюдесятью ранее не публиковавшимися фотографиями и собственными рисунками Чарльза Буковски и содержит статьи, написанные специально для этой книги его друзьями, среди которых Норман Мейлер, Аллен Гинзберг, Шон Пенн, Мики Рурк, Лоуренс Ферлингетти и другие не менее известные личности. Особый интерес для читателей представляют выдержки из стихов и прозаических произведений Буковски, некоторые публикуются впервые.

РЖ
РУССКИЙ ЖУРНАЛ
www.russ.ru

ежедневное сетевое издание,
посвященное наиболее актуальным
проблемам политической,
литературной и культурной жизни

ВЫХОДИТ В ИНТЕРНЕТЕ С ИЮНЯ 1997 ГОДА

Ежедневно на сервере РУССКОГО ЖУРНАЛА:

- ☑ рецензии на новые книги, журналы и учебники
- ☑ новости электронных библиотек русского Интернета
- ☑ последние события политической и культурной жизни
- ☑ аналитические обзоры масс-медиа
- ☑ дискуссионные форумы
- ☑ экспертные оценки и мнения по широкому спектру гуманитарных проблем
- ☑ новости киберкультуры и анализ различных вопросов развития Интернета

Русский Журнал (http://www.russ.ru)
103009, Москва, Малый Гнездниковский пер., д.9, стр.3б

тел.: (095) 201-81-70
(095) 201-80-83

факс: (095) 201-75-51
e-mail: journal@russ.ru

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КРУПНЕЙШИЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В МИРЕ

Книжные фестивали становятся все популярнее: в одной только Великобритании их проводится 148. Недавно в британской столице прошел книжный фестиваль «Слово», крупнейший не только в Англии, но и в мире. За десять дней около 100 000 человек посетили 420 мероприятий, в которых участвовали 66 писателей из 40 стран мира, в том числе нобелевские лауреаты Дерек Уолкотт, Воле Шойинка и Надин Гордимер. Настоящий праздник для тех, кто любит читать, интересуется писателями и сам хочет писать, подготовил директор Питер Флоренс.

Несмотря на свою молодость (ему 34 года), Питер Флоренс является настоящим патриархом книжных фестивалей: еще студентом Кембриджа он решил посвятить себя их организации и в 1988 году вместе с отцом провел первый фестиваль в Хей-он-Уай, куда теперь приезжает ежегодно до 45 000 гостей; кроме того, он консультирует устроителей фестиваля в Мантуе и готовит фестиваль 2001 года в Кейптауне. Но главным его детищем стал Лондонский фестиваль.

«Мы неспроста не назвали его Лондонским литературным фестивалем, — говорит П. Флоренс. — Кого бы привлекло столь претенциозное и старомодное название? Наш фестиваль — это не книжная ярмарка и не рекламные чтения авторами своих произведений. Мы стремимся к обмену идеями. Если книга — это односторонний разговор автора с читателями, то фестиваль дает возможность подлинного общения и поднимает диалог писателя и читателя на новый уровень».

Цель фестиваля определяет и принцип отбора литераторов: это прежде всего крупные литературные деятели, чьи книги не всегда становятся бестселлерами, но имеют значительный идейный и культурный резонанс. Организаторы учитывали самые разные вкусы и пожелания, поэтому диапазон писателей оказался необычайно широк. Кстати, никто из приглашенных не отказался, лишь некоторые, например Дэвид Хэйр и Тони Моррисон, перенесли визиты на следующий год.

Любопытной чертой нынешнего фестиваля стало то, что каждый из 33 районов Лондона «взял на свое попечение» по два писателя. Это способствует еще более полному слиянию литературного сообщества. Случаются и слияния иного рода: Питер Флоренс уже в седьмой раз приглашен на свадебное торжество, виновники которого познакомились на книжном фестивале в Хей-он-Уай.

■ КАБО-ВЕРДЕ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В столице Кабо-Верде, городе Прая, опубликована антология произведений писателей этого небольшого островного государства Западной Африки, ранее называвшегося Острова Зеленого Мыса. Антология, озаглавленная «Кабо-Верде — острова и литература», выпущена в двух вариантах, на португальском и французском языках, так как ее публикацию осуществила Французская миссия по культурному сотрудничеству с Кабо-Верде совместно с Ассоциацией писателей Кабо-Верде и Французским культурным центром в Прае.

Двуязычный характер антологии делает ее доступной для соседних франкоговорящих стран Западной Африки. Однако, как заявляет координатор проекта писатель Мануэль Вейга, книга предназначена не только франкоязычным читателям, но и студентам и преподавателям Кабо-Верде: «До сих пор у них имелась лишь раздробленная на мелкие кусочки картина нашей литературы, лишенная путеводной нити, перспективы».

Антологию, включающую в себя тексты 17 авторов, Мануэль Вейга определяет как «путеводитель» по кабо-вердианской литературе: «Мы хотели предложить своего рода путешествие по нашей литературе, поэтому книга организована в виде тематических циклов — море, мифы и устная традиция — и охватывает период с XIX века до современности, представляя все течения и основных авторов национальной литературы».

Среди крупнейших современных авторов выделяется весьма популярный у себя на родине и в других португалоязычных странах писатель Жермано Альмейда, чей последний роман «Семья Трагу», посвященный жизни метисов на острове Боавишта, имел большой успех. Именно Ж. Альмейда первым ввел юмор в кабо-вердианскую литературу, которая, начиная с движения «Ясность» (30-е годы), затрагивала преимущественно тему национальных бед — голода, засух, эмиграции. Его же перу принадлежат насмешки над отставшей от жизни католической церковью и сочные описания быта его колоритных и неунывающих соотечественников.

■ КАНАДА

КАНАДИАНА СТАЛА БОГАЧЕ

Крупное издательство «Маклелланд и Стюарт» выпустило в свет любопытнейшую антологию «Кто выступает от Канады?», снабженную подзаголовком «Слова, определяющие страну». Ее составители известны в Канаде как «два Мортона»: директор

Макгиллского института канадских исследований историк Десмонд Мортон и глава кафедры канадских этнических исследований Макгиллского университета социолог Мортон Уайнфелд давно и успешно работают вместе. Их новое детище достойно занять место на полке любого канадского — и не только канадского — студента, желающего больше узнать об историческом и культурном наследии страны.

Антология состоит из 118 очерков, статей, речей, рассказов и стихотворений, собранных в четыре крупных хронологических раздела: 1664—1867 (год образования Конфедерации), 1867—1920, 1921—1960 и с 1960-го до наших дней. Поскольку развитие страны шло по нарастающей, основное место в книге занимает XX век.

Среди авторов — юморист Стивен Ликок и индейский лидер Харольд Кардинал, писатель Фарли Моуэт и бард Леонард Коэн, консервативный премьер-министр Джон Дифенбакер и всемирно известный государственный деятель Пьер Элиот Трюдо. Квебекский писатель и радиопродюсер Фернан Уэллетт горячо выступает в защиту франкоязычной культуры, а стихи Эла Порди проникнуты любовью к англоязычной Канаде.

Либеральный политик Джуди Ламарш пишет о роли женщин в политике; по-человечески теплой нотой звучат воспоминания Мари-Клэр Блэ о детстве в католическом пансионате. Квебекский комик Ивон Дешан рассуждает об истории Канады, а Рош Каррье, конечно же, говорит о хоккее. Прекрасно дополняют друг друга слова двух песен, доход от записи которых канадские артисты направили на борьбу с голодом в Африке: «Слезы — это мало» Брайана Адамса и Джима Вэлланса и «Глаза голода» Жиля Куртманша (эту песню записали 75 квебекских исполнителей).

Хотя антологию украсили бы, например, самобытные произведения канадских аборигенов или более обширные материалы на темы культуры и национальной психологии, эта книга, безусловно, является вехой на пути развития «канадианы», а многочисленные фотографии с подробными подписями и репродукции картин делают ее еще интереснее.

■ ФРАНЦИЯ

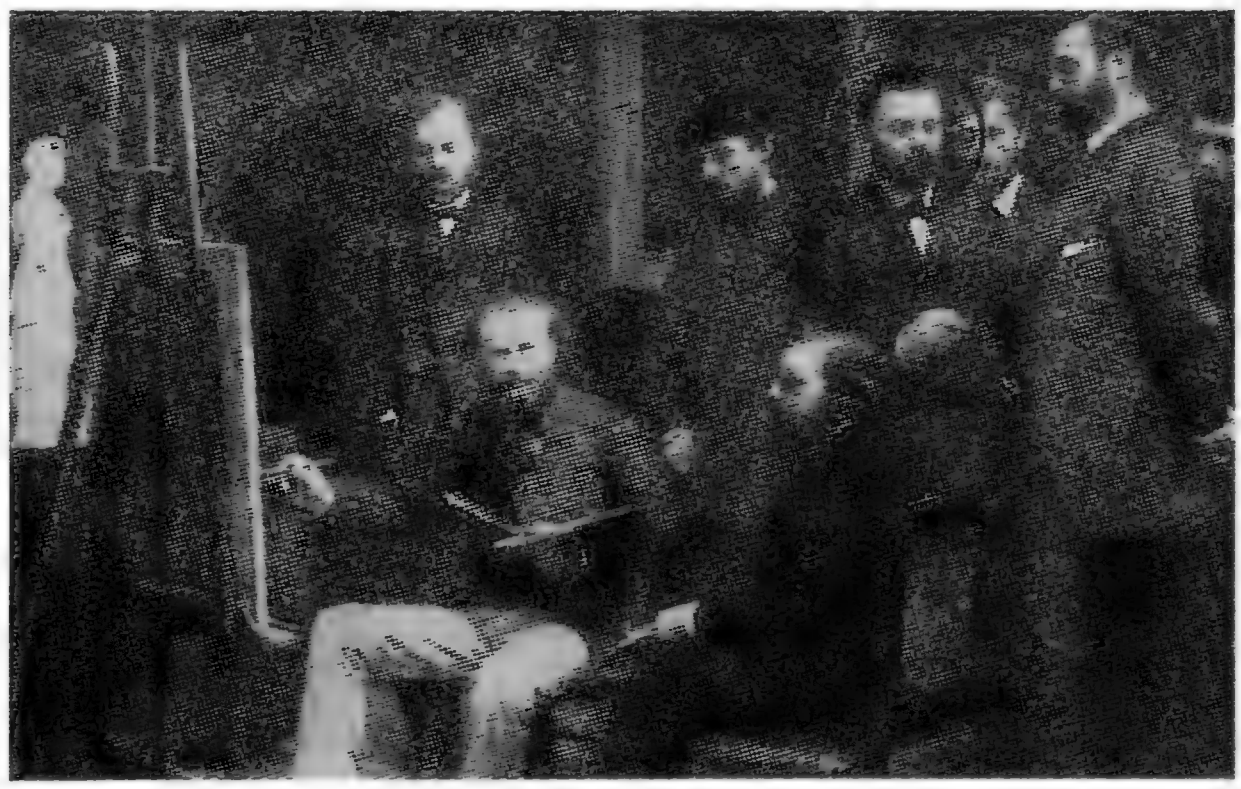
ВОЛЬТЕР СПОРИТ С РУССО

«Абсурдное предположение», «Все это неправда», «Хитрец, только ты можешь предсказывать подобное!», «Ты не математик!»... Какой строгий учитель писал такие резкие замечания в тетради своего ученика? Учителя звали Вольтер, ученика — Руссо, а приводимые выше оценки можно увидеть на полях книги «Общественный договор», изданной в 1762 году Марком Мишелем Реем в Амстердаме. В 1778 году эта книга вместе с остальными сокровищами библиотеки Вольтера, приобретенной Екатериной II, была доставлена в Санкт-Петербург, где и находится до сих пор. Недавно во Франции вышло факсимильное переиздание «Договора» с пометками Вольтера. Основным предметом заочной полемики с Руссо стала проблема соотношения прав личности и чувства гражданской ответственности. Этот спор, разделивший философов эпохи Просвещения на два непримиримых лагеря, не утихает и в наши дни, превратившись в дискуссии о преимуществах либерализма и социализма. Как пишет журнал «Лир», только что вышедшая книга не просто представляет собой красивую копию исторического издания, она дает нам блестящие свидетельства битвы великих умов.

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ: СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

В издательстве «Файар» вышел в свет первый том новой биографии Эмиля Золя, охватывающий тридцать лет жизни писателя, с 1840 по 1871 год. Объемная книга, принадлежащая перу известного литературоведа и историка Анри Миттерана, поражает обилием деталей. Миттеран пишет об истории семьи Золя, обо всех проблемах, с которыми пришлось столкнуться сыну иностранца, добившемуся французского гражданства лишь в 22 года. Очень большое внимание уделено окружению Золя, оказавшему влияние на его формирование как писателя и как личности. Впервые подробно описаны тесные отношения молодого писателя с группой художников, вошедших в историю живописи под именем импрессионистов. Сезанн был другом детства Золя, через него писатель познакомился и с остальными членами группы, в частности с Мане, творчество которого защищал в своих газетных публикациях. Миттерану удалось показать, что творчество импрессионистов оказало большое влияние на Золя, который, в свою очередь, дал прекрасное определение новому стилю: «Искусство должно быть уголком природы, увиденным через призму темперамента». Золя был одним из первых, кто по достоинству оценил и представил широкой публике Фантен-Латура, Мане, Моне и Ренуара.

Помимо живописи, огромную роль в становлении личности Золя играла политика. По мнению Миттерана, Золя принадлежал к поколению, которое Гонкур называл «горьким», — поколению недовольных режимом Второй империи. Уже в 1868 году проявилась гражданская позиция Эмиля Золя, тогда еще не



Анри Фантен-Латур. «В мастерской Мане». Среди присутствующих — Эмиль Золя.

социалиста, а сторонника демократической республики — в то время таких людей называли либералами. Он осуждал аморальность, политическую и литературную цензуру Империи, и в его выступлениях на политические темы уже чувствовались настроения, которые впоследствии лягут в основу знаменитой статьи «Я обвиняю».

Биографическое исследование охватывает лишь первые тридцать лет жизни Золя, Миттеран оставляет своего героя в тот момент, когда он провозглашает от имени Сезанна: «Настало наше время!» Читатели и критика с нетерпением ожидают теперь появления второго тома, в котором автор обещал представить Золя как писателя, «выстраивающего свою жизнь в соответствии с ритмом жизни всего общества».

По материалам газет «Глоб энд мейл оф Кэнада (Канада), «Публико» (Португалия), журналов «Экономист» (Великобритания), «Лир» (Франция).

Книги, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров французского еженедельника «L'Express» от 11 августа 1999 г.

1. **Mary Higgins Clark.** ET NOUS NOUS REVERRONS
2. **Philippe Labro.** MANUELLA
3. **John Irving.** UNE VEUVE EN PAPIER
4. **Jean-François Deniau.** TADJOURA
5. **Francesca Marciano.** L'AFRICAINE
6. **Paul Auster.** TOMBOUCTOU
7. **Jean-Marie G. Le Clézio.** HASARD, suivi d'ANGOLI MALA
8. **Ahmadou Kourouma.** EN ATTENDANT LE VOTE DES BETES SAUVAGES
9. **Gilbert Sinoué.** L'ENFANT DE BRUGES
10. **Philippe Delerm.** LA PREMIERE GORGEE DE BIERE ET AUTRES PLAISIRS MINUSCULES

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ЖОЗЕ САРАМАГО (JOSÉ SARAMAGO; род. в 1922 г.) — португальский писатель, лауреат Нобелевской премии (1998), премии Ассоциации португальских писателей, английской премии «За лучшую иностранную книгу» и многих других. Автор романов «Поднявшиеся с земли» («Levantado do Chão», 1980, рус. перев. 1982), «Воспоминания о монастыре» («Memorial do Convento», 1982), «Год смерти Рикардо Рейса» («O Ano da Morte de Ricardo Reis», 1984), «Во имя Господа» («In Nomine Dei», 1993), «Евангелие от Иисуса» («O Evangelho segundo Jesus Cristo», 1991; рус. перев. в «ИЛ», 1998, № 5,6), пьесы «Ночь» («Noite», 1974) и др. В «ИЛ» (1999, № 4) опубликована также нобелевская лекция Ж. Сарамаго «О том, как герои учат автора ремеслу».
Роман «Каменный плот» вышел в Португалии в 1986 г. («A Jangáda de Pedra». Lisboa, Editorial caminho.)

ИЛЬМА РАКУЗА (ILMA RAKUSA; род. в 1946 г.) — швейцарская немецкоязычная писательница, поэтесса, драматург, критик, переводчик. Автор книг стихов «Как зима» («Wie Winter», 1977), «Жизнь. Пятнадцать акронимов» («Leben. Fünfzehn Akronyme», 1990), «Слова/смерти» («Les mots/ morts», 1992), «Перечеркнутый мир» («Ein Strich durch alles», 1997), сборников рассказов «Мирамар» («Miramar», 1986), «Степь» («Steppe», 1990), сборника пьес «Джим» («Jim», 1933), «Лекции о поэтике» («Vorlesungen zur Poetik», 1994), исследования «Достоевский в Швейцарии» («Dostojewskij in der Schweiz», 1981). И. Ракуза — лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Петрарки за переводы (1991) и премии Шиллера (1998).
Публикуемые стихи взяты из книги «Перечеркнутый мир» («Ein Strich durch alles». Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1997).

ДЖОН АПДАЙК (JOHN UPDIKE; род. в 1932 г.) — американский писатель, член американской Академии искусства и науки. Известность и признание пришли к Апдайку после выхода в свет его романов «Кентавр» («The Centaur», 1963; Национальная книжная премия; рус. перев. «ИЛ», 1965, № 1, 2) и «Кролик, беги» («Rabbit, Run», 1960; рус. перев. 1979), за которыми последовали «Кролик исцелившийся» («Rabbit Redux», 1971), «Кролик разбогател» («Rabbit Is Rich», 1981; рус. перев. 1986), «Кролик на отдыхе» («Rabbit at Rest», 1990). В «ИЛ» напечатаны также его романы «Ферма» («The Farm», 1967, № 4), «Давай поженимся» («Marry Me», 1979, № 7, 8), рассказы из книг разных лет: «Вот она, Америка...» («How to Love America and Leave it at the Same Time», 1992, № 10), «Игра с динамитом» («Playing with Dynamite», 1995, № 7), «Джордж и Вивиан» («George and Vivian», 1996, № 10) и др.
Рассказ «Бек и щедроты шведов» («Bech and the Bounty of Sweden») взят из книги «Бека обложили» («Bech at Bay». New York, Alfred A. Knopf, 1998).

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ (KONSTANTY ILDEFONS GALCZYŃSKY; 1905—1953) — польский поэт, автор поэтических сборников «Стихи» («Utwory poetyckie», 1937), «Стихи» («Poezje», 1959), «Избранное» («Wybór poezji», 1966), «Седьмое небо» («Siódme niebo», 1970).
Переводы выполнены по изданиям K. I. Galczyński. «Wybór poezji», Wroclaw — Warszawa — Kraków, Zakład narodowy imienia Ossolińskich, 1966 и K. I. Galczyński. «Siódme niebo». Warszawa, Czytelnik, 1970.

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1946 г.) — литературовед, переводчик, автор статей по социологии культуры. В его переводе публиковались произведения А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, Х. Л. Борхеса («ИЛ», 1984, № 3; 1990, № 12) и др. Автор публикаций «Антиэлегии середины века» («ИЛ», 1995, № 1); «Опыт-предел: случай Эмиля Чорана» («ИЛ», 1996, № 4); «Эмиль Мишель Чоран. «Записные книжки. 1957—1972» (фрагменты книги, «ИЛ», 1998, № 11); ведущий авторской рубрики «ИЛ» «Портрет в зеркалах» (1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12). Лауреат премий «ИЛ» (1992), «ИЛлюминатор» (1994), премии им. Анатоля Леруа-Больё (1996).

ВИКТОРИЯ ОКАМПО (VICTORIA OCAMPO; 1891—1979) — аргентинская писательница, эссеистка. В 1931 г. основала журнал «Сур», которым руководила 40 лет. Автор книг о В.Вулф, Лоуренсе Аравийском, сестрах Бронте и др. Ее перу принадлежат 10 томов документальной прозы «Свидетельства» («Testimonios», 1939—1977), а также 6-томная «Автобиография» («Autobiografia», 1979—1984), изданная посмертно.
Публикуемые фрагменты взяты из книги «Беседа

с Борхесом» («Diálogo con Borges». Buenos Aires, Sur, 1968).

ЭМИР РОДРИГЕС МОНЕГАЛЬ (EMIR RODRÍGUEZ MONEGAL; 1921—1985) — уругвайский критик, литературовед, эссеист. Его перу принадлежат биографии писателей — П.Неруды, О.Кироги, А.Бельо и др.; сборники эссе о судьбах латиноамериканской литературы; книги, посвященные жизни и творчеству Х.Л.Борхеса, в том числе написанная на английском «Борхес. Литературная биография» («Borges: a literary biography», 1978) и «Борхес сам о себе», эссе из которой мы публикуем («Borges por él mismo», Caracas, Monte Avila, 1970).

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС (JORGE LUIS BORGES, 1899—1986) —аргентинский поэт, прозаик, переводчик (подробнее см. раздел *Литературного гида* «Хорхе Луис Борхес: краткая летопись жизни и творчества»). По-русски произведения Борхеса выходили в сборниках «Проза разных лет» (М., 1984 и 1989), «Письмена Бога» (М., 1992), «Коллекция» (СПб., 1992), Сочинения в 3-х томах (Рига, 1994); на страницах «ИЛ» печатались стихи, рассказы и эссе (1984, № 3; 1990, № 3 и № 12; 1995, № 1;1998, № 5), в Библиотеке «ИЛ» вышел сборник рассказов «Юг» (1984).
Публикуемые новеллы взяты из книг «Шесть задач для дона Исидро Пароди» (в соавторстве с А. Бьой Касаресом; «Seis problemas para don Isidro Parodi». Buenos Aires Sur, 1942) и «Память Шекспира» («La memoria de Shakespeare». Madrid, Alianza Editorial, 1997); эссе печатаются по изданиям «Расследования» («Inquisiciones». Buenos Aires, Proa, 1925); «Земля моей надежды» («El tamaco de mi esperanza». Buenos Aires, Proa, 1926); «Личная библиотека» («Biblioteca personal». Madrid, Alianza Editorial, 1988); «Атлас» («Atlas». Barcelona, Editorial Lumen, 1999).

АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕС (ADOLFO BIOY CASARES; 1914—1999) — аргентинский писатель, лауреат нескольких национальных премий, международной премии «Монделло» (1984) и др. Автор романов «Изобретение Мореля» («La invención de Morel», 1940; рус. перев. СПб., 1999), «План бегства» («Plan de evasión», 1945), «Сон героев» («El sueno de los heroes», 1954), «Дневник войны со свиньями» («Diario de la guerra del cerdo», 1969; рус. перев. в «ИЛ», 1996, № 4, 5), «Спать на солнцепеке» («Dormir al sol», 1973), сборника рассказов «Фантастические истории» («Historias fantásticas», 1972) и др. произведений. Сборник рассказов «Теневая сторона» был издан в Библиотеке «ИЛ» (1987).
Публикуемые новеллы взяты из книги «Шесть задач для дона Исидро Пароди» (в соавторстве с Х. Л. Борхесом; «Seis problemas para don Isidro Parodi». Buenos Aires, Sur, 1942).

РИКАРДО ПИЛЬЯ (RICARDO PIGLIA; род. в 1941 г.) — аргентинский писатель итальянского происхождения. Ему принадлежат сборники рассказов «Вторжение» («Invasión», 1967), «Под чужим именем» («Nombre falso», 1975), романы «Искусственное дыхание» («Respiración artificial», 1980), «Город, которого нет на карте» («La ciudad ausente», 1992), «Сгоревшие деньги» («Plata quemada», 1997), эссе о Х.Л.Борхесе, М.Пуиге, Х.К.Онетти и др., собранные в книгах «Безысходная темница» («Prisión perpetua», 1988), «Аргентина в осколках» («La Argentina in pedazos», 1993).

ЛИЛЛИАН ХЕЛЛМАН (LILLIAN HELLMAN; 1905 — 1984) — американская писательница, драматург. Автор пьес «Детский час» («Children's Hour», 1934), «Настанет день» («Days to Come», 1936), «Лисички» («The Little Foxes», 1939; рус. перев. 1944), «Стража на Рейне» («Watch on the Rhine», 1941), «Порыв ветра» («The Searching Wind», 1944), «Осенний сад» («The Autumn Garden», 1951), «Игрушки на чердаке» («Toys in the Attic», рус. перев. 1967). Пьесы Л. Хеллман ставились во многих театрах нашей страны.
В номере публикуются главы из автобиографической книги «Сырой материал» («An Unfinished Woman». New York, Bantam Books, 1969).

АЛЕКСАНДР ГЕНИС (род. в 1953 г.) — литератор. С 1977 года живет в США. Автор книг (совместно с П. Вайлем) «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990), «Американа» (1991). Перу А. Гениса принадлежат также книги «Американская азбука» (1994) и «Вавилонская башня» («ИЛ», 1996, № 9). В «ИЛ» опубликован ряд его статей: «Гипертекст — машина реальности» (1994, № 5), «Треугольник (Авангард, соцреализм, постмодернизм)» (1994, № 10), «Глаз и слово» (1995, № 4), «Бродский в Нью-Йорке» (1997, № 5), главы из книги «Довлатов и окрестности» (1998, № 6), вступление к публикации стихов Уоллеса Стивенса (1998, № 10) и др.

Переводчики:

БОГДАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1952 г.) — переводчик с испанского, португальского, английского языков; кандидат искусствоведения. В его переводе изданы романы «Лавка чудес», «Пальмовая ветвь», «Капитаны песка» и «Исчезновение святой» Ж. Амаду («ИЛ», 1990, № 1, 2); «Война конца света» М. Варгаса Льосы, «Ты боишься крови?» С. Рамиреса, «Луна доктора Фауста» Ф. Эрреры Луке, «Евангелие от Иисуса» Ж. Сарамаго («ИЛ», 1998, № 5,6), стихи М. Марии ду Бокаже, Ф. Пессоа, Ф. Наморы, Машадо де Ассиза и др.; повесть «Кто убил Паломино Молеро?» М. Варгаса Льосы (Библиотека «ИЛ», 1989); главы из книги «Портрет Пикассо в юности» Н. Мейлера («ИЛ», 1997,

№ 3, 4 и 1998, № 8), воспоминания «Каботажное плаванье» Ж. Амаду (фрагменты печатались в «ИЛ», 1998, № 7). Им переведена также Нобелевская лекция Ж. Сарамаго «О том, как герои учат автора ремеслу» («ИЛ», 1999, № 4). Лауреат премии «Инолит» (1998).

СОКОЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ВСЕВОЛОДОВНА — переводчик с немецкого. В её переводе в «ИЛ» напечатаны стихи австрийского поэта К. Любомирского (1995, № 8), немецких поэтесс У. Хан (1994, № 2 и 1997, № 7), И. Тильш (1996, № 8) и Э. Буркарт (1998, № 9).

БЕРНШТЕЙН ИННА МАКСИМОВНА — переводчик с английского. В ее переводе изданы романы «Моби Дик» Г. Мелвилла, «Смерть Артура» Т. Мэлори, «Возвращение в Брайдсхед» И. Во, «Черный принц» А. Мердок («ИЛ», 1974, № 8—11, совместно с А. Поливановой), «Костры амбиций» Тома Вулфа («ИЛ», 1991, № 10, 11, совместно с В. Бошняком), повесть «Десятый» Гр. Грина («ИЛ», 1986, № 12), рассказы Дж. Апдайка, Дж. Сэлинджера, В. Притчетта и др. В «ИЛ» напечатаны также ее статьи «Концепция с вопросительным знаком» (1996, № 9), «Английские имена в русских переводах» (1998, № 4).

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — переводчик. В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. В «ИЛ» в его переводе печатались стихи С. Вальехо (1983, № 8), андалусская песенная поэзия «Канте хондо» (1986, № 7), поэзия испанских мистиков (1993, № 11), стихи поэтов Арагона (1995, № 5), «Поздние мысли» П. Верлена (1996, № 7), эссе Х. Ортеги-и-Гассета («ИЛ», 1998, № 3), стихи Ф. Гарсиа Лорки (1998, № 6). Лауреат премии «ИЛ» (1993) и премии «Инолиттл» (1995).

ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА — переводчик с испанского, польского и французского языков. В ее переводе издавались произведения испанских писателей «золотого века»: «Хромой бес» Л. Велеса де Гевары, «Карманный оракул» и «Критикон» Б. Грасиана, а также рассказы и эссе Х. Л. Борхеса; роман «62. Модель для сборки», «Книга Мануэля» Х. Кортасара («ИЛ», 1994, № 3), «Святая Эвита» Т. Элой Мартинеса («ИЛ», 1998, № 10); с польского — романы «Quo vadis» Г. Сенкевича, «Красные щиты» Я. Ивашкевича; с французского — статьи Ж. Ж. Руссо, письма Г. Флобера. В «ИЛ» в ее переводе публиковались рассказ «У нас в Аушвице» Т. Боровского (1988, № 10), роман «Дневник войны со свиньями» А. Бьой Касареса (1996, № 4, 5), из «Книги вымышленных существ» Х. Л. Борхеса (1995, № 6). Лауреат премии «ИЛ» (1988).

БОГОМОЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — кандидат филологических наук, литературный критик, переводчик. Автор статей по истории испанской и латиноамериканской литератур, публиковавшихся в периодических изданиях, в том числе в «ИЛ». В ее переводе издавались произведения Х. Л. Борхеса («ИЛ», 1988, № 10), И. Альенде («ИЛ», 1989, № 6), романы «Райские псы» А. Поссе («ИЛ», 1992, № 8, 9), «Дон Хуан» Г. Торренте Бальестера («ИЛ», 1999, № 1, 2), эссе О. Паса («ИЛ», 1991, № 1, 1997, № 7) и М. Варгаса Льосы («ИЛ», 1997, № 5), «Жизнь Эдгара Аллана По» Х. Кортасара («ИЛ», 1999, № 3) и др. Лауреат премии «ИЛ» (1991).

КУЛАГИНА-ЯРЦЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА — переводчик с английского, испанского и польского языков. В ее переводе печатались романы «Фиаско» Ст. Лема (совместно с И. Левшиным), «Двое» А. А. Милна («ИЛ», 1994, № 6), рассказы и эссе Х. Л. Борхеса («ИЛ», 1998, № 5), Э. Сабато и Дж. Апдайка («ИЛ», 1995, № 1), Б. Шульца («ИЛ», 1996, № 8), У. Коллинза, Э. Дансени, О. Блэквуда и др.

КАН МАРИЯ ИОСИФОВНА — переводчик с английского. В ее переводе издавались романы «Моряк в седле» И. Стоуна, «Похищенный» Л. Стивенсона, «Стерегущие дом» Ш. Энн Грау («ИЛ», 1969, № 3,4), «Эмма» Дж. Остин, «Крестный отец» М. Пьюзо, повесть «Полуденное вино» К. Энн Портер (Библиотека «ИЛ», 1985), рассказы «Опять Вавилон» Ф. С. Фицджеральда («ИЛ», 1976, № 7), «Пожары» Р. Басса («ИЛ», 1996, № 10), «Интерес в моей жизни» Гр. Пейли («ИЛ» 1997, № 7) и др.

■

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

галерея
линия-арт

Среди ведущих
авторов Галереи
известные московские художники,
представители поколений
60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ
ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ
АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ
ИГОРЬ КИСЛИЦЫН
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ
ОЛЬГА БУЛГАКОВА
СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ
ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО
ОЛЕГ СЛЕПОВ
КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Адрес Галереи:
Пятницкая ул., д. 41, стр. 1
(левое крыло
особняка)

Галерея открыта для посетителей
с 12 до 20 час.
по предварительным заявкам.
Тел./факс **953-3624**; **201-2603**

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 2000

ПО РАЗДЕЛУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

ДЖУЛИАН БАРНС (букеровский финалист 1998 года). **«Англия, Англия».** В своем новом романе известный английский интеллектуал и остроумец Джулиан Барнс *«превращает сагу о безумном проекте безумного магната в уморительный фарс... проводя параллели между мифологией, которую творит народ, и образом, который творит для себя индивид» («Нью-Йорк таймс»).*
«Роман сочетает в себе фантазию Оруэлла, сатиру Свифта и погребальный плач по культуре («Лайбрари джорнэл»).

БЕРИЛ БЕЙНБРИДЖ (букеровский финалист 1998 года). **«Мастер Джорджи»** Действие нового романа знаменитой английской писательницы происходит в Англии середины прошлого столетия и завершается на полях Крымской войны.
«Главное достижение Берил Бейнбридж — та особая форма реализма, при которой исторический фон выглядит близким, живым и беспорядочно хаотическим, каким может выглядеть только современность» («Таймс литетари сапплмент»)

МИХАЛ ВИВЕГ. «Летописцы отцовской любви» — новый роман чешского писателя, знакомого читателю «ИЛ» по роману «Лучшие годы псу под хвост».
«Михал Вивег — литературная знаменитость Чешской Республики, любимец читающей публики, enfant terrible чешской критики, лауреат многих литературных премий, автор шести романов, переведенных на одиннадцать языков мира» (Радиостанция «Свобода»).

МАРГЕРИТ ДЮРАС. «Боль» — шокирующий и пронзительный автобиографический роман одной из ведущих французских писательниц XX века.
«Боль» — самая значительная ,самая прекрасная книга Маргерит Дюрас» («Нувель обсерватёр»).

МАЙКЛ КАННИНГЭМ «Часы» (Пулитцеровская премия и премия Академии 1999 г.). В ноовом романе американского писателя причудливо переплетаются судьбы трех женщин, одна из которых —Вирджиния Вулф.
«Большая литература, которая показывает людям, как жить и чего требовать от жизни» («Паблишерс уикли»).
«Превосходная, вулфовская, блестящая, тонкая и точная проза» («Керкус ревю»).

ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЕР «Запредельная жизнь». Роман молодого французского писателя, Гонкуровского лауреата о «жизни после смерти».
«Самая светлая книга о самом темном событии в человеческом бытии» («Кензен литтерер»).

СЛАВОМИР МРОЖЕК. «Прекрасный вид» — новая пьеса известнейшего польского драматурга и очередной вызов современному театру.
«Детектив, сплетенный с комедийностью. Мастерский диалог, великолепные роли, точно выверенная конструкция. Давно уже у нас не было пьесы, которая в столь яркой театральной форме так много смогла сказать о нашем безумном и ужасном мире» («Диалог»).

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ. «Анжелика, или Чары» — удивительный сплав рыцарского романа, эротических фантазий и подлинных воспоминаний «отца нового романа».
«Книга захватывает, завораживает, зачаровывает» («Суар»).

ПОЛ ТЕРУ. «Моя другая жизнь» — беллетризованная автобиография одного из самых обаятельного прозаиков современной Америки.
«Собрание [illegible] былиц — необычайно изобретательная, увлекательная, провокационная, исподволь завораживающая кн[illegible] Санди Телегр[illegible]

ТО[illegible]ЛАРД. «Тр[illegible] [illegible] ерс[illegible]есы ведущего английского драматурга современности - Джеймс [illegible]ис, [illegible]адимир Улье[illegible] и Тристан[illegible]ра встречаются в цюрихской библиотеке в феврале 1917 года...
[illegible]т «[illegible]авести» [illegible] голова [illegible] ом. Это какое-то чудо... Блистательное, насыщенное лимериками, кала[illegible]рами [illegible]ие речиям[illegible] [illegible]ами» («Санди телеграф»)

М[illegible]ЛЬ[illegible]К. «[illegible]тар[illegible]е части[illegible]» — новый роман молодого французского писателя о [illegible] евр[illegible]ейс[illegible]й циви[illegible]и. Инте[illegible]лектуальный бестселлер, взорвавшийся, как бомба, в литературном [illegible]ире [illegible]анц[illegible] и став[illegible]й [illegible]ичиной [illegible]скольких [illegible]дебных процессов.
[illegible]мая [illegible]га 1998 [illegible]одс[illegible] («Лир»).

ПО РАЗДЕЛУ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЫ И ЭССЕИСТИКИ

[illegible]ум[illegible]льн[illegible]й роман [illegible]писат[illegible] **ЖАНА-МАРИО ЛЕ КЛЕЗИО** «Диего и Фрида», где [illegible]ывает[illegible] истори[illegible] [illegible]нитых м[illegible]иканских художников Диего Риверы и Фриды Калло.
«[illegible]тобиог[illegible]фия» вы[illegible] [illegible]ся а[illegible]йского [illegible]лософа, математика, социолога **БЕРТРАНА РАССЕЛА.**
Воспом[illegible]ания ю[illegible]фрикан[illegible] писа[illegible] **ДЖОЗЕФА МАЙКЛА КУТЗЕЕ** «Детство. Сцены из про[illegible]зни».
Ав[illegible] [illegible]е за[illegible]ки немецкого [illegible] **ГОТФРИДА БЕННА** «Двойная жизнь» – осмысление позиции ху[illegible]ника [illegible]его на [illegible]промисс[illegible]ризмом.
Главы из [illegible]льского [illegible]теля **Р[illegible]ДА КАПУЩИНЬСКОГО** об Африке «Черное дерево».
Эссеисти[illegible]ФА [illegible]
«Письма из А[illegible]ер[illegible] [illegible]роза **МАРЕКА ХЛАСКО**, одной из самых ярких и трагических фигур польской литер[illegible]уры Х[illegible]
«Парадоксальные истории» знаменитого американского врача и писателя **ОЛИВЕРА САКСА** о загадочных проявлениях человеческой психики.

*Выпуски **«ЛИТЕРАТУРНЫХ ГИДОВ»**, посвященные ключевым темам и именам в современной культуре.*

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1999, №9, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394